Николай Дубов

Николай Дубов

1.

Николай Дубов

Николай Дубов

собрание
сочинений
в трех томах

Москва
«Молодая гвардия»
1989

Николай Дубов

том первый

повести

Мальчик у моря
Большая
Родные и близкие

эссе

Почему нужно знать
античную мифологию

ББК 84Р7
Д 79

Д 4702010200—048
078(02)—89 Свод. пл. подписных изд. 1989

© Издательство «Молодая гвардия», 1989 г.

ISBN 5-235-00416-7 (т. 1)
ISBN 5-235-00417-5

ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ ИСТИНУ — ЧЕЛОВЕК РАСТЕТ!

Николай Иванович Дубов умер в 1983 году в возрасте 72 лет. Его первая книга прозы — повесть «На краю земли» — вышла в свет в 1951 году, последняя — повесть «Родные и близкие» — в 1980-м. Тридцать лет работы Николая Дубова в литературе были для советского общества годами сложными, переломными и трудными. Подлинный смысл, величие и трагизм этих десятилетий начинают открываться в необходимой полноте лишь в недавнее время.

Николай Иванович Дубов не дожил до этого времени революционных преобразований, времени, о котором он много думал, на которое надеялся, на которое работали его правдивые, бескомпромиссные книги. В произведениях писателя никогда не было лукавой «объективности». Дескать, мое писательское дело отразить «как в жизни», а дело читателя итожить выводы... Авторская позиция Дубова всегда четка и ясна. Великий американский писатель Фолкнер говорил, что «истина — это длинная, чистая, неоспоримая, прямая и сверкающая полоса, по одну сторону которой черное — это черное, а по другую белое — это белое». Несомненно, что такой была истина и для Дубова. По крайней мере, читатель всегда точно чувствует, что писатель любит, а что ненавидит, что является его жизненным и писательским идеалом. Эта ярко выраженная, недвусмысленная позиция автора, резкий водораздел понятий «добро» и «зло» тем более важны, что Николай Дубов писал в основном о детях и подростках, затрагивая важнейшие процессы, происходящие в душе подрастающего человека, вступающего в ответственную, осмысленную пору жизни. Писать о подростках очень трудно. Но среди известных писателей этого направления, таких, как А. Алексин, Н. Думбадзе, В. Железников, С. Соловейчик, Н. Дубов занимает свое значительное место.

У Николая Ивановича Дубова счастливая писательская и человеческая судьба. Он испытал полную меру писательской удачи — его книги печатались в центральных издательствах, регулярно переиздавались и переиздаются — они оказались нужными не одному поколению советских людей.

Начиная с повести «Огни на реке», большая часть произведений Николая Дубова печаталась в «Новом мире» Твардовского.

Сегодня все знают, что значила для истории советской литературы и всей духовной жизни страны деятельность Александра Трифоновича Твардовского не только как великого поэта, но и как редактора журнала «Новый мир», который объединял многих литераторов, стремившихся правдиво отразить жизнь народа, наметить духовные ориентиры для движения вперед. «Печататься у Твардовского» значило занимать твердую позицию, выраженную в знаменитых строках поэта:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

И то, что такой журнал публиковал произведения Дубова, означало не только внимание редакции к делу воспитания новых поколений, но и к художественной и общественной позиции писателя. Современность, реальная жизнь людей всегда были в центре внимания Николая Дубова. Проблемы, им поднимаемые, были отнюдь не проблемами детского сообщества, это в равной степени были проблемы общества в целом.

Писатель говорил только о том, что сам видел, сам прочувствовал, чем сам переболел. А жизнь щедро предоставляла ему возможность пройти самые различные свои «университеты».

Николай Иванович Дубов родился 22 октября (4 ноября) 1910 года в Сибири, в городе Омске, в семье рабочего. Двенадцатилетним мальчиком вместе с семьей переехал на Украину, с которой оказалась связанной вся его дальнейшая жизнь. В 1930 году, после окончания школы начал работать на паровозоремонтном заводе разметчиком. Каждый, кто прочтет в романе «Горе одному» страницы, где рассказывается о том, как молодой рабочий Алексей Горбачев начинает свою трудовую жизнь, поймет, что они автобиографичны и написаны с полным знанием дела. В романе есть эпизод, как на завод приходит писатель. Не для того, чтобы «изучать» материал для своих произведений, а потому, что он занимается трудоустройством ребят, окончивших школу и слоняющихся без дела. Ну, пришел на завод писатель, и его, конечно, водят по цехам, «показывают производство». Писатель подходит к разметочной плите. Он «не мог себя заставить уйти. Вот так же и он когда-то красил клеевой краской отливки и поковки, устанавливал и переносил чертеж на металл. Приятнее всего было работать по латуни. Поковки тоже ничего, особенно когда одна сторона уже обработана на фрезерном или строгальном. А вот с чугунным литьем беда. Без конца нужно подтачивать концы циркуля и рейсмуса — вплавившийся формовочный песок съедал их, как наждак».

Это, конечно, рассказ про себя, про свою юность. Привязанность к рабочей профессии, к «мастеровому делу» Николай Иванович сохранял всю жизнь. Во время войны, когда стал «безбилетником», пошел работать на оборонный завод. И в последние годы жизни, когда построил под Киевом маленькую дачу, завел в сарае мастерскую — не было для него большего удовольствия, чем часами возиться у тисков, с немудреным слесарным инструментом. Что-то чинил, паял, строгал...

Но призванием Николая Дубова все же была не профессия разметчика, а литература. Любовь к ней сопровождала его с ранних пор. Николай Иванович был одним из самых эрудированных людей, каких я встречал. Познания его в литературе, а в особенности в истории поражали. А на вопрос, когда же он прочитал такое колоссальное количество книг, всю русскую и зарубежную классику, он отвечал — в детстве и в отрочестве. Николай Дубов не только любил читать, но очень рано начал пробовать писать сам: в цеховой стенгазете, а затем и в многотиражке. Вскоре он становится не только активнейшим сотрудником заводской многотиражки, но и ее редактором. У Дубова был вкус к журналистской работе: его статьи, корреспонденции в областной газете выделялись остротой поставленных вопросов, компетентностью, литературными достоинствами.

Желание больше узнать, больше увидеть своими глазами толкало будущего писателя в новые места, к новым профессиям. Он учился на историческом факультете Ленинградского университета, переменил множество работ и городов. Был библиотекарем, заведовал заводским клубом. В 1944 году вернулся на Украину, сотрудничал в молодежных газетах, редактировал литературный журнал.

Первые шаги в литературе Дубов сделал как драматург. И начал он очень успешно. В 1948 году его пьеса «У порога» получила первую премию. Следующая пьеса «Наступает утро» была поставлена несколькими театрами. Одним словом, перед уже не молодым, но опытным литератором открылась накатанная дорога к театральному успеху и известности. Поэтому многим показалось странным и неожиданным обращение уже заявившего о себе драматурга к прозе, да еще адресованной детскому читателю.

Свою первую новесть Дубов запечатал в конверт и отправил

в Москву в крупнейшее в стране издательство детской литературы Детгиз без сопроводительного письма, без рекомендаций. Каждый, имеющий отношение к литературе знает, что такое «самотек». Это поток рукописей от непрофессиональных, начинающих писателей. В больших издательствах специальные редакции существуют для того, чтобы читать «самотек», отвечать авторам, давать им советы и консультации. Такая редакция существовала и существует в издательстве детской литературы.

К чести работников издательства, они в этом потоке сразу же отметили рукопись повести «На краю земли». Фамилия автора, живущего на Украине, ничего никому не говорила. Конечно, повесть «На краю земли» по сюжету приближалась к традиционной повести о школе. Но чувствовалась в повествовании твердая рука мастера, умеющая создавать не кукольные персонажи, а живых детей — непосредственных, со своими характерами, привычками, языком. Не приходилось сомневаться, что если автор пишет о школе на Алтае, то это именно алтайская школа. Пейзаж Горного Алтая представал перед читателем во всей достоверности, без красивости, без риторического восхищения. Не приходилось также сомневаться в том, что автор знает, чем плохо сталистое железо, почему хомут может натереть шею лошади, как надо укладывать рюкзак... А главное в этой первой повести — отчетливо просматривалась тема, которая впоследствии станет самой главной в творчестве писателя — тема взаимоотношений мира детей с миром взрослых.

«На краю земли» вышла в 1951 году, а в следующем, 1952 году появляется вторая повесть Николая Дубова «Огни на реке». В ней уже зрело и сильно проявлены черты индивидуального дубовского почерка — простота и несколько ироничная интонация, которая помогает писателю говорить о важном без назидательности, столь нелюбимой детьми.

Повесть «Огни на реке» написана свободно, раскованно, ее лиризм лишен какой бы ни было сентиментальности. Писатель постарался сообщить свои заветные мысли о главном в жизни, он вел разговор с читателем с полным доверием к нему... «Огни на реке» принесли Николаю Дубову настоящий литературный успех. Оценивая вторую книгу писателя, литературная критика видела секрет удачи писателя в сильной лирической струе, в живой поэзии картин детства, родной природы. От будущих произведений Дубова ждали развития именно этих качеств. Но новые произведения, написанные Дубовым, выявили другие, для многих неожиданные, особенности его творчества. А именно — активную гражданскую позицию, публицистическое вмешательство в проблемы, затрагивающие общество в целом.

В этих новых произведениях Николай Дубов открыто заявля-

ет, что как писатель и гражданин он хочет, чтобы советский человек был не приживалой, а хозяином. Чтобы он не плыл по течению, не прятался за удобства послушания, а сам принимал ответственные решения. Такие люди составляют самую ценную часть общества, в них заложено его будущее. В романе «Горе одному», произведении бесстрашно откровенном и горьком, выведена целая галерея людей, которые, по убеждению Дубова, являются стержнем общества, его опорой и надеждой. Они самые разные по возрасту, биографии, социальной иерархии — от совсем молодого рабочего Федора Копейки до пожилого, прошедшего все испытания своего времени, директора завода Шерстнева. Всех их объединяет прежде всего отношение к правде. Они отдают себе отчет, что правда может быть фальсифицирована, использована для своекорыстия, безнравственных целей. Один из любимых автором персонажей романа, старый рабочий Василий Прохорович, говорит: «Правда-то правда... Только один на ней верхом, а другой норовит под ней ползком. Каждый хочет ее по-своему взнуздать и в свою сторону повернуть...»

Для автора романа правда только одна — в ее точном словарном обозначении: то, что есть, что было на самом деле... Стоит только эту правду попытаться приспособить к своим интересам, как она превращается в ложь. Молодой парень, только что вернувшийся из армии, Федор Копейка работает на заводе платным комсомольским работником. Он чувствует какую-то неловкость от того, что комсомольцы — на производстве, а он только около, рядом. «Он только ходит и уговаривает их быть передовыми... только призывает работать с энтузиазмом, а работают другие, а не он. Выходит, энтузиазм превратился для него в профессию, в службу, он получает деньги за энтузиазм». И Федор не дает себя уговорить. Он уходит к станку и только после этого, сроднившись с цеховыми ребятами, завоевав их доверие и признание, становится подлинным комсомольским вожаком.

Произведения Дубова при жизни часто встречали настороженно. Некоторых критиков смущала откровенность, с которой в этих книгах раскрывались суровые, часто неприглядные стороны жизни. Это смущение усиливалось и тем, что Дубов писал о детях, издавался массовыми тиражами для детей, словом, был — по распространенной терминологии — «детским писателем». И действительно, жизнь в книгах Дубова раскрывается с обжигающей правдой. Писатель безжалостно разоблачает людей, которые, прикрываясь правильными, часто святыми словами, творят черное дело. «Дядя Троша», к которому попадает осиротевший Лена — герой романа «Горе одному», — жулик мелкий, личность ничтож-

ная и жалкая, но философия его поразительно схожа с той, какую исповедуют люди, стоящие неизмеримо выше его на социальной иерархической лестнице. «Слово не рупь, его не жалко», — говорит дядя Троша. И поясняет: «Чтобы до грошей достигнуть, надо завоевать доверие. А как его завоевать? Через слова. Значит, для этого слов жалеть не надо».

Но точно так думает и поступает журналист Алов, готовый на черное говорить белое или на белое — черное, если ему это выгодно, если с помощью этого он сможет выдвинуться, сделать карьеру, стать членом Союза писателей... По сути своей ничем не отличается от жулика дяди Троши и безнравственного журналиста Алова Гаевский, сделавший карьеру от пионервожатого до работника отдела кадров большого оборонного завода. Гаевскому слова правильные, взятые из газет, нужны для того, чтобы властвовать над людьми. Пусть это будет мелкая власть, но ему необходимо ощущение того, что он в состоянии властвовать — даже в тех пределах, какие ему отведены поначалу скромным служебным положением.

Гаевский убежден, что должный порядок в этом мире охраняется только страхом перед наказанием, ибо людьми владеет порочное желание нарушить установленные порядки. Каждое отклонение от предписанного, классифицированного представляется ему почти преступлением. Философия эта отнюдь не бескорыстна. Убеждение, что все люди — потенциальные или действительные нарушители порядка, сразу же ставит его, Гаевского, над этими людьми. Ибо они нарушают, а он их изобличает, предупреждает, останавливает, хватает за руку...

В романе «Горе одному» Дубов тщательно исследует характер и биографию Иванычева — председателя цехкома механического цеха. Биография чрезвычайно характерная не только для Иванычева — для его времени. Со второго курса техникума, став комсомольским платным работником, он начинает восхождение вверх не в силу каких-то особенных талантов или коварных свойств характера. Напротив, Иванычев ровен, даже добродушен, он живет по принципу «живи и жить давай другим». И оказывается очень удобным. Исполнителен, с полуслова понимает, что хочет начальство, делает добро «нужным» людям, сам немало получает от их расположения. Конечно, при отсутствии каких бы то ни было способностей Иванычеву приходится претерпевать и жизненные крушения. И даже слететь с уютного и престижного кресла председателя горисполкома. Но Иванычев знает, что такой, как он, не пропадет, что он всегда понадобится. На таком месте, где не надо работать, а надо администрировать. Так он становится председателем цехкома, и ему ничего не стоит сло-

мать жизнь молодому рабочему Алексею Горбачеву. Не по злобе своей — упаси боже! — а потому, что судьба парня его совершенно не занимает, ему важно лишь, как сам будет выглядеть перед тем начальством, которое всегда держит его «на плаву».

Николай Дубов исследует не одного Иванычева, не одного Гаевского, ему важны самые различные модификации людей, имеющих власть над другими и употребляющих власть во зло. И среди них совершенно не обязательно аморальные люди. Елизавета Ивановна Дроздюк не только не питает зла к детям, но убеждена, что делает все, чтобы они выросли такими «как надо»: дисциплинированными, послушными, аккуратными. Она относится к детям рачительно и заботливо. Все дело в том, что для нее дети — некий полуфабрикат, который следует довести до надлежащей кондиции, до пригодности жить в мире, где, по убеждению Елизаветы Ивановны, существуют четкие границы для мыслей, поступков, где люди разделены на тех, кто пасет, и на тех, кого пасут. Социальная опасность таких людей, как Дроздюк, заключается не только в том, что система запретов является для них главным руководством к действию, но и в том, что себя они рассматривают только в одном качестве — пасущих... И в помощники себе подбирают таких же. И таких же готовят себе в преемники.

В повести «Мальчик у моря» женщину, дабы спасти ей жизнь, необходимо немедленно доставить в больницу. Но единственный человек, у которого имеется машина, районный начальник, отвечает на просьбу отвезти больную: «Нет, не могу. Не имею права. Мое время мне не принадлежит, я на работе. В соседнем колхозе уборку заваливают, надо туда гнать, накачку делать... Изыскивайте местные ресурсы». С каким же негодованием подобный начальник отвергает упреки в том, что он — негодяй, человек без сердца и совести! Он убежден, что «накачка» — важнее человеческих дел, судьбы одного — и при том чужого — человека.

Для «самодура», как злобно называет этого начальника маленький герой повести Дубова, и для многих других подобных ему людей, характерно убеждение, что выше всего они ставят государственные интересы. В действительности же они называют «государственными» только свои личные, глубоко корыстные интересы. И для прикрытия этого годятся самые высокие понятия... То, что в народе названо «показухой», и есть выражение этой эгоистической, антинародной сущности.

В «Беглеце» дорожные рабочие не обманываются относитель-

но своей халтурной деятельности. «Ремонт» дороги у них сводится к тому, чтобы засыпать выбоины, залить их непрочным раствором. Ничего, что первый же проехавший по дороге грузовик уничтожает все следы этой «работы». Сами они про себя говорят: «Артель напрасный труд...»

Но даже эти халтурщики в глазах Дубова выглядят намного привлекательнее тех, кого в романе «Колесо Фортуны» участковый милиционер Кологайда называет «бородатыми пацанами». Добродушный милиционер считает их этакими взрослыми детьми, которых с самого детского сада ведут по жизни за руку родители, родственники, знакомые. Писатель не разделяет мнение персонажа своего романа. Он усматривает в этих напористых, щеголяющих эрудицией людях социальную опасность. Особенно это касается тех, кто причисляет себя к «творческим работникам». Дубов считает, что тот или иной вид творчества они выбирают потому, что, как им кажется, «это кратчайший и легчайший путь к славе и деньгам, то есть, по их мнению, к удовольствию, а в своем праве на удовольствия они не сомневаются... Убеждения им с успехом заменяют трескучие фразы, а все чувства подчинены необъятному самомнению». Молоденький бородатый кинорежиссер мечтает нарваться на этакий сенсационный киносюжет, который его прославит и сделает известным... Заводской журналист Алов полагает, что, расхвалив в книжке липовые достижения молодого рабочего, он пробьется вверх, к положению писателя... И заводское начальство сознательно идет на вранье, чтобы выглядеть получше в глазах более высокого начальства...

В произведениях Дубова выведено много разновидностей «самодуров», карьеристов, приспособленцев. Но при всем этом никогда «антигерои», люди, олицетворяющие негативные приметы времени, не одерживают идейных, нравственных побед. Победа в конечном счете не за ними.

Так, герой романа «Горе одному» Леша Горбачев проходит через самые большие испытания, какие только могут выпасть на долю подростка, оставшегося сиротой, без близких, без всякой помощи. Но он не погибает от голода, холода, подлости, предательства — потому что всегда на пути его оказывается добрый и хороший человек. Парень, встретившийся ему на дороге, дал денег; моряк накормил; заведующая детским домом Людмила Сергеевна приютила; старый рабочий Василий Прохорович стал мудрым советчиком.

Необязательно, чтобы эти люди были главными героями произведения, они могут быть вспомогательными персонажами или проходить по периферии повести, но они являются своеобразными катализаторами добра, энергии, справедливости. В повести

«Мальчик у моря» рыбак Жорка — человек с «нехорошей биографией», вспыльчивый и резкий, оказывается тем человеком, который согрел детскую душу подростка Сашука, опаленную несправедливостью, теплом понимания, сочувствия и доброты. В «Беглеце» шофер, которого зовут Сенька-Ангел, без раздумья приходит на помощь мальчику Юрке, который, не стерпев обиды и предательства родных, бежит из дома куда глаза глядят...

Николай Дубов принадлежит к тем писателям, которые — одни из первых — забили тревогу, увидев порок не менее страшный, чем бюрократизм. Этот порок — пьянство. Писатель попытался исследовать причины падения, уничтожения человеческой личности, подпавшей под власть бутылки с зельем.

В своей лучшей повести «Беглец», написанной в 1965—1966 годах, Николай Дубов пытается ответить на вопрос: «Зачем люди пьют?» Этот вопрос мучительно тревожит главного героя произведения Юрку, доброго, впечатлительного мальчика. Вокруг него почти все пьют. Близкие и далекие, хорошие и плохие. Пьет инвалид войны Роман Безногий, топящий в вине постигшую его трагедию: инвалидность, одиночество, полунищету. Пьет отец Юрки — слабый человек с неудавшейся жизнью. Пьют родственники и знакомые Юрки от того, что труд их лишен смысла. И даже самый привлекательный персонаж повести, Сенька-Ангел, о котором Юрка знает, что тот ничего не пьет, даже пива, проводив на поезд раздавленную горем и унижением женщину, потерявшую близкого человека, женщину, которую люди злобно унизили, обокрали, даже он — накормив голодного, подобранного им мальчика, заказывает себе стакан водки.

«Юрка во все глаза смотрел на него.

— Ты ж не пьешь! — сказал он.

— А ты и в самом деле думал, что я — ангел? — усмехнулся Семен... со зла выпил...»

Человек, которого Юрка спросил: «Зачем люди пьют?», — архитектор Виталий Сергеевич знает ответ на этот вопрос: «По разным причинам. Но в общем, какие бы ни были причины, — от слабости... зелие это одурманивает, одуряет, и человеку и он сам, и все окружающее видится не таким, какое оно есть на самом деле. Трусу кажется, что он герой, уроду и тупице, что он красавец и гений, все беды и несчастья — пустяками, море становится по колено... И так втягивается, потом уже без этого не может обойтись. Это прилипчиво, как зараза, как неизлечимая болезнь. И попросту — это трусливое бегство. Трусливое и бессмысленное — в бутылку. Из нее-то уж во всяком случае вы-

хода нет. Только один — смерть...» Но сам, к сожалению, топит в вине свое достоинство, честь, чувство вины перед близкими. И его трагический конец видится читателю «Беглеца» не как случайная гибель во время шторма, а как бегство в смерть от того, куда его завела душевная слабость и трусость... Так кончает добрый, умный, интеллигентный человек. Жестокий урок! Но писатель не хочет и не может смягчать его...

Почти во всех произведениях Дубова остро ставится вопрос о взаимоотношении человека с природой. Дубов выступал в защиту природы и как публицист, до сих пор не потеряли актуальности его темпераментные статьи о судьбе Азовского моря, о хищническом и бездумном наступлении на природу в других регионах нашей большой страны.

В публицистических выступлениях Дубова немалое место занимали и экономические соображения, и забота о том, в каком виде получат землю и ее богатство наши наследники. Но главное все же Дубов видит в другом. По убеждению писателя, отношение к природе является некой лакмусовой бумажкой, определяющей социальное и нравственное лицо человека.

Человек не оккупирует природу. Представление о том, что природу следует завоевать, а следовательно, с ней надобно воевать — не только чуждо, но и ненавистно Дубову. По его убеждению, «завоевательское» отношение к природе не только приводит к хозяйственной катастрофе: эрозии почв, пересыханию рек, гибели лесов и животного мира. Самое страшное в том, что такое отношение глубоко безнравственно. Человек, рассматривающий природу как завоеватель, закономерно начнет оценивать и людей лишь как «природные ресурсы». Отсюда кратчайшее расстояние до таких негативных явлений, как социальная деформация общества, утрата моральных ориентиров.

* * *

Творчество Дубова последних десятилетий пришлось на время, которое мы сегодня определяем как застойное. В эти годы не поощрялась глубокая критика явлений социальной несправедливости. Предполагалось, что наше общество является обществом полной социальной справедливости, как и должно быть в стране, где социализм построен полностью и окончательно. А то, что он окончательно построен, — провозглашалось везде и всюду.

Дубов не участвовал в славословии и суесловии, чем страдали иные писатели. Он исследовал реальную жизнь и видел в этой

жизни явления его глубоко тревожащие. Он видел не только материальное, но и социальное неравенство. Когда нарушался основной принцип социализма — «каждому по труду». На стройках, у заводских станков, на поле, в море самоотверженно трудились люди, зарабатывающие свой хлеб нелегким трудом. А рядом с ними находились и те, кто только притворялся работающими, которые халтурили, трудились «абы как» и жили не хуже, а, пожалуй, и лучше честных тружеников. А еще были и те, которые хлебали полной ложкой из котла, наполненного результатами народного труда, ничего в этот котел не вкладывая. «Самородки» самых различных модификаций изображены Дубовым со всей силой негодования и презрения. Писатель видит в них особенную социальную опасность еще и от того, что рядом с ним живут дети и подростки, воспитание теснейшим образом связано со всем хорошим и плохим, что существует в обществе. И позиция писателя в этом важнейшем вопросе совершенно определенна. Целый ряд писательских отступлений в романе «Горе одному» посвящен мыслям Дубова об отношениях взрослых к детям. Он пишет: «Обнеся чертой то, что, по их мнению, составляет круг детских интересов, взрослые с помощью книг, нотаций и даже наказаний пытаются удержать в нем детей. Но черта существует только в их воображении. Дети непрестанно перешагивают ее, а если им запрещают, делают это тайком. Родители пытаются оградить детей от узнавания множества вещей. Но дети видят и узнают все. Они видят смерть и горе, узнают любовь и ненависть, подлость и благородство, низменные поступки и высокие взлеты. В сущности, человек уже в отрочестве узнает жизнь и все, что в ней происходит».

По убеждению Дубова не где-нибудь, а в семье происходит в ребенке формирование личности, осознание своей индивидуальности, там закладываются ее нравственные основы, понимание границы между добром и злом. Но не меньшее значение он отводит школе. Ибо в школе происходит переход от детства к отрочеству. Дубов пишет: «Наступление отрочества — рождение сознания. Оно бесстрашно и беспощадно всматривается в мир — «Каков он?» — и в себя — «Зачем я?». В ответе на эти вопросы, в поисках истины и происходит взросление, обретение человечности.

Автор сурово критикует педагогику, считающую, что задача школы состоит лишь в том, чтобы подготовить детей к будущей «настоящей», взрослой жизни. Собственно говоря, такое представление о ребенке, как о некоем «полуфабрикате», ненамного отличается от того, что дядя Троша говорит Алеше Горбачеву: «Покуда ты не человек, а четвертушка». Дубов принадлежал к писателям убежденным, что детство является не состоянием ку-

колки, из которой должна вылупиться красивая бабочка, а важнейшим и полноценным состоянием человеческой жизни. Без счастливо и увлекательно прожитого детства не состоится гармоничный человек! Впрочем, это убеждение разделяли и разделяют все выдающиеся советские педагоги. Один из основателей советской педагогики П. П. Блонский говорил: «Но мы до сих пор глухи к потребностям ребенка и нечеловечны. До сих пор школа — фабрика будущих людей, а не организация нормальной жизни ребенка в настоящем». На таких же убеждениях строится педагогика В. Сухомлинского — самого яростного противника запретов и наказаний для детей. «Если вы хотите, чтобы в стране не было преступников, — воспитайте детей без наказаний», — говорил он.

Взгляды Дубова на воспитание были построены прежде всего на личном жизненном опыте, на том, что видел в реальной жизни цепкий и прозорливый взгляд художника. И они соответствовали традициям передовой русской педагогики, взглядам лучшей части русской интеллигенции. Стоит вспомнить слова замечательного книговеда и просветителя Н. А. Рубакина: «Ребенок прежде всего человек, а не объект для педагогических манипуляций. За ним тоже необходимо признать своего рода гражданскую свободу и право на самоопределение, а не только вменять ему в обязанность довольствоваться тем, что ему дают г. г. старшие, слушаться и повиноваться им».

Значительная часть романа «Горе одному» посвящена исследованию жизни школьного коллектива, взаимоотношениям учителей и учеников, различных детских характеров. Герою романа, Леше, приходится сталкиваться не только с хорошим, но и с плохим, не только с добром, но и со злом. Что же является тем неосознанным компасом, который позволяет мальчику во всех сложных ситуациях, столкновениях с самыми разными людьми находить правильный, нравственный выход? Этим компасом является стремление к справедливости. По убеждению автора романа, эта черта самая главная, самая ценная в любом человеческом характере. Во всех конфликтах романа автор безоговорочно становится на сторону бескомпромиссного стремления юного человека к справедливости. Так происходит в столкновении шестиклассника Юрия Трыхно со своими товарищами.

Конфликт этот драматичен и по своему накалу и по последствиям. В романе целая глава посвящена истории падения и наказания Юрия Трыхно.

Старший пионервожатый Гаевский несложной и недоброй софистикой убеждает мальчика, что тот — ради блага для своих же товарищей — должен докладывать ему об их дурных поступках, чтобы пионервожатый мог вовремя предотвратить неприят-

ные последствия. И Юра в глазах товарищей становится предателем. Гаевский использует неопытного мальчишку ради своих корыстных целей, не задумываясь, что у ребенка расшатывается костяк нравственных понятий, что он становится непрочным, ненадежным.

Исследуя жизнь детского коллектива, Дубов не жалеет самых жестких оценок для неумных, неумелых, неталантливых людей, профессионально занимающихся воспитанием. Он сурово говорит о плохих, схематичных книгах-руководствах для детей. «В сущности, это были не книги, а сборник задачек по поведению, примеров того, что нужно и похвально делать детям и что делать нельзя и не похвально. Придуманные мальчики и девочки совсем не похожие на тех, что были вокруг Лешки, прилежно решали эти задачки».

А пионерская организация? «На пионерских сборах тоже непрерывно говорили об учебе и дисциплине, только уже не взрослые, а сами ребята. То один, то другой пионер читал по тетрадке доклад на сборе, и о чем бы он ни был, дело всегда сводилось к тому, что нужно быть дисциплинированным и хорошо учиться. Пионеры непрерывно учили друг друга хорошему поведению и усердию. Помогало это плохо... слова эти были как бы сами по себе и не влияли на их поступки».

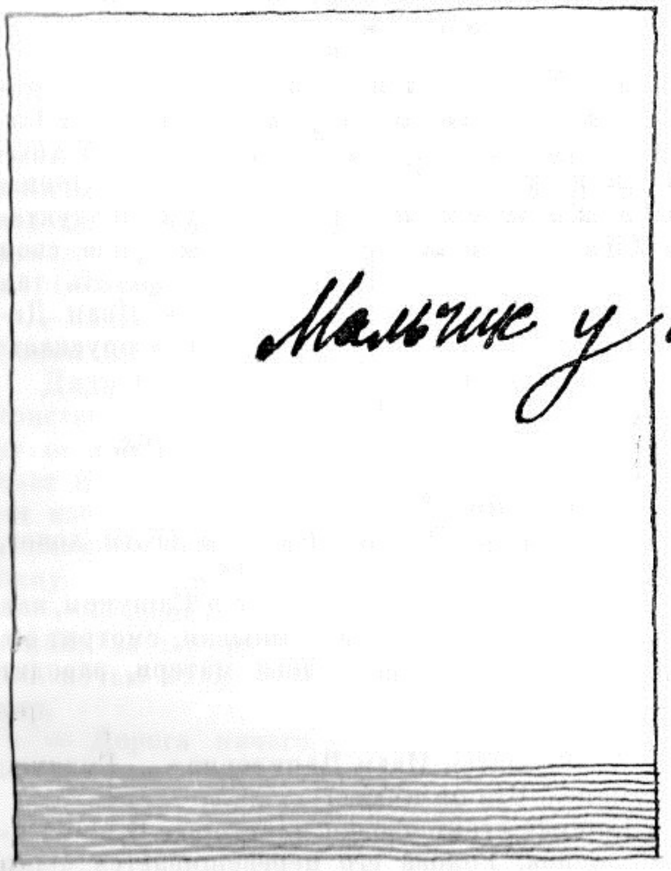
Вот где, по убеждению Дубова, начинается та раздвоенность, тот разрыв между словами и делами, за которыми следует моральная деформация не только отдельных людей, но и общества. И когда писатель перейдет от повествования о детстве и отрочестве героя «Горе одному» к рассказу о начале его юношеской, «взрослой» жизни, он развернет перед читателями неприглядную панораму жизни, где бюрократы, рвачи, равнодушные чиновники создают видимость деятельности. И любая попытка назвать то, что происходит, своим именем наказуется со всей безжалостностью, на какую эти люди способны. Конечно, не этим чинушам определять ход жизни. Работают заводы и фабрики, засеиваются и убираются поля, миллионы честных людей трудятся осознанно, не теряя своего человеческого и рабочего достоинства. Но с какой же силой тормозится продвижение вперед нашего общества!

Читателю нашего времени легче ответить на многие жгучие вопросы, поставленные в произведениях Дубова. Они обладают историческим опытом, они живут в такое время, когда гласность и демократизм, когда перестройка всей нашей жизни, в том числе и в науке и литературе, объяснили природу и причину застойных явлений, нарушение социалистических принципов в жизни советского общества. Не в характере Дубова было самоуверенно давать рецепты исправления подмеченных ошибок, нарушений, да-

же преступлений. «Мы не врачи — мы боль», — говорил некогда Герцен о своей литературной деятельности. Но мы-то сегодня достаточно грамотны, чтобы знать: боль — одна из главнейших защитных функций организма. Произведения Николая Дубова так же, как произведения Федора Абрамова, Валентина Распутина, Юрия Трифонова и других советских писателей, обладают сильнейшей болевой реакцией на несовершенство нашего общества, на негативные процессы, происходящие в городе и деревне. В сочетании с серьезным исследованием проблем воспитания это качество прозы Дубова делает ее современной и важной для читателей разных поколений.

Родина высоко оценила творческий труд писателя — в 1980 году он был удостоен Государственной премии СССР.

Лев Разгон



повесть

БЕЗДНА

Целый день Сашук ревет. Мать кричит на него, даже шлепает, отец обещает «напрочь оторвать ухи». Сашук ненадолго затихает, потом снова принимается хныкать и канючить. Дядя Семен пригоняет к правлению старый «газон», в котором уже стоят ящик с продуктами и бочка с бензином. Рыбаки кидают в кузов свои сундучки, мешки, и тогда Сашук начинает реветь так горько и безутешно, что даже сам бригадир, Иван Данилович, удивленно оглядывается, подходит и опускается перед Сашуком на корточки.

— Ты чего нюни распустил?

— К-ктька, — захлебываясь, говорит Сашук.

Бригадир не понимает.

— Настя, чего он у тебя?

— Да ну, баловство! Собачонка своего везти хочет, кутенка. А куда его? И так мороки хватает...

Бригадир Иван Данилович нависает над Сашуком, как гора. Сашук затихает, беззвучно всхлипывая, смотрит на него снизу вверх, но, услышав слова матери, заводит снова:

— Ы-ы...

— Постой! — морщится Иван Данилович. — Гудишь, как бакан в тумане... Это он и есть?

Между ног Сашука стоит ивовая плетушка. В плетушке спит пегий щенок. Голова его перевешивается через край, щенок негромко, но внятно храпит.

— Ишь ты, — усмехается Иван Данилович, — притомился... Ладно, бери свою животину. Слышь, Настя, пускай берет, чего ты ребятенку душу надрываешь... Кутенок — не волк, чай, артель не объест...

Сашук вскакивает:

— Дяденька Иван Данилыч...

— Нет, ты погоди. Ты сперва беги умойся. Какой из тебя рыбак, ежели ты весь в слезах да соплях?

Сашук мигом подбегает к колодцу, плещет из бадейки на лицо, выдернутым из штанов подолом рубахи утирается и, подхватив плетушку, бежит к машине.

— Готов, ревушка-коровушка? — говорит Иван Данилович. — Иди с мамкой. Ты, Настя, садись в кабину, а то за Измаилом дорога и из мужиков душу выбивает.

— То ж ваше место, Иван Данилыч...

— А ты после болезни.

Иван Данилович подхватывает Сашука под мышки, и вместе с плетушкой Сашук оказывается в кабине.

— За ручку не хватайся, выпадешь — костей не соберешь.

Мать сидит рядом с дядей Семеном, Сашук становится у окна и высовывает голову наружу. Вокруг стоят ребята со всей улицы. Кто пришел отца провожать, а кто так — посмотреть. Они еще загодя начинают махать руками. Сашук им тоже машет. Немножко. Пускай знают. Они остаются, а он уезжает.

— Все сели? — говорит Иван Данилович. — Поняй, Семен. Счастливо...

Дядя Семен что-то поворачивает, «газон» начинает трястись и трогает. Ребята, крича, бегут рядом, но сразу остаются позади. Мелькают избы, на повороте сверкает оловянное зеркало Ялпуха. И вот нет ни Ялпуха, ни изб, дорогу сплошными стенами обступает кукуруза, размахивает желтыми метелками и заглядывает в кабину.

— С нашими темпами, — говорит дядя Семен, — только на похороны. Цельный день собирались. Теперь вот ночью ехай. А по такой дороге и в день — не сахар.

— Дорога ничего, — говорит Сашукова мамка. — Как-то там будет?

— А что? Нормально будет.

— Ну да! А зачем этого уголовника взяли? Нужен он...

— А что? Парень как парень.

— Да ведь в тюрьме сидел. Небось туда зря не сажают...

— Кто в тюрьме сидел? — спрашивает Сашук.

— Да Жорка этот, рыжий который да горластый... Ты от него подальше, слышь, сынок?

Дядя Семен косится на нее, но ничего не говорит.

Кукуруза расступается, за ней появляются домики, дома, потом домищи.

— Это что? — спрашивает Сашук.

— Город. Измаил.

Дома становятся всё больше, всё длиннее и всё выше. Сашук высовывает голову из кабины, выворачивает ее,

чтобы сосчитать окна, но все время сбивается. Город большой. Как десять Некрасовок. Нет, наверно, как сто... И улицы здесь совсем другие. Обсажены деревьями. И на дороге нет ни колеи, ни ям, она гладкая-гладкая, будто выструганная. И ни луж, ни пыли...

Дядя Семен притормаживает у перекрестка, и Сашук видит на большом камне лошадь, а на ней сухонького человека, который держит в поднятой руке чудернацкую шапку.

— Это кто?

— Суворов, — говорит дядя Семен. — Генерал такой был. Завзятый вояка.

— Он — как Чапай, бил фашистов?

— Фашистов тогда, кажись, не было. Он давно жил. Хотя, кто его знает, может, какие свои были...

— А ты, дядя Семен, фашистов бил?

— Нет, я баранку крутил.

— Ну все одно на войне?

— На войне.

Город кончается. И вместе с ним кончается хорошая дорога. «Газон» начинает трясти, подбрасывать и заносить. Под колесами взрывается пыль, желтым облаком взвивается к небу и скрывает заходящее солнце.

По крыше кабины стучат.

— Семен, совесть надо иметь! — кричит Иван Данилович.

Дядя Семен дергает какую-то штуку, машина идет медленнее, но ее так же треплет, толкает, бросает из стороны в сторону. Сашук то и дело стукается головой о раму окна. Мать подхватывает его, сажает на пружинное сиденье. Плетушка с кутенком подпрыгивает на полу кабины, кутенок мечется. Сашук сползает, поднимает плетушку, ставит себе на колени. Кутенок сворачивается в клубок и снова засыпает.

Так они и едут — взрывают колесами пыль, а сзади она клубится багровым пожаром. Изредка впереди появляется косой столбик пыли. Он стремительно мчится им навстречу, вырастает до неба. Дребезжа, проносится встречный грузовик, и тогда не только сзади, но и спереди все заволакивает пылью. Сашук и даже кутька во сне вертят головами и чихают. Мать обтирает лицо хвостиком косынки, а дядя Семен сердито, но тихонько чертыхается.

Солнце садится, и сразу же начинает темнеть. Дядя Семен включает фару — у него горит только одна левая. Жидкий желтоватый снопик света упирается в изрытую колдобинами дорогу. Иногда он выхватывает из темноты раскоряченное чудище, но машина подъезжает ближе, чудище оказывается старой ветлой или обшмыганным кустом. Глаза у Сашука режет, будто туда насыпали песку, но он, придвинувшись к самому ветровому стеклу, все смотрит и смотрит.

— Будет таращиться-то, — говорит мать, — ничего там нет и смотреть не на что. Спи давай. — Она прижимает его голову к своему теплому боку.

— Да ну, мамк, не хочу я спать, — говорит Сашук и отодвигается. — А море скоро?

— До моря ты еще десятый сон увидишь, ночью приедем, — отвечает дядя Семен.

— Оно какое? Как Ялпух?

— Сравнил! — говорит дядя Семен. — Ялпух — лужа, а море — это, брат, бе́здна...

Сашук недоверчиво смотрит на него. Смеется, что ли? Какая же Ялпух лужа, когда другой берег еле-еле видно, да и то если взобраться в плавнях на вербу. А где он начинается и кончается, и вовсе не видно, куда ни взбирайся.

— А бездна — это что?

— Ну... бездна и бездна... Без дна, значит.

— Как это — без дна?

— Вот так. Без дна, и все...

Сашук пробует представить себе бездну, но у него ничего не получается. У всего есть дно. В колодце дно совсем недалеко. Когда соседка Христина упустила в колодец ведро, туда забросили «кошку» на веревке, пошарили-пошарили и достали. Ведро лежало на дне. Ялпух, конечно, куда глубже. Сашук и другие ребята сколько ныряли, а достать дно не могли. Только и там дно есть. Сашук сам видел, как в дно забивали колья для неводов и как с лодки бросали якорь. А якорь, он за что держится? За дно. Не за воду же! Значит, дядя Семен просто так говорит, чтобы посмеяться.

Сашук оглядывается на дядю Семена, но тот вовсе не смеется, а напряженно всматривается в еле освещенную фарой дорогу. И Сашук тоже смотрит на нее. В желтоватом снопике света всё впереди начинает путаться, потом сливается в монотонную пеструю ленту и гаснет.

...Его будит кутькин скулеж. Сашук поднимается, спускает ноги с топчана. Кутька бросается к ним и скулит.

— Цыц! — строго говорит Сашук. — Чего нюни распустил?

В распахнутую дверь комнатки-клетушки врывается слепящий свет.

— Ух ты! — говорит Сашук и вслед за кутькой выбегает во двор.

Под навесом возле плиты, раскрасневшаяся от жары, мать мешает варево в здоровенном котле. Над большим двором, пустым и вытоптанным, как поскотина, полыхает зной. Только под стеной бригадного барака да у столбов жердевой изгороди торчат пучки пропыленной травы. Даже издали видно, что она жесткая и колючая.

— Мамк, а где все? — кричит Сашук.

— Где ж им быть? В море ушли, еще затемно.

Сашук смотрит в ту сторону, куда она показала. За оградой пустырь постепенно переходит в невысокий бугор, за ним ничего не видно.

— Поди поешь, — говорит мать.

Этого Сашук уже не слышит. Он припускает через двор, ныряет под жердину.

— Не лезь купаться! — кричит мать. — А то лучше не приходи, все вихры оборву.

Бугор порос жесткой колючей травой, но Сашук не обращает внимания на колючки. Он бежит во весь дух. Сзади, поскуливая, ковыляет кутька.

Сашук взбегает на бугор, останавливается и отступает. Дальше нет ничего. Отвесной стеной бугор обрывается вниз. Обрыв такой глубокий, что у Сашука внутри все холодеет.

— Ух ты! — шепотом говорит Сашук. Он даже пятится немножко, но потом снова заглядывает под обрыв.

Далеко внизу змеится узкая полоска песка, у самого края ее облизывают маленькие волны, а дальше — впереди, вправо и влево — нет ничего. Голубая, сверкающая, слепящая пустота. Как небо.

Сашук взглядывает вверх, над собой. Нет, небо другое. Оно бесконечно далекое, но знакомое, привычное — голубое и неподвижное. Лишь кое-где тихонько плывут белые-пребелые облака. Он переводит взгляд ниже. Там небо становится все светлее, потом начинает струиться, переливаться, нестерпимым блеском разливается во все стороны, подступает к самому берегу, где плещутся мелкие волны.

Сашуку даже трудно становится дышать. Значит, вот

это и есть море? Значит, правду сказал дядя Семен, что оно без дна, раз оно такое большое — ни конца ни краю...

Он смотрит вдоль берега. Вдалеке справа виднеется высокая решетчатая башня, а на ней маленькая, как скворечница, будочка. Слева от берега уходит в море причал на сваях. Он не похож на тот, что Сашук видел в Некрасовке. Там низенький и пустой, как мосток. А здесь сваи выступают из воды высоко, а от настила к высокому берегу поднимается на столбах какая-то тоже решетчатая штука. Она упирается в большой, длинный сарай и исчезает в нем. Над причалом кружит несколько чаек. Одна из них летит в сторону Сашука, и он видит, что и чайки здесь совсем не такие, как на Ялпухе. Там маленькие, белые, а здесь здоровенные, как гусаки, и белые только снизу, а спина рябая, как у дикого гуся...

— Что ты тут сидишь? — раздается за спиной голос матери. — Зову-зову, как оглох... Небось купался? Говори по правде.

— Не, я не купался, — оборачивается Сашук к матери. — А где рыбаки? Может, они уже утонули?

Про себя он уже давно это думает, но решается сказать вслух только теперь, когда подходит мать. А что? Раз море такая бездна, как сказал дядя Семен, и совсем без дна, тут утонуть в два счета...

— Типун тебе на язык! — сердится мать. — Вон они, вертаются уже.

— Где, где? — вскакивает Сашук, но ничего не видит. Только когда мать поворачивает его голову и показывает рукой, он различает среди слепящей ряби еле заметные букашки — лодки.

— Я, мамк, здесь подожду.

— Нечего тут сидеть. Им еще часа два ходу. Поешь, потом вместе встречать пойдем.

КРУТОЙ ЗАСОЛ

К причалу ведут дощатые сходни с поперечинами из брусков. Между сходнями громоздится непонятная штука: от большого барака, который стоит на высоком берегу, прямо на причал опускается длиннющая резиновая лента. Она лежит на железных валка́х и похожа на желоб, такой широкий, что Сашук может лечь в него,

как в люльку. Лента скрывается в большом ящике на причале, там изгибается и уже под валками снова уходит наверх, в барак.

— Это чего?

— Машина, чтобы рыбу гнать в цех, на засолку.

Сашук удивляется и не верит — как это рыбу можно гнать? Что она, дура, чтобы самой на засолку идти?

— Не подходи к краю, упадешь, — говорит мать, но Сашук все-таки заглядывает вниз, под помост.

Там переливается, плещет зыбкая зеленоватая глубина. Раза три «с ручками». А то и четыре. Может, даже самому бригадиру Ивану Даниловичу будет «с ручками», а он дяденька — ого-го, выше всех в Некрасовке... Но все-таки за этой глубиной видно дно — ровное песчаное дно, по которому бегут легкие тени и солнечные зайчики от волн на поверхности... А где же бездна? Может, там, где лодки?

Лодки уже подходят. Два ряда весел на каждой враз поднимаются, дружно посылают Сашуку зайчиков и снова опускаются. Над лодками, горланя что есть мóчи, мечутся чайки. Они обгоняют лодки, взмывают вверх, как планеры, разворачиваются, показывая толстые белые животы, пикируют вниз и кричат, кричат не переставая. Таких горластых чаек на Ялпухе нет...

Налитые серебристой рыбой лодки подваливают к причалу. Рыбаки взбираются на помост, подтаскивают к краю плоские ящики. В каждой лодке остается по два рыбака. Большими сачками они начинают перегружать рыбу в ящики. Сашук пробует пройти на конец причала к отцу, но оскальзывается на мокрых досках и падает.

— Ты зачем здесь? — кричит отец. — А ну, уходи на берег!

— Ничего, крепче будет! — говорит ему рыжий Жорка. — Пускай привыкает.

Сашук прижимается к стойке, на которую опираются валки резиновой ленты. Жорка, присев на корточки, разгребает руками рыбу в ящике. Длинных, с красивыми темными разводами на спине он бросает в особый ящик, маленьких черноспинных швыряет обратно в море.

— А зачем? — спрашивает Сашук.

— Что, выкидаю? Так это дрянь — голыши, их даже чайки не жрут. Давай подсобляй, приучайся. Вот это — видишь, с узором на спинке — скумбрия. Рыба первый сорт, ее сюда. А это ерш, пускай здесь остается.

— Ерш не такой.

— Ну, по-настоящему это ставрида, а мы ершом зовем.

Сашук берет в руки рыбку и тотчас выпускает — в ладошки впиваются острые шипы.

В ящик шлепается бугристая толстая лепешка.

— Во, — говорит Жорка, — обед нам пришел. Видел такую рыбу? Камбала называется.

— А почему у нее глаза на спине?

— Не на спине, а на одном боку. Другим она на дне лежит. На, тащи мамке. Удержишь?

— А то нет! — говорит Сашук, хватая рыбину обеими руками.

Камбала такая тяжелая и скользкая, что ему приходится прижать ее к животу. И все-таки он не удерживает. Рыбина шлепается на помост прямо Сашуку под ноги; он падает на нее, животом на колючки. Рыбаки смеются. Сашук обижается и отходит в сторонку. Оцарапанный живот щемит и саднит; ему хочется посмотреть, как он исцарапался, и даже заплакать, но он боится, что смеяться будут еще больше, и притворяется, что смотрит на чаек. Чайки расплываются и сдваиваются. Сашук быстро-быстро моргает, чтобы прогнать слезы.

Наполненные ящики ставят один на другой, поближе к резиновой ленте. Из сачков, ящиков падают ставридки на помост, рыбаки ступают резиновыми сапогами прямо по ним. Сашук нагибается и начинает подбирать.

— Хозяйственный хлопчик, — говорит Игнат Приходько, их сосед по Некрасовке, — еще, гляди, боцманом станет...

— Просолится как следует — будет боцман что надо, — говорит Жорка.

— А как вы рыбу будете гнать? — спрашивает Сашук. — Она же скулая.

— Сейчас увидишь. Можно давать, Иван Данилыч?

Бригадир кивает. Жорка закладывает пальцы в рот, оглушительно свистит, и тотчас что-то начинает рокотать, помост трясется, а резиновая лента ползет наверх. Рыбаки подхватывают ящик с рыбой, опрокидывают в большой ящик над резиновым желобом; она сейчас же появляется в желобе и серебристой полосой плывет в нем к бараку.

— Ты на транспорте катался? — перекрывая шум, кричит Сашуку Жорка. — Нет? Тогда поехали?

Он хватает Сашука, поднимает в воздух. Сашук

взбрыкивает, но не успевает вырваться и оказывается в ползущем резиновом желобе.

— Держись крепче! — кричит Жорка.

Желоб ползет к берегу, поднимается все выше, снизу что-то подталкивает Сашука, он судорожно вцепляется в края резиновой ленты.

— Эй! — орет Жорка. — Принимай ерша в засол! Соли покруче!

Мать кричит, бежит вдоль ленты, но достать Сашука уже не может. Лента ползет все дальше и дальше. Сашук уже выше, чем сам Иван Данилович. Он хочет сползти вниз, но лента несет его выше и дальше от причала, а вокруг так пусто и страшно, а до земли так далеко, что Сашук пригибается и зажмуривается. Чьи-то руки поднимают его, снимают с ленты и ставят в лужу на цементном полу. Только тогда Сашук и открывает глаза.

— Ты что это, кататься вздумал? Вот я тебе покатаюсь! — сердито говорит чужой усатый дядька и шлепает Сашука по тому самому месту. Шлепает он не сильно, но Сашук обижается — он же не сам залез на эту резиновую штуку...

Сашук выбегает в широкие, как ворота, двери. Снизу, с причала, Жорка что-то кричит ему, машет рукой, Сашук отворачивается и идет домой.

Каждую весну ноги у Сашука в цыпках. Цыпки еще и сейчас не сошли, но уже подживали, и Сашук о них даже не помнил, а теперь их начинает щипать и жечь: лужа на цементном полу была соленая. Сашук бежит к рукомойнику во дворе, задирая по очереди ноги, обмывает растрескавшуюся кожу. Щиплет меньше, но цыпки вспухают и краснеют.

— Я говорила — подальше от этого бандюги. — Мать приносит полную кошелку рыбы, вываливает ее на стол и принимается чистить. — Он тебя обучит, доведет...

Насупившийся Сашук молчит.

Рыбаки возвращаются с причала, фыркая и крякая от удовольствия, умываются и садятся за стол.

— Эй, Боцман, пошли рубать! — кричит Сашуку Жорка, но Сашук притворяется, будто не слышит, и нарочно садится подальше от Жорки, рядом с отцом.

Едят долго, не торопясь — отдыхают. Потом начинают разбредаться, закуривать. Сашук так наелся кулеша и камбалы, что ему лень вставать. Кутька тоже осовел, свалился, высунув язык и выпятив вздувшийся живот.

— Привез все-таки... — говорит Игнат. — Бить тебя некому.

— А за что бить? — спрашивает Жорка.

— Чтоб собаку за собой не таскал. Баловство. Собака на цепи должна сидеть. Чтобы злой была.

— А ты сам на цепи сидеть пробовал?

— Мне незачем. Сажают кого следует...

Лицо Жорки краснеет, потом начинает бледнеть, а на открытой шее вздуваются толстые жилы. Но он перемогается и, помолчав, говорит:

— Ладно, считай, что я пока не понял... Только ты не заречайся — еще сядешь. За жадность. Жадности в тебе на всю бригаду хватит.

— Ты меня не воспитывай, за собой лучше гляди...

Игнат поднимается и уходит в хату.

— Кугут чертов! — сквозь зубы говорит Жорка. — Собачонок ему помешал... Как его зовут?

— Кутька, — нехотя отвечает Сашук. Он решил про себя ни за что больше не водиться с этим Жоркой, но как же не ответить, если Жорка вступился за кутенка.

— Ну, кутька... Все щенята кутьки. Надо, чтобы свое имя было, на особицу... Ишь наел пузо, выгнулось, как бимс...

— А что это — бимс?

— Балки, на которых палуба лежит... Эй, ты, — Жорка щелкает пальцами, — Бимс, иди сюда!

Кутька поднимается и, волоча по пыли живот, подходит к нему.

— Гляди-ка, сразу понял! — радуется Жорка и начинает теребить щенка.

Тот опрокидывается на спину, задирает лапы и подставляет свой вздувшийся живот, на котором сквозь редкую белую шерсть просвечивает розовая кожа.

— Да ну, — говорит Сашук и поднимает щенка на руки, — нечего над ним командовать.

Он снова идет к морю, садится над обрывом, кутька укладывается рядом. Ветер ерошит сверкающую гладь, волны у берега становятся больше, шипят и пенятся, распластываясь на песке. Чайки бесшумно скользят на распростертых крыльях, потом поворачивают и летят обратно, как патруль. Время от времени то та, то другая камнем падает на воду и снова взмывает вверх, держа в клюве рыбину. Чайка на лету заглатывает ее и опять неторопливо летит туда, потом обратно.

А один раз большая чайка нападает на маленькую и

отнимает у нее добычу. Маленькая чайка кричит, и тогда громко, пронзительно начинают кричать и другие чайки. Должно быть, они тоже возмущаются и сердятся на здоровенную ворюгу...

— Ты чего тут сидишь? Пойдем купаться?

Рыжий Жорка тихонько подходит, останавливается сзади. Сашук оглядывается на него и отворачивается.

— Никуда я с тобой не пойду.

— Что так? — Жорка садится рядом. — За транспортер обиделся? А ты не сердись. На сердитых, говорят, воду возят... Пошли.

— Не хочу. И мамка не велит с тобой.

— Почему?

— Она говорит, ты бандит.

Жорка вспыхивает и тут же бледнеет. И снова на шее у него вздуваются толстые жилы, а на щеках играют желваки, будто он катает за щеками орехи.

— Дура она, — помолчав, говорит он.

— Моя мамка не дура! — кричит Сашук.

— Ну, верно — про мамку так нельзя... Только зря она так говорит.

— И не зря! Она говорила, ты в тюрьме сидел.

— Ну, сидел...

— Вот! Значит, правда... А как это в тюрьме сидят?

— Да очень просто: запрут тебя под замок в камере — ну, в комнате такой, каменной, — и сидишь. И год, и два, и три... Какой срок дадут.

— И все время в камере? А на улицу?

— Какая уж там улица... — невесело усмехается Жорка. — Только если на работы пошлют.

— А за что в тюрьму сажают?

— Кого как — за воровство, за убийство, по-разному...

— А тебя за что?

— За дурость. Начальника одного побил.

— Разве начальников можно бить?

— Некоторых следует, только не кулаками. От кулаков все равно толку не будет, тебе же хуже...

— А за что ты его?

— Гад он был. Форменный самодур. Людей, можно сказать, мордовал... Хочет — дает работу, хочет — поставит на такую, что припухать будешь, а кто слово скажет — вовсе выгонит... Там почти сплошь бабы работали. А бабы известно: молчат да плачут. Ну, я и срезал-

ся с директором. «В чем дело, — говорю, — товарищ директор? У нас Советская власть или нет?» — «Советской власти, — говорит, — такие, как ты, не нужны». — «Ах ты, — говорю, — мешок кишок, за всю Советскую власть расписываешься? Думаешь, ты Советская власть и есть?» Слово за слово. Я, когда остервенюсь, себя не помню. Скреб чернильницу — у него здоровая такая, каменная была — и в морду... При свидетелях. Ну, мне припаяли политику, вроде я против власти. Десятку дали. Пять лет отсидел, похлебал соленого. Потом пересмотрели, выпустили... Это давно было, в пятьдесят втором...

— А где он теперь, этот... самордуй?

— Самодур? Не знаю... Может, и сейчас в начальниках ходит. Да черт с ним!.. Пошли искупаемся, жарко.

— Не... Дядя Семен сказал, там дна нет.

— Как это — нет? Дно везде есть. Или ты плавать не умеешь?

— Умею. Только я боюсь, если без дна.

— Есть дно, есть. Пошли, вместе достанем.

Неподалеку от причала обрыв переходит в пологий откос. Разъезжаясь ногами в раскаленном песке, они сбегают по откосу к воде. Кутька кубарем скатывается следом, потом долго трясет головой и чихает.

НОЧНОЙ ДОЗОР

— Вон оно, дно, видишь? — говорит Жорка, раздеваясь.

— А там? — показывает вдаль Сашук.

— И там есть, только глубоко. И туда тебе плыть нельзя — утонешь.

— А чего это у тебя нарисовано? Разве на человеках рисуют?

На груди у Жорки синими точками наколоты бубновый туз, бутылка и женская нога. И сверху написано: «Что нас губит».

— Дурость! — отмахивается Жорка. — На дураках и рисуют.

— Ты разве дурак?

— Был. Может, и сейчас малость осталось.

Он разбегается, ныряет и так долго плывет под водой, что Сашук начинает думать, что он уже захлебнулся и утонул.

— Давай, Боцман! — кричит, отфыркиваясь, Жорка. — Ныряй!

Сашук набирает в себя побольше воздуху — у него даже щеки надуваются пузырями, — складывает ладошки возле самого носа, ныряет и... едет животом по песку на мелководье. Жорка хохочет.

— Чудик! Что ж ты землю пузом пашешь?

— А если тут мелко? — обиженно говорит Сашук.

— На тебя не угодишь — то глубоко, то мелко. — Жорка подплывает ближе, становится на ноги и пригибается. — Влезай на плечи.

Сашук вскарабкивается, вцепляется в его рыжие волосы. Жорка распрямляется, и Сашуку даже жутко становится, так высоко он поднимается над водой. — Жорка только чуть-чуть поменьше Ивана Даниловича.

— Готов? Але-оп!.. — Жорка встряхивает плечами.

Сашук, не успев сложить ладошки, враскорячку, как лягушонок, плашмя плюхается в воду.

— Ну как?

— Здóрово! — кричит Сашук. — Бимс, сюда!

Кутенок стоит у самого уреза, пятится от набегающих волн и тявкает. Сашук ловит его, подняв на руки, несет в воду. Кутенок скулит и вырывается. Сашук заходит по грудки, пускает щенка. Тот захлебывается, фыркает и отчаянно молотит лапами — плывет. Сашук идет следом и хохочет. Выбравшись на песок, Бимс трясет головой, висячие уши шлепают его по морде, как мокрые тряпки.

— Тут лучше купаться, чем у нас в Ялпухе, — говорит Сашук, совсем уже запыхавшись и улегшись на песок.

— Вода соленая, сама держит.

— А почему никто не купается, рыбаки наши?

— Они уже старые, им не хочется.

— Так ты ведь тоже старый.

— Еще не очень — только тридцать два года... Пошли, а то мамка тебя хватится, шухер поднимет.

Они поднимаются по откосу.

— Там чего? — показывает Сашук на решетчатую башню со скворечницей наверху.

— Пограничная вышка. Пограничники сидят, границу сторожат.

— От шпионов?

— Ну да.

— Пойдем посмотрим.

— Чего там смотреть? Да и они увидят — прогонят.

— А если ночью? Они и не увидят.

— Ночью, брат, спать надо.

— А там чего?

— Дот был. Немецкий.

Развалины дота недалеко от обрыва. Из уцелевших оснований бетонных стен торчат скрюченные железные прутья, покореженные балки. Щебень, присыпанный землей, зарос бурьяном. Сашук пробует обхватить остаток стены, но пальцы его не дотягиваются до краев. От дота, немного не доходя до обрыва, змеятся осыпавшиеся, заросшие окопы.

— Может... — с надеждой в голосе говорит Сашук,— может, тут пули остались, а? Давай поищем?

— Как же, двадцать лет лежат, тебя дожидаются... Вон мамка бежит, сейчас она отольет тебе пулю.

Мать быстро-быстро идет им навстречу. Она даже не смотрит на Жорку, будто его совсем и нет, шлепает Сашука, хватает его за руку и тащит к дому. Только когда Жорка остается далеко позади, она сердито шепчет:

— Сколько раз говорила, чтоб ты к этому бандюге не липнул!

— Так он совсем не бандюга, мам, он рассказал... Ой, ну чего ты дерешься?.. Будешь драться, и тебя в тюрьму посадят.

— Вот я тебе покажу!..

Сашук, извернувшись, вырывается и убегает.

— Беги, беги, домой все равно придешь!

Сашука угроза не пугает: мать отходчива, долго сердиться не умеет.

Она и в самом деле отходит и, когда Сашук прибегает обедать, не только не шлепает его, но даже ни слова не говорит. После обеда мать моет посуду, потом начинает перетирать. Сашук садится в холодке за крылечком, рядом укладывается Бимс и тут же засыпает. Разомлевшего от еды Сашука тоже клонит в сон, он едва не засыпает, но в это время из барака на крыльцо выходит Жорка. Сашука он не замечает, идет прямо к матери. Она искоса взглядывает на него и тотчас опускает взгляд на посуду.

— Слышь, Настя... — говорит Жорка.

Мать слегка поворачивает к нему лицо, но глаз не поднимает.

— Ты чего мальца от меня шугаешь?

— Ты ему не компания.

— Ему тут никто не компания — одни старые хрычи.

— Хрычи не хрычи, да уж и не замаранные...

— А я замаранный? Я что, убил кого или ограбил?

— Я там не знаю... — говорит мать и так сердито трет полотенцем миску, будто хочет провертеть в ней дырку.

— Так ты спроси!

— Не мое это дело, незачем и спрашивать.

— А зачем словами кидаться? «Бандит», «в тюрьме сидел»...

— А скажешь — нет? — вскидывается мать.

— Ну, сидел... Так ведь за что? За таких вот дур вступился...

Мать молча трет все ту же миску, потом говорит:

— Сказать все можно...

— «Сказать»... — повторяет Жорка. — За словами человека видеть надо... Эх, ты!

Он поворачивается и, опустив голову, уходит в барак, а мать исподлобья смотрит ему вслед.

— Ну чего ты к нему привязалась, мамка? — говорит Сашук. — Он же...

— Цыц! — кричит мать и в сердцах замахивается полотенцем. — Ты еще туда же...

Перед вечером рыбаки снова уходят в море. Сашук вместе с Бимсом провожают их до причала, потом сидят на причале и смотрят им вслед, пока лодки не становятся совсем крохотными. Тогда Сашук свистит Бимсу и идет к бывшему доту. В конце концов, откуда Жорка знает? Вдруг что-нибудь там осталось и никто не нашел, а он, Сашук, найдет? Некрасовские ребята прямо треснут от зависти...

Как он ни старается, ничего не находит. Всюду верблюжья колючка, репейник, бетонный щебень и раскаленная солнцем пыль. Сашук только зря искалывает руки и весь исцарапывается. Тогда он начинает играть в войну. Залегает в осыпавшийся окоп и строчит из пулемета по фашистам: та-та-та-та-та... Одному играть скучно, и мешает Бимс. Он бегает без всякого толку и не понимает никаких команд. А когда Сашук по-пластунски ползет в разведку, Бимс начинает лаять и хватать Сашука за пятки. Какая уж тут разведка...

Сашук бежит к пограничной вышке, но скоро переходит на шаг, потом останавливается. Возле лестницы, поднимающейся к будке, привязана лошадь. Она переступает с ноги на ногу и отмахивается хвостом. Может, там кого уже поймали?.. Ему очень хочется подойти поближе и рассмотреть все как следует, но он заранее знает, что его прогонят. Если бы еще солнце не так ярко светило, тогда можно бы подобраться незаметно, но солнце, хотя и стоит низко, светит вовсю, а степь голая, как цыганский бубен, никуда не скроешься, его издали заметят и обязательно шуганут. Большие ведь всегда думают, что только им все интересно, а маленькие пускай как хотят...

Сашук бредет домой. Он хочет дождаться возвращения рыбаков, но мать заставляет его есть, потом он кормит Бимса, а потом глаза у него начинают слипаться, и просыпается он уже ночью, на топчане.

За перегородкой наперебой храпят рыбаки. Отец и мать тоже спят. Спит и Бимс на полу возле двери. В окно над самым подоконником заглядывает луна. Сашук тихонько сползает с топчана, идет к двери. Бимс пытается свернуться калачиком, но вздувшийся живот мешает, и он опять распластывается на боку, раскинув лапы.

Чтобы далеко не ходить, Сашук пристраивается тут же у крылечка. Луна, совсем не некрасовская, а какая-то непохожая — огромная, наливающаяся красным, — висит над горизонтом. И во дворе и в степи все-все видно, только совсем иначе, чем днем. Призрачно и печально. Пограничная вышка черным пятнышком торчит среди редких звезд.

А что, если сейчас пойти и посмотреть, как они ловят шпионов? Сашук дома тоже ловил. В плавнях. Там здорово трудно ловить, когда ребята спрячутся в камышах. Так ведь то понарошку...

Сашук осторожно шагает и прислушивается. Из хаты доносится храп. Бригадир Иван Данилович всегда храпит ровно и густо, как трактор на холостом ходу... Сашук шагает дальше. Ноги утопают в теплой пыли, и шаги совсем не слышны. Он ныряет под изгородь, бежит к вышке. Вот уже и бугры разрушенного дота, осыпавшихся, заросших окопов. Сашук переходит на шаг, оглядывается по сторонам. Нет, он нисколечко не боится, но все-таки ему становится жутко: там же мертвяки, убитые фашисты... Днем они ничего не могут, а ночью?..

Где-то поблизости пронзительно свиристит цикада. Сашук останавливается. Снова тихо. Бугры немы и неподвижны. И вдруг он видит, что из земли торчат скрюченные руки... Сашук обмирает, холодеет и только соби-

рается заорать и дать дёру, как вспоминает, что днем уже видел их, и это совсем не руки, а погнутые железные балки. Сашук переводит дух. Ну чего в самом деле? Фашистов тут убивали, но хоронили где-нибудь в другом месте... Значит, никаких мертвяков тут нет!

Озираясь по сторонам, Сашук тихо и осторожно, как по стеклу проходит мимо бугров. Спина у него становится деревянная, дыхание все время перехватывает. Бугры остаются позади. Сашук идет быстрее, потом бежит. Вышка уже недалеко. Из-за бугра выглядывает только краешек багровой луны. Он тает, исчезает, и сразу вдруг становится совсем темно... Сашук бежит вперед что есть духу, натыкается на лестницу вышки и вцепляется в нее. Вокруг стоит тишина. В черном небе мерцают редкие звезды. Рядом топырится кустик верблюжьей колючки. И больше не видно ничего — ни бригадного барака, ни развалин дота. Далеко вверху торчит будка, и кто-нибудь там, наверно, сидит. А если нет? Сашук прислушивается, но ничего не слышит.

Только тогда Сашук понимает, что он наделал. Один, совсем как есть один в пустой черной степи. Нигде ни души, а между ним и бригадным бараком, где спят отец и мать, разрушенный дот и окопы со всеми своими мертвяками. Вцепившись в лестницу, Сашук тихонечко, как кутька, скулит от страха.

Лестница скрипит под тяжелыми шагами, кто-то трогает его за плечо.

— Малчик? Зачем здес? Пачиму плячишь?

— Я не плачу, — всхлипывает Сашук.

— Зачем сюда пришел? Где твоя папашка-мамашка? А? Иди к ней.

Сашук оглядывается в страшную пустоту, которая отделяет его от бригадного барака, и отчаянно мотает головой.

— В чем дело, Хаким? — кричит кто-то сверху.

— Баранчук... Малчик маленький. Плячит-плячит,— отвечает Хаким.

— Какой мальчик?

— Сам не панимаю — малчик, и все.

— Тащи сюда, разберемся.

Хаким берет Сашука на руки и несет вверх по лестнице. В лицо Сашука упирается ослепительный лучик света.

— Ты чей? Откуда?

Ослепленный светом, Сашук жмурится.

— Там, — машет он рукой, — там мамка. И рыбаки. Папка тоже там.

— А сюда зачем?

— Посмотреть.

— Нечего тут смотреть, беги к мамке!

— Не пойду, — говорит Сашук и пятится, пока не упирается в стенку будки. — Там темно. Я боюсь.

— Сюда идти не боялся? Дойдешь и обратно.

— Да, как же! — говорит Сашук. — Тогда луна светила...

— Все равно, тут посторонним не положено. Понятно?

Солдат с поперечными нашивками на погонах говорит очень сердито. Вместо ответа Сашук начинает опять всхлипывать.

— А вот плакать совсем не положено, — еще сердитее говорит солдат с нашивками. — Пришел к пограничникам и ревешь. Какой тогда из тебя солдат?

— Я же ж маленький, — всхлипывает Сашук.

— Привыкнешь маленький — и взрослый раскваснешься. Отставить плакать! — командует солдат.

— Я б-больше не буду...

— И отвечать надо как положено: есть отставить плакать!

— Есть отставить! — повторяет Сашук. — Только вы меня не прогоняйте. Я ничего не буду трогать и баловаться не буду.

— Пускай сидит, а? — говорит Хаким.

— Не положено. И там мать-отец хватятся, подумают — пропал.

— Так я же не пропал! — говорит приободрившийся Сашук. — Я с вами!

— Ладно, сиди пока. Вот придешь домой, отец тебе заднее место ремнем отполирует!

— Не, — вздыхает Сашук, — он у́хи драть будет...

— Ухи — тоже доходчиво.

Будка совсем маленькая и пустая. Дверь, три оконных проема и скамейка. Ничего интересного. Солдаты стоят возле оконных проемов и смотрят. Сашук приподнимается на цыпочки, тоже заглядывает в проем, но ничего не видит. Вокруг темным-темно, только сверху подмигивают разгорающиеся звезды. Вдруг справа темнота взрывается. Дрожащий голубой столб света ударяет вверх, наклоняется — и внезапно появляются четкие, резкие, будто они совсем-совсем рядом, голубой обрыв

над морем, пучки травы на нем; потом выпрыгивает из темноты далекий причал с транспортером, поголубевший бригадный барак сверкает бельмами оконных стекол.

— Чего это? — тихонько спрашивает Сашук.

— Прожектор.

— Он смотрит, да?

— Он светит. А смотрим мы.

Столб пронзительного дрожащего света, обшарив берег, бежит вправо, в нем начинает сверкать волновая рябь моря. Световой столб отворачивает все дальше и дальше вправо, потом вдруг исчезает, и вместо него перед глазами Сашука долго дрожит над морем черная полоса. Солдаты опускают бинокли.

— Вам тут хорошо шпионов ловить, — говорит Сашук. — С прожектором. Все видно. И плавней нет. А у нас в Некрасовке такие плавни на Ялпухе, как кто спрячется — ни за что не найдешь...

— Найдут и в плавнях.

— Разве с собакой, — сомневается Сашук. — У нас в Некрасовке тоже вышка есть. Только там не пограничники, дедушка Тарасыч сидит. И ружье у него большое. Куды больше ваших... Он, когда в виноградник кто залезет, ка-ак бабахнет! Солью.

— А что, лазят за виноградом?

— Лазят.

— И ты?

— И я, — помолчав, говорит Сашук.

— Так ведь воровать нехорошо.

— Конечно, нехорошо, — вздыхает Сашук. — А винограда-то хочется... Ребята идут и я с ними...

— Разве так не дают?

— Ну — так! Так неинтересно... А скоро они полезут?

— Кто?

— Шпионы.

Солдаты смеются.

— Они заранее не объявляют.

— А когда полезут, вы будете стрелять?

— Там видно будет.

— А можно, я разок стрельну!.. Ну хоть подержу немножко, а?

— Автомат не игрушка. И вот что: на посту разговаривать не полагается. Раз попал в солдаты, делай как положено. Садись сюда на скамейку и веди наблюдение. Что надо ответить?

— Есть вести наблюдение.

— Давай действуй.

Сашук уставляется в оконный проем, но, как ни старается, кроме звезд вверху и слабых отблесков их в море, ничего не видит. Смотреть в темноту скучно, и Сашук раза два клюет носом в дощатую стенку. Тогда он прислоняется к ней поудобнее, вплотную.

— Вот и порядок, — говорит над ним солдат с нашивками, — солдат спит, а служба идет...

— Я совсем не сплю, — говорит Сашук.

Конечно, он не спит. Просто на дворе совсем-совсем темнеет. Даже звезды гаснут. И солдат не видно. Но он не слышит, как они разговаривают, — значит, не спит... Просто ему наяву начинает казаться, что он видит сон. Солдат с нашивками и Хаким ходят от окошка к окошку и выглядывают. И Сашук тоже ходит и выглядывает. Потом солдат с нашивками вдруг останавливается и говорит:

«Какой же ты солдат без оружия? На держи!»

Он снимает с себя автомат и надевает Сашуку.

«Насовсем?» — замирает от восторга Сашук.

«Конечно, насовсем».

Сашук сжимает автомат что есть мочи. Теперь пусть только шпионы полезут. Он как даст очередь: та-та-та-та-та...

— Что такое? — говорит Хаким. — У рыбаков свет зажгли, с фонарями бегают...

— Случилось что-то... Рядовой Усманов, пойти выяснить... Слышь, Хаким, прихвати и его, нечего ему тут купить.

И Сашуку уже кажется, что он плывет вроде как в лодке — он не двигается, а его покачивает. И потом вдруг раздается крик, его хватают на руки, и так крепко, что ему становится больно...

Он на руках у матери, а над ним склоняются Иван Данилович, Игнат и Жорка. В руках у них «летучие мыши».

— Федор! — кричит в сторону Жорка. — Не ищи. Нашелся!

— Ты что ж, поганец? — говорит Иван Данилович. — Люди после работы, а тут за тобой по ночам бегай...

— Баловство все! — бурчит Игнат. — Незачем и брать было...

Тоноча сапогами, из темноты выбегает отец.

— Вот я тебе покажу! — еще издали кричит он.

— Потом, потом, Федор! — кричит Иван Данило-

вич. — Ночь, людям спать надо... Спасибо, солдат! — говорит он Хакиму.

— Пачиму паника? — спрашивает тот.

— Поганца этого искали... Думали, утоп. Где он был?

— К вышке пришел, в пограничники хочет, — смеется Хаким.

— Отец ему пропишет пограничников.

Мать уносит Сашука домой, кладет на топчан. Сашук утыкается в подушку и горько всхлипывает. Не потому, что он боится завтрашней выволочки. Выволочка сама собой. Ему обидно, что никакого автомата у него нет, а значит, и не было, и все ему только приснилось.

ЗВЕЗДОЧЕТ

Уши у Сашука горят. Не потому только, что отец оттрепал утром за уши, — за ночь он пересердился, оттрепал не сильно, для порядка. Над Сашуком смеются рыбаки. Сегодня воскресенье, и утром они в море не пошли — отдыхают. После завтрака долго сидят за столом, разговаривают про разные разности, потом мало-помалу разбредаются. Мать и отец уходят в село Николаевку, в магазин. Идти туда далеко, и Сашука они с собой не берут. Сашук бегает с Бимсом по двору, пока оба не высовывают языки от жары и усталости. Потом они тоже идут к лавке рыбкоопа, где уже давно собралась вся бригада. Лавка стоит у дороги, недалеко от бригадного барака. Дальше за ней редкой цепочкой тянутся первые хаты Балабановки. Туда Сашук не ходит. Мать не велит— раз, а потом Сашук издали видел, что там бегают большие мальчишки и собаки, и он опасается, как бы они не обидели Бимса. И его тоже...

Рыбкооповская лавка — обыкновенная хата, только что под железной крышей да перед входной дверью большое широкое крыльцо. На нем стоят четыре стола на козлах и скамейки. Здесь нет солнца, а с моря задувает прохладный ветерок. Рыбаки сидят за столами и «дудлят», как говорит мамка, «червóнэ». Это темно-красное вино в узких бутылках. На бумажных наклейках нарисована большая рюмка. Рыбаки пьют не из рюмок, а из мутных граненых стаканов. На столах много пустых бутылок, значит, они уже здорово «надудлились» своего «червоного» — лица стали краснее, а голоса еще громче, чем всегда. Громче всех говорит, конеч-

но, Жорка. Недаром его зовут горластым. Он даже не говорит, а просто кричит.

Рубаха у него расстегнута сверху донизу, на шее вздулись толстые жилы.

— Нет, ты скажи, — кричит он Игнату, — чем тебе спутники мешают?

Игнат не пьет. Перед ним ни стакана, ни бутылки, но он все-таки закусывает: сосет принесенную с собой вяленую ставридку.

— Боров! Ты ж чистый боров! — кричит Жорка. — Только то и видишь, что перед рылом, что бы сожрать можно...

— Я — хозяин, — говорит Игнат. Губы у него трясутся. — Человек самостоятельный, а не пустодом, как ты. Мне про семью думать надо.

Он аккуратно завертывает в обрывок газеты недоеденную ставридку, поднимается и уходит.

— Чего ты к нему пристаешь, Егор? — спрашивает Иван Данилович. — Зачем дразнишь?

— Не люблю жмотов. Он из-под себя все съесть готов.

— Ну и пускай. Лишь бы тебя не заставлял. И орать незачем.

— Я виноват, что у меня голос такой?

— И тебе не голос — червонное в тебе кричит... Ты мне что обещал? Вон носишь у себя на грудях наглядную агитацию — посматривай на нее почаще.

Жорка трогает ворот рубахи, и тогда всем становится видна наколотая синими точками бутылка и надпись сверху: «Что нас губит». Все грохочут. Жорка вспыхивает, но сдерживается и машет рукой.

— Ладно, Данилыч, точка! Счас спать пойду... А, Боцман! — Он явно рад поговорить о другом. — Ну как, уши на месте или батька совсем оторвал? Ничего, целы, теперь шибче расти будут... Да ты не надувайся, ты лучше расскажи, как ночью к пограничникам ходил. Не боялся?

— Не. Даже мертвяков не испугался.

— Каких мертвяков?

— Ну, фашистов. Которые в доте.

— А ты их видел?

— А то нет! Конечно, видел.

Теперь ему и в самом деле кажется, что ночью он своими глазами видел мертвых фашистов, и он хочет

рассказать, какие они, но рыбаки так начинают хохотать, что он умолкает и сползает со скамейки.

— А ну вас, — обиженно говорит он, — а еще большие... Пошли, Бимс.

Через несколько шагов его догоняет Жорка.

— Ты это, — заплетающимся языком произносит он, — ты давай не сердись. Беда большая — посмеялись чуток. От этого не облиняешь... Пошли, я утром тебе подарок припас, только ты спал.

Сашук молчит. Сгоряча он даже собирается сказать, что нечего подлизываться, не нужны ему подарки, раз над ним смеются, но ему хочется узнать, что припас Жорка, и он молчит. Сказать можно и потом, если подарок окажется неинтересным.

В бригадном бараке Игнат горбится над раскрытым сундучком.

— Мильоны пересчитываешь? — кричит ему Жорка.

Игнат, не отвечая, поворачивается так, чтобы спиной закрыть сундучок.

Жорка заглядывает под свою койку, озадаченно чешет за ухом.

— Ага! Я же во дворе спрятал...

В углу двора из-под вороха старых рваных сетей он достает оплетенный мелкой сеткой стеклянный шар. Шар огромный — с Сашукову голову, может, даже больше. Сашук немеет от восхищения, осторожно берет шар в руки. Он шершавый — облеплен высохшими ракушками, заскорузлая сетка прикипела к стеклу. От шара пронзительно пахнет морем и солью.

— Ну как, годится?

— Спрашиваешь!.. А это что?

— Кухтыль... Поплавок, на которых сети держатся, чтобы не утонули.

— А где?..

— Море выкинуло. А я подобрал. Еще б одну штучку найти, веревкой связать — и на таких пузырях куда хочешь плыви.

— И на глыбь?

— Говорю, куда хочешь.

Жорка уходит «храпануть», а Сашук бережно несет кухтыль под навес, укладывает на обеденный стол и рассматривает со всех сторон. Стекло толстое, зеленоватое. Оно такое сделано или стало зеленым оттого, что плавало в море?.. Может, и в середке что-нибудь есть? Но середку рассмотреть трудно — сетка мелка и густо облеп-

лена ракушками. Они так плотно приросли, что никак не отколупываются; ноготь сломался, а ни одна не стронулась...

В дверях хаты появляется Игнат Приходько. Он подходит, берет кухтыль, вертит его в руках.

— Бесполезная вещь. Хотя... если разрезать пополам, полумиски будут.

— Отдай, — говорит Сашук, — не надо мне полумисков, мне кухтыль нужен, я на нем плавать буду.

— Баловство, — говорит Игнат и вздыхает: — Растешь ты, как репей, некому тебя к рукам прибрать...

— Дядя Гнат, — спрашивает вдруг Сашук, — а кто это кугут?

— Ну... вроде как кулак, скупой и жадный.

— А ты вправду скупой и жадный?

— Тебя кто подучил?

— Никто не подучивал, просто Жорка говорит — ты кугут.

— Ты его поменьше слушай, дурошлёпа. От него добра не наберешься. Ты к самостоятельным, хозяйственным людям приглядывайся, до них примеривайся.

— Как ты?

— Как я. И другие прочие. Кто тихо живет и про завтрашний день думает. Ты еще мало́й, а все равно должен соображать. Вот этого горлопана возьми. Что от него? Шалтай-болтай, живет врастопырку. Ни кола ни двора, штанов лишних и то нет...

Это Сашук знает. Все Жоркино имущество помещается в обтёрханном чемоданишке, у которого даже замки не запираются, клямки так и торчат кверху, и он перевязывает крышку бечевкой. Да зачем его и запирать, если он полупустой, кроме застиранных рубах да пары трусов, ничего в нем и нет? А у Игната сундучок аккуратный, прочный. Что в нем, Сашук не видел, так как сундучок всегда заперт висячим замком, а если Игнат его открывает, то обязательно поворачивается так, чтобы никто заглянуть не мог.

— Горлопан этот, — продолжает Игнат, — человек как есть бесполезный. Что заработал, почитай, все и пропил. Неизвестно, для чего и живет.

— А для чего человек должен жить?

— Для пользы! Всякая вещь и человек должны быть для пользы.

— И я?

— Ну, пока пользы от тебя, как от козла молока,

только зря хлеб жуешь. Ты еще несмышленыш, вроде кутенка своего. Вот и должен с малолетства привыкать себе на пользу стараться...

Последнюю фразу Сашук уже не слушает.

— Ну и ладно, — говорит он, — ну и пускай мы бесполезные...

Он уносит кухтыль домой, закатывает под топчан и еще прикрывает сверху ветошкой, чтобы никто не увидел. А что делать дальше? Отец и мать придут не скоро, да и что от них? Мать примется стряпать обед, отец уйдет в лавку, к рыбакам. Пойти и ему в лавку? Снова поднимут на смех. Хорошо бы с Жоркой пойти купаться, — нырять, взобравшись ему на закорки, жутковато, но весело. Однако Жорка за перегородкой храпит так, что барак трясется. Не будить же...

Сашук идет к причалу. Цех заперт, транспортер неподвижен, ящики для рыбы пусты. Лодки, привязанные к причалу, раскачиваются, стукаются бортами о сваи. Хорошо бы спрыгнуть в лодку и покачаться на волнах, но Сашук боится, что до лодки ему не допрыгнуть. На узкой песчаной полосе вдоль обрыва нет ни души. Даже чайки куда-то подевались. Внезапно Сашука осеняет: вдруг море выкинуло еще один кухтыль?.. Если Жорка нашел, может, и он найдет?

Ноги вязнут в сыпучем песке, от раскаленного солнцем глинистого обрыва пышет жаром. Сашук сворачивает к урезу. Мокрый песок плотен, ноги то и дело окатывает теплая волна. Сашук старательно рассматривает все, что море вынесло на берег. Кроме бурых водорослей и всякой мелкой дряни, ничего здесь нет. Было бы совсем скучно, но время от времени волна подгоняет к берегу мелких, с блюдечко, медуз, и Сашук их зафутболивает. Жорка научил его не бояться медуз и различать, какие обжигают, а какие нет.

Поравнявшись с пограничной вышкой, Сашук задирает голову и долго присматривается. Пограничников не видно. Прячутся или, может, днем их там вовсе нет?

Здесь берег изгибается, и за выступом обрыва скрывается ставший совсем маленьким причал. Сашук устает, но упрямо идет дальше: он не теряет надежды найти если не кухтыль, то хоть что-нибудь.

И он находит. На сухом песке, раскинув лапы и клешни, подставив солнцу белесый живот, лежит большой краб. Сашук видел только живых, когда они воровато, боком, пытались выбраться из вороха рыбы и

удрать, а рыбаки хватали их и швыряли за борт. Этот лежит неподвижно и даже не шевелится, когда Сашук бросает в него пучок сухих водорослей. Сашук трогает его щепкой, переворачивает спиной кверху. От краба врассыпную кидаются какие-то букашки. Сашук осторожно берет его за панцирь, окунает в воду. Но краб не оживает, не шевелит ни одной лапкой. Он здоровущий — один панцирь больше Сашуковой ладони. А клешни такие, хватит — не обрадуешься... Сашук собирается его пнуть, потом передумывает. Если его как следует засушить, положить в коробочку да привезти в Некрасовку... Он осторожно кладет краба за пазуху и поворачивает обратно.

За поворотом на полпути к причалу стоит человек. Какой-то чудик. В трусах и разрисованной рубашке. На голове белый малахай с бахромой, а на носу очки с толстыми стеклами. Лицо молодое, безусое, но по щекам и под подбородком торчит короткая борода. Чудик держит в руках удилище и так внимательно смотрит на поплавок, что даже не замечает, как Сашук подходит ближе, останавливается, потом садится за его спиной. Поплавок удочки болтается на волнах, вдруг ныряет. Чудик дергает удилище, с лески срывается и шлепается в воду маленький краб.

— Ворюги, грабители, подводные гангстеры... — беззлобно произносит чудик, рассматривая пустой крючок. — Вас даже нельзя обругать подонками, поскольку это ваше естественное состояние...

Он оборачивается к консервной банке, стоящей сзади и замечает Сашука.

— Я и не знал, что у меня появилась аудитория... Откуда ты, прелестное дитя с облупленным носом?

— Он от солнца, — объясняет Сашук и трогает пальцами шелушащийся нос.

— Несомненно, несомненно... — бормочет чудик, копыряя пальцами в консервной банке. — Молодой человек!

— То вы меня?

— Кого же еще? Из нас двоих ты, несомненно, самый молодой. И столь же несомненно — туземец. Подводные ворюги сожрали весь мой запас. Не знаешь ли, где можно накопать червей?

— Их и копать не надо. Они везде есть.

— Как это — везде?

— А вот...

Сашук приседает на корточки и горстями отбрасывает

мокрый песок с уреза. В песчаной кучке извивается несколько красных червяков с ярким золотистым отливом.

— Ого! Ты, я вижу, отлично осведомлен.

— И вот, и вот... — говорит Сашук, разгребая песок в другом месте. — Их тут прямо тыщи.

— По всем вероятиям, даже несколько больше... Спасибо за науку. Теперь мне не надо будет рыться в навозе и вообще...

— А вы чего-нибудь уже поймали?

— Хвастать особенно нечем. Одну диковину поймал, но такой ядовитой раскраски, что не уверен, будет ли ее есть даже хозяйская кошка.

Он вытаскивает кукан и показывает.

— Зеленушка, — говорит Сашук. — Кошка — будет.

— Стало быть, труды не пропали напрасно... Тогда продолжим, — говорит чудик и забрасывает удочку. — Так кто же ты и откуда взялся?

— Я не взялся, я тут живу.

— Прелестно, прелестно... — говорит чудик, снова дергает удочку, и она снова оказывается пустой. — Ну и как тут... вообще?

— Хорошо.

— Что хорошо?

— Все хорошо, — не понимая, чего он добивается, говорит Сашук.

— Что ж, посмотрим, посмотрим... — бормочет чудик, занятый удочкой.

Сашук долго не решается, потом все-таки спрашивает:

— А зачем у вас борода?

— Разве так плохо?

— Не потому что. Которые с бородой, те без штанов не ходят.

— В самом деле? — говорит чудик, бросая взгляд на свои шорты. — Это я как-то не учел... А борода мне обязательно нужна. Все звездочеты носили бородки, бороды, даже бородищи. Вот и я отрастил. Для солидности, а также красоты.

— Разве вы звездочет? — недоверчиво спрашивает Сашук.

— Не совсем, но вроде... Есть такая наука — астрофизика. Слыхал? Впрочем, тебе рановато... А про космос слышал?

— Космос я знаю, — говорит Сашук. — Это где Гагарин летал.

— Ну вот, Гагарин летал, так сказать, поблизости. А я изучаю предметы более отдаленные...

— Тут?

— Нет, не тут. Сюда я привез свое семейство, полоскать в море. Вон оно поджаривается там на солнце.

В отдалении под навесом из простыни кто-то лежит, но Сашук только мельком взглядывает в ту сторону. Семейство его не интересует. Он подсаживается к чудику поближе. Не каждый день встречаются живые звездочеты.

АНУСЯ

— А как вы их считаете, звезды? — спрашивает Сашук.

— Я не считаю, а изучаю. Все звезды пересчитаны и переписаны, как допризывники.

— Все до единой?

— До единой. В пределах наших возможностей, конечно.

Сашук недоверчиво смотрит на него снизу, стараясь поймать взгляд, но толстые стекла очков без оправы заслоняют глаза чудика, и нельзя понять, всерьез он или понарошку. Сашук долго раздумывает, потом все-таки задает вопрос, который давно его занимает.

— А правда, у каждого человека своя звезда? Как он рождается, так и звезда загорится. А как помрет, так и звезда падает...

— Ну, это чепуха! Звезды не падают. Падает, так сказать, звездный сор, всякого рода космический мусор. Потом, звезд значительно больше, чем людей на земле, и до людей им никакого дела нет... Хотя вообще, иносказательно... В известном смысле у каждого человека есть своя звезда. Или, во всяком случае, должна быть. По идее.

— И у меня?

— И у тебя. Чем ты хуже других?

— А где? Вы мне покажете?

— Вот уж нет! Каждый сам должен найти свою звезду.

— А как?

— Как бы тебе сказать?.. Главное — не лениться. Для начала полезно, например, привыкнуть рано вставать.

— До света?

— Уж чего лучше.

— Так ведь спать хочется!

— Вот-вот! Лень, спать хочется... Другой не только свою звезду, всю жизнь готов проспать. А она, в общем-то, коротковата. К сожалению.

— А если рано встану, так сразу и увижу?

— Может, не сразу, но рано или поздно увидишь.

— А потом?

— Что — потом?

— Чего будет, когда найду?

— Ну... будешь знать, куда идти, что делать... Так, сейчас моя дорогая дочь распугает последнюю рыбу...

По кромке воды, взметая брызги, к ним бежит девочка в голубом платье и белой панаме.

— Папа, папа, много поймал? — кричит она издали, потом замечает Сашука, умолкает, переходит с бега на шаг, вышагивает чинно, почти чопорно и делает вид, что Сашука даже не приметила.

— Не корчи кисейную барышню, — говорит ей отец. — Видишь, даже на этом пустынном бреге для тебя нашелся Дон-Жуан, — показывает он на Сашука.

— Никакой я не Дон, — отзывается тот. — Я Сашук.

— Прелестно! — отвечает бородач. — Знакомьтесь в таком разе.

Девочка дергает пальцем резинку от панамы и с любопытством рассматривает Сашука. Резинка звонко щелкает ее по подбородку. Потом она протягивает сложенную дощечкой ладошку и говорит:

— Ануся.

Сашук сидит неподвижно, искоса смотрит на ладошку, потом снова на Анусю. Она совсем не такая, она из какого-то другого мира, и он не знает, что надо делать, как держать себя с ней, и потому сидит неподвижно и только смотрит.

Девочка делает гримаску, пожимает плечами и опять начинает дергать резинку.

— Нельзя сказать, чтобы ты был очень галантен с барышнями, — говорит бородач.

Девочка смеется, короткий носик ее морщится. Сашук не понимает, но краснеет. Сначала он хочет сказать, что с девчонками не водится, но слова эти почему-то с языка не идут. Может, потому, что она совсем не похожа на разбитных, горластых некрасовских девчонок. Почему она такая белая? Наверно, ее без конца мылом шуруют...

Сашук не знает, что делать, и наливается краской еще

больше. Потом вдруг вспоминает, лезет за пазуху и достает свою находку.

— На. Хочешь?

Ануся отступает на шаг, серо-голубые глаза ее округляются.

— Это кто? — спрашивает она.

— Краб. Бери, не бойся — он дохлый, не укусит.

— Не хочу, — говорит Ануся и прячет руки за спину. — Он плохо пахнет.

— Так что? Повоняет и перестанет.

— И крабы совсем не такие, — качает головой Ануся. — Они в банках.

— Стыдись, Анна! — говорит отец. Он не смотрит в их сторону, но, оказывается, все видит и слышит. — В банках вареные. А этот прямо из моря. Ты — как хочешь, я бы взял, ценная вещь, по-моему.

Ануся оглядывается на отца и осторожно, двумя пальчиками берет краба.

— Идите, граждане, побегайте, что ли, — говорит Анусин отец. — И вы сразу убьете двух зайцев: познакомитесь поближе и снимете с моей души камень педагогических забот...

— Про какой он камень? — спрашивает Сашук, когда они отходят.

— Не обращай внимания, — говорит Ануся. — Папа всегда немножко странно выражается.

Краб ей нравится все больше. Запах уже не отпугивает, она вертит колючее чудище в руках, рассматривает со всех сторон. Потом так же обстоятельно начинает рассматривать Сашука.

— Ты так всегда ходишь? — показывает она на выгоревший чубчик Сашука. — И ничего?

— А чего?

— А вот мне на солнце вредно — я хрупкая, — вздыхает Ануся.

— Ты ж не кисель, не растаешь.

Ануся немножко колеблется, потом решительно сдергивает панаму назад, и она повисает у нее за спиной на резинке. Ветер немедленно подхватывает и треплет ее белокурые вьющиеся волосы.

— Пойдем, я маме покажу, — говорит Ануся.

Они бегут по мокрому песку. Сашук старается попасть ногой в гребешок волны, когда она только-только заламывается, и изо всех сил разбивает его. Анусе это нравится. Она забегает вперед, чтобы опередить Сашука, и, торже-

ствуя, кричит, когда брызги у нее разлетаются сильнее. Сашук тоже старается. Он ловчее, брызги у него летят выше и дальше. Так они бегут наперегонки, взметая брызги и вопя от восторга, пока их не останавливает окрик:

— Что это такое?!

Из-под простыни, распяленной на палках, выглядывает женщина. Сначала женщина кажется Сашуку совершенно голой, но потом он видит, что она не совсем голая — поперек тела у нее две полоски пестрой материи, а на голове накручено полотенце. Женщина очень красивая, это Сашук видит, несмотря на то, что большие темные очки закрывают ее глаза, на носу нашлепка из бумаги, лицо намазано чем-то белым, а губы такие красные, будто с них живьем содрали кожу. Но Сашук знает, что кожа не содрана, просто губы накрашены. В Некрасовке некоторые взрослые девки ходят с крашеными губами.

— Мама, мамочка! — кричит Ануся. — Посмотри, что у меня!

— Где ты взяла эту вонючую гадость? — с отвращением говорит Анусина мама, выхватывает у нее из рук краба и отшвыривает в сторону.

Краб шлепается о глинистую стенку и уже без клешней и ног падает на песок. Ануся в ужасе всплескивает руками, но мать не дает ей сказать ни слова.

— Почему ты сняла панаму? И на кого ты похожа? Как не стыдно: большая девочка, а забрызгалась хуже маленькой... Иди сейчас же сюда!.. — Она понижает голос, но Сашук отчетливо слышит: — Зачем ты привела этого грязного мальчишку? Вон у него болячки какие-то на носу... Подцепишь какую-нибудь инфекцию...

— Он совсем не грязный, — оправдывается Ануся. — И он был с папой...

Дальше Сашук не слушает. Он поворачивается, засовывает сжатые кулаки в карманы и уходит. Уши у него снова горят. От обиды. Теперь уже без всякой радости, а со злостью он разбивает вдребезги гребешки волн. Те разлетаются фонтанами брызг, но набегают все новые и новые, сколько бы он ни бил, а главное — тетке этой от того ни тепло, ни холодно... Теперь она уже не кажется ему красивой. Вымазалась, как чучело. Вот взять влезть на обрыв, отвалить глыбу — и на нее... враз бы стала чище некуда. Или взять большую медузу — да за пазуху... Ну, не за пазуху, раз у нее пазухи нету, так за эти тряпки, что на ней накручены...

День жаркий, ветер слабый, и медуз у берега видимо-невидимо. И маленьких, с блюдечко, и широких, как тарелка, и совсем здоровенных, с бахромой, похожих на ведро. Сашук забредает в воду, хватает и тащит к берегу такое осклизлое студенистое ведро и с трудом выбрасывает на песок. Медуза разбивается, белесоватый студень ее тела истекает, оплывает водой. Сашук достает еще одну, потом еще и еще... Груда белесого студня растет, его уже вполне достаточно, чтобы обложить зловредную тетку с головы до пят, но Сашук вытаскивает на песок все новые и новые жертвы.

— Ты это зачем?

Рядом стоит Ануся, дергает резинку панамы.

— Тебе ж не велят со мной, ну и уходи, — вместо ответа говорит Сашук.

— А я хочу! — отвечает Ануся. — Ты на маму обиделся, да? Не обращай внимания. Папа говорит, у нее масса мелкобуржуазных предрассудков, — совсем как взрослая, говорит Ануся. — Это, конечно, ужасный недостаток. Но что поделаешь, у каждого есть свои недостатки. У тебя ведь тоже есть?

Об этом Сашук никогда не думал. Сейчас он, как ни раздумывает, никаких недостатков отыскать у себя не может и, не отвечая, продолжает таскать на берег медуз.

— А что ты с ними будешь делать?

— Уху варить, кисельных барышень кормить, — со всей язвительностью, на какую только способен, говорит Сашук, но Ануся не обращает внимания на колкость, идет в воду, хватает маленькую медузу и тотчас с отвращением выпускает ее на рук.

— Какая противная!

— Ага, испугалась? — торжествует Сашук. — Иди к своей мамке, нечего тут...

— Она заснула, — говорит Ануся и тянется к большой розоватой, с сиреневой бахромой медузе.

— Не трожь, она стрекучая! — кричит Сашук.

Уже поздно. Ануся отдергивает обожженную руку, на лице ее испуг и страдание.

— Я ж тебе говорил! Она хуже, чем крапива, жгется. Больно?

— Печет, — шепотом отвечает Ануся.

Короткий носик ее морщится, но теперь не от смеха, а от назревающих слез. Она зажимает обожженную руку между коленками и быстро-быстро хлопает веками, прогоняя слезы.

— Ничего, — утешает ее Сашук. — Я первый раз когда, еще хуже обстрекался. Все пузо!

От этого сообщения Анусе не становится легче. Носик ее все больше морщится, по щекам ползут слезинки.

— Больно ты нежная, — говорит Сашук, — ревушка-коровушка... Ну их, этих медуз, пошли к причалу.

Боль постепенно слабеет, а возле причала Ануся забывает о ней совсем. Они ложатся животами на причал и наблюдают, как в пронизанной солнечным светом воде стоят стайки мальков, потом, испугавшись чего-то, серебряными брызгами разлетаются в разные стороны; как воровато, боком, от сваи к свае пробирается маленький краб, как прозрачные тени волн бегут и бегут по песчаному дну. Сашук рассказывает, как рыжий Жорка катал его на транспортере, Ануся восхищается и хочет тоже попробовать. Они взбираются в желоб транспортера, но он неподвижен, а идти вверх по резиновой ленте скользко и страшно. Оси валков смазывают не часто и не густо, но Ануся ухитряется подцепить ногой шлепок черного тавота, пробует снять его, но только еще хуже размазывает по всей ноге и безнадежно пачкает руки. Сначала ей просто смешно, потом она вспоминает про маму... Сашук ведет ее к рукомойнику возле барака, Ануся долго, старательно мылит руки, но обмылок стирочного мыла никак на тавот не действует, и Ануся снова расстраивается. Сашуку очень хочется ее утешить.

— Идем, — говорит он, — у меня чего есть!

У распахнутой двери Ануся останавливается: из барака несется хриплый рев.

— Кто там стонет?

— Жорка. Только он совсем не стонет, а спит.

— Страшно как! Будто его режут...

— Ха! Такого зарежешь... Он, знаешь, — округляет глаза Сашук, — он уголовник, в тюрьме сидел!

Он готов соврать про Жорку невесть что, но видит, что и так уже перестарался. Ануся испуганно озирается, готова стремглав броситься прочь, и Сашук поспешно добавляет:

— Ты не бойся, он ничего. Он мне вон чего подарил...

Сашук ныряет под топчан и достает кухтыль.

— Ой! — восхищается Ануся. — Эту вещь ты мне тоже подаришь?

— Ишь какая хитрая! Он мне самому нужен. Вот найду еще один, свяжу и буду плавать... И тебе дам поплавать. Немножко, — добавляет он после некоторого колебания.

Из-под топчана вылезает разбуженный Бимс, и Ануся забывает о кухтыле.

— Какой чудненький!

Она приседает перед щенком на корточки и начинает гладить. Бимс готовно опрокидывается на спину и подставляет свой розовый живот, но вспоминает о неотложном, ковыляет к миске с водой, долго лакает, потом чуть отходит в сторонку, и из-под него растекается лужица.

— Фу, бесстыдник, — сконфуженно смеется Ануся, оглядываясь по сторонам. С самолетным гудением о стекла бьются мухи, из барака по-прежнему несется жуткий храп. — Пойдем уже на улицу, а?

— Ага, пошли в войну играть... Ты дот видела?

— Не хочу, — говорит Ануся. — Какая это игра!

— А что? Самая лучшая! — убежденно говорит Сашук. — Ну да, ты ж девчонка, — вспоминает он.

— И совсем не потому что! Не люблю, когда убивают... Мамин папа был полковником. И его на войне убили.

— Мы ж будем понарошку!

— Все равно не хочу!

— Ладно, — говорит Сашук, — пойдем так посмотрим.

Он убежден, что, стоит Анусе увидеть окопы, развалины дота, она забудет обо всем и захочет играть в войну.

Однако, как только они выходят за ограду, Сашук сам забывает о доте и напрямик, не разбирая дороги, бежит к откосу, по которому спускаются на пляж. Там стоит бог...

ОРАНЖЕВЫЙ БОГ

В бога Сашук не верит. Бабка умерла полгода назад, поэтому отец и мать и взяли его с собой в Балабановку. Когда бабка была жива, она рассказывала Сашуку о боге и учила молиться. Потихоньку от отца она даже сводила его в церковь и показала бога на картинке. Бог был ужасно заросший, сидел на кучах ваты и держал руки вверх, будто сдавался в плен. Он оказался вредным и злопамятным: за всеми втихаря, исподтишка шпионил, а потом наказывал. Бабка то и дело грозилась, что бог

накажет, а если случалось плохое, говорила, что вот «бог и наказал»... Сашуку попадало на каждом шагу от отца, матери, от самой бабки, и ему совсем был ни к чему еще какой-то зловредный старик, который наказывает за всякую ерунду. Сашук пытался поймать бога на горячем, когда он шпионит: прикрыв за собой дверь, внезапно распахивал ее снова, но за дверью никого не оказывалось. Он лазил в подполье и на чердак. В подполье было сыро и лежала одна картошка, а на чердаке, кроме пыли, кукурузной шелухи и пауков, ничего не оказалось. Он рассказал бабке, что искал и не нашел бога. Она обозвала его дурачком и сказала, что бог — не гриб, на месте не сидит, а всюду витает.

— Как это — витает?

— Летает, стало быть.

— На реактивном или на спутнике?

Бабка почему-то рассердилась и хлестнула его лестовкой, но потом сказала, чтобы он про всякую дурость не думал, — бог везде, только его никто не видит. Сашук подумал, что это какая-то липа, но промолчал, чтобы бабка снова не огрела лестовкой. Как же бога тогда нарисовали, если его никто не видел? Другое дело — дядя Семен. Про него говорят, что он водит машину, как бог... Это понятно, его все знают и видят. Хотя дядя Семен на бога никак не похож: бреется почти каждое воскресенье, никого не наказывает и даже мальчишек не очень шугает, когда они липнут к его «газону».

Бабка еще говорила, что бог всемогущий и творит разные чудеса. Только все чудеса он сделал почему-то раньше, когда-то, а потом разучился, что ли, или перешел на пенсию и ничего такого больше не делает. Так какой от него толк? Еще больше Сашук разуверился, когда спросил, чего бог ест, а бабка снова рассердилась, дала ему подзатыльник и сказала, что бог — дух, есть ему не надо. Тогда Сашуку окончательно стало ясно, что все это чепуха. Дух — значит, воздух. А воздуха нечего бояться. Вон когда у дяди Семена скат спустит, воздух пошипит, и все... Нет, бабкин бог был просто сказкой, только в отличие от настоящих сказок, которые интересные, бабкина сказка была неинтересной. Поэтому, когда бабка заставляла его молиться, он рассеянно мотал рукой между животом и подбородком, а все бабкины россказни пропускал мимо ушей. Вот если бы она рассказывала про машины...

Машйн Сашук знает много: «газоны», ПАЗы, ЗИЛы...

У председателя колхоза в Некрасовке есть «Победа». Правда, она такая облезлая, такая мятая-перемятая, чиненая-перечиненая, так тарахтит и дребезжит на ходу, что сам председатель называет ее «утиль-автомобиль». По глубокому убеждению Сашука, она все-таки очень красивая. Однако то, что он видит сейчас, даже не автомобиль, а чудо...

Сашук о том не подозревает, но он язычник. Втайне он уверен, что мертвого ничего нет, все вокруг живое. Не только люди, звери, птицы. И дерево, и камень, и палка, и любая машина... Они только хитрят, притворяются неживыми, а на самом деле все видят, чувствуют и, когда хотят, делают все по собственной воле, а не по желанию человека. Они даже разговаривают между собой, только так, что люди их не слышат или не понимают. И в душе Сашука все время живет ожидание чуда: вот-вот случится сейчас такое, чего еще никогда не было, никто не видел и не слышал...

И вот чудо произошло. Оно стоит перед Сашуком — оранжевое, неописуемо прекрасное чудо на четырех колесах, окованное стеклом, никелем и хромом. Кузов его пылает, огромные глазищи-фары не сводят с Сашука стеклянного взгляда, маленькие глазки-подфарники следят за каждым его движением, а сверкающая пасть радиатора и бампера скалит огромные торчащие клыки. Это вовсе даже не машина, это сам машинный бог, только не из скучной бабкиной сказки, а настоящий — из стекла, резины и стали, которого можно не только видеть, но и потрогать рукой...

Медленно, как завороженный, Сашук обходит машину вокруг и снова останавливается перед радиатором. От нее нельзя оторвать глаз. Даже сквозь пыль видно, какая она гладенькая, рука скользит по кузову, как по маслу... А в бамперы и колпаки на колесах можно смотреться как в зеркало. Правда, вместо лица там видна смешная сплющенная рожица, но все равно они сверкают куда ярче, чем зеркало дома, не говоря уж о растрескавшемся мутном обломке, перед которым бреются рыбаки...

— Что ты все смотришь и смотришь? — говорит Ануся. — Пошли уже.

— А, подожди! — отмахивается Сашук. — Как ты не понимаешь? Это же «Волга»!

«Волги» он никогда не видел, но ребята говорили, что она — всем машинам машина.

— А вот и не «Волга», — отвечает Ануся. — Это наш «Москвич».

— Врешь!

— Зачем мне врать? И вообще я никогда не вру, — с опозданием обижается Ануся.

— Совсем ваш? Собственный?

— Ну да, мы на нем приехали. Папа с мамой уже третий год ездят. Только раньше меня не брали, я с бабушкой оставалась, а теперь взяли.

— И прямо из дому сюда?

— А что особенного? Мама хотела на курорт, а папа сказал, что курорты ему опротивели, лучше ехать дикарями на лоно природы. Вот мы и приехали. Только маме здесь не нравится. Нет удобств, и вообще...

Сашука это уже не интересует. Он заново присматривается к Анусе. Она осталась такой же, но что-то в ней как бы и переменилось после того, как Сашук узнал, что она приехала на этой самой машине. И машина словно бы чуточку стала иной — и та же, и вроде бы чуточку другая. Такая же великолепная, но уже не такая недосягаемая, как за минуту перед этим. Сашук снова обходит ее кругом, заглядывает в зеркальные стекла, трогает все ручки, задние фонарики, фары, узорчатый радиатор.

— Пойдем же, — говорит Ануся, которой все это давно наскучило.

— Обожди... Знаешь, сначала что? Давай, пока никто не видит, залезем в середку и посидим. Немножко.

— А как мы залезем, если она закрыта?

Сашук сокрушенно вздыхает. Но все равно оторваться от машины он не может и ходит вокруг нее, как на прочнейшей, хотя и невидимой корде.

— Тогда знаешь что? Давай ее почистим!

Тонкий слой желтоватой пыли приглушает оранжевое пламя эмали, гасит сверкание хрома, а Сашуку хочется увидеть четырехколесное чудо во всем великолепии. Стирать пыль нечем — вокруг не только тряпки или бумаги, нет даже пучка мягкой травы, одна жесткая верблюжья колючка. Недолго думая Сашук выдергивает подол рубашки из штанов, становится на колени перед колесом и принимается очищать колпак. Рубашка коротка, ему приходится все время ёрзать на коленях, но зато колпак вспыхивает режущим глаза блеском. Анусе становится завидно. Она опускается на коленки у другого колеса и тоже принимается протирать подолом колпак. Оба стараются вовсю, чтобы перещеголять друг друга, больше ничего не видят и не слышат.

— А вот за это — по шее! — раздается над ними сердитый возглас.

Рядом с Сашуком стоят худые волосатые ноги. Над ними шорты, разрисованная рубашка, борода и сверкающие льдом толстые стекла очков.

— Она же ж грязная, — мямлит Сашук. — Мы хотели...

— Ах, вы хотели? — говорит Звездочет, и висящая на кукане одинокая зеленушка делает все более широкие размахи. — Вы предполагали, намеревались и собирались? А кто наследил по машине своей пятерней?

Только теперь Сашук видит, что всюду, где он прикасался к машине, остались отчетливые пятна, полосы и веера растопыренных ладошек. Ответить Сашуку нечего, и он только сокрушенно и пристыженно шмыгает носом.

— Заруби на своем и без того покалеченном носу, — говорит Звездочет, и уже опять нельзя понять, говорит он серьезно или смеется, — машина не кошка — гладить ее незачем, пыль не стирают, а только смывают... А ты, Анна, — поворачивается он к дочери, — смотри: вон идет мать, и сейчас будет грандиозный бенц. Она в панике из-за твоего бегства, а когда увидит, как ты разукрасилась...

Еще недавно голубое платье Ануси стало бурым от пыли, и чего только на нем нет: и рыбья чешуя, налипшая еще на причале, и мыльные потеки, которые стали просто грязными потеками, и даже черные пятна тавота. Ануся отряхивает подол, — платье от этого не становится чище. А мама Ануси быстро, размашисто шагает к машине. Она уже одета, в красно-коричневом платье, которое все блестит и переливается, будто лакированное, полотенце уже не обмотано вокруг головы, а висит на руке, и теперь видно, что у нее такие же вьющиеся белокурые волосы, как у Ануси. На носу нет бумажной нашлепки, с лица стерта белая намазка, и лицо это еще красивее, чем прежде, но такое гневное, что Сашук независимо, однако и без промедления уходит за машину, туда, где Звездочет открывает ключом переднюю дверцу. Тот достает парусиновые штаны и натягивает, потом распахивает все четыре дверцы, чтобы проветрить: машина раскалилась на солнце, из нее пышет, как из только что истопленной печи. И в это время разражается предсказанный «бенц».

— Ануся, почему ты убежала? — еще издали говорит мать. — Я ведь запретила тебе уходить... Боже мой, на кого ты похожа?! — кричит она. — Ты нарочно, назло? Или опять собирала всякую дрянь с тем грязным мальчишкой?!

— Мамочка, при чем тут он? Он же меня не пачкал, я сама...

Звездочет издает странный звук — не то фыркает, не то хрюкает, — и Сашуку кажется, что он ему подмигивает, но не уверен в этом, толстые стекла очков мешают рассмотреть.

— Ты еще его оправдываешь? Не смей к нему подходить! Слышишь?.. Пусть он только попадется мне на глаза!..

В этот момент она обходит багажник, и Сашук попадается ей на глаза.

— Ах, ты здесь? А ну, убирайся отсюда! Немедленно! И чтоб я тебя больше не видела!..

— Люда! — вполголоса говорит Звездочет. — Нельзя же так. Как тебе не стыдно!

— Нисколько не стыдно. Если ты не хочешь думать о своем ребенке...

— Но ведь он тоже ребенок.

— Какое мне дело до чужих сопливых детенышей! У меня и так голова кру́гом идет...

Сашук поворачивается и, вобрав голову в плечи, уходит. Уши у него горят, глаза щиплет, и в горячую бархатную пыль под ногами даже падает несколько капель. Ух, до чего злющая тетка! И как он ее ненавидит... Чего она к нему придирается? Ануся сама к нему прибежала. Разве он ее звал? Пусть теперь только попробует подойти, он так шуганет... И сам ни за что не подойдет. Нужны они ему...

Несмотря на всю горечь незаслуженной обиды, уйти совсем, окончательно, он не может. Хоть издали, хоть краешком глаза он должен посмотреть, как тронется с места, поедет оранжевое чудо. Что она ему, запретит? Степь не ее, кто хочет, тот и ходит... Отойдя в сторонку, Сашук садится на землю и делает вид, что расковыривает ход в подземное жилище мурашей, а на самом деле искоса наблюдает происходящее у машины. Злющая тетка снимает с Ануси платье, вытряхивает и надевает снова. И все время что-то говорит. Что говорит, понятно и так: ругается и наговаривает на него, на Сашука. А Звездочет долго стоит, опустив голову и поглаживая

бороду, потом решительно поворачивается и... идет к Сашуку. Сашук вскакивает. На всякий случай. Чтобы сразу дать дёру, если что...

— Рассердился? — спрашивает Звездочет подойдя.

— А чего она придирается?

— Обидно, я понимаю, — раздумчиво говорит Звездочет, дергая свою бороду. — Что ж, хотя это абсолютно непедагогично, могу только повторить совет Чапая. — Сашук, не понимая, смотрит на него снизу вверх. — Насколько я помню, он рекомендовал наплевать и забыть... Теперь пошли со мной.

— Зачем?

— Звездочеты не только знают звезды, они умеют предсказывать и угадывать чужие желания. Твое я уже угадал.

— А вот и нет!

— Вот и да! Смотри на меня! — строго говорит он и, указывая на Сашука пальцем, торжественно произносит: — Ты хочешь проехаться на машине!

Глаза и рот Сашука так распахиваются, что Звездочет снова издает странный звук — не то хрюкает, не то фыркает, — поворачивается и идет к машине. Не веря, сомневаясь и пламенно надеясь, Сашук вприбежку спешит следом.

Жена Звездочета встречает их колючим взглядом.

— Зачем ты его привел? Что ты собираешься делать?

— Восстановить справедливость. В таком возрасте нельзя терять в нее веру.

Жена закусывает нижнюю губу, сажает Анусю на заднее сиденье, садится сама и со страшным стуком захлопывает дверцу.

— Вот так, — говорит Звездочет, — а спереди будет сидеть избранное мужское общество. Прошу!

Он распахивает перед Сашуком правую дверцу, ждет, пока тот взберется на сиденье, и захлопывает. Внутри так чисто и красиво, так блестят разные штучки и ручки, такая диковинная собачка болтается на резинке перед ветровым стеклом, а сзади так зловеще молчит Анусина мама и Сашук так всей спиной и затылком чувствует ее колючий взгляд, что он не только ничего не трогает, но боится пошевелиться и с трудом, прерывисто переводит дыхание.

— Ну как, нравится? — спрашивает Звездочет, садясь за баранку.

От полноты чувств Сашук не может выговорить ни слова и только быстро-быстро кивает.

— Что же надо делать, чтобы поехать?

— Погудеть! — шепотом подсказывает Сашук.

— Погудеть? Да, в самом деле, какая же езда без гудения? Давай гуди.

Сашук тянется к большой черной кнопке на торце рулевой колонки, нажимает, но гудка нет.

— Дудки, — говорит Звездочет. — Гудок у меня заколдованный, настоящий звездочетский... — Глаза Сашука вспыхивают восторгом. — Сейчас мы его расколдуем. «Эп, де, труа, бешамель де валуа...» Теперь нажми эту дужку.

Сашук осторожно трогает хромированный пруток под баранкой — и над степью разносится гудок. Он зычен и звóнок и так же не похож на хриплое кряканье «газона» дяди Семена, как сам видавший виды облезлый «газон» на оранжевого щеголя.

— Папа, пап! Я тоже хочу! — кричит Ануся, вскакивает ногами на сиденье, переваливается через плечо отца и тянется к дужке сигнала. Звонкий голос «Москвича» раскатывается над обрывом, падает вниз, чайки шарахаются от него в море.

— Хватит, граждане, — говорит Звездочет. — Надо совесть иметь, а то сейчас обратно заколдую, и машина никуда не пойдет.

Сашук отдергивает руку, Анусю мать сердито стаскивает и сажает на место. Звездочет поворачивает ключик, внизу что-то рычит и сейчас же смолкает.

— Поломалась? — встревоженно спрашивает Сашук, но тут же сам видит, что ничего не поломалось и они уже не стоят, а едут, и даже не едут, а плывут — так плавно и мягко трогает машина с места.

— Газанем? — спрашивает Звездочет.

— Ага! — радостно кивает Сашук.

— Ну, держись, увезу тебя сейчас на край света...

— Ага! — ликуя, кивает Сашук.

Он согласен на все, лишь бы ехать и ехать в этой волшебной машине. Она мягко раскачивается на ухабах, волочит за собой длиннющий хвост пыли и мчится так, что воздух ревет, врываясь в окна.

Счастье никогда не бывает долгим. Обогнув по задам четыре усадьбы, «Москвич» въезжает в улицу, поворачивает и останавливается возле ворот пятой хаты. Пыль, которая раньше никак не могла догнать машину, теперь набрасывается на нее и окутывает густым желтым облаком. Сердито отплевываясь, жена Звездочета выскакивает из машины и утаскивает за собой Анусю. Сашук вопросительно смотрит на Звездочета.

— Слезай, приехали, — говорит тот. — Путешествие окончено.

Сашука пронзает горькое разочарование. Он вылезает из машины, отходит в сторонку, но как только Звездочет разворачивает автомобиль и въезжает во двор, Сашук припадает к редкому штакетнику, опоясывающему двор. Звездочет открывает капот, долго там копается, потом закрывает капот, все дверцы и, наконец, замечает прижатое к штакетнику лицо Сашука.

— Ты собираешься стоять здесь всю ночь?

Сашук молчит.

— Лети домой, а то тебе тоже бенц устроят.

Сашук отрывается от штакетника, но тотчас опять припадает к нему.

— Ладно, я к вам еще приду? — с надеждой спрашивает он.

— Валяй, — соглашается Звездочет, и теперь даже сквозь толстые стекла очков Сашук отчетливо видит, что левый глаз его подмигивает.

Блаженная улыбка снова растягивает лицо Сашука, и он припускает домой, к бригадному бараку.

ПИЩА НАША

Соскучившийся Бимс бросается ему навстречу, но Сашуку не до него. Первым делом он бежит в барак к зеркалу. Оно всегда стоит на подоконнике: возле окна рыбаки бреются. Зеркало треснутое, мутное и изрядно засиженное мухами. Сашук плюет на него, протирает рукавом. Оно ничуть не светлеет, но все равно видно, что с носом плохо. Две дырочки, обращенные к небу, над ними кожа, красная и лоснящаяся, как нарыв, а вокруг — остатки старой, облупыши. Сашук сковыривает их ногтем, но под ними такая же воспаленная, багровая кожа.

— Ты чего нос себе обдираешь? — спрашивает Иван Данилович.

Рыбаки почти все в бараке: кто отсыпается после червонного, кто просто так лежит, отдыхает перед обедом и вечерним выходом в море. Жорка уже выспался и лежит, заложив руки под голову, а ноги задрав на спинку кой-

ки. Он тоже наблюдает за Сашуком и тут же встревает.

— Так он же, — кричит Жорка на весь барак, — он же кралю себе нашел! Я видел, как они до машины побежали. Там такая фуфыря — антик марэ с мармеладом! И где только выискал? Вот теперь форс и наводит...

Рыбаки смеются, а Сашук вспыхивает и, сжав кулаки, оборачивается. А он-то еще собирался рассказать Жорке про машину, про всё...

— Как не стыдно! — кричит Сашук. — Как не бессовестно!

— Да ты не серчай, не отобью. Только гляди на свадьбу позови! — хохочет Жорка.

Рыбаки смотрят на яростно взъерошенного, пылающего Сашука и тоже грохочут.

— Жеребцы стоялые, — говорит Иван Данилович, — нашли над кем...

Ненавидя их всех, Сашук выбегает из барака. Бимс кидается ему под ноги. Сашук пинает его, тот жалобно скулит, и Сашуку становится стыдно и жалко. Он нагибается и гладит кутенка.

— Ладно, — говорит он, — не сердись, я нечаянно, со злости...

Щенок зла не помнит. Он тут же начинает ластиться, лизать Сашукову руку. Сашук тормошит его и мало-помалу отходит.

Мать уже вернулась и возится у плиты под навесом, готовит обед. Сашук бежит к ней.

— Мам, дай мне другую рубашку.

— Чего ради?

— Эта уже грязная.

— Поменьше в грязи гваздайся. Вчера только надел. И с чего ты чистюля такой стал?

— Да ну, мамк... — начинает канючить Сашук, но мать отмахивается.

— Не приставай, без тебя тошно.

Похоже, что ей на самом деле тошно: ходит с трудом, полусогнувшись, лицо бледное, под глазами темные круги, а на висках выступили капельки пота. Сашук направляется к рукомойнику и долго, старательно моет руки, даже трет их песком. Руки светлеют, но самую малость, а пальцы так и остаются с обгрызенными ногтями и заусеницами.

За обедом Сашук смотрит в свою миску и ни с кем не разговаривает. Принципиально. Раз они такие.

Рыбаки идут на причал. Мать, тяжело вздыхая, то и дело приостанавливаясь, моет посуду, потом уходит в баран и ложится. Сашук идет на берег, втайне надеясь, что Звездочет снова привезет свое семейство купаться. Больших медуз в воде уже нет, они снова ушли на глубину, в свою бездну, из которой приплыли к берегу погреться на солнце. У берега болтаются лишь маленькие, как блюдечки, да и те постепенно исчезают. Солнце скрывается за излучиной обрыва. Звездочет не приезжает и уже, должно быть, не приедет. Сашук бредет домой.

Мать лежит в боковушке и тихонько стонет. От этого Сашуку становится скучно и не по себе. Он идет во двор, усаживается за длинный, на козлах, обеденный стол под навесом и смотрит, как постепенно догорает, гаснет закатное зарево. Сизая дымка густеет, наливается синевой, потом сразу становится непроглядно-черной. На не видной отсюда окраине Балабановки взлаивает пес, ему отвечают другие. Некоторое время они перебрехиваются, будто ведут перекличку перед ночным дежурством, и замолкают. С моря не доносится ни единого всплеска. Легкий бриз, который весь день дул с моря, затих, а береговой еще не поднялся, и Сашука обступает глухая, плотная тишина. Сидеть в темной тишине жутко, но Сашук оглядывается назад. Распахнутая дверь барака, где лежит мать, — в трех шагах, а босая нога ощущает короткую теплую шерсть Бимса, свернувшегося под скамейкой. «И вообще чего бояться? — уговаривает себя Сашук. — Если бояться, так никогда и не найдешь...» Правда, Звездочет не сказал, как ее искать, но уж он как-нибудь найдет. Если она его, так она ему сама даст знак: подмигнет или еще как... Звезды одна за другой уже проклевываются в черном небе, но такие дрожащие и слабенькие, что ни одна из них не может быть его звездой. Сашук облокачивается на стол, опирается скулой о кулак...

— Ты чего здесь куняешь?

Шершавая, как наждак, ладонь Ивана Даниловича запрокидывает лоб Сашука. В бараке горит свет, слышны голоса вернувшихся рыбаков. Сашук сначала не хочет отвечать, но вспоминает, что Иван Данилович никогда над ним не смеется, сильнее всех и больше всех знает. Может, он и про это знает?

— Я звезду ищу. Дяденька... ну, который на машине, на красной, сказал, что у каждого должна быть звезда.

— Вон оно что!.. Ладно, пойдем, я тебе покажу.

Они выходят из-под навеса, заслоняющего звезды.

— Большую Медведицу знаешь? Тогда смотри за моим пальцем... Вон семь звезд. Получается вроде ковша или кастрюли с ручкой. А теперь через эти две звезды смотри вверх... Там тоже кастрюля, только поменьше и ручкой в другую сторону. На конце той ручки — звезда. Видишь? Полярная называется. Для нашего брата — наиглавнейшая звезда. Она всегда север показывает. Как моряки или рыбаки без компаса заблудятся — ни берега, ничего не видать, — найдут эту звезду и по ней прямехонько домой...

— Не! — подумав, отвечает Сашук. — Это всехная. А он сказал, у каждого своя.

— Тогда ищи сам. Только другим разом, а теперь спать беги, тебе уже третий сон видеть пора...

Мать не спит, блестящие глаза ее смотрят куда-то в угол, под потолок. Отец растерянно мыкается по боковушке и приговаривает:

— Взвара бы. Или киселя холодненького. Может, и обошлось бы, полегчало... А завтра что ж будет?

— Как-нибудь отлежусь, — тихонько отвечает мать. — Ты спи, устал ведь...

Сашук ложится на свой жесткий топчан и думает, что взвара бы — хорошо, — и ему бы перепало. Когда он хворал, бабка варила взвар только для него. Но тогда — он хорошо это помнит — ему даже не хотелось. А когда он поправился и ему захотелось, никакого взвара уже не варили и не давали. Почему это вкусные вещи дают только больным, когда они им вовсе ни к чему, а здоровым очень даже к чему, но им не дают?.. Додумать эту важную мысль Сашук не успевает — веки склеиваются, а мысли разбегаются в разные стороны, как рассыпанный горох.

Когда Сашук просыпается, в бараке тихо. Значит, рыбаки ушли, а он снова проспал. Но тут же видит, что мать лежит, стало быть, не так уж поздно. Тихонько, чтобы не разбудить мать, он выскальзывает во двор. Солнце еще только-только поднялось над морем, и, если прищуриться, на него даже можно смотреть. Сашук щурит по очереди то один глаз, то другой и смотрит на солнце до тех пор, пока глаза не начинает резать, а голова кружиться. Потом вспоминает все вчерашнее, бежит со двора, но спохватывается и возвращается к рукомойнику. Он плещет с ладошек на лицо, даже зачем-то смачивает

белобрысый свой чубчик. Идти за полотенцем некогда, и утирается Сашук уже на бегу, рукавом.

Оранжевый «Москвич» стоит за штакетником на прежнем месте. Окна в хате распахнуты настежь, но никого не видно и не слышно. Спят. Улица, на которой хаты стоят только в один ряд, пуста, нет даже ни мальчишек, ни собак. А эти же еще хуже, городские, наверно, спать будут долго. Все-таки Сашук не уходит. Он бродит по канаве, тянущейся вдоль дороги, только там ничего интересного нет — окаменелая грязь, бурьян да совсем бросовый хлам. Солнце припекает, в животе Сашук явственно ощущает пустоту, а там всё спят и спят. Он бросает прощальный взгляд на «Москвича» и уходит. К его удивлению, мать еще не встала.

— Мамк, я есть хочу, — говорит Сашук, подходя к койке.

Оказывается, она совсем не спит. Блестящие глаза ее смотрят все в тот же угол под потолком, круги под глазами еще больше, а лицо синевато-бледное. Она шевелит запекшимися губами, но отзывается не сразу.

— Ключ возьми... под подушкой. В кладовке хлебца отрежь... Не порежься смотри...

— Что я, маленький?

— Только, сынок, там сало лежит — не трогай... Оно артельское, нельзя. Если хочешь, капустки возьми, в кадушке...

Сашук шарит у нее под подушкой, достает ключ. Кладовка во дворе, наполовину врытая в землю, там сумрачно и прохладно. Прижав к животу хлебный кирпич, Сашук срезает себе горбушку. Подумав, отрезает еще ломоть — про запас и для Бимса. На ящике, прикрытое холщовой тряпкой, лежит сало. Его много. Три толстых белых пласта, рассеченных на четыре части, поблескивают крупной солью. Сало Сашук любит, но ест его не часто. Он оглядывается на открытую дверь кладовки и раздумывает. Никто же не увидит... Потом глотает слюну и решительно прикрывает сало тряпкой. Капуста старая, воняет бочкой — прямо с души воротит. Сашук посыпает свою горбушку крупной солью, запирает кладовку и бежит обратно к матери. Бимс юлит, виляет бубликом-хвостом. Получив ломоть хлеба, укладывается и тоже принимается жадно есть. Мать переводит взгляд на громко тикающие ходики.

— Господи, скоро шесть... — и пробует приподняться, но обессиленно опускает голову на подушку. — Сы-

нок, а сынок, — немного передохнув, говорит она, — рыбаки скоро с моря придут...

Сашук перестает болтать ногами, но продолжает уплетать горбушку.

— А я вот слегла... Есть-то им будет нечего... — Сашук перестает жевать и, зажав ладошки между коленками, ждет, что она скажет дальше. — Может, ты расстараешься?

— Так а я чего? Я не умею.

— Хоть как-нибудь.

— Да ну, мамк, не хочу я! И некогда мне, пускай сами...

— Ты погоди, ты подумай... Ушли они до света, а придут часов в восемь... Они ж не катаются, а работают. Тяжко работают, сынок... Ты весла ихние видел?

Сашук кивает. Весла здоровущие. Он как-то попробовал приподнять — и пошевелить не смог. Как бревно. Не зря на одном весле по два человека сидят.

— Ты подумай-ка сам: пять часов таким веслом помахать!

— Я бы взял и бросил.

— Глупый ты еще... И они, чай, не от радости — на жизнь зарабатывать надо... Ты вон только побегаешь и то есть хочешь. А им каково? Небось все руки-ноги ломит...

Сашук пытается представить, как это ломит руки-ноги, и не может. Но он знает, что рыбаки всегда приходят голодные-преголодные. Едят быстро и молча. А потом сразу ложатся отдыхать. Очень устали потому что. А тут они придут, а есть нечего, надо варить и ждать. Они будут сердиться и ругаться, и даже сам Иван Данилыч...

— Ладно, — говорит Сашук, — только ты говори чего...

— Вот и хорошо, вот и ладненько... — говорит мать, и губы у нее почему-то дрожат. — Хоть кондер сварим. Я тебе все по порядку... Ты перво-наперво плиту почисти, кочережкой...

Через полминуты под навесом начинается извержение вулкана, — зола и пепел столбом поднимаются над плитой, усыпают все подступы к ней. Сашук чихает, кашляет, но орудует кочережкой, пока колосники и поддувало не становятся чистыми.

— Дальше чего? — прибегает он к матери.

— Господи, измазался-то, как чёртушка! — скосив на него глаза, говорит мать. — Ладно уж... Натаскай воды

в котел, ладошки две не до краев... Потом чайник... И разожги.

Хорошо хоть железная цистерна с водой близко. Сашук таскает воду котелком и старательно прикладывает к краю ладошки. На растрескавшейся эмали котла остаются сажевые следы, зато мера точная, тютелька в тютельку — две ладошки. Разжечь плиту — дело плевое. Сашук не раз с ребятами жег костры и в плавнях и на огородах. Пламя в плите начинает реветь. Потом Сашук приносит из подвала два котелка пшена, отрезает четвертушку сала. Он режет сало на мелкие кусочки, а Пимс, уловив волнующий запах, вьется под ногами и скулит.

— Не подлизывайся! — строго говорит Сашук. — Сказано тебе — нельзя! Артельское...

Все-таки он не выдерживает: отрезает маленький кусок шкурки и дает щенку. И себе отрезает такой же, кладет за щеку и сосет. Шкурка вкусная, ее можно сосать долго, но Пимс не жуя заглатывает свой кусок и так царапает Сашуковы ноги острыми когтями, так умильно заглядывает ему в лицо, что Сашук вынимает шкурку изо рта и отдает щенку.

Кондер закипает, и оказывается, что самое трудное — мешать. Большая деревянная ложка почти целиком уходит в котел, а кондер густеет и его все труднее размешивать. Сашук доливает воды, но он снова густеет, надувается пузырями, пахнет паром и целыми шлепками кипящей крупы. Уже немало таких шлепков попало на плиту, они горят и воняют. А потом такой шлепок попадает ему на запястье, он бросает ложку и с ревом бежит к матери.

— Обварился? Ничего, ничего... Ты послюнь и солью посыпь. Оно и отойдет, не так печь будет...

Сашук посыпает, соль грубой коркой присыхает на ожоге, и через некоторое время и в самом деле становится легче.

Тем временем к причалу подходят люди. Сашук бежит туда и, забыв об ожоге, обо всех неприятностях, горделиво кричит:

— Папк, дяденька Иван Данилыч! А я кондер сварил! Сам-один!

— А мать чего ж?

— Так она хворая! — радостно сообщает Сашук. — Вот я и варил...

Иван Данилович и отец переглядываются, отец вспры-

гивает на причал и быстро идет к бараку. А Сашук обижается — никто не радуется и не удивляется тому, что он сам-один сварил кондер.

Рыбы мало, ее быстро разгружают, транспортер уносит ее в цех, и рыбаки идут домой. Надутый, обиженный Сашук бежит следом за бригадиром. Тот прежде всего идет в боковушку к матери. Та с трудом поворачивает к нему голову.

— Вы уж не серчайте, Иван Данилыч, не смогла я, совсем заслабла...

— Ничего, с голоду не помрем. Поправляйся давай, — говорит Иван Данилович, кивает отцу Сашука, и они выходят во двор. — Табак дело, Федор, надо Настю к доктору.

— Где ж его взять?

— В Николаевке нету. Там даже фельдшера нет. Только в Тузлах. Туда и везти.

— А на чем?

— Да не будь ты тютей! — сердится Иван Данилович. — Где, на чем да как... Иди в Николаевку — в сельсовет, в колхоз, — добывай транспорт. Там ведь люди, помогут. Нельзя, чтоб не помогли. Добивайся, требуй!

Отец, ни слова не говоря, поворачивается и быстро шагает со двора.

— Ну, кухарь, показывай, чего наварил.

Сашук стаскивает тяжелую деревянную крышку с котла. Иван Данилович заглядывает.

— И всё сам? — Сашук быстро и часто кивает головой. — Знатный кондер!.. Кажись, малость подгорел. Ну, не беда — смачней будет... Молодец парень!

Сашук расплывается в улыбке. Если уж сам Иван Данилыч говорит...

Рыбаки садятся за стол, начинают есть, и Сашук ждет, что сейчас и все, как Иван Данилович, будут говорить, какой замечательный кондер он сварил, и хвалить его, Сашука, но вместо этого слышит, как Игнат бурчит:

— Какой же то кондер, то ж каша, ее хочь колуном рубай.

— Заглотаешь и такую, — отзывается Жорка. — Щи да каша — пища наша! Верно, Боцман?

— Это тебе все одно, что дерево, что бревно... Дай табуретку — и ту сжуешь... А человеку после работы еда нужна.

— Не нравится? — спрашивает Иван Данилович, и голос его не сулит ничего хорошего. — Скажи малому

спасибо и за такую еду, а то сидели бы на одном хлебе.

Каша в самом деле очень крутая, с трудом проходит в глотку, горчит, но из всех каш, какие он ел, кажется Сашуку самой вкусной. А Иван Данилович... Иван Данилович, конечно же, самый справедливый и самый авторитетный из всех людей, каких он знает.

САМОРДУЙ

Сашук наедается своей каши до отвала и соловеет от сытости и усталости. Оказывается, даже если только сварить один кондер, и то устанешь, и он уже предвкушает, как вместе со всеми рыбаками пойдет в барак и ляжет отдыхать. С устатку... Но Иван Данилович говорит вдруг:

— Егор, прибери давай, что ли. — Жорка недовольно морщится. — Надо ж кому-то. А ты моложе всех...

— Ладно, — говорит Жорка. — Если только шеф-повар подсобит. Как, Боцман, подмогнешь? Мы с тобой враз все подчистую.

Сашук согласен. Он согласен сейчас на всё. Даже сварить новый кондер. Или что угодно. Лишь бы опять говорили, какой он молодец и как здорово у него все получается.

— Как нам это дело оборудовать? — спрашивает Жорка и на минутку задумывается. Потом берет детскую оцинкованную ванночку, в которой Сашукова мать делает постирушки, и они сваливают туда все миски и ложки.

— Я буду мыть, а ты таскай, на столе раскладывай.

— И вытирать?

— Ну, еще вытирать! Сами на солнце высохнут.

И в самом деле, солнце так накаляет алюминиевые ложки и миски, что они обжигают руки.

— Вон ты его как уделал! — говорит Жорка, наклонясь над котлом. — Теперь хоть бульдозером выгребай... Тащи песку!

— А где? Тут же нету.

— На море тебе песку мало? Эх, ты, а еще Боцман...

Сашук бежит к морю и уже только на берегу спохватывается — прибежал он без посуды. Не раздумывая долго, он насыпает полную пазуху и, придерживая вздувшуюся пузырем рубаху, бежит обратно. Струйки песка щекотно текут по телу, но все-таки почти половину он доносит до места.

Жорка шурует котел, Сашук, облокотившись о плиту, наблюдает.

— А боцман — это кто? — спрашивает он.

— Боцман — это, брат, фигура. На корабле первый человек.

— Начальник?

— Ну, начальник! Чего доброго, а их и над ним хватает... А боцман — он и старший, и вроде свой. А главное — по всей корабельной части мастак. И по жизни тоже. Каждую заклепку знает и кто чем дышит... Кончил! Теперь можно пойти храпануть... Постой, а где ж твоя краля? Или уже разошлись как в море корабли?

— Ну чего привязался? — вспыхивает Сашук.

— Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя, — примирительно говорит Жорка и уходит спать.

А Сашук бежит к матери, — может, она передумала и все-таки даст новую рубашку?

Мать еще бледнее, дышит тяжело и стонет. Какая уж там рубашка! Сашук поворачивает обратно, но мать замечает его.

— Посиди со мной, сынок, — слабым голосом говорит она.

Сашук садится на свой топчан.

— Иван Данилыч сказал — я молодец.

— Молодец, молодец... — подтверждает мать.

— А еще мы с Жоркой посуду помыли!

Мать молчит, но Сашук и так знает — ей не по душе, что он опять был с Жоркой. Он лезет под топчан, достает кухтыль, заново рассматривает свое сокровище, потом прячет обратно. Мухи звенят, бьются о пыльные оконные стекла. Сашук складывает ладонь лодочкой и начинает их ловить. Мухи надсадно жужжат и щекотно бьются в ладошке. Однако мухи скоро надоедают. Мать все так же смотрит в угол под потолком и тихонько стонет. От этого Сашуку становится совсем тоскливо.

— Я пойду с Бимсом поиграю, — говорит он.

— Ладо уж, беги, — вздыхает мать.

Сашук бежит, но вовсе не играть с Бимсом, а прямиком к пятой хате. Он подбегает и столбенеет — машины нет. Совсем нет. Ни во дворе, ни в сарае, ворота которого распахнуты настежь, ни за сараем. Уехали. Вот даже видны свежие отпечатки покрышек в толстом слое пыли на дороге. Значит, недавно. Может, только что. Обманул Звездочет. А еще звал приходить. Ну, не звал, а сказал «валяй» — значит, приходи, а сам... Эх!

Сашуку становится так горько, так обидно — хоть плачь. Но он не плачет, а, сунув кулаки в карманы, насупившись, смотрит вдоль улицы. Может, они не насовсем, а так — на базар или куда — и еще приедут? Хорошо бы пойти во двор и спросить, куда уехали квартиранты, однако на это Сашук не решается — прогонят и еще обругают. Лучше здесь подождать. Все равно дома ничего интересного — мамка стонет, а рыбаки спят.

Сашук перебирается через канаву, садится на корточки возле старого толстого тополя и ждет. Сколько он сидит — полчаса, час или два, — неизвестно. Солнце стоит на месте, да и все равно по солнцу определять время он не умеет, а часы — откуда у него часы, если их и у отца нет. Улица пуста. Только раз тетка из одной хаты пошла в другую, потом вернулась. Да еще пробежала собака.

Время идет, надежды гаснут. Сашук перелезает канаву, чтобы направиться домой, и тут вдруг видит идущего из Балабановки отца. Он весь запылился, лицо тоже в пыли, по нему текут грязные струйки пота.

— Ты зачем здесь? — строго спрашивает отец, но ответа не ждет. — Как там мамка?

— Лежит.

— Вот беда! И Балабановку, и всю Николаевку избегал — ничего. Лошадей нет — какие теперь у мужиков лошади? А в колхозе все машины в разгоне. Уборка. Пришел в сельсовет, а там говорят: у нас один велосипед...

Говорит он, в сущности, не для Сашука, а сам с собой, потому что ему не с кем поделиться, некому пожаловаться и потому, что он не знает, как быть.

— В насмешку, что ли? Разве на велосипеде довезешь? До Тузлов, шутка сказать, двадцать пять километров. По дороге кровью изойдет...

— А зачем?

— В больницу надо мамку везти. А то так и помрет. Что мы тогда делать будем?

— Ну да, — говорит Сашук. — Она же не старая!

— Дурачок! Разве только старые помирают?.. И черт нас дернул вчера в село ходить, все одно без толку... А может, дорога ей повредила, растрясло...

Говоря сам с собой, отец торопливо шагает задами крайних хат — так ближе, — а Сашук старается не отстать и напряженно думает. С какой стати мамка должна помирать? Ну, похворает, и все. Она уже хворала. Две недели лежала в больнице в Измаиле. Сашуку было даже лучше. Ну, случалось, сидели без варева — беда боль-

шая. Зато бегай сколько хочешь и где хочешь, никто домой не загоняет. А тут вдруг помирать! Сашук только раз видел покойницу — бабку. Лицо у нее стало маленькое, желтое и какое-то чужое. А самое страшное — она стала неживой: не говорила, не смотрела, лежала на столе, сложив руки, а потом ее увезли и закопали в землю...

Сашука охватывает все бóльшая тревога и смятение. Он уже просто бежит бегом и вдруг замечает, что отец тоже бежит, обгоняет его — и прямиком на бригадный двор.

Посреди двора стоит «газик». Обе дверцы его распахнуты, во все сиденье растянулся на животе вихрастый парень. Он лежит и курит.

— Слушай, — запыхавшись, говорит отец, — слушай, друг! Выручи, сделай одолжение — подкинь человека до Тузлов... А?

Парень поднимает взгляд на отца.

— Какого человека?

— Да жинка у меня захворала, срочно в больницу надо. А тут хоть убейся — никакого транспорта. Ни лошади, ничего, хоть на себе неси...

— Нет, — говорит вихрастый, — не имею права. Я «козлу» не хозяин. Проси начальника. Мне что? Скажет — отвезу!

— А где твой начальник?

— С бригадиром куда-то подались. Может, в лавку — подзаправиться...

Иван Данилович сидит на крыльце за столом. На столе две пустые бутылки из-под червонного и одна начатая. Напротив сидит незнакомый человек в вышитой рубашке. Нельзя сказать, что он жирный или толстый. Он просто очень сытый, весь налитой и такой гладкий, что рубашка на нем лежит без единой морщинки.

— Доброго здоровья, — говорит отец, подходя к крыльцу и стаскивая кепку.

— Привет, привет, — отвечает Гладкий и вопросительно смотрит на Ивана Даниловича.

— Рыбак наш, — роняет тот.

— Я до вас, — говорит отец. — Просьба у меня... Насквозь всю Балабановку и Николаевку избегал. Ни лошади, ничего... А в колхозе все машины в разгоне. И председатель говорит: не имею права с уборки снять, голову оторвут...

— Правильно, оторвут, — солидно подтверждает Гладкий. — А в чем дело?

— Жинка у него захворала, — объясняет Иван Данилович. — Недавно из больницы выписалась, сюда приехала и слегла.

— Зачем же рано выписали?

— Разве спрашивают? Выписали, и все, — говорит отец. Пот еще обильнее выступает у него на лице, на шее, он начинает торопливо вытирать его скомканной кепкой, — сделайте такое одолжение...

— Так а я при чем? Я не доктор.

— Дозвольте на вашей машине до Тузлов отвезти. Всего двадцать пять километров...

Отец заискивающе, просительно смотрит на Гладкого. Тот молчит и думает. Лицо его остается неподвижным, только словно твердеет, становится еще более тугим и налитым.

— Ну, — говорит он, — я эти двадцать пять километров знаю. Часа полтора будет тащиться, да там пока то да сё... Это я сколько часов потеряю? Нет, не могу. Не имею права. Мое время мне не принадлежит, я на работе. В соседнем колхозе уборку заваливают, надо туда гнать, накачку делать... Изыскивайте местные ресурсы.

Он допивает свой стакан, тыльной стороной ладони вытирает губы и тянется за шляпой. Шляпа светло-желтая и вся в дырочках, как решето, — чтобы продувало. Сашук переводит взгляд на Ивана Даниловича. Он ждет, что Иван Данилович сейчас скажет, и этот Гладкий его послушается, как слушаются все. Но Иван Данилович молчит, смотрит в стол и размазывает пальцем по столешнице лужицу червонного.

Гладкий, а за ним Иван Данилович сходят с крыльца, направляются в бригадный двор. Отец и Сашук идут позади. Отец так и не надевает кепки. Должно быть, хочет улучить момент, когда тот обернется или остановится, и снова попросить, а может, надеется, что он и сам передумает. Сашук тоже надеется. Шофер, еще издали завидев начальство, садится за баранку и заводит мотор.

Гладкий, повернувшись к Ивану Даниловичу, поднимает ладонь к шляпе, открывает переднюю дверцу. И тогда Сашук понимает, что он не передумает, что мамка так и останется лежать в душной, звенящей мухами боковушке, будет страшно стонать и, может, даже помрет... Сам себя не помня, Сашук сжимает кулаки и что есть силы, со всей злостью, на какую способен, кричит в налитую, обтянутую рубашкой спину:

— Самордуй!

За шумом мотора Гладкий не слышит или не обращает внимания, он даже не оборачивается. Но отец слышит и дает Сашуку такую затрещину, что тот летит кубарем.

Давно уже улеглась пыль, поднятая кургузым «козлом», а Сашук все еще сидит под навесом, размазывая по щекам злые слезы. Домой он идти не хочет: там отец, а отца он сейчас не любит и презирает. И Ивана Даниловича тоже. Оба забоялись. Вот был бы Жорка, он бы врезал этому самордую... Да и сам Сашук тоже бы не забоялся, если бы камень или еще что. Как запулил бы!.. Он долго перебирает, чем бы можно запулить в Гладкого или прищучить его другим способом, и слезы незаметно высыхают.

Взгляд его бесцельно блуждает по пустому двору, поднимается выше и останавливается на пограничной вышке. Сашук вскакивает. Как же он раньше не догадался?! У них же есть лошади — он сам видел! — а может, и машины тоже...

Сашук стремглав бежит мимо старых окопов и развалин дота. Лошади возле вышки не видно, но это ничего, где-то они же есть, может, спрятаны...

Запыхавшийся Сашук подбегает к лестнице и, задрав голову, кричит:

— Дяди! Эй, дяди!

Никто не отзывается. Сашук стучит кулаками по лестнице и снова кричит:

— Дяденьки!.. Дядя Хаким!

И наверху и вокруг тихо, лишь тоненько и заунывно посвистывает ветер в переплетениях вышки.

С трудом преодолевая широкие проемы между ступеньками, Сашук карабкается наверх. Дверь заперта на щеколду — значит, там никого нет, но Сашук все-таки открывает. В будке пусто.

Спускаться вниз почему-то намного труднее и страшнее, чем лезть наверх.

Сашук пятится задом, долго ищет правой ногой нижнюю ступеньку, еле-еле достает до нее, переставляет левую и только потом снова опускает правую, чтобы искать следующую ступеньку.

Подавленный неудачей, он бредет домой и уже подходит к ограде двора, когда замечает, что вдоль задов ближних хат клубится пыль. Сашук смотрит без всякого интереса — что интересного в поднятой ветром пыли? Но на повороте в пыльном облаке мелькает оранжевый кузов. Ветер оттягивает пыль в сторону, и уже ясно видно, что

оранжевый автомобиль направляется к откосу, ведущему на пляж. Сашук бежит навстречу машине, потом вдруг спохватывается и стремглав бросается в барак.

— Папа! Пап! — кричит он.

— Тихо ты! — замахивается на него отец кепкой, которую так и не выпускает из рук. — Не видишь?

Мать лежит с закрытыми глазами. Лицо у нее уже не просто бледное, а иссиня-землистое.

— Так папа же! — шепотом кричит Сашук. — Там Звездочет приехал!

— Чего мелешь?

— Ну, дяденька этот... на машине. Пойдем его попросим.

Отец вскакивает, они вдвоем бегут к оранжевому автомобилю. Ануся вприпрыжку скачет к откосу, мама ее с туго набитой сумкой идет следом, а Звездочет захлопывает дверцы и взваливает на плечо колья для тента, обмотанные простыней.

— Гражданин! — отчаянным голосом говорит, подбегая, отец. — Я очень извиняюсь, гражданин... Выручите ради бога!

Он нещадно жмакает кепку. Сашук впервые видит, какое у него измученное лицо, как дрожат побелевшие губы, и у него самого губы тоже начинают дрожать.

— Что такое? — оборачивается Звездочет и ставит колья на землю.

Мама Ануси делает к ним несколько шагов, но останавливается поодаль.

— Жинка у меня захворала, в больницу надо, в Тузлы... Весь избегался — не на чем везти! Ни лошади, ни машины — хоть убейся!.. Всего двадцать пять километров. А если тут по берегу, может, и ближе...

— Евгений, на минутку! — окликает Звездочета жена.

— Подождите, — говорит Звездочет отцу и отходит.

Они стоят шагах в десяти, разговаривают негромко, но Сашук все слышит.

— Не вздумай ехать! — говорит жена.

— То есть как?

— Вот так! Ты знаешь, чем она больна?

— Я знаю, что она больна, и это единственно важно.

— А мы? А я? Это неважно? Ты о последствиях думаешь?

— Ну знаешь... — совершенно необычным, сухим и жестким тоном говорит Звездочет. — Это уже переходит

всякие границы. Человек болен, ему нужно помочь... Я еще не потерял совести и, конечно, поеду.

— Ах так? Пожалуйста! — еле сдерживая бешенство, говорит жена. Ноздри ее побелели и раздуваются, как на бегу. — Корчи из себя «Скорую помощь» для первых встречных... Но имей в виду: я здесь больше не останусь. Ни одного дня! Хватит с меня грязи, благотворительности, паршивых мальчишек... Хватит! Завтра же уеду. Я приехала отдыхать и хочу жить по-человечески...

— Как угодно, — сухо отвечает Звездочет, идет к машине. — Садитесь, — говорит он отцу Сашука и распахивает дверцу.

Тот неловко, бочком, стараясь ничего не запачкать, притыкается на сиденье. Сашук забегает вперед, чтобы его заметили и тоже посадили в машину. Но его не замечают, и ему ничего не остается, как бежать следом в густой туче пыли, поднятой «Москвичом». Когда он вбегает во двор, Иван Данилович и отец уже укладывают мать на заднее сиденье. Отец садится рядом со Звездочетом, машина сразу же трогает, но поворачивает не в Николаевку, а по берегу к пограничной вышке, мимо которой тянется малоезженый проселок. Когда пыль рассеивается, Сашук видит, что Анусина мама идет домой, и даже шаги ее кажутся злыми. Сзади понуро и неохотно плетется Ануся.

КУХТЫЛЬ

День тянется и тянется, а Звездочета и отца все нет и нет. Сашук слоняется по двору, идет на берег, но там никого, а одному скучно, к тому же он боится прозевать Звездочета и возвращается домой. Рыбаки сидят под навесом, «травят баланду»: рассказывают всякие байки и хохочут. Сашук хочет к ним подсесть, но его прогоняют:

— Иди гуляй, мал еще, нечего тут...

Сашук обижается, хотя это не впервой, мог бы привыкнуть: как только взрослые говорят друг другу про смешное, так обязательно его гонят.

Наконец у пограничной вышки появляется пыльное облачко, стелясь по дороге, несется к бараку. Сашук бежит ему навстречу. «Москвич» останавливается у изгороди. Он уже не оранжевый, а желто-рыжий от пыли. Дверца распахивается, отец вылезает.

— Спасибо вам, — говорит он Звездочету. — Выручи-

ли, прямо не знаю как... Вот! — Он протягивает смятую пятирублевку.

Звездочет смотрит на пятерку, потом на отца, брови его сдвигаются.

— Вы с ума сошли! Уберите сейчас же!

— Так как же?..

— Вот так. Спрячьте деньги.

— Может, тогда рыбки вам принесть? Свеженькой... А?

— Ничего мне не нужно. — Тут он замечает Сашука и рад перевести разговор на другое. — А, — говорит он, — неустрашимый охотник на дохлых крабов? Как жизнь? Нашел свою звезду?

— Не, — мотает головой Сашук.

— Еще найдешь, времени у тебя вагон... Слушай-ка, ты мое семейство не видел? Они на пляже?

— Домой ушли. Как вы уехали, они туточка и ушли...

— Туточка? Плохо дело...

Сашук думает, что сейчас Звездочет снова посадит его в машину, даст погудеть в заколдованный гудок, потом газанет, и они помчатся «на край света» — к пятой хате Балабановки. Он даже делает шаг к открытой дверце. Но Звездочет захлопывает ее перед самым носом Сашука, «Москвич», как пришпоренный, срывается с места и исчезает в поднятой им пыли.

— Как там Настя? — спрашивает Иван Данилович. — Сдал?

— Сдал, — вздыхает отец. — Еще меня ругали, почему поздно. Еще б чуток и... А я чем виноват?.. Сразу на переливание крови забрали. Надеются вроде...

— Ничего, поправится, — говорит Жорка, — теперь в два счета. Наука у нас...

— Наука наукой... — неопределенно отзывается Иван Данилович. — Ну ладно, мужики. С Настей — сами знаете... Чего делать будем? Сегодня обойдемся — в лавку колбасу привезли... Только каждый день так не пойдет: и накладно, и при нашей работе всухомятку не потянешь...

— Факт. Без приварка не годится.

— Может, есть до этого дела охотники, добровольцы?

Рыбаки переглядываются, пересмеиваются, но никто не вызывается в охотники.

— Жорку к этому делу приставить. Пускай старается...

— Я настараюсь — не обрадуешься!

— А что? Вон малый и то сварил.

— То малый!

— Ша! — обрывает Иван Данилович. — На базаре, что ли? Дело говорите, а не лишь бы горло драть.

Все молчат.

— Я б взялся, — осторожно говорит Игнат, — только расчету нет.

— А какой тебе нужен расчет?

— В артели я свой про́цент имею. А тут что?

— Видали жмота? — кричит Жорка.

Даже Иван Данилович покачивает головой:

— Н-да... Ты ж еще и не рыбак — в первую путину пошел, а туда же...

— Я не чужое беру, со всеми наравне работаю.

— Ну, ровней-то ты еще когда станешь... Ладно. Будет тебе твой процент. Тут и всего-то, пока Семен приедет. Передам в Некрасовку, пришлют кого ни то... Нет возражений?

Все молчат. Иван Данилович лезет в карман и протягивает Игнату ключ, который всегда лежал под подушкой у матери Сашука.

— На, тут все хозяйство. С завтрашнего утра начинай куховарить. Теперь пошли заправимся, а то скоро выходить...

Все идут в лавку, покупают колбасу и ситро. Жорка берет себе бутылку червонного, но Иван Данилович так зыкает на него, что тот сейчас же относит ее продавцу обратно. Перед выходом в море пить нельзя.

Колбаса очень соленая, твердая, но все равно вкусная-превкусная. Сашук съедает свою порцию всю без остатка, вместе с кожурой. Ситро он пьет впервые в жизни. Липучее, приторно-сладкое, оно склеивает ему пальцы и губы, но он готов выпить целую бутылку, даже две. Целую бочку. Почему Иван Данилович говорит, что так не пойдет? Лично он согласен. Хоть каждый день...

Потом Сашук и Бимс, которому от рыбаков перепали колбасные шкурки, без конца бегают пить воду.

— А с ним как же? — спрашивает отец у Ивана Даниловича. — Может, с собой?

— Выдумывай! Хорошие игрушки — малого в море таскать. А если погода навалится?

Сашук хочет сказать, что никакой погоды он не боится, пускай его лучше возьмут с собой в море, он все время хочет, а тут одному оставаться не то чтобы страшно,

а так... Сказать он не успевает. Иван Данилович поворачивается к нему:

— Вот какое дело, Лександра: ответственное поручение тебе. Останешься один на хозяйстве. Будешь сторожить и вообще приглядывать, чтобы ничего такого. Понятно?

Сашук кивает. Если такое поручение — другое дело.

— Не забоишься один?

— А раньше? Боялись такие!

— Ну и ладно. Может, мы засветло вернемся, сегодня нут ближний. Смотри, я на тебя надеюсь.

— Лучше б запереть хату, — говорит Игнат. — На всякий случай. Мало ли что...

— А ему куда деваться? И никакого случая не будет. Воров тут нет.

Рыбаки уходят, а Сашук, как настоящий сторож, важно обходит свое хозяйство и смотрит, все ли в порядке. Смотреть, в сущности, не на что. Рыбоприемный цех закрыт. В бараке койки с мятыми постелями да мухи. Кладовка заперта, а двор, как всегда, пустой, пыльный, выжженный солнцем. До захода еще можно успеть сбегать и хоть издали посмотреть на «Москвич», но отлучаться нельзя: как же уйти, если Иван Данилович сказал, что надеется на него?

Солнце наполовину уходит за пригорок возле пограничной вышки. Лучше всего пойти в барак, чтобы не было страшно, и запереть дверь. Но в бараке хуже: по углам уже затаилась темнота, а на улице все еще залито розовым светом.

Краешек красного солнца превращается в полоску, потом в точку и исчезает. Но света пока много, и хорошо видно, что возле пограничной вышки опять стоит лошадь и машет хвостом. Значит, приехали пограничники. Сашку не то чтобы становится менее боязно — он нисколечко не боится! — а как-то так, спокойнее. Раз там Хаким и другой, с нашивками, он в случае чего даст им сигнал — и все, будет полный порядок... А чем сигналить? Костер зажечь? Пока-то его разожжешь... Лучше бы всего стрельнуть, так нечем. Сашук приносит из барака спички и «летучую мышь». Долго не может ее открыть, но все-таки изловчается, зажигает фонарь. И вовремя. Вокруг уже совсем темно, только на западе небо чуть-чуть светлеет, но скоро гаснет и там. Сашук захлопывает дверь барака, мучается с ключом, который всегда торчит в замке, наконец ключ со скрежетом поворачивается. Са-

шук вынимает его и кладет за пазуху. На всякий случай. Мало ли что.

Если смотреть на горящий фитиль и ни о чем таком не думать, кажется, что светло везде вокруг, а не только на маленьком пятачке возле фонаря, и тогда совсем не страшно. И Сашук старается не смотреть по сторонам, а только на огонь. К фонарю слетается мошкара. И вовсе маленькая — сущая мелюзга, и побольше, и даже совсем большие бабочки с толстыми мохнатыми животами. Мошкара не такая, как бывает днем, а какая-то блеклая, белесая. Она вьется вокруг колпака «летучей мыши», тычется в стекло и, опаленная, падает на столешницу. Сашук пробует ее отгонять, но мошкара упрямо лезет к огню и обжигается. Чтобы удобнее было наблюдать, Сашук укладывает кулак на кулак, опирается на них подбородком. Мошкара летит и летит, вьется и вьется...

Свет фонаря меркнет, сужается в пятнышко, в точку. Из этой точки вновь разгорается свет, превращается в необыкновенно яркий солнечный день.

Бригада в полном составе сидит под навесом, прохлаждается. И Сашук тоже сидит за столом. Во двор въезжает «Москвич». Звездочет выходит из машины, здоровается со всеми и обращается к Сашуку:

«Ну, как жизнь?»

«Все в порядке», — отвечает Сашук.

«А мамка?»

«Мамка в больнице».

«Так надо ее проведать! Прошу...»

Он открывает перед Сашуком правую дверцу машины.

«Зачем? — говорит Иван Данилович. — Пускай сам ведет, я на него надеюсь».

Звездочет садится справа, пассажиром, а Сашук важно усаживается за баранку и спрашивает:

«А что надо сделать, чтобы поехать?»

«Погудеть, разумеется!» — отвечает Звездочет.

Сашук нажимает на дужку. Раздается такой могучий сигнал, что потрясенные рыбаки зажимают уши.

«Газанем?» — говорит Сашук.

Звездочет кивает и подмигивает:

«Валяй!»

Машина срывается с места и мчится вдоль берега по малоезженому проселку. Пограничники, высунувшись из оконных проемов, машут Сашуку, он высовывает левую руку и шевелит пальцами, как делает это дядя Семен.

Вышка остается далеко позади, скрывается совсем.

По выжженной степи вдоль дороги бредет стадо коров. Сашук сигналит, и коров будто сдувает ветром, а пастух, растопырив руки и открыв рот, каменеет от испуга и восхищения.

Машина летит по степной дороге, и вдруг Звездочет говорит:

«Погоди, чего это там?»

Впереди видпеется черная точка, она быстро увеличивается, растет, и «Москвич» останавливается возле того, что еще недавно было «козлом».

Колеса у него развалились в разные стороны, кузов надломился посредине и лежит пузом на земле, из-под капота идет пар, сзади дымится. Шофер стоит перед задранным к небу радиатором и безнадежно чешет затылок.

Из полуразвалившегося кузова вылезает весь в поту и в саже Гладкий. Он подбегает к «Москвичу», еще загодя стаскивая свою светлую шляпу в дырочках.

«Слышь, друг! — просительно говорит он. — Выручи, сделай одолжение — подкинь до Тузлов... А?»

Сашук и Звездочет переглядываются. Гладкий старается поймать их взгляды и, задыхаясь, говорит:

«Вот, поломалась... И ни лошади, ничего... А в колхозе все машины в разгоне... Сделайте такое одолжение. Дозвольте на вашей машине до Тузлов доехать? А? Мне там накачку делать надо...»

Он заискивающе смотрит то на Сашука, то на Звездочета, комкает свою шляпу и начинает вытирать ею пот, еще больше размазывая грязь и сажу.

«А когда тебя люди просили, — говорит Сашук, — тебе своей машины жалко было, да?»

Пришибленный этим напоминанием, Гладкий суетится еще униженнее, но Сашук и Звездочет непреклонны.

«Правильно! — говорит Звездочет. — Пусть теперь сидит здесь. Пускай знает про справедливость!»

Сашук дает газ, и униженный, презренный Гладкий остается позади.

Машина мчится по улицам Тузлов, время от времени Сашук сигналит так громко и пронзительно, что все шарахаются и разбегаются с дороги. На крыльце больницы стоят мамка и доктор. Мамка уже не бледная и скучная, а розовая, веселая и совсем здоровая. Доктор похож на Жорку, только с бородой и в очках.

«Поправилась?» — спрашивает Звездочет.

«А как же, — говорит доктор Жоркиным голосом. — У нас в два счета. Наука!»

«Тогда садитесь, — говорит Звездочет, — и я отвезу вас на край света. Или прямо в космос...»

И вдруг становится темно, доктор превращается в Жорку и кричит над самым ухом Сашука:

— Я же говорил — вылитый боцман! Даже барак запер...

Освещенные снизу «летучей мышью», возле стола стоят Жорка и Иван Данилович.

— Молодец, — говорит Иван Данилович, — не подкачал. Давай ключ.

Сашук достает ключ из-за пазухи, отдает и вдруг заходится отчаянным плачем.

— Ты чего, дурной? — удивляется Жорка.

— Не-правда!.. — захлебывается слезами Сашук.

— Что — неправда? — спрашивает Иван Данилович.

— Все неправда! — кричит Сашук и плачет, спрятав лицо в согнутый локоть.

Иван Данилович и Жорка молча смотрят на Сашука. Подходит отец, берет его на руки и несет в боковушку, на топчан. Сашук затихает, но еще долго всхлипывает и судорожно вздыхает.

Сон заново так и не приходит. Он просто спит как убитый, без всяких сновидений.

Проснувшись, вспоминает всё и первым делом хочет обругать Жорку за то, что разбудил. Только ругать уже некого — в бараке ни души, а во дворе один Игнат, разжигающий плиту.

Сашук бежит к хате, в которой живет Звездочет. «Москвич» разинул пасть багажника у самого крыльца. Стоя спиной к улице, в багажнике копается Звездочет. Может... Может, он куда поедет и возьмет Сашука с собой? Может, сон произойдет наяву? А что, бабка сколько раз говорила, что сны сбываются...

В дверях появляется Анусина мама, ставит на крыльцо две сумки. Сашук на всякий случай прячется за деревом. Мать уходит, потом появляется Ануся, и тогда Сашук тихонечко свистит. Звездочет не слышит или не обращает внимания, но Ануся поворачивает голову. Сашук манит ее рукой.

Ануся выходит на улицу. Лицо у нее печальное или, может, просто заспанное. Сегодня она еще наряднее: в белом платье с красной каемкой, в красных туфельках и в новой панаме, тоже с красной каемкой.

— Чего это ты вырядилась, фуфыря какая? — спрашивает Сашук.

— А мы уезжаем, — печально говорит Ануся. — Совсем.

Сашук молчит и смотрит то на нее, то на Звездочета, укладывающего сумки в багажник.

Ануся опять дергает резинку панамы, та щелкает ее по подбородку.

— Из-за меня?

— Из-за всего. Это мама всё... «Я не хочу, я ни за что...» — передразнивает она. — А мне здесь нравится. И папе тоже.

— Так чего?..

— Разве ее переспоришь? — вздыхает Ануся. — Тут, говорит, ни людей, ни водопровода, ни вообще...

— Как это «ни людей»? Вон сколько народу!

Ануся пожимает плечиками. Они оба молчат. Долго и огорченно.

— А я думала, ты мне еще краба поймаешь. Или я сама. Я бы спрятала.

— Обожди! — вскидывается Сашук. — Я счас!

Он стремглав летит домой, бросается под топчан, достает кухтыль и поспешно, но осторожно, обняв обеими руками кухтыль, бежит обратно.

Ануся стоит у калитки и ждет.

— На! — запыхавшись, говорит Сашук.

Глаза Ануси вспыхивают, носик морщится в радостной улыбке.

— Насовсем? На память?

— Ага!

— Ой! Папа, папочка! Положи и это... Смотри, какую мне вещь Сашук подарил!

Ануся вбегает во двор и сталкивается с матерью. Мать смотрит на кухтыль, ноздри у нее начинают раздуваться и белеют.

— Опять какая-то грязная гадость?

Она выхватывает у Ануси кухтыль, яростно отбрасывает его в сторону. Кухтыль падает на железный скребок для грязи возле крыльца и с глухим брязгом разбивается. Ануся в ужасе всплескивает руками, поднимает опавший мешок из сетки, там звякают стеклянные обломки.

— Зачем! Как не стыдно! — кричит Ануся и, заливаясь слезами, бросается к отцу: — Папа, папа, ну скажи же ей!..

Звездочет придерживает ее трясущиеся плечи и мол-

ча смотрит на жену. Та отворачивается, идет к передней дверце и садится в машину.

Вместе с кухтылем разбивается еще что-то такое, чего Сашук не умеет назвать словами, но от чего ему становится невыносимо горько. Он лихорадочно озирается, отламывает внизу у штакетника ком сухой грязи, замахивается — и опускает руку. Его трясет от злости, он так бы и запустил грязевой ком в злое красивое лицо, но понимает, что делать этого нельзя. Он перелезает через канаву и садится на корточки возле старого пыльного тополя.

Звездочет усаживает плачущую Анусю на заднее сиденье, прощается с хозяйкой, заводит мотор. «Москвич», покачиваясь, выезжает на дорогу.

И Звездочет и его жена смотрят прямо перед собой, не произнося ни слова, будто между ними стоит невидимая, но непроницаемая стена. Ануся, припав к лежащему на сиденье свертку, безутешно плачет. Сашука никто не замечает.

Машина поворачивает к Николаевке. Когда-то глубокая грязь на дороге давно высохла, размолота колесами в тончайшую бурую пыль. Густым облаком она взвивается за багажником и заволакивает удаляющееся оранжевое чудо.

КУГУТ

Как всегда, Бимс радостно бросается Сашуку навстречу, юлит под ногами, будто пытается поймать свой торчащий бубликом хвост. Сашуку не до него, он поглощен горькой обидой. Бимс не обижается. Он ошалело мечется из стороны в сторону, на поворотах толстый живот его заносит, щенок катится кубарем, но тотчас вскакивает, опять мчится к Сашуку.

И мало-помалу Сашук оттаивает. Он даже чувствует угрызения совести: привез щенка и забросил. То одно, то другое, а про него забыл. Совсем стал беспризорным.

— Теперь все! — говорит Сашук. — Теперь мы всегда будем вместе. Есть хочешь?

Они взапуски бегут к Игнату.

— Дядя Гнат, — говорит Сашук, — дай мне ключ от кладовки, я хлеба возьму.

— Еще чего, по кладовкам шарить!

— А что? Мамка мне всегда давала.

Игнат как-то странно, искоса смотрит на него и молчит, потом отворачивается и произносит:

— То мамка... Обождешь. Пойду в кладовку — вынесу.

Через некоторое время он спускается в кладовку, прикрывает за собой дверь и выносит оттуда ломоть хлеба. Не горбушку, а так, из середки.

— Нам на двоих мало, — надувает губы Сашук.

— Хватит баловства, еще собаку хлебом кормить! Будут объедки — пускай жрет... Собака, она и есть собака.

«Вот жадина!» — изумляется про себя Сашук и отходит. Хлеб поздрястый, сыроватый, с закалом. Сашук обламывает себе верхнюю корочку, остальное скармливает Бимсу.

Конечно, с Бимсом не так интересно, как с Анусей, — что ему ни говори, он только смотрит в глаза и виляет хвостом. Но уж зато не бросит и никуда не уедет. А бегать готов все время, пока не упадет.

И они бегают взапуски вдоль кромки берега, где песок влажный и ноги не вязнут. Чайки тоже ждут рыбаков, надеясь поживиться на дармовщину, и утюжат воздух — туда и обратно, туда и обратно. Они такие нахальные или понимают, что Сашук и Бимс маленькие, — нисколько не боятся и летают над самой головой. Когда крылатая тень проносится над ними, Бимс испуганно припадает на песок, бросается в сторону, потом обиженно тявкает вслед наглой птице, а Сашук смеется.

— Ух ты, трус, — говорит он. — Вот подожди, скоро вырастешь, никого не будешь бояться, а тебя все будут...

Сашук очень отчетливо видит это недалекое будущее. Бимс вырос, стал огромным, сильным псом. Все его боятся, обходят стороной и пробуют задобрить. А он ни на кого не обращает внимания и слушается только своего хозяина, Сашука. Они везде ходят вместе. Бимс важно вышагивает рядом, время от времени скалит клыки, а если нужно, дает чёсу. И никто уже не смеет обижать или задирать Сашука...

Чайки начинают истошно орать, — лодки подваливают к причалу. Рыбы много, рыбаки довольны, весело перешучиваются.

— Эй, Боцман! — кричит Жорка. — Давай на подмогу, а то не справимся.

Игнат приходит на причал с кошелкой — взять рыбу для артельного котла.

— Привет, стряпуха! — кричат ему. — Где твой фартук?.. Ты бы юбку надел, для порядка.

Игнат не умеет отвечать шуткой на шутку, угрюмо молчит и все больше насупливается.

Сашук пристраивается на корточках рядом с Жоркой разбирать рыбу. Бимсу шумная суета на причале очень нравится, он путается у всех под ногами и всюду тычет свою нюхалку с высунутым языком. Его отгоняют, но это кажется ему тоже частью веселой игры, он мечется еще азартнее и подкатывается под ноги Игнату. Тот зло пинает его сапогом, Бимс коротко, будто подавившись, вякает, взлетает в воздух и падает в море.

Сашук бросается к краю причала. Бимс не барахтается, не плывет, а, медленно переворачиваясь, опускается на дно.

— Захлебнулся?

— Не может того быть...

Рыбак с лодки сачком на длинной рукоятке подхватывает щенка, поднимает из воды и вываливает на причал. Сашук трогает его рукой, но щенок лежит неподвижно. Из полуоткрытого рта выливается немножко воды и вываливается кончик розового языка. Рыбаки стоят, молча смотрят на щенка, Сашука и Игната, и только чайки над ними мечутся из стороны в сторону и пронзительно орут.

— Убился? — спрашивает кто-то за спиной Сашука.

— Убил, а не убился. Много ему надо!

— Нашел на ком зло срывать...

Только тогда до Сашука доходит смысл происшедшего. Он хватает щенка на руки, прижимает, трясет. Хвост и лапы безжизненно мотаются, повисшая голова показывает мелкие зубы и просунутый между ними кусочек языка. Сашук слепнет от слез, отчаяния и ненависти.

— Ты... ты — фашист! — кричит он Игнату. — Кугут проклятый!

Склоненный над ящиком Жорка медленно и страшно распрямляется, перешагивает через ящик, сгребает Игната за грудки и заносит над ним кулак.

— Егор!

Окрик Ивана Даниловича — как удар бичом. Несколько секунд Жорка сумасшедшими глазами смотрит на Ивана Даниловича, жилы у него на шее так вздуваются, что кажется, сейчас лопнут.

Он опускает кулак и отталкивает Игната, тот стукается спиной о стойку транспортера.

— Иди, гад... чтоб тебя больше не видел!

Игнат подхватывает выпавшую из рук кошелку и, втянув голову в плечи, торопливо уходит с причала. Рыбаки молча смотрят ему вслед.

— Слышь, Боцман, — все еще тяжело дыша, говорит Жорка Сашуку и кладет ему руку на плечо. — Ты его на солнышко. Может, отойдет...

— Давай-давай, ребята, — командует Иван Данилович. — Хватит!

Солнце не помогает. Шерсть на щенке обсыхает, но сам он коченеет, лапы становятся твердыми, негнущимися, как палки.

Сашук сидит рядом с ними, уткнувшись в колени, и безутешно плачет. Он не поднимает голову, даже когда подходит Жорка и садится рядом.

— Хана! — говорит Жорка, потрогав труп щенка. — Ладно, чего уж теперь реветь...

— Ж-жалко, — захлебываясь, выдавливает Сашук.

— Понятно, жалко, только все одно жалостью не поможешь... Надо его зарыть. — Сашук отчаянно мотает головой. — А как же иначе? Оставить — чайки расклюют, крабы растащат. Эта тварь на падаль падкая...

Поодаль от причала, возле глинистого обрыва, Жорка руками вырывает яму в песке, кладет туда труп и засыпает. Потом берет Сашука за руку, ведет домой. Это очень кстати, потому что Сашук то и дело спотыкается. Слезы застилают его глаза, он размазывает, стирает их кулаком, но они набегают снова и снова. Жорка его уговаривает, даже стыдит, но Сашук безутешен. Его терзает щемящая жалость. Он с опозданием корит себя не только за то, что в эти дни не обращал на щенка внимания, совсем забросил, а даже за то, что привез его сюда, в Балабановку. Он не хотел оставлять кутьку в Некрасовке, боясь, что тот без него пропадет, а он вот пропал здесь. Останься Бимс в Некрасовке, может, жил и жил бы, а теперь...

И хлеб, и кондер кажутся Сашуку горькими, не идут в горло. Он старается сдержать всхлипывания, но от этого они только становятся глубже, судорожнее. Рыбаки едят молча, мрачно, без обычных шуточек и пересмешек. Не то чтобы все расстроились из-за гибели щенка — никто к нему не был особенно привязан, — но настрое-

ние у всех испорчено. За все время только кто-то бурчит:

— У Насти оно вроде послаще, смачнее получалось...

Говорящего никто не поддерживает, Игнат делает вид, что не слышит.

Рыбаки идут отдыхать. Чтобы не оставаться с Игнатом, Сашук уходит со двора.

Полуденный зной дрожит, струится над буграми и ямами старых окопов, бетонными глыбами взорванного дота. Теперь Сашук смотрит на них без всякого интереса — играть в войну не с кем. Нет даже Бимса, хотя он тоже не умел играть в войну. Может, потом и научился бы...

Сашук садится над обрывом и смотрит в море. Там ни лодки, ни дыма, ни паруса. Только бесконечная россыпь блестков, солнечных зайчиков да воспаленная мгла, затянувшая горизонт. Даже чаек нет, они куда-то попрятались — должно быть, тоже улетели отдыхать. Никого нет и на земле. Бригадный двор пуст, безлюдна придавленная зноем Балабановка, а в степи и подавно никого нет. И Сашук сам себе кажется таким маленьким, таким затерянным в огромном безлюдье, что ему становится нестерпимо жалко себя.

Беда за бедой. Мать увезли в больницу. Звездочет уехал и увез Анусю. А теперь пропал Бимс, и Сашук остался совсем один.

С рыбаками разве поговоришь. Они только смеются. А играть и вовсе... Все они хорошо относятся к Сашуку, но что толку, если они большие и все время или работают, или спят, отдыхают. Разве только Жорка...

Жорка первый отсыпается и выходит из барака. Они идут вместе купаться, потом лежат на песке и разговаривают про разное.

— Ты не горюй, — говорит Жорка. — Вернемся в Некрасовку, такого щенка найдем — закачаешься! Настоящую ищейку. Какие у пограничников, знаешь?

— Ага. — Иметь ищейку Сашуку очень хочется, однако, подумав, он говорит: — То ж будет уже другая собака. Не Бимс.

— Бимса не воротишь, чего уж тут... Кабы не Иван Данилыч, я б тому гаду...

— Хоть бы разик врезал! — с сожалением вздыхает Сашук.

— Нельзя, брат, я Ивану Данилычу слово дал. Я, когда остервенюсь, таких дров наломать могу...

За обедом опять кондер, и опять он кажется Сашуку невкусным. И не только ему. Тот же рыбак, что утром помянул Настю, бултыхает ложкой кондер и говорит:

— Чистая баландея!

— Игнат, да ты сало клал или нет?

— А как же, — говорит Игнат.

— Так где ж оно, если сальчина за сальчиной гоняется с дубиной.

— Сколько есть. Растягивать надо. А то раз будет густо, потом пусто.

— Что у нас, сала нет? — спрашивает Иван Данилович.

— Есть, да мало. Полтора куска осталось.

— Куда ж оно девалось? Было много.

— А я почем знаю? Кабы я сначала за продукты отвечал. А то кто хотел, тот в кладовку и лазал. Вон и этот, — кивает Игнат на Сашука, — туда лазал. Может, собаку свою салом кормил...

У Сашука даже перехватывает дыхание. Как он может? Зачем он врет?..

Сашук так поражен и возмущен, что не может сказать ни слова и только с ужасом во все глаза смотрит на бесстыже лгущего Игната.

— Так ты за то и кутенка пришиб? — кричит Жорка.

— Обожди с ерундой! — обрывает его Иван Данилович и поворачивается к Игнату. — Ты Настю не марай, она честнее нас всех. И наговаривать на человека за глаза...

— Так что, по-вашему, я взял? Выходит, украл?

Иван Данилович молчит, но Жора молчать не может.

— И выходит! — кричит он.

— Ты меня поймал? — зло огрызается Игнат. — Видел?

— А сейчас увидим! Вот возьмем и растрясем твой сундук, поглядим, чего там напрятано.

— Не имеешь права обыскивать!

— А без всякого права. Хочешь — меня обыскивай, мне прятать нечего. А ты, коли прячешь...

Жорка приподнимается из-за стола, Игнат делает шаг назад, к двери в барак, лицо его сереет.

— Да что вы, братцы? — говорит он, рыская взглядом по лицам рыбаков. — Разве ж так можно?.. А если я на дому взял? На всякий случай... Не имею права?

Кто-то тихонько протяжно свистит и вполголоса добавляет:

— Спекся!

— Та-ак! — произносит Иван Данилович.

Все оборачиваются к Ивану Даниловичу и ждут, что он еще скажет. Иван Данилович молчит и смотрит на Игната. Потом медленно, поочередно смотрит на всех. Ничего не спрашивает и не говорит, только смотрит. И, должно быть, то, что он видит, — как раз то, что ожидал увидеть. Он снова поворачивается к Игнату и глухо, но твердо говорит:

— Уходи!

— Как — уходи? Куда?

— От нас уходи. Совсем.

— Да что ты, Иван Данилыч! Из-за чего все началось? Разве можно человека из-за какой-то паршивой собаки...

— Не из-за собаки. Из-за людей. С людьми надо полюдски. А ты не можешь. Нам такие не ко двору. Собирай свое барахлишко...

— За что? Что я такое сделал?

— Сам знаешь. Или вправду обыскать?.. Море — не огород за хатой, в одиночку с ним не совладаешь. Наше дело артельское, двуличных не любит, которые только про себя думают. Понятно?.. А может, кто против, не согласен?

— Пускай уматывает!

— Поимейте совесть — разве можно на ночь глядя?

— Ничего, на попутных доберешься. А на свободе и про совесть подумаешь. Про свою.

Игнат, втянув голову в плечи, как давеча на причале, уходит в барак.

— Дяденька Иван Данилыч, — говорит Сашук, — он врал все. Вот честное слово! Мамка мне ни разу ни вот столечко не дала. Это, говорит, артельское...

— Правильно! — кивает Иван Данилович.

— А как ты догадался?

— Я не догадался, я знаю.

Игнат выходит со своим сундучком из барака, ставит его на землю.

— А с расчетом теперь как? По закону, если раньше срока, пособие полагается...

— Правильно, полагается, — говорит Жорка. — Я тебе хоть сейчас могу выдать пособие. Персональное. — Сжав свои здоровенные кулаки, он кладет их на стол.

— Не дури, — останавливает его Иван Данилович. — Я председателю все передам, небось не обсчитают, не на базаре.

— Все равно буду жаловаться!

— Давай-давай топай! — говорит Жорка.

Игнат поднимает сундучок на плечо, идет через двор к дороге, потом поворачивает в Балабановку.

Придавленная сундуком фигура становится все меньше и меньше.

Зажав ладони между коленками, Сашук искоса смотрит на удаляющуюся фигуру, и ему даже становится жалко изгнанного Игната.

— А куда он теперь? — спрашивает Сашук.

— Обратно в Некрасовку, — говорит Жорка. — Будет опять на огороде копаться, в Измаиле городских на огурцах да помидорах околпачивать... Не бойся, такой не пропадет.

Рыбаки расходятся. У стола остаются только Сашук и Жорка. Жорка сгребает в кучу грязную посуду, а Сашук думает.

— А почему... — начинает он.

Жорка оглядывается на него.

— Почему люди злятся, врут, обманывают?

Жорка молчит.

— И вообще, — раздумчиво произносит Сашук, — зачем плохие люди?

— Ни к чему, да вот есть!.. Что ж их, всех в мешок да в воду?

Сашук искоса, снизу вверх смотрит на Жорку. Ответ не удовлетворяет его, и он опять задумывается — сгорбившись, зажав ладошки между колен.

Думы у него невеселые. Плохо быть маленьким. Трудно. И не потому, что тебя всякий обидит. То само собой. Главное — столько непонятного...

«Скорей бы большим стать, что ли!» — с тоской думает Сашук.

А лучше всего найти звезду, про которую говорил Звездочет... Вот тогда бы да, тогда бы он знал, где плохие люди, а где хорошие, кому верить, кому нет, где правда, а где обман и что надо делать...

— Мы сейчас в море уйдем, — говорит Жорка. — Не забоишься один?

Сашук отрицательно мотает головой.

— Не... Я только на причал пойду. Там хоть чайки...

Рыбаки уходят. Сашук запирает барак и бежит за

ними. Над причалом вьются, кричат немногочисленные перед вечером чайки.

Лодки отваливают. Сашук стоит на краю причала и смотрит им вслед.

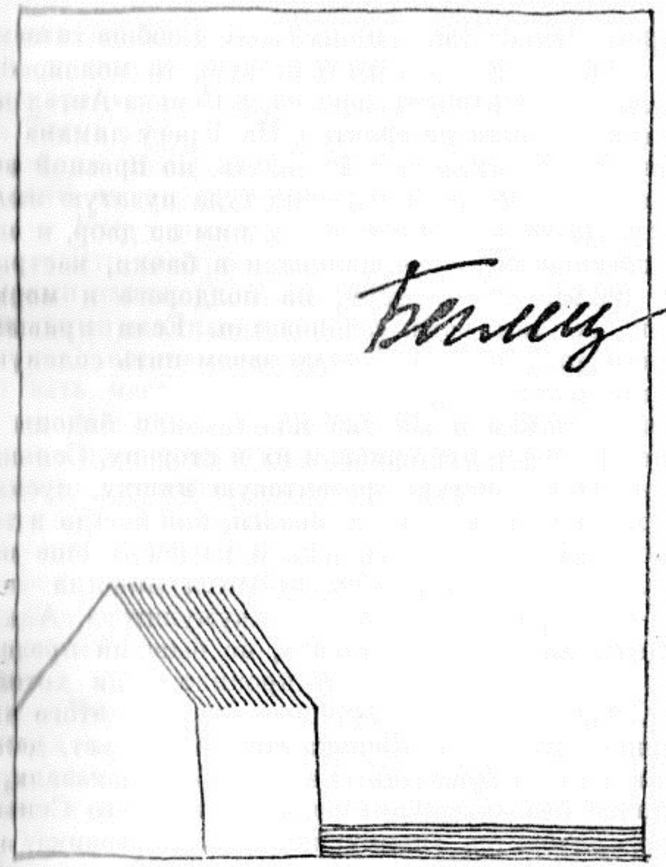
На одной из лодок поднимается рука, долетает отдаленный голос Жорки:

— Не дрейфь, Боцман!

Сашук не шевелится и не отвечает, только смотрит на удаляющиеся лодки.

Солнце скрывается, и после этого, как всегда, очень быстро темнеет. На востоке появляется звезда. Незаметная сначала, она разгорается все ярче и ярче. Вслед за нею вспыхивают другие, отражения их искрятся, переливаются в глухом, темном море.

Ничего этого Сашук не видит. Скукожившись возле пустых ящиков, он спит.



повесть

1

Рано утром Сенька-Ангел привез воду. Вообще-то он не тракторист, а шофер и водит то бортовую, то молоковоз, когда что надо, но тракторист заболел, а Сенька-Ангел на все руки, и его посадили на трактор. На берегу лимана — колхозный птичник, уткам там благодать, но пресной воды нет, и каждое утро трактор тащил туда пузатую желтую цистерну. По дороге он заезжал к ним во двор, и все запасались пресной водой — наливали в бачки, кастрюли, бутыли, ведра. За огородом, на полдороге к морю, есть колодец, но там вода солоноватая. Если привыкнуть — ничего, пить можно. Только зачем пить соленую, когда возят пресную?

Максимовна, мамка и Нюшка подставляли бидоны и кастрюли, дед и Федор оттаскивали их в сторону, Сенька-Ангел наставлял ребристую брезентовую кишку, пускал воду, на всех покрикивал и посмеивался, как всегда в таких случаях, стоял веселый галдеж, и ко всему еще непрерывно тарахтел трактор. Сенька-Ангел никогда его не глушил — у трактора не было аккумулятора. Аккумулятор раньше был, и даже новый, но бывший председатель колхоза и кладовщик его пропили. Они хотели свалить на Сеньку, мол, он и пропил, только из этого ничего не вышло, потому что Сенька совсем не пьет, даже кислого вина и пива. Доказать они ничего не доказали, а трактор остался без аккумулятора, и после этого Сеньке каждое утро приходится «прикуривать» от грузовика, заводиться его аккумулятором. «Прикурит» и целый день тарахтит, пока работа не кончится.

Юрка и Славка таскали пустую посуду, а папка — ему тяжестей носить нельзя, он больной — стоял в стороне, командовал и давал советы. Все были так заняты, что не сразу заметили, как к воротам подъехала голубая «Волга». Из нее вышел высокий худой мужчина, вошел во двор и поздоровался, но в галдеже и тракторном рычании его никто не услышал. Юрка увидел первый и, забыв о десятилитровой бутыли в руках, уставился на него. На нем была синяя спецовка, только не такая, как у Сеньки-Ангела, — простая, мятая и грязная, а чистень-

кая, вся в «молниях» и блестящих кнопках. Папка тоже его увидел, подошел и поздоровался — наклонил немножко голову, правую руку поднес к козырьку кепки, потом протянул приезжему. (Очень красиво у него это получается. Юрка сам сколько раз пробовал перед зеркалом, но так фасонно не выходило.) Поговорить они не смогли, потому что в это время Сенька-Ангел закинул брезентовую кишку на цистерну, сел на свое место, закричал: «Привет, привет!» — и включил скорость. Трактор зарычал еще громче и поволок пузатую цистерну со двора.

Тогда приезжий снова поздоровался, и ему вразнобой ответили. Все уже заметили его, смотрели во все глаза и гадали, что за человек и что ему нужно.

— Кто у вас тут хозяин? — спросил он.

— Это смотря какого хозяина вам надо, — ответил Юркин папка. Он жил и в городе и везде и умел разговаривать со всякими людьми.

— У вас на доме вывеска: «Дорожный мастер». Должно быть, мастер и есть хозяин.

— Мастер я, — сказал дед, и его морщинистое лицо стало еще морщинистее, а выцветшие глазки спрятались в узкие щелочки, как всегда, когда он ожидал каких-нибудь неприятностей.

— Объехал я весь Тарханкут, — сказал приезжий, — а места лучше вашего не видел. Как оазис в пустыне.

Дед не понял и еще больше сморщился.

— Что ж у нас тут такого особенного? Место как место.

— Что имеешь, никогда не ценишь, — непонятно сказал приезжий. Он и потом то и дело говорил что-нибудь непонятное. — А нам очень понравилось. Нельзя ли у вас тут остановиться и пожить некоторое время?

Морщины на лице деда немного распустились. Значит, приезжий не начальство и неприятностей не будет.

— Так где у нас? Тесновато живем — четыре комнаты, три семьи, в четвертой мастерская. Да уж, коли вам такая охота, потеснимся как-нибудь.

— Вы меня неправильно поняли. Мы не собираемся вас затруднять. Если не возражаете, мы вон там, — он показал на бугор, заросший тамариском, — поставим палатку и будем жить.

Дедово лицо совсем прояснилось.

— А живите на здоровье, ме́ста не просидите.

Хлопнула дверца «Волги», все посмотрели туда, приезжий тоже посмотрел, улыбнулся и сказал:

— Не выдержала.

Во двор вошла молодая женщина. Женщина как женщина, ничего особенного. Ветер растрепал ее волосы, она отбросила их рукой, озабоченно посмотрела на приезжего, но, увидев, что он улыбается, улыбнулась тоже. И тогда все тоже невольно начали улыбаться. На нее просто приятно было смотреть — и на глубокие ямочки на щеках, и на голубые, какие-то очень открытые глаза, и на то, как она легко, будто не ступая по земле, шла к ним.

— Вот, — сказал приезжий, — прошу любить и жаловать: Юлия Ивановна. А меня зовут Виталием Сергеевичем, фамилия — Воронин.

— Очень приятно познакомиться, — сказал дед. — Костыря Тимофей Архипович. А это моя Максимовна.

Максимовна вытерла руку о платье, и белая маленькая рука приезжей скрылась в ее красной мясистой лапе, как в толстой вязаной варежке. Тут все стали по очереди подходить и здороваться, кроме, конечно, ребят, потому что кто бы им стал подавать руку...

— Всё, Юленька, договорились, — сказал Виталий Сергеевич, — пойдем теперь посмотрим.

Приезжие пошли с дедом выбирать место, а Юрка, Славка и Митька, конечно, за ними.

За оградой они миновали кучу ржавого железного хлама, яму с гашеной известью. Каждый год перед Первым мая ее раскрывали и красили известкой дом и ограду. Под ногами шуршал уже засыхающий овсюг. Бугор был окутан бледно-розовым дымом — тамариск цвел. Приезжие переглянулись и снова улыбнулись друг другу.

— Ну? — сказал Виталий Сергеевич. — Я не прав? Море рядом, каких-нибудь десять километров персонального пляжа, и эти розовые кусты, и безлюдье, и эти дали...

— Мечта! — сказала Юлия Ивановна. — Лучше нельзя и придумать!

Она переводила взгляд вслед за его рукой. Юрка тоже смотрел туда же и старался понять, чем они восхищаются. Он жил и жил и никогда не думал, красиво здесь или нет. И никто не думал об этом и не говорил. Ни Федор и Нюшка, ни папка с мамкой. Наоборот, все жаловались, как плохо тут жить на отшибе — ни людей, ни магазина, ни клуба. И света нет — сидят при керосиновых лампах, и детям далеко ходить в школу, да еще во всякую погоду. А случись какая беда, надо бежать за четыре километра в Ломовку, потому что ближе никакого жилья нет.

До Гроховки, где правление колхоза и телефон, пять километров, а до переправы и все шесть.

Дед и Максимовна не жаловались, но это потому, говорил папка, что у них свой дом в Ломовке и сад, там живет старший сын деда с семьей, а у деда здесь казенная квартира и казенная лошадь, а корова, свиньи и всякая птица свои. А полосе отчуждения он сам хозяин, сеет ячмень для казенной лошади и для своего скота сколько хочет, и на огороде всего невпроворот. Другим он тоже выделяет участки под огород, а сколько они там могут сажать, если целый день работают на дороге и для огорода остаются только вечера да выходной?..

А, по-Юркиному, тут совсем неплохо. Конечно, хорошо, если б здесь жили еще другие ребята, было бы веселее, а то всего — он, Славка да Митька и Ленка. Ну, Митька еще маленький, а Ленка вообще не в счет. Ничего, им и вдвоем со Славкой неплохо. От Ломовки до моря километра два, по жаре не очень набегаешь, и ломовские ребята редко когда и купаются, а здесь море — вот оно: огород, дорогу перешел — и купайся хоть каждые пять минут. Они и купаются. Непрерывно. Все лето. И рыбу лови хоть в лимане, хоть в море, и крабов. А в степи выманивай тарантулов, «выливай» сусликов в норах, ищи птичьи гнезда... А море, сколько оно всего выбрасывает! Ну, не так уж часто, а все-таки... Нет, Юрка не хотел бы жить в Ломовке, хотя там есть клуб и туда иногда приезжает кинопередвижка. Передвижка бывает редко, а танцы — на кой они Юрке сдались? Осенью и зимой там грязь, пока до школы доберешься, весь изваландаешься.

А летом пыль, и раскаленный ракушечник домов, и вонючая вода в рытвине, что идет от копанки — глубокого колодца в конце улицы. Вода там все время подтекает из железного резервуара, а утекать ей некуда, она так и стоит в извилистой канаве через всю улицу и гниет. И Ломовка далеко от дороги, там когда-никогда заедет новый человек, все одни и те же люди, что сегодня, что завтра, что через год. А их дом у самой дороги. И сколько, какие только машины не пролетят мимо за день! Раньше они шли круглые сутки, а когда пересыпь на Донгузлаве перекопали и сделали переправу, ночью машины ходить перестали — ночью переправа не работала. Это и лучше, все равно их в темноте не увидишь, только фары слепят.

Конечно, в школу ходить далеко. Летом еще можно на

велосипеде, а вот осенью и зимой, когда грязь, на велосипеде не разъездишься. Но и тогда, если, например, утром едет Сенька-Ангел хоть на бортовой, хоть на молоковозе, он обязательно остановится и сигналит, пока они не прибегут.

— Давай, давай скорей, солдаты! Не ломай мне график! — кричит он им.

И подвозит до самой Ломовки. Никакого графика у него нет, говорит он про него просто так. Он вообще чудак, этот Сенька. Славка ему сказал, что они же не солдаты.

— Нет, так будете. Все мы солдаты... Садись, не задерживай!

Ну а если Сеньки нет, тогда приходится топать пёхом. Другие шоферы не берут, даже не останавливаются, а гонят мимо.

Зато когда выпадает много снегу, дорогу занесет, тогда совсем хорошо. Во-первых, в школу не ходить, а во-вторых, шоферы и разные командированные с застрявших машин набиваются к ним в дом. Сенька-Ангел на гусеничном тракторе, а Федор на прицепном скрепере шуруют на дороге, пробивают сугробы, а в доме гомон и ералаш, комната набита битком, шоферы закусывают, выпивают и непрерывно разговаривают. Коек лишних нет, да их и ставить негде, и ложатся все вповалку на полу. Дед кряхтит, но солому для этого дает — не спать же людям на голом полу. И каких только тогда людей не повидаешь, каких историй и рассказов не наслушаешься! Их, ребят, конечно, гонят спать, они и ложатся, но засыпают малыши, а Юрка только притворяется спящим, а сам все слушает. Бывает, что и засыпает он только уже со светом, когда шоферы уходят выталкивать машины на дорогу и со двора доносится надсадное «раз-два — взяли» и ругань.

Нет, хорошо жить у самой дороги. Они правильно говорят, эти приезжие, дом у них на хорошем месте. Если разобраться, тут и в самом деле красиво. Просторно. Зимой с севера дует холодный ветер, и дом повернут к дороге глухой торцовой стеной без окон. За дорогой колышется, кланяется ветру колхозный ячмень, от изволока уже тянется каменистая степь, где ничего не сеют, а только пасут овец. Она поднимается все выше и выше к горизонту, и где-то на его пределах виднеются решетчатые башни. Они стоят далеко друг от друга и редкой цепочкой уходят в синеву. Папка говорит, что это буровые

вышки, там сверлят в земле дырки, ищут нефть. Ее уже нашли. Иногда где-то там вдруг поднимаются в небо тугие клубы черного дыма, под ним мечется закопченное пламя. Но ночам на него тревожно и жутко смотреть; кажется, что там страшный пожар, беда и несчастье, но никакого пожара нет, там просто жгут нефть. Зачем — неизвестно. Юрка давно собирается сходить посмотреть, только никак не может собраться — далеко, за день туда и обратно обернешься, нет ли. Белая от известковой насыпки дорога спускается от их дома немножко вниз и бежит к узкой косе пересыпи между Донгузлавом и морем. Ближняя часть Донгузлава подходит к дороге мелким заливом, поросшим камышом и осокой. За линялыми метелками камыша белеет домик птичника, а потом коса и дорога становятся пепельными, сиреневыми, а уже совсем далеко синеют поднятые в небо хоботы кранов невидной отсюда переправы. А прямо перед домом, стоит только выйти за ограду на бугор, распахнулось море. Один бугор чего стоит! Дед говорил, что в войну вокруг него были окопы, здесь тоже воевали. И они со Славкой и дедовым внуком Сашкой, когда он приезжает из Ломовки, сколько раз играли здесь в войну. В кустах можно и ползать в разведку, и устраивать засады...

— Зачем же рубили? — показал Виталий Сергеевич на торчащие из земли обрубки тамариска.

— Это мамка, — сказал Юрка, — зима была холодная, а топки мало.

— Варварство! — сказал Виталий Сергеевич. — В степном Крыму, а особенно на Тарханкуте, зелени и так нет, каждую былинку надо беречь, а не вырубать.

— Да ить что поделаешь с таким народом? — сказал дед.

А Юрка подумал, что ему хорошо говорить, когда у него и сейчас полсарая забито углем, а у них пустым-пусто, и если не будет денег на уголь, придется мамке снова рубить тамариск.

— Вот здесь и расположимся. А, Юленька? — сказал Виталий Сергеевич. — Только красота красотой, а тени маловато.

Кусты тамариска дают тень, но она такая жиденькая и прозрачная, что ее как бы и вовсе нет.

— На солнцепеке целый день не высидишь. Юлию Ивановну хлебом не корми, дай позагорать, а мне нельзя. Хорошо бы натянуть тент, он у меня есть, но нет кольев. Может, у вас найдутся?

Дед запасливый, у него все есть. Нашлись и колья для тента, и колышки для оттяжек, и молот, чтобы забивать. Юрка лазил на чердак дедовой летней кухни и скидывал оттуда колья, потом он и Славка таскали их на бугор, а Митька носил колышки. Дед копал ямы, забивал колья, а Виталий Сергеевич поставил палатку. Она была такая ярко-оранжевая, что казалось, будто среди кустов тамариска вспыхнуло еще одно утреннее солнце. Потом он достал с верхнего багажника большой чемодан, но это оказался не чемодан, а складной стол и в нем складные стулья на трубчатых блестящих ножках. А Юлия Ивановна поставила на стол машинку, заметила, что ребята впали в столбняк, увидев ее, засмеялась и сказала, что это газовая плитка. Плитка такая, что глаз не оторвешь. Сбоку красный-красный, как огнетушитель, баллончик, от него серебряной змейкой шел шланг, сама плитка серая, но вся будто в морозных узорах, а из горелки било зеленоватое пламя и тихонько сычало. Потом она достала голубые мешки и стала в них дуть, а те начали вспухать и оказались не мешками, а надувными матрацами.

Юрке и Славке ужасно хотелось все как следует рассмотреть и потрогать, но они понимали, что трогать ничего нельзя.

Пришел папка, осмотрел и стол, и стулья, и газовую плитку, сказал, что это очень культурная вещь, а потом сказал деду, что он зря натягивает тент с наклоном к югу.

— Я сознательно так ставлю, — сказал Виталий Сергеевич, — чтобы была защита от солнца.

— А задует норд-ост и сорвет. В два счета.

— В самом деле? — забеспокоился Виталий Сергеевич. — Он часто бывает?

— Ну, летом когда-никогда, — сказал дед, — осенью, зимой — дело другое...

Папка пренебрежительно усмехнулся и спорить не стал. Он был рыбаком и знал лучше.

— И не скучно вам будет? — спросил он. — У нас же тут такая некультурная обстановка.

Виталий Сергеевич улыбнулся.

— Культура ведь не в том, где живешь, а каков ты сам.

— Ну, не скажите! Разве можно сравнить Ялту, например, или даже нашу Евпаторию. Там и магазины, и рестораны. И публика совсем другая. Пойдешь пройтись — одно удовольствие.

— Нам это не нужно. Мы, наоборот, искали места поглуше. А у вас тут великолепно — море, воздух и тишина.

Но папку не так легко сбить.

— Да уж тишина, как на кладбище. Не то что кина, радио и того нет.

— Радиоприемник у меня в машине, а в кино я и дома радио хожу, не люблю.

Юрка вытаращил на него глаза и не поверил. Как это можно не любить кино? Сам он ходил в кино, только когда бывал у бабушки в городе, в Евпатории. И все картины запомнил от начала до конца. Кроме одной, но та была муровая — про любовь. Они там без конца смотрели друг на друга, пели что-то тягучее и целовались. Кому это надо?..

— Так у вас, наверно, телевизер есть, — сказал папка.

— Есть. Для тещи. Она в этот ящик и смотрит с утра до ночи.

— Конечно, когда живешь в Москве, тогда понятно, вам тут отдыхать в самый раз, а доведись жить постоянно, вот как нам...

Папка тонко заулыбался, собираясь что-то еще сказать, но остался один: Юлия Ивановна позвала Виталия Сергеевича открыть чемодан. Папка еще постоял, поулыбался и ушел.

Дед подвязал тент, он надулся и захлопал под ветром.

— Большое вам спасибо, Тимофей Архипович, без вас не знаю, как бы и справился... А теперь зовите свою супругу. Как говорится, милости прошу к нашему шалашу. Отметим знакомство и новоселье.

Он поставил на стол бутылку, в которой было что-то коричневое, как чай. Тут Юрка понял, что им надо уходить.

Они уже ничего не делали, а просто сидели на земле и смотрели во все глаза. А уходить не хотелось, потому что Юлия Ивановна расстегнула «молнию» на пузатом желтом портфеле и начала доставать из него разноцветные тарелочки, стопки одна другой меньше и составленные одна в одну, а потом коричневые чехольчики, как для пистолетов, но там были не пистолеты, а складные ножи и даже ложки, а потом разные-разные консервные банки и баночки...

— Пошли, — сказал Юрка и поднялся.

— Стоп! — сказал Виталий Сергеевич. — Юленька, надо же угостить помощников.

Юлия Ивановна порылась в портфеле и протянула им конфеты в красивых бумажках. Каждому по две штуки.

— Да не, не надо, мы так... — забормотал Юрка, но конфеты взял.

Они отошли за куст и только тут начали рассматривать картинку. Они сразу ее узнали — Спасскую башню со звездой. А сбоку подпись: «Столичная». Митька, не рассматривая, развернул и супул конфету в рот, потом повернулся и побежал обратно.

— У вас еще такие есть? — спросил он.

— Понравились? — улыбнулась Юлия Ивановна. — Дать еще?

— Ага!.. Не, я хуч и не конфеты. Вы эти золотые бумажки не выкидывайте. Ладно? Они мне нужные...

— Хорошо. Только они не золотые, алюминиевые.

— Все одно! — мотнул головой Митька. — Они мне нужные...

— Тогда, конечно, — сказала Юлия Ивановна. — Получишь все бумажки.

— А мне? — сказал Славка.

Он не выдержал и тоже вернулся. Хотел вернуться и Юрка, но в это время Виталий Сергеевич сказал:

— А где же справедливость? Ты ведь собираешь спичечные коробки. Так и будет: тебе коробки, ему бумажки.

Они ушли от палатки, но уйти совсем с бугра было выше их сил. И они слонялись вокруг, будто играя, что-то ища и стараясь подсмотреть, что там происходит, но так, чтобы их оттуда не видели.

Дед и Максимовна до темноты сидели с приезжими и разговаривали. Вернее, говорила одна Максимовна. Поговорить она любит, а тут люди новые, не только не перебивают, а еще и расспрашивают. И она пела, — пела и про то, как в тридцатом, совсем еще молодые, когда началась коллективизация, они уехали из тамбовской деревни и попали в Крым, и как горе мыкали, а потом дед поступил рабочим на дорогу, как самоуком до всего дошел и стал мастером, а потом, как настала война, деда взяли в армию, и всю дедову дивизию немцы забрали в плен под Джанкоем, и как пошла она выручать его из плена, а в Евпатории в то время высадился наш десант, и палили из пушек с суши и с моря, и бомбили с воздуха, и как побили всех наших бедных морячков, и как она помирала от страха, а все-таки шла и нашла дедов лагерь, и как хлопотала и добивалась, чтобы деда отпустили, и как его отпустили тощего да вшивого, и как привела она его домой, мало не на себе несла — она тогда сильная была, почитай, как конь, — и как уже вместе бедовали всю войну, все выдюжили, и как потом пришли наши, дед опять стал работать на дороге и снова стал мастером, и жить стало маненько легче, а теперь и вовсе, слава богу, и как любит она, чтобы в доме всегда было тихо, все делалось мирком да ладком, такой у нее характер... Все это Юрка слыхал уже сто раз и знал наизусть.

Деда, как всегда, быстро развезло, он начал щуриться, облизывать пересыхающие губы и улыбаться. И только иногда вставлял:

— Эт точно. Эт правильно.

А потом Максимовна повела его спать и тихонько, чтобы приезжие не слышали, костила последними словами за то, что наклюкался, как свинья, и будет завтра весь день кряхтеть и охать, а дед блаженно улыбался и говорил:

— Эт точно! Эт правильно!

На следующее утро он вышел смурной, на трассу не поехал и сказал:

— Пускай Дочка отдохнёть.

«Дочка» — так называется казенная кобыла. Дед ее очень любит, неохотно посылает в упряжке на дорогу и никому не доверяет.

— Ты уж не прикидывайся! Не Дочке, тебе отдыхать надо, — сказала Максимовна. — Башка-то небось трещит?

— Трещит, — кротко согласился дед.

— Во! Теперь тебя отхаживай... Вон курортник, не то, что ты...

— А что я?

— А то! Всю жизнь на тебя положила, а что хорошего видала?

— Эт верно, — сказал дед и спохватился. — Постой, Максимовна, ты чего? Али я тебя забижал когда, али бил?

— Ну, попробовал бы ты меня бить! Я б те...

Юрка представил, как маленький тщедушный дед пытается побить грузную и еще сильную Максимовну, и тихонько засмеялся, чтобы она не заметила.

— Тут не про кулаки, а про ласку. Видал, как ён за женкой своей увивается?

— Да ты что, Максимовна, неуж мне на старости за тобой сызнова ухаживать?

— А что старость? Вон этот: голова седая, а сам так и норовит, чем ей догодить. «Юленька да Юленька»... То-то она такая гладкая да ухоженная. А ты за кобылой больше глядишь...

— Так ишь она тварь бессловесная, чего надо, не скажет.

— А тебе слова мои мешают?!

Тут Максимовна окончательно взвилась, начала вспоминать все обиды и дедовы провинности. Дед только щурился и молчал.

Юрка с удивлением подумал, что и на самом деле эти приезжие держатся, разговаривают друг с другом совсем не так, как дед и Максимовна, Федор и Нюшка, папка и мамка. Правда, дед и Максимовна не дерутся, но Максимовна то и дело зудит, поругивает деда. Дед терпит. Он добрый и вообще никого не ругает. Федор и Нюшка женаты всего второй год, и он побил ее только один раз, когда сильно напился. А папка и мамка ругаются то и дело. Особенно когда выпьют. Он тогда кричит, что она связала его по рукам и ногам, из-за нее он теперь тут пропадает, и ругает ее самыми плохими словами, и мамка тоже ругает его такими словами за то, что он загубил ее жизнь, а сколько было случаев, когда она могла устроить свою судьбу и жить по-человечески, тогда папка ее бьет. Потом они мирятся или не мирятся, а просто начинают разговаривать, будто ничего и не было, потом снова начинают ругаться. Так было всегда, сколько Юрка помнил. И никто из всех, кого Юрка знал, никогда не разговаривал друг с другом так ласково и не смотрел так, и не улыбался, что видно — улыбаются они потому, что им приятно смотреть друг на друга...

Все утро во дворе только о приезжих и говорили. Максимовна рассказывала, как их вчера угощали, какие они обходительные и какая женка ладная да нарядная. Мамка расспрашивала и вздыхала — «счастливая!», а Нюшка молчала — она всегда молчит. Папка сказал, что вот — культурный человек, сразу видно, а она — очень интересная женщина, но тут мамка почему-то рассердилась и сказала, что ничего в ней особенного нет. Сенька-Ангел, который лишь мельком видел Виталия Сергеевича, припечатал его одним словом:

— Авторитетный!

Из Ломовки приехал на велосипеде дедов внук Сашка. Сашка шкодлив и труслив. Нашкодит, а сваливает на других. И лизунчик. К бабке и деду ластится, а за глаза ругает. Юрка не любил с ним водиться, но ради того, чтобы еще раз посмотреть лагерь приезжих, повел туда Сашку. Показать издали.

Сашка хотел подойти ближе, но Юрка не пустил и пригрозил стукнуть. Сашка мог сделать пакость, а свалили бы на них, Юрку и Славку. Издали они всё рассмотрели — и газовую плитку, и складные стол и стулья, и палатку, и «Волгу».

— Ну, внучек, видал, как наши курортники живут?— спросила Максимовна. — Сколько добра навезли... Вот, гляди у меня, учись добре, может, и ты на такого выучишься. Небось он денег-то гребет! И по курортам на своей машине ездит, и баба у ево не работает...

2

Юрке было все равно, работает Юлия Ивановна или нет. Какое ему дело? Вещи? Так что ж вещи? Хорошо бы иметь такую палатку, например, и жить в ней все лето на бугре или у самого моря. Она такая яркая и веселая, что даже в пасмурную погоду в ней кажется, что на дворе солнце. А вот плитка уже ни к чему. Конечно, она лучше, чем вонючий керогаз, так это пока баллончики полные, а газ кончится, ехать в Москву заряжать? Ее и не продать никому, так и будет валяться. Деньги, это да, деньги бы хорошо иметь. Можно было бы каждое воскресенье ездить в город смотреть кино и есть мороженое. Деньги у Юрки бывают только тогда, когда мамка посылает в магазин в Ломовку или Гроховку и он мотает туда на велосипеде. Мамка знает все цены, и сдачу приходится отдавать до копейки — дома каждая на счету. Нет, ни деньги, ни такие вещи Юрке не светят, нечего о них думать и зря расстраиваться. Юрка и не расстраивался. Он не завистливый — есть так есть, нет так нету, и фиг с ним...

Думал он о другом. Мамка часто говорила, что это не жизнь, а несчастье, бывают же счастливые люди, а она вот несчастная, ругаясь с папкой, кричала, чтобы он подумал о несчастных детях... Юрка раздумывал, почему они несчастные, не мог понять и только пожимал плечами. Конечно, случались неприятности в школе, попадало от мамки или папки. Ну так что? Тоже несчастье,

подумаешь... Нет, Юрка вовсе не чувствовал себя несчастным. Досаждало ему только одно: он начал стесняться. Раньше этого как-то не было или он не замечал, а теперь стал замечать и стеснялся все больше. Когда он был один или с ребятами, он камешком мог попасть в кирпич за двадцать шагов, прыгал с крыши и никогда не ушибался, ничего не ронял, все делал ловко и быстро, а при других становился неловким и неуклюжим, спотыкался и все ронял, ходил, как спутанная лошадь, руки и ноги делались большими, нескладными, их некуда было девать, он старался держаться свободнее, развязнее, от этого получалось еще хуже, и его начинали ругать, а он улыбался. Не потому, что ему было смешно, а потому, что очень стеснялся, но другие этого не понимали и ругали его еще больше. И для полного счастья ему не хватало только одного — чтобы исчезла эта скованность и он держался уверенно и свободно, ну, например, как папка...

Раньше он всегда хотел быть похожим на папку. Нет, не во всем. Папка любит выпить, а когда выпьет, начинает ко всем придираться, ругается стыдными словами и чуть что дерется, а потом валится спать, стонет, кричит и хрипит во сне, булькает и захлебывается, будто тонет или его режут, и так страшно, что лучше бы уж не спал, а ругался. А после этого дня два совсем больной. Зато, когда трезвый, он лучше всех. Во всем разбирается, все знает, бывал в разных городах, а в Евпатории даже жил, умеет здороваться, как никто другой, и рассказывать разные истории, рисует красивые картинки, и усы у него, каких нет ни у кого. Правда, дед как-то сказал:

— Ты б, Лександра, отпустил усы как усы, али вовсе сбрил. А то, как черные сопли под носом...

Пускай дед говорит что хочет, Юрке папкины усы нравились: две коротко подстриженные черные полосочки от ноздрей вниз. Юрка даже попробовал и себе подрисовать углем такие, но получилось смешно, тогда он нарисовал еще смешнее — через все щеки. Славка увидел и тоже намалевал себе усы, и Митька тоже, а потом пришла мать, им влетело, а больше всего, конечно, Юрке.

С приездом Виталия Сергеевича всё незаметно начало меняться. И чем дольше он жил, тем больше менялось. Папка остался папкой, но стал казаться как-то меньше, а Виталий Сергеевич все больше его заслонял. И не потому, что Виталий Сергеевич высокий, сухопарый и костистый, а папка маленький. Он не совсем, конечно,

маленький, а все-таки меньше всех ростом, даже меньше мамки. Но дело совсем не в росте. Они просто очень разные. Во всем. И говорят, и ходят, и делают все иначе. Даже когда папка стоит на одном месте, кажется, что он ужасно куда-то спешит — переступает с ноги на ногу, станет то так, то этак, и двигает руками, и перебирает пальцами, и улыбается, и шевелит губами, и хмурится, и щурится, как-то все время шевелится. Раньше Юрка этого не замечал или не обращал внимания, а теперь, когда приехал Виталий Сергеевич, стал замечать, и почему-то ему все это больше и больше не нравилось, и он даже стал стесняться, будто суетился не папка, а он сам. А Виталий Сергеевич никогда не торопился. Юрка сколько раз потихоньку наблюдал за ним, когда тот молчал и о чем-то думал, — он с полчаса, а может, и больше сидел, как каменный, смотрел в одну точку, и в лице у него ничего не шелохнулось — ни твердо сжатый широкий рот, ни глубокие складки на впалых щеках. И он со всеми одинаков. Хоть с дедом, хоть с Максимовной или с мамкой, или с ними, ребятами. Голос у него спокойный, не громкий, но почему-то, когда он заговаривал, все умолкали и слушали, и он будто знал, был уверен, что так и будет, даже не пытался говорить громче, перекрикивать других. Ну, прямо как Сенька-Ангел сказал — авторитетный. И когда они с дедом выпили, деда вон как развезло, а ему хоть бы что — не кричал, песни не орал и ни разу не заругался...

Вот таким и захотелось стать Юрке. Спокойным, сильным и авторитетным. Однако как Юрка ни старался отыскать в себе что-нибудь, что делало бы его похожим на Виталия Сергеевича, отыскать не удавалось. Только и всего, что у него тоже широкий рот, из-за которого в школе его дразнили Юрием Долгоротым. Так ведь что ж рот...

На тамарисковом бугре было так хорошо, весело и интересно, что, если б можно, они и вовсе бы не уходили из лагеря, но их стыдили, корили и ругали все — и мамка, и Максимовна, и дед, и папка. Чтобы не надоедали людям. Они старались не надоедать, но то и дело оказывались там. Приезжие не сердились. Виталий Сергеевич сказал, что Юлию Ивановну можно называть тетя Юля, а его дядя Витя, и приходить к нему, когда они захотят, если только он не занимается. Его они так и стали называть, а Юлию Ивановну почему-то стеснялись, и она осталась «Юливанной». Сначала они не понимали, поче-

му такой большой и даже старый до сих пор занимается, но оказалось, что он вовсе не учится, а пишет книжку, по которой будут учиться другие, как строить дома и всякие здания. Писал он по утрам, Юрка и Славка тогда делали всякие свои дела или просто околачивались и время от времени поглядывали из-за кустов, сидит он еще за столом или нет. И если он уже не сидел, они прямо шли к нему, а сзади плелся неотвязный Митька. Юливанна, если она еще была в лагере, говорила:

— Ну вот, идет твоя команда... А где ваше «доброе утро»?

— Доброе утро! — в один голос смущенно говорили Юрка и Славка.

Почему-то они все время забывали об этом. А Митька молчал. Он не понимал, зачем нужно без конца здороваться, если они виделись изо дня в день. Другое дело, если б не виделись месяц или год... И вообще — почему нужно здороваться, если они уже знакомые?

Юливанна брала зонтик, книжку и одеяло, чтобы постелить на песок, и уходила к морю. Без нее было лучше. Она их не прогоняла, не сердилась, но все-таки они ее стеснялись. А с дядей Витей они ходили купаться, гулять к Донгузлаву или по берегу моря и собирать пемзу, которую выбрасывает море, хотя она никому не была нужна, и помогали ему все делать. Например, мыть машину. Они все садились в «Волгу» и ехали к колодцу. Там и ехать всего ничего, ну все-таки. Мыл машину он сам, а они по очереди доставали воду из колодца. Колодец неглубокий, метра полтора, а ведерко у дяди Вити белое пластмассовое с черной ручкой. И совсем ничего не весит. Потом, когда машина начинала сиять и сверкать так, что слепило глаза, они вместе купались и снова ехали на машине в лагерь. И все время разговаривали. Про все. Он все-все знал... Нет, не все. Иногда он говорил: «Этого, брат, я не знаю...» Папка так никогда не говорил. Выходит, он знал больше? А может, он просто не признавался?

Все было так хорошо и интересно, что лучше и не могло быть. Оказалось, могло. Через неделю после приезда дядя Витя сказал:

— А что, молодые люди, не предпринять ли нам экспедицию в город за харчами? Тете Юле ехать не хочется, но мы, я думаю, справимся и сами, без женщин?

— На машине? — закричал Славка.

— Самолета у меня, к сожалению, нет и не предвидится. Так что придется на машине. Не возражаете?

Ха! Кто бы стал возражать?!

— Только два условия: получить разрешение у мамы и чтобы сопелки были чистые, — сказал дядя Витя и посмотрел на Митьку. У того под носом висела капля.

Они шуровали мордасы, не щадя кожи, пока она не заблестела на скулах, как лакированная. Мамка достала чистые рубашки. Славке хорошо, у него волосы острижены, а Юркин чубчик торчал в разные стороны. Юрка смочил водой, от этого он вздыбился еще хуже, и пришлось надеть кепку. Во всем параде они пошли в лагерь, сопровождаемые Митькиным ревом — его мамка не пустила. Юливанна еще спала в палатке, дядя Витя уже был готов, выведенная из-под тента «Волга» скалила сверкающие клыки и еле слышно пофыркивала выхлопом.

— Вы сияете, как новые двугривенные, — сказал Виталий Сергеевич. — Поехали?

Юрка и Славка бросились к передней дверце и едва не подрались из-за того, кто сядет спереди.

— По очереди, — сказал дядя Витя, — один туда, другой обратно.

Юрка сел на переднее сиденье. Мягко покачиваясь, «Волга» выехала с бугра. В воротах стояли мамка, ревущий Митька и Ленка. Славка высунулся в окно и закричал, как Сенька-Ангел:

— Привет! Привет!

Митька завыл сиреной. «Волга» накренилась на съезде и выехала на дорогу.

Ветер ворвался в открытые окна, зашуршал газетой, лежащей на полке у заднего смотрового стекла. Дом, окутанный розовой дымкой бугор, на котором краюшкой нежаркого утреннего солнца виднелся верх оранжевой палатки, стремительно побежали от них, всё быстрее и быстрее уменьшались, стали блекнуть, терять цвет и свет, а белая дорога бросалась под колеса, под ними лопотали камни, и, как редкий дымок, курилась за багажником пыль. Коса сузилась, вплотную подступили к дороге море и заросший осокой илистый залив Донгузлава. Пахло мокрой солью и тиной, горячей дорожной пылью и парусиной чехлов.

— Шестьдесят! — закричал Славка.

Он все время вскакивал, чтобы посмотреть на спидометр. Большая стрелка под прозрачным зеленым козырьком постояла на цифре 60 и поползла влево, машина на-

чала накреняться то в одну, то в другую сторону. Они перебрались через песчаные отвалы и остановились. Дом уже скрылся в пепельно-лиловой дымке, в эту дымку, извиваясь, уползала оставшаяся позади дорога.

Здесь все было еще не настоящее, временное. И подъезд, и причальная стенка, на которой вместо кранцев висели связки старых покрышек, и самые берега промоины через пересыпь. Их еще только укрепляли, будущие берега: вдали от воды пневматические молоты постукивали по ржаво-красным корытам шпунтов, и они податливо уходили в песок. С моря через промоину отчаянно дымящий буксир тянул в лиман землеотвозную шаланду. Порожняя, она моталась на свежей волне, буксирный трос пронзительно стегал по воде, она всплескивалась зеркальной стенкой. По ту сторону промоины дымила камбузной трубой двухпалубная белая брандвахта, в которой жили работающие на строительстве, а рядом торчали хоботы кранов, горы песка. По обе стороны промоины, соединенные кабелем, стояли высокие решетчатые башни с прожекторами.

Сзади, впритык к «Волге», остановилась трехтонка.

— Привет! Привет! — закричал шофер и помахал им рукой.

— Сенька-Ангел! — ахнул Юрка. — Ты куда?

Сенька вылез из кабины, зло поднял покрышку, плюнул и подошел к ним.

— Чтоб его черти так варили!

— Кого?

— А того, кто придумал покрышки наваривать. Лупятся, как пасхальные яички, а ты — езди...

— Ты тоже в город?

— За соляркой.

— А воду?

— Петро-белорус на работу вышел. Хватит мне водовозничать.

— Так он же не хочет к нам заезжать!

— А я при чем? Пускай дед договаривается...

— Ангел — это ваша фамилия? — спросил Виталий Сергеевич.

— Да нет, кличку такую дали.

— За что ж вас так?

Сенька весело прищурился и начал загибать пальцы:

— Передовик колхозного производства — раз, водки не пью — два, не курю — три, бабу свою не бью, хоть

и стоит, — четыре, с начальством не ругаюсь — пять. Как же не ангел? Вылитый!

Юрка и Славка в книжке у Максимовны видели на картинке ангела. Он был тощий и напоминал белого кудрявого барашка. Лысый, приземистый, с замасленной, пропахшей соляркой и солидолом спецовке Сенька никак не был на него похож. Должно быть, то же самое подумал Виталий Сергеевич.

— Раньше, — сказал он, — об ангелах иначе думали.

— Так то раньше! — засмеялся Сенька. — Теперь на ангелóв нормы другие... Во, — сказал он, поглядев на протоку, — была дорога, как струнка. Взяли и разрыли, теперь дожидайся переправы. А в шторм и вовсе — загорай, пока не кончится.

— Это временно, — сказал Виталий Сергеевич. — Пока стройка идет.

— Тогда нашему брату еще слаще — чеши вкруг лимана шестьдесят километров лишку. И будем чесать — наше дело солдатское.

— Строительство важнее.

— Это какое дело ни возьми — одно другого важнее. Одни мы неважные...

— Кто?

— Вообще. Люди.

— Так ведь для людей и делается!

— А-а! Ну, это, конечно, само собой...

— И город здесь будет. На голом месте строить хорошо. И строителям, и архитекторам есть где развернуться.

— Да уж наворочают...

Парóм отвалил от противоположного берега и, буровя тупым носом воду, пошел к ним. Вернее, носа у него не было. И кормы тоже. Он был как бы обрублен и спереди и сзади. Посередке угловатой аркой возвышался мостик, там в застекленной будке стоял капитан. А между высокими бортами в два ряда, уткнувшись друг в друга, как овцы в стаде, стояли машины. Паром подошел к стенке, ткнулся в покрышки раз и другой, береговые матросы закинули швартовы на вбитые в стенку толстые трубы, с обрубка, который был носом, опустили окованную железом сходню из толстых досок. По сигналу капитана боцман махнул рукой передней машине.

— Давай!

Осторожно, будто лошади, идущие в незнакомый брод, машины трогались, гуськом переползали сходню, скреже-

тали шестернями передач и убыстряли ход. А выбравшись за песчаные косогоры, давали газу, взревывали моторами и, подняв столб известняковой пыли, скрывались в нем.

Пока шла выгрузка, за «Волгой» выстроился длинный хвост подъехавших машин. Теперь они так же осторожно, гуськом взъехали на паром, уткнулись носами друг в друга. Под палубой что-то все время ходило ходуном, палуба мелко дрожала, машины на ней тоже стали дрожать. Юрка и Славка выглянули через борт. В зеленой воде, гонимые течением и буруном винтов, кувыркались белесые лепешки, розовые колокола медуз. По лиману, как и по морю, только мельче, шли барашки. Конца лимана не было видно. Папка говорил, он тянется тридцать километров. Разве увидишь?

И снова паром потыкался в покрышки, снова накинули на трубы швартовы. На берегу горы ящиков подмались, как дома, свинцовые змеи кабелей обвивали скоченные из толстых досок катушки, извиваясь, ползли по песку к кранам и компрессорам. И здесь пневматические молоты стучали по звенящим стальным корытам шпунтов, шипели компрессоры, оглушительно фырчали их дизеля. И тут же, рыча, лязгая, ползали бульдозеры, тупыми лбами пихали перед собой валы песка.

«Волга» осторожно выбралась из всех лабиринтов и завалов, лопоча покрышками, пробежала по грубой булыге и вырвалась на асфальт. Ветер тугой волной ударил в окна, завыл все тоньше и все пронзительнее. Шоссе впереди было пусто, и стрелка под зеленым козырьком с 70 перебежала на 80, потом на 90 и задрожала на цифре 100...

Славка побелел, ухватился за спинку переднего сиденья и широко открытыми глазами с восторгом и ужасом смотрел на аспидную ленту асфальта, которая тоже, казалось, все больше белела от страха и все головокружительнее исчезала под машиной.

Юрка не боялся. Сначала и у него перехватило дыхание, он встревоженно посмотрел на Виталия Сергеевича. Тот сидел как ни в чем не бывало, спокойно смотрел на дорогу. С ним можно не бояться. И Юрка успокоился, тоже стал смотреть на дорогу. Справа промелькнул карьер. Там берут камень для дороги, но сейчас никого не было, да и вообще ничего интересного — большая яма, в которой лежат кучи щебня. А потом вдалеке от дороги показались унылые ранжиры Поповки. Там они жили

давно и недолго, когда папка работал чабаном. Потом он поскандалил с кем-то и им пришлось уехать. Тогда им было плохо, он помнит, что всегда хотел есть, лучше не вспоминать... И Юрка перестал вспоминать, просто смотрел, как мчится машина, слушал, как пронзительно свистит ветер, боялся, что сейчас все кончится...

И все кончилось. Впереди показалась загородка из жердей, подвешенный к ней «кирпич» и фанерная стрела, показывающая налево. Перед городом был объезд. Машина сбавила скорость, долго, почти как пешком, тащилась по пыльной грунтовке. Показались протянутые руки башенных кранов, чернеющие пустыми глазницами недостроенные коробки домов.

Они въехали в город. Слева остался длинный приземистый вокзал, у светофора они свернули с асфальта на булыжник, к базару. Юрка здесь бывал, когда жил у бабушки.

— Дядя Вить, — сказал он, — вот же базар, мы уже приехали!

— Сначала надо соблюсти приличия, — сказал Виталий Сергеевич, — отправить открытку или хотя бы телеграмму.

Они остановились возле почты, Виталий Сергеевич ушел. Юрка немедленно сел на его место и ухватился за баранку — примериться и чтобы Славка увидел, как он будет когда-нибудь водить машину. Он даже попробовал слегка нажать на педали в тайной надежде — вдруг она самую чуточку, хоть полшага проедет. Но машина была на тормозе и никуда не поехала. Славка тоже полез подержать баранку, Юрка не хотел его пускать, но тот побелел, затрясся, как всегда, когда готов броситься в драку, и пришлось уступить. Вот только не было никаких ребят, чтобы они могли посмотреть и позавидовать. Перед летней галерейкой, где выдают письма до востребования, стоял длинный хвост курортников, но они не обращали никакого внимания ни на «Волгу», ни на ребят.

Потом они покупали продукты на базаре и в гастрономе, в булочной хлеб и плюшки с хрустящей корочкой — Юрка и Славка получили и тут же съели по одной, а у лотка, хотя они стеснялись и отнекивались, ели пирожки с мясом. Виталий Сергеевич остановил машину напротив магазина «Воды — мороженое» и повел их туда. Тут они уже не отнекивались, а съели по вафельному стаканчику сливочного вместе со стаканчиками.

— А что будете пить? — спросил Виталий Сергеевич.

Прилавок был так уставлен разными бутылками, что они растерялись. Славка наугад ткнул пальцем. Виталий Сергеевич взял каждому по бутылке. Это называлось «буза». Из темно-зеленых бутылок повалила густая шипучая пена, как молоко, когда оно уходит. Буза была сладкая, густая, щипала язык и нёбо.

— Ну как? — спросил Виталий Сергеевич. Сам он пил не бузу, а минеральную воду. От нее несло тухлыми яйцами.

— М-м... — замычал Славка. — Во! — сказал он, проглотив, и показал большой палец.

Они так долго и старательно сливали в стаканы остатки, что Виталий Сергеевич взял еще две бутылки.

— Не лопнете? — участливо спросил он.

— Не оставлять же! — сказал Славка.

Они налились до краев, в животе стало тяжело, в нёбо то и дело стреляло колючей мучнистой отрыжкой, но Юрка не сплевывал — было жалко.

И снова «Волга» летела над аспидным асфальтом, стрелка стояла на 100, лопотали покрышки, а ветер метался в кузове и выл от зависти.

Юливанна восхитилась покупками, за все похвалила, а потом огорченно сказала:

— Да, но как готовить? Воду ведь не привезли. А из колодца я попробовала — ужасная гадость. Невозможно пить.

— А давайте, — сказал Юрка, — давайте я привезу. На велосипеде. Наберу ваши фляжки и привезу. А что? Тут всего четыре километра, я быстро.

— Что ты там в этих фляжках привезешь... Ехать, так на машине, и фляжки наполним, и бутыль...

Бутыль поставили спереди на мягкий коврик, Юрка должен был ее придерживать, чтобы не разбилась.

У ворот снова стоял Митька и выл.

— Может, возьмем этого ревуна? А то ведь ему обидно, — сказал Виталий Сергеевич и остановил машину.

Вслед за Митька выбежала Ленка.

— Ты куда? — закричал Славка. — Мы — без женщин!

— Ну, Слава, какая же она еще женщина? И чем тебе женщины мешают, а?

Славка засмеялся и пожал плечами — они ему не мешали.

Митька и Ленка сели в машину, вернее, села Ленка, а Митька стоял всю дорогу, держась за спинку переднего сиденья: так лучше смотреть. Он первый и увидел.

— Вон мамка! И Федька...

Виталий Сергеевич притормозил, съехал на обочину. Мамка и Федор сгребали лопатами размолотый колесами известняковый гравий, засыпáли выбоины, потом Федор черпал воду из бочки на телеге и поливал засыпку. Дед и папка сидели, свесив ноги в кювет, и курили. Виталий Сергеевич подсел к ним, подошли мамка и Федор. Запряженная в телегу Дочка мотала головой, отмахивалась хвостом от слепней.

— Что это вы делаете? — спросил Виталий Сергеевич.

— Демонтируем, — сказал дед.

— Разве так будет держать?

— Маненько схватит, коли постоит.

Гремя и подпрыгивая, проехал грузовик, обдал их пылью. Колеса прошли по только что сделанной насыпке, гравий брызнул в стороны.

— Вот и весь ремонт! — сказал папка. — Артель напрасный труд.

Дед посмотрел вслед грузовику.

— Да ить что поделаешь с таким народом? Нет, чтобы объехать, норовит как раз угодить...

— Это же в самом деле напрасная работа. Вы делаете, они тут же разворачивают. Ремонтировать, так уж по-настоящему.

— Ну его к черту! — сказал Федор. — Вот кончу курсы трактористов, и всё — уеду. Разве это работа? Смехота! Пускай на другой участок переводят.

Дед посмотрел на него и снова повернулся к Виталию Сергеевичу.

— Ассигнований не дают. Поскольку дороги тут потом не будет. Вот мы так и поддерживаем пока. Новую пробивать будут вокруг лимана.

— Когда-то она будет, — сказал Федор.

— Как захотят, быстро сделают, — сказал папка. — В соседнем районе дали одному Героя, за кукурузу. Ну, там пробили артезианский колодец, воды — залейся, чего ей не расти. И начали к нему разные начальники ездить. Полюбоваться. В один месяц асфальт проложили. Теперь ездий, как в люльке, не тряхнет, не качнет.

Дед неприязненно покосился на папку. Он не любил, когда говорили всякие вольности.

— А вы далече собрались?

— В Ломовку, по воду.

— Так уж лучше в Гроховку. Километр дальше, а вода лучше, водопроводная.

Они поехали в Гроховку.

В первых трех колонках воды не было, только в лужах плескались гуси и утки, но в четвертой, недалеко от магазина, оказалась, они набрали все капроновые фляжки и десятилитровую бутыль.

Юрка все время ломал голову, что бы такое придумать, чтобы Виталию Сергеевичу доставить удовольствие, увидел, что у входа в подвал стоят уже дядьки, и его осенило:

— Дядя Витя, а вы вина не хочете? У нас тут продают.

— Натуральное? В такую жару не плохо бы выпить стакан.

Они пошли ко входу в подвал. Навстречу им, припадая на деревянную ногу, шагнул Роман Безногий и нарочито громко сказал:

— Профессору — почет и уважение!

Редкие волосы прилипли у Романа к залысинам, красное лицо вспотело — он был уже на «газу». Виталий Сергеевич внимательно посмотрел на него.

— Я не профессор.

— Все одно — тилигенция. У меня глаз верный, снайперский. Люблю тилигенцию!

— Очень приятно, — сказал Виталий Сергеевич и хотел пройти мимо.

— Пс-ст! — сказал Роман, протянул руку и уставился в глаза Виталию Сергеевичу. — Дай рупь.

Виталий Сергеевич даже не удивился, достал и протянул бумажку.

— Во! — торжественно поднял Роман рублевку и показал стоящим мужчинам. — Я за что люблю тилигенцию? Она деньги иметь стесняется!

В группе мужчин у входа в подвал засмеялись.

— Не то что вы, жмоты, за целковый удавитесь, — продолжал Роман.

Виталий Сергеевич начал спускаться в подвал, следом застучал деревянной ногой Роман.

В подвале с потолка свисала электрическая лампочка, за столом сидела горбатая Алка. На столе стояли два граненых стакана, ведро с водой и большой эмалированный чайник. Алка окунула стакан в ведро, подставила

под чайник, в стакан полилась мутная зеленоватая струя.

Виталий Сергеевич взял стакан, поднес ко рту, понюхал и поставил обратно.

— Нет, благодарю вас. Немытый?

— Как это немытый? — обиделась Алка. — На ваших глазах помыла!

— Я не про стакан. Виноград давили немытый.

— А сроду его мыли? — сказал Роман.

— То-то он ДДТ и еще какой-то пакостью отдает...

— Ничего, нам годится, — сказал Роман. — Еще шибче забирает...

Они поехали домой. Юрка старательно держал бутыль и мучился. Он хотел сделать как лучше, а ничего не получилось.

— Не понравилось? — спросил он. — А дед и папка говорит — хорошее...

— Ничего, — утешил его Виталий Сергеевич. — Без вина жить можно. Особенно такого.

Дома они помыли запыленную машину и пошли купаться. Юлиана пошла с ними. Они ныряли, плавали наперегонки, Виталий Сергеевич учил их лежать на воде совсем не двигаясь, а потом все сидели на камне и отдыхали. В один из зимних штормов море выбросило длинную плоскую глыбу песчаника, а потом у берега намыло сай *, волны не доставали больше до камня, он так и остался, единственный камень на всем берегу от переправы до Окуневки. На нем очень удобно сидеть. Юлиана и Виталий Сергеевич сидели на камне, а ребята просто на песке, и Юрке почему-то пришло в голову спросить:

— Дядя Витя, а у вас дети есть?

Может, он подумал, как, должно быть, хорошо им живется, этим детям? Юлиана вдруг встала и пошла домой. Виталий Сергеевич посмотрел ей вслед и, помедлив, сказал:

— Есть сын. Он уже большой и живет самостоятельно.

3

К приезжим ходили не только они, ребята. Как только Юлиана принималась готовить и оставалась одна, к ней бежали то Максимовна, то мамка. Нюшка ходила

* Мель, отмель.

редко — стеснялась. Что говорили Максимовна и Нюшка, слышно не было, они говорят тихо. Зато, когда говорила мамка, слышно на весь бугор. Может, у нее такой громкий голос, потому что она часто кричит и ругается? Она говорила всегда одно и то же: как трудно жить, и что папка пьет, может и последнее пропить, приходится его стеречь, пьяный он заводной, мало ли чего может натворить, потом не развяжешься, и что дети плохо учатся... А сойдясь вместе, они судачили о Юливанне, наперебой хвалили ее: и какая она, видать, хозяйка, и аккуратная, и душевная, и поговорить с ней — одно удовольствие, все понимает и сочувствует, и какое привалило счастье Виталию Сергеевичу, что у него жена такая ласковая да добрая, ну и он тоже, слава богу, — за таким мужем, как у Христа за пазухой, — не то что словом, взглядом не обидит, все Юленька да Юленька...

А к Виталию Сергеевичу ходили мужчины. Чаще всего дед, изредка Федор. Тогда шли неторопливые разговоры о хозяйстве, о политике — что делается с этим Вьетнамом, когда будет конец, а то, гляди, еще чего доброго... и кто полетит на Луну, и, может, хоть теперь будет маненько легче, а то прямо не знаешь, куда и податься — то кукуруза, то горох, то пятое, то десятое, семь пятниц на неделе, и каждая главнее престольного праздника...

Папка в лагерь не ходил. Юрка знал, что ему очень хочется поближе познакомиться с Виталием Сергеевичем, и он не раз зазывал его к себе, но Виталий Сергеевич не приходил. Он вообще ни к кому не ходил, никто на это не обижался, а папка обиделся. И однажды так прямо и сказал:

— Что ж вы нас обижаете? Не по-соседски...

— Чем?

— Не зайдете никогда. Посидели бы, поговорили по-настоящему.

— Разговаривать можно и здесь.

— Ну, как бы сказать, обстановка не та... И потом, я хотел показать вам, узнать мнение. Я ведь, между прочим, немножко рисую...

— Вот как? — сказал Виталий Сергеевич. — Любопытно.

Они пошли в мастерскую, где папка всегда рисовал. Там стоял большой слесарный верстак, навалены дорожные знаки и всякие инструменты, но все-таки там просторнее, чем в комнате, никто не крутился перед глазами и не мешал. А на стенах висели папкины картины, уже оконченные и только начатые. Нарисовано на них разное-разное и большей частью такое, чего Юрка никогда не видел. И горы, острые, как пики, и много-много деревьев сразу — это называлось лес, — а из-за гор и леса обязательно всходили или желтая луна, или красное солнце, и озеро, по которому плавали белые гуси с такими длинными шеями, что они изгибались, как вопросительный знак. И другое озеро, все заросшее широкими, с тарелку, листьями и белыми цветами, а поверх листьев и цветов лежала тетка с угольно-черными глазами. Сама она была розовая, как семейное мыло, и совсем голая, только стыдное место прикрывал белый шарфик, который сам по себе висел в воздухе. И здесь тоже были белые гуси с длинными шеями и желтая луна. Юрка не понимал, почему эта толстомясая тетка не тонет, и про себя думал, что, если б он умел рисовать, он бы рисовал не этих голых теток, а самолеты и танки, Чапаева, как он летит на белом коне, или космонавтов, как они гуляют в космосе. Он даже как-то спросил папку, почему он такое не рисует, это, мол, куда интереснее, но папка только усмехнулся и сказал:

— Много ты понимаешь!

Конечно, Юрка понимал еще мало, но что папка здорово рисует, это он понимал хорошо. У него все такое похожее. Видно каждый камешек, каждую веточку. И все такое красивое. Даже красивее, чем на самом деле. Если уж луна, так желтая-прежелтая, солнце краснее, чем светофор в городе перед базаром, а таких зеленых листьев и травы не было даже в городе...

Юрка смотрел то на картины, то на Виталия Сергеевича, чтобы угадать, как они ему нравятся, а папка суетился больше, чем всегда, рассказывал, как он рисует с открыток по клеточкам, и как каждая картина называется, и как трудно доставать краски, особенно белила. Виталий Сергеевич молчал, потом сказал «н-да» и опять замолчал. Папка не выдержал и спросил:

— Ну как?

— Что я могу сказать?.. Вы, по-видимому, для себя рисуете, для собственного удовольствия?

— Ну, для себя! — засмеялся папка. — Для себя — это баловство. На одни краски сколько денег изведешь. Понимаете, я ведь сейчас просто дорожный рабочий. Временно, конечно, — поспешно добавил он. — Зарпла-

та маленькая. Вот я когда болею, на бюллетне, — подрабатываю немножко.

— И находятся, покупают?

— Отбою нет! Народ ведь стал культурнее, все хотят жить красивше...

— Н-да, только этого и не хватает, — сказал Виталий Сергеевич и опять замолчал.

— Что ж вы меня не покритикуете? — принужденно улыбаясь, сказал папка. — Вы человек с высшим образованием, в искусстве разбираетесь...

— Сейчас все в искусстве разбираются, даже те, кто в нем ни уха ни рыла... Что мне вас критиковать? Если по большому счету, то мы с вами одного поля ягоды...

— Так вот про это я и говорю! — обрадовался папка.

— Но если вы хотите знать правду о вашем рисовании, — пожалуйста. Запретить вам никто не может. Можно только пожалеть, что вы этим занимаетесь.

Папка обиженно поджал губы. Виталий Сергеевич повернулся и пошел домой, в лагерь. Юрка сначала растерялся, не знал, что делать, потом побежал за ним. Виталий Сергеевич не обратил на него внимания, шел, опустив голову и хмуря густые черные брови. Юрка сначала думал, что они тоже седые и только крашеные, но потом разуверился — Виталий Сергеевич сколько раз при нем нырял, а брови не линяли — значит, они на самом деле такие черные.

— Дядя Витя, — сказал Юрка, — а почему вам не понравилось? Разве папка плохо рисует?

— Рисовать он не умеет. И дело не только в том, как он рисует, а и в том, что́ он рисует... Ну, ты этого не поймешь.

Юливанна укладывала свою зеленую сумку, с которой ходила на пляж.

— Хорошо рисует? — спросила она.

— Кошмар, — сказал Виталий Сергеевич. — И торгует этим. Типичный базарный лубок. И что поделаешь? Уголовным кодексом не предусмотрено...

— Ты, наверно, как всегда, преувеличиваешь, ты ведь человек крайностей. Рисует, и пусть рисует на здоровье. Что тебе до этого?

— Не так просто, Юленька!

— Ну вот, ты сейчас начнешь разводить комплексы, рефлексии. Сложностей и так достаточно, не нужно их придумывать. Пойдем лучше к морю.

Виталий Сергеевич отрицательно покачал головой, Юливанна ушла. Юрка тоже хотел уйти, потом подумал, что Виталий Сергеевич пересердится и расскажет, отчего ему так не нравится папкино рисование.

Виталий Сергеевич сидел за столом, сплетя так пальцы, что побелели косточки, и смотрел прямо перед собой, потом стал смотреть на Юрку, и так долго и пристально, что Юрке стало не по себе, он начал ерзать и даже собрался уходить, потом понял, что Виталий Сергеевич его просто не видит, хотя смотрит глаза в глаза. Виталий Сергеевич перевел взгляд, снова посмотрел на Юрку и только тогда его у в и д е л.

— Если у тебя будут дети, — сказал он, — и вздумают заниматься искусством, бей их смертным боем. Чтобы неповадно было. Понял?

Юрка осклабился. Это была, конечно, шутка, а шуткам надо улыбаться.

— Впрочем, чушь! — сказал Виталий Сергеевич. — Это не помогает ни отцам, ни детям.

Он поднялся, открыл багажник, достал бутылку с коричневой жидкостью. Юрка уже знал, что это не чай. На первой бутылке, когда ее выбросили, он прочитал слово «Коньяк». Виталий Сергеевич налил половину самого большого стаканчика, из тех, что вставлялись один в другой, помедлил, долил до краев и выпил. Тут он снова увидел Юрку, достал горсть конфет, положил перед ним.

— Закусывай.

Сам он закусывать не стал, смотрел в стол и потирал ладонью подбородок. Юрка сжевал одну конфету, брать еще стеснялся и ждал, что будет дальше.

— Нет, — сказал Виталий Сергеевич, — свинство! Расторгуеву небось этого не сказал!.. Юрий, слетай к отцу и скажи, что я очень прошу его сейчас прийти. Понимаешь? Очень!

Папка накопылил губы: «Чего я туда пойду?», но поломался совсем немного и пошел. Увидев, что Юрка пришел следом, он рассердился.

— Ты чего тут? А ну мотай отсюда!

— Почему? — сказал Виталий Сергеевич. — Пусть сидит, умнеет... Я хочу объяснить, почему я так говорил о ваших картинках. Но сначала давайте выпьем.

Он хотел просто выпить, но папка потянулся чокаться, а из этого чоканья ничего не вышло — стаканчики

пластмассовые, от них ни стука, ни звона — только зря расплескали коньяк на стол.

— Сильная вещь!

Папка с уважением посмотрел на бутылку и слегка помахал ладошкой у открытого рта. Виталий Сергеевич подвинул к нему конфеты. Папка деликатно взял штучку и откусил маленький кусочек.

— Так вот, — сказал Виталий Сергеевич, — рисовать, а тем более писать картины вы не умеете. Совсем.

Папка хотел встать, но Виталий Сергеевич жестом остановил его, и он остался сидеть, только ужасно засуетился.

— Говорю я не для того, чтобы обидеть, а чтобы вы поняли. В искусстве надо создавать то, что до вас не видели, не поняли, не сумели другие. А повторять — это, по выражению одного поэта, попросту умножать количество мопсов, и ничего более. Кому нужны мопсы? Вы понимаете?

Юрка ничего не понял, и папка, видно, не понял тоже, потому что обиженно поджал губы и сказал:

— Я мопсов не рисую.

— Да ведь это фигурально! Можно отлить тысячу гипсовых Аполлонов или напечатать миллион Джоконд, и всему этому цена будет грош.

— Так ведь я что ж, я немножко, для заработка...

— Ну, вы хоть честно в этом признаетесь! А есть такие, что возводят изготовление мопсов в принцип.

Дед привел Дочку к стогу ячменной соломы, привязал ее и, увидев, что Виталий Сергеевич разговаривает с папкой, подошел. Виталий Сергеевич поставил и для него стаканчик, налил.

— Да, — сказал Виталий Сергеевич, — я говорил — вы не одиноки. Вот есть такой художник Расторгуев. Мастак! Уж если нарисует мопса — на нем все шерстинки можно пересчитать. И процветает! Лауреат, даже, кажется, академик... Да что одиночки! В худфонде есть — она так и называется! — скульптурная фабрика... Вы понимаете? Фабрика, где штампуются скульптуры. Как пуговицы... Вы посмотрите вдоль дорог — то бетонный олень торчит, то медведь, то медведь, то олень... Их же тысячные стада уже у дорог...

— Эт точно, — сказал дед. — На нашем участке нет, а на других участках имеются.

— А в парках, садах? Серийные пионерчики с горнами, гигантские бабы с веслами, которых белят два раза

в год. Вы их найдете и во Владивостоке, и в Шепетовке, в Архангельске и в Ялте... Это же пропаганда пошлости!

— Чем ты возмущаешься, Виталий? — спросила Юливанна, появляясь из-за кустов. — Я забыла очки... О, выпиваете и без меня? Бессовестные!.. — Она посмотрела на стол. — Фу, Виталий! И не стыдно? Как в забегаловке... Если уж пьете, то по крайней мере надо закусывать.

На столе тотчас появились тарелочки, хлеб, консервы.

— И мне, — сказала Юливанна, подставляя стаканчик.

— Ты снова жертвуешь собой, чтобы мне меньше досталось? — усмехнулся Виталий Сергеевич.

— Отнюдь. Просто хочу упиться, напиться, словом, по-мужски повеселиться... Так о чем ты шумел?

— Об искусстве. Но, кажется, не в том регистре...

— Похоже, — сказала Юливанна, — похоже, что ты на всех нагнал тоску...

Папка вовсе не впал в тоску, он перестал слушать Виталия Сергеевича и все время о чем-то думал.

— А вы с этим художником лично знакомы? — спросил он.

— С Расторгуевым? Нет.

— Вот бы познакомиться!.. Только где уж? В Москву ехать — и денег нет и здоровье не позволяет.

— А что с вами? — спросила Юливанна. — На вид вы вполне здоровый человек.

— Так это на вид! — горько усмехнулся папка. — Меня в бомбежку так контузило — полгода в госпитале лежал, а два месяца ничего не видел, как бревно. Мне военврач тогда сказал: чуть что — и обратно... А приходится заниматься физической работой.

— Так вам ведь нельзя пить!

— Ни боже мой! Ни вот столько!..

— Зачем же вы?

— А что при такой жизни делать? Разве я тут живу? Пропадаю...

— Ну, Лександра, — сказал дед, — жизнь, она как жизнь, а стакашек ты перекидать любишь.

— А я никого не хуже. Вот и Виталий Сергеевич говорит, что я не хуже знаменитого художника Расторгуева рисую...

— Этого я не говорил, а сказал, что в принципе вы делаете одно и то же...

— Слыхал? — сказал папка. — Вот уеду отсюда, тогда посмóтрите...

— Куда ты денесси? — сказал дед. — Тут тебя никто не видит, живешь, и ладно. В другом месте с тебя работу спросют. А какой из тебя работник? Бала-бала, вот и все...

— Это я?!

— Не будем ссориться, — сказал Виталий Сергеевич. — Давайте-ка еще позволим себе...

Они позволили. Папка закусил и, вертя в руках кусок белого хлеба, сказал:

— Мне вот черного хлеба есть нельзя, желудок не позволяет. А где здесь возьмешь белый?

— Берегитесь черного хлеба! — усмехнулся Виталий Сергеевич. — «От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены...» *

— Ты предпочитаешь неверных жен? — спросила Юливанна.

— Чужих.

Юливанна засмеялась и погрозила пальцем.

— Попробуй только!

— Я извиняюсь, — сказал дед, — я чего хочу спросить. Вот вы, к примеру, строите дома. Как же вам платят — сдельно или по-особому?

Виталий Сергеевич нахмурился.

— Архитекторы получают зарплату. Как инженеры и прочие. Но я отошел от активного проектирования.

— И напрасно! — сказала Юливанна. — Мне очень нравились твои проекты.

— А что из них получилось? Помесь ласточки со свиньей? — Он посмотрел на непонимающие лица деда и папки. — Извините, вам это, наверно, неинтересно...

— Нет, почему же, — вежливо сказал папка. — Очень интересно.

— Понимаете, о чем я? Архитектор задумывает здание, создает проект. Но ему не дадут сделать так, как он задумал. И получается не здание, а ублюдок, сапоги всмятку, манная каша на шампуре...

— Крепко, видать, вас обидели по служебной линии, — сказал папка.

— Дело не в личной обиде, — отмахнулся Виталий Сергеевич. — Человек должен гордиться тем, что он сделал... Ну, не то чтобы гордиться, а...

---

* Из стихотворения Э. Багрицкого.

— Как Саваоф, — сказала Юливанна. — Он сделал — «и увидел, что это хорошо».

— Да, что-то вроде этого. А я пока сказать этого не смог. Ни разу.

— Но ты же строил! И хорошо.

— Что значит «хорошо»? У художника должно быть ощущение важности, нужности, первоочередности того, что он делает. А что мы строим? Обязательно — дворцы. Дворцы спорта, Дворцы бракосочетаний, Дворцы пионеров, Дворец культуры... И на моей совести есть такой дворец. Построил по тогдашней моде советского ампира. Роскошный Дворец культуры. Приходят туда люди, слушают лекции о культуре, а сами немытые. В селе бани нет. Вы говорите, жизни хотят «покрасивше»... Надо ее чище сделать.

— Эт правильно, — сказал дед. — И у нас в деревне бани нету, хочешь помыться, езжай в город. Сорок километров — ближний свет. Кто же туда поедет?

— Ты, как всегда, увлекаешься и преувеличиваешь, — сказала Юливанна.

Виталий Сергеевич посмотрел на нее, как бы очнувшись, возбуждение его угасло.

— Да, ты права, конечно. И весь этот разговор ни к чему...

Дед уже блаженно щурился, папка суетился, поглядывая на опустевшую бутылку, — ему было мало — и, как видно, совсем не слушал. Как только Виталий Сергеевич замолчал, он тут же спросил:

— А как его по имени-отчеству, того академика?

— Не знаю.

Дед и папка еще немножко поговорили о погоде, какая, мол, стоит жара, прямо июльская, и что штормы в мае бывают редко, а если и случится когда, то короткий. Потом они ушли. Виталий Сергеевич задумался, Юливанна, поглядывая на него, убирала со стола, потом спросила:

— Что на тебя вдруг нашло — поход против дворцов, гимн бане?

— Ты же знаешь, что не вдруг. Это всегда со мной.

— Но почему именно теперь? И перед аудиторией, которая явно ничего не поняла?

— Разве всегда говорят для аудитории? А почему?.. Увидел малевание этого Нечаева, вот и... Не так радостно увидеть пародию на самого себя. И злую пародию.

— Не вижу никакой связи.

— Ну как! Он считает, что его малевание делает жизнь людей «красивше». В конечном счете, и мы делаем то же самое. И когда начинаешь подводить итоги...

— Не рано ли?

— От этого никуда не денешься. — Виталий Сергеевич тронул седые волосы. — Всему свое время, говорил Экклезиаст. Время жить и время умирать, время сеять и время убирать жатву, время собирать и время бросать камни... Что мне остается еще, как не бросать камни? В себя...

— Бедненький! Так ты ничего и не сделал... А дом на Хорошевке? А детский санаторий? А...

— Все это — пробы, подходы, попытки. Были замыслы. Мне их поправляли, портили, я уступал, соглашался. И получались ублюдки. Не выдержал, сбежал на кафедру. И что? Создал школу, воспитал смелых новаторов? Чего достиг?

— А я не в счет? Если б ты не появился на кафедре...

— Тебя — да!.. Тебя я достиг. Ах, Юленька, если б это случилось раньше!..

— Могло случиться и раньше. Ты сам виноват.

— Прошу тебя! — сказал Виталий Сергеевич. — Не надо об этом, хотя бы то время, что мы здесь...

— Но почему я должна...

Юлиана только теперь увидела, что Юрка сидит, где сидел, и осеклась. Юрке стало невыносимо неловко. Он давно понял, что ему следует уйти, но боялся привлечь к себе внимание, не знал, как уйти незаметно, и продолжал сидеть, и получилось так, будто он нарочно сидел и слушал, о чем они говорят между собой, думая, что их никто не слышит. Он поднялся, пошел к дому.

От досады на себя он пнул ногой Жучку, которая, вывалив язык, бросилась к нему, и тут же ему стало жалко собаку — никто не вспомнил, что ей нужно налить воды. Юрка принес воды и кусок хлеба. Жучка сначала жадно вылакала всю воду, потом проглотила хлеб, выжидательно уставилась на него, ожидая еще подачки. Она смотрела и смотрела, несколько раз принималась вилять хвостом, но Юрка уже забыл о ней, и Жучка, гремя цепью, спряталась от солнца в свою будку из ракушечника. А Юрка смотрел на розовый бугор, над которым колыхалась парусина тента и жарко горела на солнце краюшка палатки. Он силился и не мог

понять, на кого и за что сердился Виталий Сергеевич. Сказал, что папка не умеет рисовать, и тут же, что есть знаменитый художник, который делает то же самое, потом что-то про дворцы и бани. Никаких дворцов Юрка не видел. И бань тоже. Мамка моет их в корыте. И хорошо, что не часто. Приходится много таскать воды из колодца, голому и мокрому холодно, в комнате парно и сыро, мамка сердится и кричит на них. А Митька всегда ревет — он не любит, когда его моют... Но Виталий Сергеевич говорил совсем не про это. Он был недоволен и сердился, только говорил такие слова, что Юрка видел — и дед, и папка тоже не понимали. И спрашивать у них бесполезно. Дед скажет: «Чужие дела — темный лес» или: «Чужая душа — потемки». Он всегда так говорит, когда речь заходит о других. А папка, наверно, обиделся на Виталия Сергеевича и будет его ругать...

Тут мамка начала всех звать, значит, она пришла с работы и пора обедать. Юрка пошел домой — есть ему хотелось давно.

— А где папка? — спросила мамка. — Ну-ка, поищите его!

Папки не было ни во дворе, ни в лагере, куда сбегал Митька, ни на берегу.

— Да что он, сквозь землю провалился? — закричала мамка.

Тут вышел Федор и сказал, что папка уехал в Грековку. Голоснул на дороге и уехал.

— Зачем?

— Известно зачем. Он и меня звал. Только у меня денег нет.

— А у него есть? — закричала мамка. — Опять у горбатой заразы в долг налижется...

Максимовна говорила, что все горбатые обязательно злые. У Алки горб самый настоящий — и спереди и сзади, а она добрая: дает вино в долг. Конечно, тем, кто потом расплачивается. Лучше бы уж она была злой, как все горбатые, и в долг не давала.

— Юрка, — сказала мамка, — бери велосипед, езжай за ним.

— Что он, меня послушает? И я есть хочу...

— Не помрешь! На. — Мамка сунула ему кусок хлеба. — И езжай без разговоров.

— Да ну, мамк, не хочу я...

— А я хочу с вами, окаянными, возиться, пьянчугу

того сторожить? Навязался он на мою голову, проклятый...

Юрка выкатил из коридора велосипед и поехал.

4

У входа в подвал стояли мужчины, курили, разговаривали и один за другим уходили — солнце уже спускалось за изволок, скрывающий Окуневку. Папка сидел с Романом Безногим под навесом для машин. На ракушечном кирпиче перед ними стоял мятый алюминиевый котелок, с которым Роман никогда не расставался. Оба были уже пьяны. Папка говорил и неистово суетился. Роман не слушал. Лицо его набрякло, глаза с бессмысленной сосредоточенностью смотрели в одну точку. Отстегнутая деревянная нога валялась рядом. Роман первый увидел Юрку и поманил пальцем.

— Эй, Жорка, иди сюда!

— Я не Жорка, — хмуро сказал Юрка, прислоняя велосипед к столбу.

— Ты? — обернулся папка. — Ты чего, в магазин? Уже закрытый... Вот, Роман, хоть его спроси! Ну, спроси! При нем разговор был...

Роман отмахнулся от него, протянул Юрке котелок.

— Слышь, Жорка! На́. Принеси еще.

— Так Алка ж не даст, — сказал папка.

— Кому не даст? Роману Зарубе? Да я ей...

— Ему не даст. Давай я схожу.

Папка взял котелок и старательно пошел к подвалу, но как ни старался, шел спотыкливо, то убыстряя, то замедляя шаг.

Роман посмотрел ему вслед, потом уставился на Юрку. В глазах его мелькнуло какое-то выражение, он пошевелил пальцами, словно пытаясь его уловить и задержать, но оно исчезло. Тогда он отклонился назад, побагровел и закричал изо всех сил:

— Ой, був та й нема... — и так же внезапно замолчал.

Он припал к принесенному котелку, но не столько пил, сколько разливал по небритому подбородку, рассохристанной рубашке, грязной волосатой груди. Папка тоже пососал из котелка, торопливо утерся и снова начал рассказывать.

— Вот он не даст соврать, при нем все было... Я его

культурно так пригласил к себе, мол, посидим, поговорим... Интересно же — человек с высшим образованием, разбирается. Ну и показал свои картины. Я ведь только так рисую, между прочим... Оказывается, совсем наоборот. Он смотрит, смотрит и только приговаривает: да, говорит, вот это да!.. Понимаешь? А потом зовет к себе. Ну, тут все было честь по чести. Между прочим, не водка, а коньяк — сильная вещь! И тут приходит его жена, симпатичная, между прочим, дамочка, и враз это, понимаешь, тарелочки, закусочки со всем фасоном. Постоличному... Ну, они же, понимаешь, видят, с кем имеют дело!.. А потом он мне и говорит: вас, говорит, таких только два — вы и еще есть академик-лауреат, по фамилии Расторгуев. Только вы и мастаки. Если уж что и нарисуете, так уж в точности, все как есть... Есть, мол, и еще, ну, те помельче...

Юрка таращил на папку глаза и ничего не понимал. Зачем он врет? Ведь ничего этого не было, было все совсем наоборот. Виталий Сергеевич сказал, что папка рисовать не умеет и даже что-то про уголовный кодекс... И про художника того говорил так, что получалось — он не художник, а вроде жулика... Что же, папка ничего не понял? Или, может, он, Юрка? Но Юрка ведь не пил, он видел, как сердился Виталий Сергеевич, и своими ушами слышал, как тот сказал: «Вы ничего не умеете...» Как же это могло у папки все перевернуться? Или он нарочно врет и выдумывает? Зачем? Юрка почувствовал, как лицо и уши его наливаются краской.

— Папк, — сказал он, — пойдем домой, меня мамка прислала...

Папка отмахнулся и продолжал говорить. Видно было, что рассказывал он уже не первый раз, сначала кому-то, а теперь Роману. Может, и Роман тоже уже слышал это, потому что теперь он совсем не слушал, а только водил осовелыми глазами по сторонам. Мужчины, стоявшие у подвала, разошлись, Алка, прижимая к боку сумку с деньгами, заперла дверь большим висячим замком и тоже ушла.

— Ну, так ты скажи, есть мне смысл тут сидеть? Нет, ты скажи!

Роман, набычившись, покачивался и ничего не говорил.

— Разве я тут живу? Пропадаю, и всё. На такой заработок можно прожить? А я бы мог своими картинами такую деньгу зашибать... Вот возьму и уеду. Продам

все картины, зашибу немножко денег — и прямым ходом в Москву. Думаешь, не пробьюсь? Ты меня еще не знаешь!.. Стоит отсюда уехать, как сразу...

— Ой, був та й нема... — снова оглушительно закричал свою песню Роман и замолк.

— Папк, пойдем домой! — сказал Юрка. — Скоро совсем темно будет...

— Отстань! — отмахнулся папка. — Не видишь, с человеком разговариваю...

В это время Роман как-то странно хрюкнул, повалился на бок. Падая, он опрокинул котелок, папка попробовал его подхватить, но промахнулся, вино вылилось. Папка с сожалением повертел пустой котелок, поставил на ракушечник, потолкал Романа:

— Эй, друг! Ты что, спишь?

Роман не пошевелился, только вдруг, будто нарочно, громко и страшно захрапел. Папка оглянулся. Бригадный двор перед навесом был безлюден, в окнах домов по ту сторону площади вспыхивали электрические лампочки.

— Пошли!

Он неуверенно поднялся, размашисто и шатко зашагал. Юрка взял велосипед и повел его, держа за руль. Они миновали кладбище. За побеленной, из ракушечника, оградой белели такие же побеленные известкой надгробия, железные кресты простирали разверстые руки из дымогарных труб. Звонок велосипеда брякнул на выбоине, папка огляпулся.

— Тю! Чего ж мы пешком? А ну, дай...

— Не надо, папк, упадешь.

— Когда это я падал? А ну, садись... Садись, тебе говорят!

Юрка сел боком на раму, папка два раза заносил ногу и не мог попасть в седло, наконец попал, и велосипед, заваливаясь и петляя, покатил к шоссе. До него осталось немного. Вот сейчас кончится справа колхозный виноградник, и там поворот на укатанную грунтовку, которая бежит рядом с шоссе. Папка жарко дышал ему в затылок винным перегаром, Юрке было щекотно и противно. Каждую секунду он ожидал, что они упадут, зыркал по сторонам и радовался, что уже темно, пусто и никто не видит, как они виляют из стороны в сторону.

— Сейчас... сейчас... — жарко дыша ему в затылок,

приговаривал папка, — выедем на грунтовку, я там наддам... На скорости лучше.

Он нажал на педали, велосипед уже не катил, а мчался все быстрее, быстрее, внезапно вильнул в сторону и со всего разгона налетел на бетонный пасынок телеграфного столба. Юрку перебросило через руль, он стукнулся лбом о бетон и упал на землю, папка свалился налево, потянул на себя велосипед. Юрке было так больно, что он не смог закричать, а только замычал и ухватился за ушибленное место. Под пальцами стало тепло и мокро, через висок по щеке потекла струйка. Папка барахтался под велосипедом и скверно ругался.

Юрка стал на четвереньки, с трудом оторвал руки от земли, но голова закружилась, он остался на коленях и даже сел на пятки. Немножко передохнув, потянул велосипед к себе — он думал, что папка тоже разбился и потому не может встать. Папка неожиданно легко поднялся.

— Вот сволочь! — сказал он и пнул башмаком в седло велосипеда.

По дороге, западая на ухабах, полосуя темноту снопами света, продребезжал грузовик. Свет скользнул по обочине, телеграфному столбу, лежащему велосипеду. Пробитая покрышка слетела, обод был вогнут, несколько спиц выскочило из гнезд и торчало в разные стороны. Юрку охватило такое отчаяние, что он забыл об ушибе.

— Ну, я говорил! Я говорил... — закричал он. — Как я теперь в школу буду?..

Папка стоял, покачиваясь, и молчал. Потом отмахнулся.

— Ер-рунда! Починим...

— Да, починишь ты, как же! А деньги? — заныл Юрка. От крика боль снова стегнула по разбитому надбровью.

— Ха, деньги! Я теперь, знаешь что... — забормотал папка. — Ты только подожди немножко. Я скоро всем докажу... А эту дрянь и чинить не буду. Куплю тебе новый. Понимаешь?.. Чего этот утиль ремонтировать?.. А то и вовсе — на кой такое дерьмо покупать? Я тебе мотоцикл куплю. Видал красные такие, чешские?.. «Ява» называется... Я скоро, сам увидишь...

Юрка молча всхлипывал. Он не верил ни в мотоцикл, ни в новый велосипед. И даже в починку. Денег не было и не будет. Папка просто врал и выдумывал.

И теперь уже всегда, даже в хорошую погоду, придется топать в Ломовку пешком.

Редкие жиденькие огоньки в домах Ломовки мерцали по ту сторону дороги. Папка тоже посмотрел туда.

— Ну ладно, хватит, — сказал он, — иди домой, я пошел.

— Куда?

— Пойду до кума. У меня к нему дело. Понимаешь? Поговорить надо...

По тому, как долго он объяснял, будто оправдывался, Юрка понял, что никакого дела нет, просто он еще не наговорился, не хочет идти домой, а пойдет мыкаться по деревне, искать знакомых, опять будет врать, будто Виталий Сергеевич хвалил его картины, выдумывать про московского художника, свою будущую жизнь, и все будут видеть, что он пьяный, понимать, что он врет и хвастает, будут ухмыляться и переглядываться, а может, и прямо в глаза смеяться над ним.

— Не ходи, папка! Не надо!

— Еще чего? Сказано тебе — иди домой!

— Папка, не ходи!

Юрка ухватил отца за рукав, но тот вырвался и замахнулся на него.

— Иди, а то как дам...

Папка пошел к дороге, спускаясь в кювет, оступился и упал. Юрка хотел побежать к нему, но увидел, что он уже поднялся, пересек кювет, снова упал, на четвереньках выбрался из кювета на дорогу. Идущая от переправы машина осветила его, он постоял, покачиваясь, перешел дорогу, и тут же по ней пронеслась машина. Свет фар ударил Юрке в глаза, он зажмурился, потом долго ждал, пока глаза привыкнут к темноте, пытался рассмотреть силуэт папки, но по ту сторону дороги лишь тускло светились далекие огоньки Ломовки.

— Папка! Пойдем домой! — закричал Юрка в темноту.

Ему никто не ответил.

Юрка пагнулся над велосипедом, в надбровье ударила резкая боль. Кровь уже не текла, присохла коркой на щеке. На месте ушиба вспухла здоровенная шишка, в ней все время саднило и дергало, а как только он наклонял голову, отдавало пронзительной болью. Опухоль расползлась вниз, захватила веко, и левый глаз еле-еле открывался.

Юрка поставил велосипед на колеса. Куда там

ехать — его нельзя было и катить, пришлось тащить силком. Переднее колесо припадало на вмятину, погнутые спицы цепляли вилку, трещали и тренькали.

Напрягая силы, Юрка толкал велосипед, который вдруг стал тяжелым и непослушным. Огоньки Ломовки остались слева, позади, справа за жидкими придорожными кустами темнел колхозный виноградник. Он скоро кончится, за ним ячменное поле, потом кукуруза, и только тогда станет виден дом. Еще далеко... Юрка вдруг почувствовал слабость и тошноту, оперся о велосипед и наклонился. Голова закружилась еще больше, его вырвало. Ноги стали ватными, руки, лицо и даже живот вспотели. Велосипед упал на грунтовку, Юрка шагнул в сторону и лег на колючую пропыленную траву обочины. Звезды дрогнули, все разом поплыли в сторону, по кругу. Его опять вырвало, но желудок был уже пустой, Юрка долго сплевывал и никак не мог сплюнуть горькую тягучую слюну. Боясь, что звезды снова поплывут и его снова затошнит, если он будет смотреть вверх, Юрка закрыл глаза. По дороге прогрохотал грузовик. «Если какой-нибудь пройдет по грунтовке, велосипеду хана — доломает», — подумал Юрка, но не пошевелился. Прошел еще грузовик и еще. Каждый раз Юрку обдавало пылью — уже поднимался береговой бриз, пыль несло к грунтовке и дальше, через ячменное поле к морю.

От ветра стало легче. Юрка поднялся, поставил велосипед на колеса и потащил его к дому. Его все еще мутило, но уже не так сильно, только разболелась голова, в ранке дергало и саднило. И хотелось есть. Но как только он подумал про еду, его снова начало тошнить, и он старался о ней больше не думать. Так плохо ему еще никогда не было. Будь ему хоть чуточку лучше, он бы, наверно, заплакал, и стало бы легче, но сейчас он почему-то плакать не мог, и легче не становилось, а только все сильнее и сильнее разгоралась злость. Зачем и за что ему так? Зачем папка поехал в Гроховку, совсем упился и поломал велосипед, и самому ему хоть бы что, а вот он, Юрка, разбился? И зачем мамка послала его в Гроховку? Будто не знала, что отец его не послушается? А ее он слушается? И почему он, Юрка, должен с разбитой головой тащить этот велосипед, хотя это уже не велосипед, а утиль, чинить его не станут, потому что денег нет, и он будет валяться, пока не превратится в ржавый, ни на что не годный

хлам, что валяется у них за оградой. Бросить его, и все, пускай переедет грузовик или подбирает кто хочет...

Но он не бросал, а, сцепив зубы, толкал и толкал велосипед вперед.

У Федора и Нюшки было уже темно, у деда окошко еще светилось, но дверь была заперта. Юрка обогнул дом. Их дверь была распахнута настежь, на крыльцо падал свет лампы. Не успел Юрка прислонить велосипед к крыльцу, как выбежала мать и закричала:

— Где? Где он?

— В Ломовку ушел.

— А ты? Тебя я зачем посылала? — Она увидела разбитый велосипед и закричала еще громче: — Поломал?! Ах ты паршивец!

Не размахиваясь, коротко и резко, она ударила его по правой скуле.

— То ж не я, то папка! — закричал Юрка.

Мать схватила платок и побежала к дороге.

— Гасите свет, ложитесь спать. Сейчас же! — крикнула она из темноты.

Славка, Митька и Ленка стояли на крыльце, испуганно таращились на Юрку.

— Уй, — сказал Славка, — где ты убился?

Юрка вошел в комнату, посмотрел в зеркало. Левый глаз заплыл багровым кровоподтеком, надбровье вздулось бугром, от него через скулу и щеку тянулась засохшая кровяная корка. Юрка не испугался, только его снова затошнило, и он поспешно отвернулся от зеркала.

— Слей, — сказал он Славке.

Славка торопливо подтащил к тазу ведро, зачерпнул кружкой воды. Стоять наклонившись было больно, в ране дергало все сильней и сильней, снова начало мутить, но Юрка перемогался и плескал в лицо водой, пока кровяная корка не отмылась. Глаз заплыл совсем, открыть веки можно было только пальцами. Юрка кое-как обтер лицо.

— Спать будем, ага? — спросил Славка. Он понял, что сейчас Юрка ни о чем не расскажет.

Юрка посмотрел на железную койку, развороченную постель, в которой они спали вместе со Славкой. Напротив стояла кровать папки и мамки. Он отчетливо увидел, как все было уже много раз, как будет и теперь: мамка приведет упирающегося отца и станет укладывать его спать, а он будет хорохориться, обзывать ее всякими словами, а мамка его тоже, он полезет драться, и она

даст ему сдачи, потом они помирятся и лягут вместе спать, а может, и не помирятся, просто папка свалится и захрапит... Юрка скрипнул зубами и пошел к двери.

— Куда ты? — спросил Славка.

— А твое какое дело? — закричал Юрка. — И не ходи за мной, а то как дам!..

Он со злостью захлопнул дверь, постоял на крыльце, пока привыкнут глаза. Свет у деда уже погас, над переправой стояло холодное синеватое зарево, по дороге ползла цепочка спаренных светляков — там шли машины. Под тентом спокойно и ровно горел свет, светилась и оранжевая краюшка палатки. Значит, Юливанна лежит и читает, она всегда читает при электрическом фонарике, а Виталий Сергеевич сидит за столом. Пойти к ним? Начнут спрашивать да расспрашивать, а ему и без того тошно...

Он вышел за ограду к бугру. Жучка попросилась с ним, даже заскулила, но он ее не отвязал. Под ногами глухо брякнули железяки, зашуршал овсюг. Дочка встревоженно фыркнула, вскинула голову, потом опять захрупала свежескошенной травой — дед с вечера обязательно оставлял ей целый ворох. Негромко шумело невидимое в темноте море — затихало под ночным бризом. Стог жарко пахну́л разогретой за день соломой и мышами. Юрка лег и привалился к стогу.

Его разбудили голоса. Во дворе кричали то разом, то по очереди папка и мамка — звали его.

— Фиг я к вам пойду! — зло сказал Юрка.

Заново вспыхнуло все, что случилось вечером, — как мамка зря послала его в Гроховку, как пьян был отец, как разбил велосипед и расшиб его, Юрку, как кувыркался потом в кювете, а он мучился, тащил поломанный велосипед, и как ни за что опять побила его мамка. Голоса уговаривали, требовали и угрожали. Завтра он придет домой и его опять побьют за то, что ушел, не ночевал дома. Но сейчас он не боялся. Его все сильнее охватывала злость за все несправедливые обиды и мученья. Он сжал кулаки и протянул их в темноту, из которой неслись голоса.

— Ух, я вырасту! Ух, я вам покажу!..

Голоса утихли, Юрка опять уснул и проснулся оттого, что его тронули за плечо. Юливанна стояла над ним на коленях, испуганно смотрела на рану, заплывший глаз.

— Боже мой, — сказала Юливанна. — Что случилось?

— Упал, — сказал Юрка и отвернулся. — С велосипеда.

— Хорошенькое «упал»!.. Почему ж ты здесь? Почему тебя не перевязали?

Юрка молчал. Он совсем забыл, что приезжие повесили свой умывальник возле стога и утром не могли не увидеть Юрку.

— Пойдем! — решительно сказала Юливанна. — Можешь встать? Давай я помогу.

— Да ну, — сказал Юрка, — я сам...

Но Юливанна все-таки помогла и повела его к палатке, придерживая за плечи, будто боялась, что он упадет или убежит.

— Виталий, — еще издали окликнула она, — достань, пожалуйста, аптечку.

Виталий Сергеевич оглянулся, брови его удивленно и озабоченно двинулись, но он не сказал ни слова, достал металлическую коробку, в которой лежали бинт, разные коробочки и пузырьки. Юрка сел на складной стул, на котором ему так хотелось раньше посидеть, оказалось, стул как стул, только неустойчивый.

— Сейчас я промою, — сказала Юливанна, — будет щипать, а потом перевяжу.

— Ничего, — сказал Виталий Сергеевич, — он мужчина, вытерпит. А повязки не надо. Ушиб сильный, а ранка небольшая. Заклей лейкопластырем. И ему будет свободнее, и другим не так страшно.

Юливанна намотала на спичку вату и стала промывать, рану начало жечь и щипать. Юрка крепился изо всех сил, но слезы сами по себе потекли по щекам.

— Больно? — встревоженно склонилась к нему Юливанна.

— Не... — внезапно осипшим голосом ответил Юрка.

Разве это больно? Вот когда об столб треснулся, а потом мамка стукнула... Дело совсем не в боли. У Юливанны были такие ласковые, нежные руки, она так осторожно и бережно придерживала его голову, промывала ранку, что Юрке почему-то вдруг стало отчаянно жалко себя, и он впервые за все время заплакал.

Виталий Сергеевич сделал вид, будто ничего не заметил. Юливанна залила ранку едучим, крест-накрест заклеила белой липучей лентой.

— Ну вот, заштопали тебя по всем правилам, — сказал Виталий Сергеевич, — можно падать снова.

Юрка поднялся, уронил стул и едва не упал сам.

— Куда ты? Нет уж, лечиться так лечиться. Садись с нами завтракать.

Юрка отнекивался, но есть хотел, как Жучка, и остался. Юливанна поставила перед ним тарелку. На ней было мясо с кашей. С какой кашей, он так и не понял, потому что мучился с вилкой — с нее все падало, — пока Юливанна не догадалась дать ему ложку. Потом пили очень сладкий и крепкий чай с печеньем. Печенье на зубах хрустело, а потом сразу таяло во рту.

И тут прибежала мамка. Она, наверно, увидела Юрку, а может, увидали и сказали ей ребята. Еще издали она начала корить и стыдить Юрку, какой он бессовестный, надоедает людям, морочит им голову... Юливанна сказала, что он вовсе не надоедает и не морочит, она сама его привела и сделала перевязку, и это такие пустяки, что не стоит и говорить. Мамка тут же подхватила и начала причать, что на такие пустяки никто и внимания не обращает — подумаешь, упал с велосипеда, шишку набил! — зарастет, как на собаке. Она сама на днях мало не отрубила лопатой палец на ноге, и хоть бы что — потому что не набалованная, не неженка... А все-таки большое Юливанне спасибо, что перевязала, сама она просто с ног сбилась, то то, то се, то пятое, то десятое...

Мамка кричала и все время поглядывала испытующе то на Юрку, то на приезжих, стараясь угадать, рассказал он, как все было на самом деле, или нет, говорить ей правду или можно обойти стороной, будто ничего такого особенного и не было. Она чувствовала себя виноватой и не хотела признаваться в этом — и говорила, говорила не останавливаясь. Юрка понимал, что она пытается заговорить зубы, видел, что и приезжие тоже понимают это, ему стало стыдно за нее — зачем она врет и изворачивается, никто ведь ее ни о чем не спрашивал, а она все объясняла и объясняла. Юрка поднялся и хотел уйти, но Виталию Сергеевичу, должно быть, тоже все это надоело, или он увидел и понял, как Юрка мучается, он встал и сказал:

— Вы беседуйте, а нас извините — мы с Юрой пойдем выкупаемся. Ты ведь еще не купался? И я тоже нет...

Юрка был готов бегом бежать, но Виталий Сергеевич не спешил, а как только они обогнули тент, мамка не

выдержала — она никогда ничего не может скрыть — и начала кричать, что ее байбак опять вчера нализался, как босяк, и она ночью бегала в Ломовку искать его, а потом чуть не на себе тащила домой, и теперь он дрыхнет, а она, ночь не спавши, должна идти на работу да еще его выгораживать, деда умасливать, потому что сколько можно терпеть прогульщика, и когда все это кончится, и что это за несчастье на ее голову...

За бугром уже не было тамариска, задул теплый, влажный ветер, скомкал, смял мамкин крик, ровный шум моря стал отчетливее, ближе и громче. Отзвенели на разные голоса телеграфные провода у дороги, и вот оно, море, расступилось, раздвинулось в полмира, подхватило и понесло на ласковой волне, налитой солнцем. Они подсохли на песке, потом сели на глыбу песчаника. Юрка ожидал, что Виталий Сергеевич начнет его расспрашивать, как он упал и расшибся, но Виталий Сергеевич ни о чем не спрашивал. Почти по горизонту шел окрашенный серой краской сторожевик, издали он казался голубым.

— Счастливцы, — сказал Виталий Сергеевич, провожая его взглядом. — До сих пор завидую морякам, с детства мечтал стать моряком, а вот не получилось — глаза подвели, в молодости я был близоруким...

И он начал рассказывать, какая трудная, суровая, а потому мужественная и прекрасная жизнь у моряков, и если б можно было начать жизнь заново, он опять бы, как в детстве, выбрал профессию моряка.

Юрка подумал, что и он бы тоже хотел, только это если и случится, то так не скоро, что и думать не стоило, и он не стал об этом думать, перестал слушать Виталия Сергеевича, думал о том, как он живет сейчас, почему должно быть так, а не иначе, и вдруг совсем невпопад спросил:

— Зачем люди пьют?

Виталий Сергеевич не удивился, хотя Юрка прервал его на полуслове. Он помолчал, потом сказал:

— По разным причинам. Но, в общем, какие бы ни были причины, — от слабости. Одни потому, что избалованы, денег много, могут себе позволить, а удержаться сил нет. Другие потому, что им плохо.

— Так ведь все равно... — сказал Юрка.

— Конечно, лучше не становится. Становится хуже. Сил, здоровья меньше, ума — тем более. Но, видишь ли, зелье это одурманивает, одуряет, и человеку и он сам, и

все окружающее видится не таким, какое оно на самом деле. Трусу кажется, что он герой, уроду и тупице, что он красавец и гений, все беды и несчастья пустяками, море становится по колено...

Юрка исподлобья покосился на него. Откуда он знает? Он же не был вчера в Гроховке...

— Протрезвился пьяный, — продолжал Виталий Сергеевич, — опять то же самое, те же несчастья, те же беды. И человек опять напивается, чтобы забыть о них. И так втягивается, потом уже без этого не может обойтись. Это прилипчиво, как зараза, как неизлечимая болезнь. А попросту — это трусливое бегство. Трусливое и бессмысленное — в бутылку. Из нее-то уж во всяком случае выхода нет. Только один — смерть... Так что ты не приучайся, — помолчав, добавил он. — И не поддавайся, если будут уговаривать. Дружки тут чаще всего ножку подставляют.

— На кой оно мне, — сказал Юрка. — Уйду я от них. Совсем.

— От кого?

— Из дома.

Виталий Сергеевич внимательно посмотрел на него.

— Почему?

— А ну их! — сказал Юрка и отвернулся.

— Обидели тебя?

Юрка не ответил. Виталий Сергеевич расспрашивать не стал.

— Это пустое, — сказал он. — В детстве меня тоже как-то обидели. Теперь уже не помню чем, но тогда казалось — непереносимо. Мне было еще меньше лет, чем тебе. До войны у нас мальчишки убегали в Арктику, во время войны — на фронт. А куда теперь мальчишки бегают? В космос не убежишь... А тогда и об Арктике не знали, и на войну никто не хотел. Бежали не на фронт, а с фронта. О стране своей мы, мальчишки, ничего не знали. Зато много знали про Америку. Про индейцев, золотоискателей, путешественников. Тогда много было таких книг, мы их зачитывали до дыр, играли в индейцев и белых завоевателей. Теперь эти книги не читают. Ты, наверно, тоже не читал?

— Не, — сказал Юрка.

— Ну, естественно. А я читал много и мечтал об Америке. А когда обидели, решил убежать. Надел пальто, буханку хлеба за пазуху и пошел. Обида обидой, а хлеб стащил. Без еды как же? Дорога дальняя: через полови-

ну Сибири до Владивостока, тогда это недели две поездом, а дальше уже просто: зайцем в трюме парохода — и в Америке. Вокзал набит битком. Раненые, беженцы. Гражданская война ведь шла. Ждал-ждал поезда, проголодался. Достал хлеб. А кругом голодные беженцы. Особенно ребятишки. Не просят, а только смотрят. Стыдно мне стало одному есть. Разломал я хлеб и роздал. А без еды куда убежишь? Пошел домой. Отец все понял. «Убегал?» — спрашивает. «Убегал». — «А хлеб где?» — «Беженцам отдал, они голодные». — «Твое счастье, дурак, а то б я тебе всыпал. Люди от беды бегут, а ты от чего? Иди спать!..» А на другой день обида показалась уже не такой страшной, потом и вовсе стерлась. Детское горе, как летний дождь — отшумел, и снова солнце...

— Да, — сказал Юрка, — вам хорошо говорить...

— Ты пойми: бегство — не выход. Бегство — тоже от слабости, малодушия. Ну, трудно тебе сейчас живется, я понимаю. Но ведь не всегда так будет. Ведь даже здесь, на Тарханкуте, посмотри, какое идет строительство. Вон там, — показал он на вышки, — нашли нефть и газ. И вырастет целый город. А полуостров весь перегородят лесозащитными полосами, разобьют сады, виноградники. Почва здесь хороша под виноградники. Воды нет? Найдут и воду, из-под земли достанут. Для кого все это? Для вас, для таких, как ты. Для тебя...

«Так что, папка от этого перестанет пить и ругаться? Или драться с мамкой?» Юрка только подумал это про себя, но промолчал. Спорить он не умел и стеснялся.

5

Виталий Сергеевич оказался прав — на следующий день было совсем по-другому. Шишка стала меньше и не такая твердая, в ранке уже не дергало, а больно было только, когда Юливанна снимала старый и наклеивала новый лейкопластырь. И все происшествие виделось теперь Юрке не таким, как тогда, Юрка о нем с удовольствием всем рассказывал и даже чуточку преувеличивал и привирал: как он перелетел через руль и треснулся головой об столб, а потом как ни в чем не бывало притащил велосипед, и ему эта шишка — хоть бы что. О том, как было ему плохо и тяжело, почему-то не вспоминалось, а вспоминалось то, что возвышало и делало его героем в глазах Славки и Сашки-Лизунчика. Сенька-Ан-

гел вызвался к деду одолжить солидолу, посмотрел велосипед, сказал, что лопнула передняя вилка, но в кузнице ему по знакомству заварят, будет крепче, чем новая, а колесо, конечно, надо сменить; если б было заднее, с тормозом, тогда труднее, а переднее — пара пустяков, даже у него, кажется, где-то валяется...

Опухоль опала, глаз начал открываться, синяк стал разноцветным, все больше желтел, рассасывался, а через несколько дней Юливанна сказала, что ранка зарубцевалась, пластырь можно снять, от солнца и морской воды все еще быстрее рассосется. Юрка не возражал бы и еще поносить белую заплату из лейкопластыря, чтобы все видели, как он пострадал и геройски терпел, но Юливанна наклейку сняла и выбросила.

И все пошло по-старому. С той только разницей, что Юрка еще больше привязался к приезжим. Если б можно было, он бы ходил за ними по пятам, как Жучка за ним, когда ее отвязывали. Вот только стесняться он стал еще больше. С Виталием Сергеевичем он еще мог разговаривать, а с Юливанной — никак. Юрка готов был сделать для нее что угодно — и любую работу, и побежать, и принести, и вообще расшибиться в лепешку, но Юливанна вовсе не хотела, чтобы он для нее работал или расшибался, а когда она к нему обращалась, он окончательно и бесповоротно немел и только улыбался. Юрка сам чувствовал, как большой рот его растягивается до ушей, никакими силами не мог согнать улыбку и выдавить из себя хотя бы слово. И Юливанна перестала к нему обращаться. Здоровалась, и все. А он все улыбался и ждал, когда она его куда-нибудь пошлет или скажет, что́ нужно сделать. Она не посылала и ничего не говорила.

Оказалось, Виталий Сергеевич тоже умеет рисовать, только так здорово, что куда там папке с его гусями и тетями. Однажды перед вечером они пошли купаться, и Виталий Сергеевич взял с собой портфель. Они выкупались, потом Виталий Сергеевич сел на камень, достал лист толстой бумаги и начал чиркать по нему карандашом. Чиркал он как попало, только вдруг из всех беспорядочных черточек и штрихов начал проступать заросший тамариском бугор, и обрушенные окопы вокруг, и тент, и черепичная крыша их дома. И все это было как живое, похожее и как будто чуточку непохожее. Юрка сидел сбоку, встал, чтобы обойти сзади, посмотреть с другой стороны, и озадаченно открыл рот. На рисунке

исчезли рытвины окопов, кусты тамариска — на него смотрели и весело смеялись глаза Юливанны. Юрка сделал два шага вперед — снова появились кусты и окопы, отступил — опять смотрели на него смеющиеся глаза.

— Ух ты! — сказал Юрка. — Как же это?

Виталий Сергеевич не услышал, продолжал чиркать карандашом и негромко пел:

Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая...

Юливанна засмеялась и сказала:

— Слышу, слышу! И уже иду готовить ужин...

Но тут она увидела рисунок и стала, как Юрка, то подходить ближе, то отступать и, наконец, сказала:

— Ой, это просто прелесть! Так мило, что и не знаю... — Глаза у нее сейчас смеялись так же радостно, как на рисунке. — А как это называется?

Виталий Сергеевич, улыбаясь, протянул ей рисунок.

— Счастье!

— Да, счастье... — Юливанна взяла рисунок, посмотрела на бугор. — Я повешу его под тентом, чтобы видеть каждую минуту... — Голос ее вдруг надломился и как-то странно зазвенел. — И помнить, какое оно короткое. Кущее.

— Юля! — с упреком сказал Виталий Сергеевич.

— Ты хочешь только одного: чтобы я об этом не говорила. Хорошо, не буду... Бедный мой страус! Ты все еще надеешься, что все само собой уладится, образуется. Ничто не делается само собой...

Почему-то у обоих испортилось настроение, и они молча пошли домой, но потом Юливанна развеселилась снова, картинку прикрепили к картонке и повесили под тентом. Юливанна начала готовить ужин, а Виталий Сергеевич, не дожидаясь ужина, достал бутылку с коньяком и выпил, потом еще и еще. Юливанна не сердилась и не кричала, только озабоченно на него посматривала. Виталий Сергеевич совсем не упился и не стал ругаться, а становился все молчаливее и задумчивее. Они собрались ужинать, и Юрка ушел домой.

Юрка несколько дней ломал голову и никак не мог придумать, что бы такое сделать, чтобы им было хорошо и они обрадовались. А потом вспомнил, как однажды Юливанна, смеясь, пожаловалась:

— Что это такое — живем у самого моря, а рыбу едим только из консервной банки!

— «Жил старик со старухой у самого синего моря...» — сказал Виталий Сергеевич.

— Ну уж, пожалуйста! Я совсем не старуха, и ты не старик. И мне не нужна золотая рыбка. Обыкновенная. Хоть такусенькая. Чтобы можно было зажарить и съесть.

Виталий Сергеевич ездил с дедом и папкой в Окуневку (у папки там знакомые рыбаки). Юрку они тоже взяли с собой. Съездили зря. Фелюги ходили впустую, кефаль ушла от берегов, и рыбаки «загорали» в бараке: кто читал, а кто играл в карты. На каравы* даже не поднимались — при свежей волне кефаль к берегу не подойдет.

Теперь Юрка вспомнил об этом разговоре, и они со Славкой решили сделать Юливанне и Виталию Сергеевичу подарок — наловить кошелку рыбы, ну, хоть не целую кошелку, половину, прийти и сказать: «Вы хотели рыбки. Вот!»

И тут как раз так совпало, что папка собрался ехать в город к своей матери, а их, ребят, бабушке, мамка побоялась отпускать его одного, чтобы он там не напился и чего-нибудь не натворил, они поехали вместе и взяли с собой Ленку, так что ребята остались одни, сами себе хозяева — иди куда хочешь, делай что хочешь. Никто не заругает и не скажет: «Ты бы лучше...»

Подушка попала Юрке в затылок. Набита она не пухом, а перьями, перья давно свалялись в тугой тяжелый ком, и если ею стукнуть по носу, не обрадуешься. Но подушка стукнула по затылку, не очень больно, и Юрка притворился, будто он даже не проснулся, потому что это была артподготовка, за ней всегда следовала атака. И сейчас же Славка закричал:

— Вперед! За Родину!

Они навалились на Юрку оба сразу — Славка на плечи, Митька на ноги. Юрка изогнулся дугой, стряхнул Славку и подмял под себя, потом подтянул Митьку и прижал его тоже.

— Хенде хох! — закричал он, как, по рассказам отца, кричали немцы.

Юрка легко побеждал, когда они играли. Вот если Славка озлится, побелеет, весь затрясется и, как слепой,

* Вышки, с которых наблюдают за ходом рыбы.

кидается в драку, тогда хуже. Но дрались они редко, очень редко. Почти никогда. А про Митьку, что и говорить, — ему всего шесть лет, к тому же он проснулся сейчас только наполовину, и если его оставить, он тут же заснет.

Так начиналось каждое утро — кто первый просыпался, тот шел в атаку. Но сегодня баловаться было некогда — на скалу надо поспеть до восхода. Славка взял клеенчатую сумку, а Юрка толкнул Митьку на топчан, накрыл с головой одеялом и достал приготовленные с вечера вилы. Между зубьями вил в несколько рядов натянута проволока, чтобы вернее поддевать и чтобы крабам было во что вцепляться. Кроме рыбы, Юрка решил наловить и крабов. Виталий Сергеевич сказал, что в Черном море съедобных крабов нет, есть только на Дальнем Востоке. Но они же ели! И сколько раз... Вот он и докажет.

Бугор они обогнули стороной. Может, там еще спали, а может, Виталий Сергеевич уже сидел за столом, увидел бы их и спросил, куда они собрались в такую рань, они бы, конечно, проговорились, а что это за подарок, если про него знают заранее.

Межа между огородом и ячменным клином упиралась в проселок. По нему никто не ездил — да и кому тут ездить? — но его перепахали. Зачем — неизвестно. Сенька-Ангел и перепахивал, а когда его спросили, что он делает, сердито сказал:

— Козла дою...

Может, перепахивали, чтобы к кукурузе не ходили? Но все равно кукурузное поле одной стороной выходит на шоссе, да и кукурузы там совсем не видно за бурьяном, который поднялся Юрке выше пояса. Ее который год уже сеют, и она каждый раз пропадает. Потому что нет воды. Солнце жжет, а дождей летом не бывает. Бурьян и тот через какую неделю высохнет, останутся торчать одни желтые будылья.

По проселку много ближе, но там скирцы и по вздыбленным лемехами пластам трудно идти, и они свернули прямиком к морю. Сейчас же за дорогой песчаная полоса, поросшая редкими пучками жесткой колючей осоки, а потом голый песок, выглаженный волнами.

Но сначала они подошли к своему гнезду. Гнездо — морского куличка, но они его нашли и считали своим. Каждый раз, проходя, они проверяли, сколько там яичек и вылупились ли птенцы. Вчера яичек было пять, а сегодня уже только два и три птенчика. Малюсенькие, жалкие. Без перьев, только чуть покрытые редким пухом. И головастые. У них были даже не головы, а просто большущие разинутые рты с глазами... Они задирали разинутые рты кверху и пищали.

— Давай их покормим, — сказал Славка.

— Чем, хлебом? Это же не куры...

— Мух наловим, червяков...

— Потом...

Куличок метался в нескольких шагах и пронзительно кричал, а как только они двинулись, припал к земле и побежал перед ними, тряся хвостиком, трепеща крылышками и всячески показывая, что он изнемог и догнать его ничего не стоит. Хорошо бы притвориться, что они за ним охотятся и что куличок их обманул, а потом опять подойти к гнезду, но они решили прийти потом и поиграть с куличком. По мокрому песку легко идти, он твердый, как пол. Только и всего, что слабый отпечаток сандалий сейчас же заливает водой. Море у берега остекленело — не шелохнется, не плеснет. В погожие дни перед восходом всегда так: береговой бриз уже затих, а морской еще не поднялся. Юрка оглянулся на бугор, окутанный розовым дымом цветущего тамариска, и увидел, что сзади плетется Митька.

— Ты куда?

Митька вскинул свои белые ресницы и ничего не ответил. Он никогда не отвечает сразу.

— Ты куда идешь?

— Надо, — помолчав, ответил Митька.

— Мы тебя с собой не берем!

— И не надо, — снова помолчав, сказал Митька. — Я сам.

— Иди домой, ты же синий, как пуп! — крикнул Славка.

Митька не ответил и шел дальше. Перед восходом солнца свежо, а он босиком и без кепки. И куртки у него никакой нет: он еще мал, в школу не ходит, и ему не покупают. Как только весной перестают дожди и подсыхает во дворе грязь, он сбрасывает старые Славкины башмаки, кепку, ходит босиком и простоволосый. Его ругают, дают взбучку, не пускают во двор. Митька сидит дома и ревет. Рев быстро всем надоедает, и его выпускают. Поэтому ресницы у него и коротко остриженные волосы уже в апреле выгорают так, что становятся белыми. И так он ходит до поздней осени, пока земля не лубенеет от заморозков.

И сейчас на Митьке только штаны и рубашка, ему холодно. Кожа стала пупырчатой, губы посинели, он ежился, старался поглубже засунуть кулаки в карманы и упрямо плелся следом.

За глинистым обрывом море небольшой дугой вдавалось в берег. Юрка заметил у края этой дуги что-то непонятное и припустил бегом.

Полузасыпанное песком, кверху беловатым брюхом лежало большое, длинное тело. Издалека стала видна голова с оскаленной зубастой пастью, похожая на огромный птичий клюв.

— Кит? — закричал Славка.

— Фиг! Папка говорил, у нас китов нет.

— Тогда акула! Только зачем она на берег вылезла?

— Ее волнами выкинуло.

Они сели на корточки и заглянули в пасть. Челюсти опоясаны редкими острыми зубами. Юрка поднес руку к пасти. Не очень близко, но чтобы видно было.

— Это не акула. Акула полчеловека сразу откусить может, а эта что? Ну, руку откусит...

— И ногу, — сказал Митька. Он уже уселся на корточки за их спинами и, сопя, рассматривал чудище.

— Твою, чтобы за нами не таскался... Папке бы показать — он всех рыб знает.

Нужно было уходить, но они не могли оторваться от находки.

— А я знаю, кто это, — сказал Юрка, — я вспомнил. Дельфин называется. Мы когда в Поповке жили, там тоже на берег выбросило. Колхозники его забрали и увезли. У него жир здорово лечебный.

— Ага, я помню, — сказал Славка.

— Чего ты там помнишь? Ты ж тогда мало́й был.

— Все равно помню! — упрямо сказал Славка. Ноздри у него раздулись, побелели и начали дрожать. Значит, начал злиться. Он всегда злится, когда что-нибудь соврет или выдумает, а ему не верят. Он тогда и на драку скор. Юрка не хотел заводиться и отмахнулся.

Дальше снова выступал мысок, за ним море опять дугой вдавалось в берег, только дуга здесь была положе и длиннее. Вот здесь они всегда на берег и вылезали. Только сегодня почему-то на песке не было ни одного. Следов про́пасть, а крабов нет.

— Есть! — закричал Славка. — Вон в воде, совсем близенько...

Юрка шикнул на него, но было уже поздно. Здоровенный краб боком-боком уполз с мелководья на глубину. Дальше они шли, стараясь не шлепать сандалиями по песку и не разговаривая, а если кто замечал краба, кричали друг другу шепотом и показывали пальцами. Но крабы не дураки. Они или видели издалека, или слышали и, как только ребята приближались, отползали поглубже.

Наконец, у самого озера Юрка заметил краба и поддел его вилами. Краб так яростно вцепился клешнями в зубья вил, что и не отодрать.

— Это ж кошкодым, — сказал Славка, — его есть нельзя.

— Пускай, раз он первый. Для почину.

Краб разжал клешни и шлепнулся в подставленную сумку. Потом они поймали настоящего, за ним сразу трех.

Митька все время плелся сзади, а теперь вдруг припустил бегом. Убежав далеко вперед, он приостановился, опустился на корточки, потом зачем-то даже стал на четвереньки.

— Ты чего бегал? — закричал ему Славка. — Всех крабов распугал.

— Их не было, — сказал Митька. — Один только.

— А чего ты тут делал?

Митька не ответил. Заставить Митьку говорить нельзя. Если не хочет — хоть убей, ничего не скажет.

В тихую погоду, если не знать места, ни за что не скажешь, что здесь есть скала. Потому что она не на берегу, а под водой. Берег здесь такой же прямолинейный и песчаный, ни единого камешка. Но в десяти шагах от него под водой лежит каменная плита. Большая и гладкая, как стол. Так ее выгладило и отшлифовало море. В волну не то что на ней устоять — не подойдешь. А когда море спокойно, стой сколько хочешь. Вокруг много таких же плоских камней, только поменьше. И здесь всегда здорово клюют бычки. Они такие жадные — хватают что ни попадя.

Славка разгреб мокрый песок, набрал червей. Юрка закатал штаны и взобрался на скалу — вода там не достает и до колен. Но сегодня им не везло и здесь. Попались три маленьких бычка, и на этом клев кончился. Поздно пришли — солнце уже выкатилось из-за бугра, скрывающего Донгузлав.

Но Юрка все стоял и стоял, менял наживку, снова и снова закидывал леску. И ругал себя за то, что маруди-

лись по дороге — то с дельфином, то с крабами. Вода утром кажется теплой, выкупаться разок-другой хорошо, а простоять в ней битый час — заклякнешь. Губы у Юрки начало сводить, кожа стала пупырчатой, тело прохватывала дрожь.

— А ну его! — сказал Юрка и зашленал к берегу.

Они собрали свое имущество и только тогда хватились Митьки. Он забрался в уступ невысокого берега и сидя спал.

— Давай его там оставим? — сказал Славка.

— Реветь будет.

Юрка толкнул братишку, тот открыл свои «ставни» — пушистые выгоревшие ресницы, поднялся, а веки снова закрыл. Так он и пошел с полузакрытыми глазами — так идти оказалось куда интереснее. Смотреть прямо — солнце слепило глаза, а если почти совсем зажмуриться, оставить только маленькие щелочки, чтобы не спотыкаться, оно било в глаза розовым светом, в котором плавали радужные круги. Славка тоже попробовал так идти, за ним Юрка. Они заспорили, что могут идти совсем зажмурившись, и начали наперебой друг другу «доказывать», но Славку тотчас занесло в море, а Юрку в рыхлый песок. Потом Юрка сказал, что он может идти не только зажмурившись, но и спиной вперед, и все начали пробовать, падать и дурачиться, снова стало тепло и весело, и плохо было только, что с подарком ничего не получилось. Такой улов лучше никому не показывать, и они прошли к дому напрямик, через кукурузное поле, а трех бычков решили зажарить и съесть, по штучке на брата.

Славка оставил сумку у крыльца, и кот Максимовны спер самого большого бычка. Славка погнался за ним и даже попал в него камнем, кот утробно вякнул, однако рыбу не выпустил. А тут вышла Максимовна и закричала на Славку, так бычок и пропал. Остальные были такие маленькие, что не стоило возиться, их отдали Жучке. Та уже давно бегала по ограде, гремела цепью и вертела хвостом — хотела есть. Есть хотели и они. В шкафчике был только хлеб — мамка сказала, что она утром вернется, и ничего не приготовила. Они взяли по куску хлеба и сахара, и в это время Митька закричал со двора:

— Уже! Едут! Уже!

Они выбежали за ворота. Отсюда переправа не видна, лишь еле различимо синеют решетчатые хоботы кранов, но теперь недалеко от них поднялись вверх косые столбики беловатой пыли. Значит, по дороге шли машины, переправа заработала. Столбики росли, распухали, превращались в столбы, широкие хвосты, и вот уже перед ними стали видны маленькие черные букашки — машины. Они становились все больше, и казалось, что, приближаясь, они едут все быстрее. С грохотом пролетел первый самосвал, за ним, подпрыгивая, порожняком промчалась бортовая, опять самосвал, длинные, с прицепами, тяжеловозы... Рыча моторами, гремя, подпрыгивая и дребезжа, воняя бензином и соляркой, машины неслись мимо них. Здесь дорога становилась безопаснее — уже не было сбоку прибрежного лиманного болота, влево можно было съехать на грунтовку, и машины то и дело обгоняли друг друга, рявкали сигналами, подгоняя тихоходов, и нельзя было понять, то ли они догоняют что-то и никак не могут догнать, то ли убегают от чего-то и боятся, что убежать не смогут. Все скорее и скорее, и все мимо, мимо...

Показался бело-голубой автобус. Юрка ездил в таком. Внутри там здорово красиво, все железки блестят, а сиденья мягкие — как ни подбрасывает, все равно не больно. Лучше всего садиться спереди — там хорошо смотреть вперед и на водителя, как он в стеклянной будке крутит свою здоровенную баранку, или сзади — там сильнее всего подкидывает...

Автобус миновал поворот, на прямой начал набирать скорость. Ребята подбежали к обочине, но автобус даже не замедлил ход, обдал их пылью, брызнул из-под колес мелкими камешками и пролетел мимо. Значит, мамки и папки там не было. Следующий автобус пройдет только в час.

Они пошли домой, варить крабов. Крабы еще шевелились, но как только их бросили в кипяток, сразу перестали шевелиться и из буро-зеленых сделались бело-красными. Они оказались невкусными — Славка забыл посолить воду. И вообще еды там с гулькин нос — одни клешни. Папка говорил, что у раков есть хвост и в нем много белого мяса, у крабов же нет никакого хвоста, а много ли выдавишь из клешней и лапок. Да еще попробуй их разгрызть — твердые, как железо...

Жучка все так же бегала по ограде и гремела цепью — хотела есть. Славка бросил ей кусок хлеба, она поймала на лету и проглотила, не жуя. Дай ей, она и целую буханку съест. А что они будут есть, если мамка не приедет? Юрка наболтал ячменной дерти с водой. Жучка съела все, вылизала миску и спряталась в свою будку

из ракушечника — солнце уже здорово припекало, а у Жучки черная мохнатая шуба.

Делать было больше нечего, но тут Митька одним словом напомнил:

— Тарантулы!

Вокруг палатки на бугре было много норок тарантулов, Юливанна тарантулов никогда не видела, но очень их боялась, и ребята обещали всех выловить. Юрка вылепил из смолы тоненькую колбаску, прилепил к ней нитку, и они пошли к палатке. Юливанна уже встала и готовила завтрак. Виталий Сергеевич сразу догадался, зачем они пришли.

— А, — сказал он, — истребители тарантулов? Ну, давайте, давайте, посмотрим, как это делается.

Они присели на корточках над ближайшей норкой. Большая и гладкая, она уходила вертикально вниз, будто кто вбил в землю круглую палку, а потом вытащил.

— Он там сидит и ждет, как кто сверху упадет, он сразу цап-царап — и съест, — сказал Славка.

Юрка спустил в нору смоляную колбаску на ниточке и начал слегка подергивать, потом рванул вверх. На колбаске никого не было. Юрка понюхал ее и скривился.

— Есть! Я почуял, как он ухватил, и вот — воняет.

Все, и Виталий Сергеевич тоже, понюхали, как воняет смола тарантулом.

— Юливанна, — сказал Юрка, — хочете понюхать, как тарантул пахнет?

— Юра! — укоризненно сказала Юливанна. — Ну зачем мне нюхать эту гадость?

Юрка улыбнулся и не сумел ничего сказать. Он ведь думал, что ей тоже интересно понюхать. Он поплевал на смолу, — так полагалось, — снова опустил ее в норку, подергал и вдруг выхватил вместе с тарантулом. Он был буро-желтый, мохнатый и здоровенный, больше пятака. Паук отпустил смолу, упал на землю, но сейчас же приподнялся на задних лапках и задрал вверх передние.

— Смотри, сейчас бросится! — закричал Славка, все отпрянули.

Юрка наступил на тарантула сандалией и раздавил. Разнеслась резкая вонь.

— Н-да, малоприятное создание, — сказал Виталий Сергеевич, — хотя даже он, наверно, нравился своей маме.

Они поймали еще четверых и забили их норы, долго и безуспешно пытались выманить из норы пятого, но тот

был хитрый — за смолу хватался, но сейчас же выпускал, как только ее тянули верх.

— Хватит, Виталий, — сказала Юливанна, — иди завтракать.

— Давай уж и храбрых охотников покормим.

— Не, мы не хотим, — сказал Юрка, — мы уже ели. Пошли, ребята.

Тогда Митька, который все время из-под опущенных век наблюдал за охотой, открыл глаза и сказал:

— Они совсем не храпят.

— Кто?

— Крабы.

Все засмеялись. Вчера Митька что-то спросил у Виталия Сергеевича, а тот сказал, что он все узнает, когда услышит, как крабы храпят. Юрка и Славка поняли, что Виталий Сергеевич сказал это в шутку — потому что как же могут крабы храпеть? — а Митька поверил.

— А ты слушал? — спросил Виталий Сергеевич.

— Ага, сегодня. А еще мы нашли дельфина. Дохлого.

— Ой, дядя Витя, — сказал Юрка, — я совсем забыл... Вам нужно лекарство? У дельфинов жир такой лечебный — все вылечивает. Дядьки из Поповки его перетопили, а когда кто болел — мазали. Он всех вылечивает. И овец, и коров. Пойдемте наберем того жира? — И он заулыбался во весь рот, заранее радуясь тому, что они сделают такое хорошее дело.

— Ну зачем мне это лекарство?

— Так вы же говорили, Юливанна больная... Может, и ее вылечит?

— Юра! — сказала Юливанна. — Ты все-таки думай, что говоришь. Я же не овца и не корова...

Славка осклабился, но сейчас же перестал улыбаться, потому что Юливанна рассердилась, а дядя Витя молчал, значит, он тоже был недоволен, и вообще получилось нехорошо.

И Юрка знал, что получилось очень нехорошо, даже совсем очень плохо, но ведь он ничего плохого не думал и не хотел, а хотел, чтобы было хорошо. И он опять не знал, что сказать, постоял, потом повернулся и пошел домой, а Славка и Митька пошли следом.

Славка попробовал дразнить его «коровьим доктором», получил по затылку, и они едва не разодрались, но Юрка драться не стал. Он не находил себе места от не-

ловкости, не знал, как ее загладить, и вдруг вспомнил: он же оставил самого большого вареного краба! Он пойдет, угостит их, и они перестанут на него обижаться. Юрка схватил краба и побежал к кустам тамариска.

Сожженная солнцем трава по краям бугра уже высохла, но под кустами, хотя и жиденькая, была тень, трава осталась зеленой и глушила шаги. Юливанна и Виталий Сергеевич сидели к нему спиной и не слышали, как Юрка подошел. Ему осталось три шага до стола, когда Юливанна сказала:

— Тебе еще не надоела твоя команда?

— Нисколько, славные ребята, — сказал Виталий Сергеевич.

— Не знаю. Малыш еще забавен, а этот Юрка... По-моему, он просто кретин. Одна эта вечная улыбка чего стоит... Впрочем, чего и ждать при такой наследственности. Отец алкоголик...

Она повернула голову, увидела Юрку и вспыхнула.

— Подслушивать гадко! И стыдно!

Виталий Сергеевич тоже оглянулся, увидел Юрку и начал медленно краснеть. Он всегда прятался от солнца, не загорел, поэтому отчетливо было видно, как покраснели у него и щеки, и виски, и уши.

Представляя, как они удивятся и обрадуются крабу, Юрка загодя начал улыбаться, и теперь он продолжал улыбаться, смотрел на краснеющего Виталия Сергеевича и чувствовал, что сам он тоже начал краснеть.

— Ты что, Юра? — стесненным голосом спросил Виталий Сергеевич.

— Вот, — сказал Юрка и протянул красного краба.

Они оба были красны, как этот краб, а хуже всего было то, что Юрка понимал, что улыбаться глупо, нечему, но ничего не мог с собой поделать и продолжал улыбаться.

— А, угощение... Спасибо.

Юрка повернулся и с ощущением, будто спина и ноги у него стали деревянными, чужими, пошел обратно.

За его спиной Виталий Сергеевич сказал:

— Зачем же так, Юля!

— Я ведь не нарочно... И вообще он ничего не понял...

— Он все понял.

Юрка понял не все. Он не знал слова, которым назвала его Юливанна, но понял, что оно должно быть очень обидным, если Виталий Сергеевич так растерялся и даже покраснел.

«Ну и ладно, ну и фиг с ними, — сказал сам себе Юрка, — нужны они мне...»

Он думал, что стоит это сказать, как все забудется и пойдет по-старому. Так бывало много раз, и в школе, и дома. Но сейчас не получилось. Он старался не думать о том, что произошло, но чем больше старался, тем неотступнее думалось, и за что бы он ни брался, что бы ни затевал, все время он ощущал саднящее чувство неловкости и неприятности, скованности этой неприятностью. Лучше б уж она накричала или выругала. Какими угодно словами. Юрку ругали часто и много. В школе учительница, дома то мамка, то папка, то Максимовна, то дед, Тимофей Архипович... Нет, дед добрый, он никого не ругал. Скажет только: «Чего ж это ты делаешь, а?» — и всё. А если б и ругал, так что? На ругань Юрке наплевать, он привык. От ругани не полиняешь и кусок не отвалится...

Неловкость и скованность стали невыносимыми. Ему казалось, что не только руки и ноги у него сделались не те, что были, а весь он стал совсем не такой, как был, и ничего теперь не сможет сделать, даже то, что запросто делал раньше. И он начал выдумывать, что бы такое сделать, чтобы доказать, заспорил со Славкой, что влезет на крышу сарая и пройдет по гребешку. Славке стало «слабо», он струсил, а Юрка влез. Крыша двускатная черепичная. Босиком по ней еще пройти можно, но Юркой овладели злость и отчаянность. «Босиком не штука, — сказал он, — я пройду в сандалиях». Он влез и испугался — высоко, и сандалии оскальзывались, но он стал во весь рост и пошел. Он дошел почти до конца конька, но оскользнулся, упал на скат и покатился вниз. Под стеной сарая лежала куча навоза, он не сильно ушибся, только весь исцарапался и изгваздался в навозе, от этого стал еще злее и отчаяннее. Было бы с кем, он бы сейчас подрался, но драться было не с кем. Не бить же Славку или Митьку, если они ни в чем не виноваты.

И тут с ревом прибежал Митька. Он задыхался в слезах и соплях. Дед шел от колодца, наткнулся на «их» гнездо, забрал птенцов и бросил своему коту, и кот жрет...

Юрка схватил камень, побежал во двор. Кот уже всех сожрал, сидел на солнце и облизывался. Дед стоял тут же и закуривал.

— Ты зачем птенцов кошке? — закричал Юрка.

— А что, кошке тоже исть надо, — сказал дед, ласково щурясь.

— Птенцов, да?

— А чего их жалеть? Их много.

Юрка изо всех сил запустил камень в кота, но промахнулся.

— Ты чего? Ты чего делаешь? — закричал дед.

— А ты чего? Ух, вы!

Юрка схватил камень. Еще немного, и он пульнул бы камень в деда, в его доброе морщинистое лицо... Но он не пульнул, выбежал за ворота, запустил камнем в верстовой столб, на котором висела жестянка с цифрой 40. Жестянка согнулась. Он подобрал другой камень, потом еще и еще, и бил по ней, пока она не изогнулась вокруг столба и не стала рябой, как побитая оспой.

Он оглянулся по сторонам, ища, что бы еще разбить, поломать, уничтожить, но перед ним была только крашенная известкой стена ограды и такая же белая глухая, без окон, стена дома, пыльная, в выбоинах известняковая дорога, а над головой ноющие от ветра телеграфные провода. Юрка запустил камнем в изолятор, попал, но изолятор не разбился, он поднял другой, тут из ворот вышел дед, закричал на него, и Юрка побежал прочь от верстового столба, от дома, к Донгузлаву.

Над лиманом — зной и тишина. И мухи. Кусачие лиманские мухи. Не успел Юрка сесть на берегу, они накинулись на него, как по команде. Они кусались через рубаху, даже через штаны, через дырочки в сандалиях. Юрка ожесточенно хлопал ладонями то по одному, то по другому месту, и без всякого толку — мухи успевали взлететь. Юрка с удивлением подумал, откуда их тут такая пропасть и чем они живут, если они кровососы, питаются кровью, а тут, на лимане, ни скота, ни людей, одни утки на птичнике, но уток же они укусить не могут?.. Юрка посмотрел в сторону птичника, увидел, что к нему подъехала бортовая машина и почему-то там много людей. Отмахиваясь от назойливых мух, Юрка пошел туда. Посмотреть.

Утки все были загнаны в птичник и маленький загончик. Птичницы хватали их, запихивали в решетчатые ящики, грузили ящики на машину. Утки орали, будто их

режут, птичницы ругались. В узкой полоске тени от птичника сидел Сенька-Ангел, отмахивался от мух. Юрка подошел к нему.

— Здорово!

— А, солдат? Привет.

— Чего это тут?

— Уток эвакуируем. На вторую ферму.

— Так... там же воды нет!

— Зато есть завфермой. Он для уток важнее...

— А ну тебя, ты все смеешься.

— Какие тут смешки?

Здоровенный селезень вырвался у птичницы, истошно крякнул, взлетел, но слабые крылья не удержали грузное тело, он плюхнулся на землю. Юрка метнулся к нему и поймал.

— Вот молодец! — сказала птичница. — Подсобляй давай.

И Юрка начал помогать — ловил орущих уток, носил к птичнице, которая запихивала их в ящик. Когда весь кузов был уставлен ящиками, Сенька-Ангел сказал:

— Ну, садись, прокатимся — заработал.

Юрка взобрался в кабину и сел с ним рядом. Здесь он чувствовал себя по-свойски, свободнее, чем в «Волге», но все-таки куда «газону» до «Волги» — так поддает и встряхивает, что будь здоров...

«Газон» осторожно въехал на шоссе, и тут же сзади на него загудели — от переправы шла вереница машин. Сенька-Ангел до предела отвернул «газон» вправо, но на него все рявкали и рявкали сзади сигналы, машины обгоняли его, обдавали пылью и рявкали снова, обгоняя идущую впереди.

— И чего они так гонят? — спросил Юрка.

— Рубль догоняют, — сказал Сенька-Ангел.

Юрка удивленно посмотрел на него.

— Ну, план, тонно-километры... В общем, что потопаешь, то полопаешь. Вот и жмут на всю железку.

Сенька сказал это с такой горечью, и это было так непохоже на всегда посмеивающегося Сеньку, что Юрка снова удивленно на него посмотрел, но Сенька больше ничего не сказал.

На второй ферме ящики с утками сгрузили, поехали обратно. К птичнику Юрка больше не поехал — захотел есть и слез возле дома. Славка и Митька тоже хотели есть и уже жевали всухомятку хлеб. Шел первый час, и они опять вышли на дорогу встречать мамку и папку. Ав-

тобус на этот раз остановился, но вышла из него только тетка с тлумаками* и пошла по изволоку в ту сторону, где жил колхозный чабан. Туда еще километра три ходу.

Славка совсем раскис, а Митька каждую минуту мог зареветь. Юрка снова отрезал по куску хлеба и каждому выдал по два куска сахара. Они съели хлеб и запили водой, но почему-то есть все равно хотелось. И тут вдруг пришел Виталий Сергеевич. Раньше он никогда к ним в комнату не приходил, сколько папка его ни звал, а тут пришел, огляделся и сел на стул.

— Как жизнь, граждане? — спросил он.

Юрка сидел в углу на своей койке. Он уже забыл обо всем, что было утром, но теперь сразу все вспомнил и сидел, глядя на него исподлобья.

— Нормально, — сказал Славка.

— А что вы сегодня ели? — спросил Виталий Сергеевич.

Славка пожал плечами, посмотрел на Юрку, тот не шевельнулся.

— Хлеб. — Славка подумал и добавил: — С сахаром.

— А не маловато? Может, пойдем к нам и пообедаем?

— Чего это мы пойдем? — сказал Юрка. — Мы и сами...

— Что сами?

Юрка не ответил. Он не знал, что ответить. Он просто не хотел туда идти. Ни за что.

— Понятно, — сказал Виталий Сергеевич. — Без женщин? Тогда принимайте и меня в свою мужскую компанию. Не возражаете?

Славка улыбался, Митька хлопал «ставнями», а Юрка молчал.

— Поскольку мы здесь одни сплошные мужчины, может, сварим «солдатский супчик»?

— А чего это, «солдатский супчик»? — спросил Славка.

— Знаменитый харч! Варится из всего, что есть в доме... Один солдат даже ухитрился сварить суп из топора. Но мы из топора варить не будем...

Митька вдруг захохотал, а Юрка спросил:

— Вы разве были на войне?

— Нет, — сказал Виталий Сергеевич. — На войне я не был. Просто один знакомый солдат меня научил... Ну так как, будем варить «солдатский супчик»?

* Мешки, узлы.

— А из чего? — спросил Славка.

— Картошка есть? Хорошо. А морковь? Отлично. А лук? Великолепно. А самое главное — соль? Превосходно. И какая-нибудь крупа? Пшено? Лучше нельзя придумать! Но, дорогие граждане, все это надо мыть и чистить. Займемся?

И они занялись. Юрка сначала не хотел, но потом подумал, что они же не для кого-нибудь, а для себя, почему они должны сидеть голодные? Славка мыл крупу и чистил картошку, Митька начал чистить лук и заплакал — лук ел глаза, тогда Виталий Сергеевич очистил и нарезал его сам, а Юрка долил керосина в примус и зажег. Это уже в сарае, где летом мамка всегда готовила. Там грязно и копотно, но они все уселись, на чем пришлось, и смотрели, как загорелся примус, и вода в высокой алюминиевой кастрюле начала закипать, и говорили про разные разности. Говорили только они — Славка, Митька и Виталий Сергеевич, а Юрка молчал. Потом Виталий Сергеевич достал из своего вздувшегося кармана жестяную банку, открыл ее и вывалил в кастрюлю. Из кастрюли сразу так запахло, что у всех потекли слюни. Когда все сварилось, они кинулись к мискам, но миски оказались грязными. Они их вымыли, даже продрали песком, и Виталий Сергеевич разлил по мискам «солдатский супчик». Такого они еще не ели... Каждый съел полную до краев миску, а потом через силу еще по половинке.

— Ну как? — спросил Виталий Сергеевич.

— Во! — сказал Славка и показал большой палец.

— Если так, берите посуду и надрайте ее до зеркального блеска.

Славка и Митька собрали миски, ложки и ушли мыть.

Тогда Юрка, все так же глядя исподлобья, спросил:

— А кто это — кратын?

— Кретин?

У Виталия Сергеевича снова покраснели кончики ушей, он ожесточенно потер себе подбородок, наклонился к Юрке — на Юрку пахнуло спиртным — и сказал:

— Слово, Юра, — опасная вещь. Им легко ранить человека, можно даже убить. Не в прямом, конечно, смысле... Юлия Ивановна совсем не хотела тебя обидеть. Слово, которое она употребила, попросту означает «отсталый». Но ведь это правда! Ты второй год в третьем классе и, если не подтянешься, останешься на третий...

— А я виноват, что болел? — сказал Юрка.

— Я тебя и не виню. Просто говорю о том, что есть. Вот и книг ты не читаешь. Почему?

— А!.. — отмахнулся Юрка. — Не люблю я... И чего их читать? У папки есть, так они неинтересные...

— Наверно, они тебе не по возрасту. Надо доставать другие. В школе ведь библиотека есть?

— Есть.

— Ну вот, значит, ты просто не интересуешься, тебя не приучили. А это очень жаль. Кем ты собираешься стать?

Юрка пожал плечами. Он и сам не знал. Он бы хотел попробовать. Всего.

— Вряд ли ты захочешь, как твои отец и мать, ходить с лопатой, штопать дорогу?

Юрка замотал головой.

— А кем же? Шофером, моряком, летчиком? Может, даже космонавтом?

Юрка засмеялся.

— Любой специальности нужно учиться. И этого мало. Нужно быть образованным. А образованным можно стать, только читая книги. Этого никакая школа и вуз не заменят. Можно закончить вуз и остаться невеждой. Так и бывает довольно часто...

— Я в интернат хочу, — сказал Юрка.

— Думаешь, там будет легче — не надо учиться? И там надо. Да тебя, такого отсталого, и не примут в интернат. Значит, сначала нужно подтянуться... От своего долга никуда, брат, уехать нельзя, — сказал Виталий Сергеевич и замолчал, стал думать о чем-то своем, потом снова посмотрел на Юрку. — Так вот. Нужно взять себя в руки и подтянуться. Что ты, хуже других, не сможешь? Я уверен, что сможешь...

Юрка неловко улыбнулся.

— А на Юлию Ивановну не сердись, она не хотела тебя обидеть.

— Так а я что? — сказал Юрка. — Я — ничего.

— Тогда собирай всю команду и пошли к морю, надо перед сном освежиться.

Они пошли купаться, и Юливанна пришла тоже, и все стало снова, как было, — они купались и дурачились, и всем было весело, как никогда.

Славка и Митька сразу уснули, а Юрка долго еще лежал и думал. Получалось, что он на самом деле обиделся зря. В конце концов, что особенного? Отстал? Отстал.

На второй год остался? Остался. Факт? Факт. А почему? Не хотел учить таблицу умножения. Назло учительнице. Потому что она придиралась. А ей от этого что? Не она же останется снова в третьем классе, а он. И Славка его догонит — его уже перевели в третий. И все будут ему, Юрке, тыкать — вот какой он неспособный, с младшим братом в одном классе сидит. Так его скоро и Ленка догонит... А что он, такой уж неспособный? Ничуть не хуже других. Вот возьмет и вызубрит эту таблицу наизусть. Хоть завтра...

Не успел Юрка все передумать и заснуть, как приехали папка и мамка с Ленкой. Они привезли белого хлеба и колбасы, думали, что ребята тут припухают от голода. Тогда Юрка принес «солдатский супчик» — его еще много осталось, — мамка разогрела, все ели и очень хвалили. Утром мамка побежала к приезжим, и Юрка слышал, как она кричала на весь бугор, как они замотались в городе, приехали поздно ночью, попутной машиной, и какое им большое спасибо, что покормили ребят, и какие они хорошие люди — это сразу видно...

Юрка и Славка сбегали к птичнику, думали, что еще не всех уток увезли и удастся снова прокатиться с Сенькой-Ангелом на вторую ферму, но ни одной утки уже там не было, окна и двери птичника были крест-накрест заколочены досками.

Потом пришел шторм. Он подкрался исподволь, незаметно. Сначала далеко у горизонта появились барашки, море там потемнело, а у берегов начало становиться светло-зеленым. Но так бывало много раз — после полудня всегда морской бриз разгуливается, море шумит сильнее, и никто на это не обратил внимания. Небо оставалось безоблачным, солнце жарило вовсю, все, кто мог, прятались в тень, и даже ветра никакого особого не было. Дул, как всегда, только почему-то от него не становилось прохладнее. Потом он и вовсе упал, но барашки все росли и росли, превращались в длинные взлохмаченные гривы, море вдалеке становилось все мрачнее и мрачнее. Папка вышел из мастерской, посмотрел на море, покрутил головой, но ничего не сказал. Юрка вытащил свой велосипед, начал снимать переднее колесо — может, Сенька-Ангел в самом деле отдаст свое, оно же ему не нужно. И вдруг у него перехватило дыхание. Юрка открыл рот и вскочил. Тугая волна ударила по двору, взмела и унесла прочь мусор, птичий пух и перья, прижала к земле кусты тамариска, положила плашмя ячмень за бугром, вздy-

ла тент, как парашют, парашют лопнул и разорванным флагом вытянулся по ветру. Юрка побежал туда.

Виталий Сергеевич пытался развязать узлы, но ветер затянул их, трепал и дергал тент, тот звонко хлопал, хлестал по машине. Тогда Виталий Сергеевич схватил нож, обрезал одну веревку, другую. Тент, как живой, рвался у него из рук, Юрка подбежал и ухватился за конец, его больно хлестнуло полотнищем, Юливанна подбежала и ухватилась тоже. Виталий Сергеевич обрезал все стропы, они втроем усмирили рвущуюся из рук парусину, укутали, обвязали «Волгу». Палатка стояла как ни в чем не бывало, но Виталий Сергеевич на всякий случай забил поглубже металлические колышки. Только они кончили, как ветер стих. И сразу стало так душно и жарко, что у Юрки рубашка начала прилипать к телу. Юливанна схватила книжку и стала обмахиваться, как веером.

— Ну вот, напрасно старались, — сказала она, — теперь надо все делать заново.

— Не думаю, — сказал Виталий Сергеевич. — Посмотри.

В море теперь отчетливо проступили три полосы — у самого берега переливающаяся, кипящая пена, за ней пронзительно-зеленая, все расширяющаяся полоса, а дальше по иссиня-черной глубине взметались и опадали, неслись к берегу белые гривы. И тут Юрка увидел, как идет второй ветровой удар. Взметнулись вверх гребешки волн, клочья пены понесло по воздуху, призрачной стеной поднялась пыль с перепаханной грунтовки, упал, прижался к земле ячмень, и снова тугая волна ударила по бугру. У Юрки перехватило дыхание, он повернулся спиной к ветру. Юливанна повернулась тоже и наклонилась, придерживая платье, ее белая косынка взлетела вверх и, кувыркаясь, как турман, понеслась вдаль и ввысь. Кусты тамариска пригнулись, розовое облако сорванных соцветий понеслось за косынкой.

Юливанна зажала юбку между колен, обеими руками придерживала вставшие дыбом, встрепанные волосы.

— Это что, уже конец света, да? — смеясь, перекрикивала она свист ветра.

— Начало конца... — засмеялся Виталий Сергеевич. Волосы у него тоже встали дыбом и серебряным нимбом окружили лоб.

Ветер стих.

— Ф-ух! — облегченно вздохнула Юливанна. — Еще немножко, и меня унесло бы вслед за косынкой... Уже все, он больше не будет?

— Это только прелюдия.

— Тогда, может, мы натянем веревки, как на кораблях, чтобы держаться, или привяжемся к мачтам... Вот только где взять мачты? Эти кустики выдернет и унесет вместе с нами...

Они шутили, смеялись и прибирали, прятали в палатку и машину все, что могло унести ветром. Лагерь стал голым и неуютным.

— Кажется, всё? — сказала Юливанна. — О, самое главное, что нужно сберечь — «Счастье»...

Она отвязала веревочку, на которой висела картинка Виталия Сергеевича, убрала ее в палатку.

— От стихийных бедствий мы застраховались, а что будет с обедом? На ветру не приготовить.

— Может, обойдемся так?

— Всухомятку? Нет. Я могу, а тебе нельзя, — решительно сказала Юливанна. — Пойду на поклон к Максимовне, в ее кухню. Там, правда, мухи и керосиновая вонь, ну, как-нибудь переживу, буду закаляться. Для милого дружка — сережка из ушка. И так далее.

Весело приговаривая, Юливанна начала укладывать в сумку посуду, продукты, но тут опять задул ветер, и ей пришлось обеими руками держать платье.

— Надень брюки, — сказал Виталий Сергеевич.

— Туда нельзя. Они молчат, но не одобряют. Я знаю.

— Давайте я отнесу, — сказал Юрка.

Юрка нес сумку, а Юливанна всю дорогу сражалась со своим платьем.

Максимовна обрадовалась приходу Юливанны.

— Вот и ладненько, — запела она, — вот и будем тут вдвоем хозяйновать мирком да ладком. А то все на бегу, на тычке, и не наговорисси как следует быть...

Юрка вернулся в лагерь. Ветер дул уже не порывами, а невидимой упругой стеной давил на лицо и грудь, Юрка даже слегка нагнулся, чтобы легче было идти. Виталий Сергеевич сидел за столом, лицом к морю. На столе стояла начатая бутылка и пластмассовый стаканчик.

— Хорошо, а? — спросил Виталий Сергеевич и сам подтвердил: — Хорошо!

— А когда кончится, пойдем пемзу собирать? Ее в шторм всегда выкидывает, — сказал Юрка.

— Пемзу? Непременно!.. Только почему обязатель-

но пемзу? А вдруг море выбросит какое-нибудь диво? Окованный медью сундук, сработанный где-нибудь в Амстердаме или Вальпараисо? А в нем пиратская карта, с адресом закопанных сокровищ... Или просто он будет битком набит дукатами, флоринами и талерами с изображением пухлой дамочки Марии Терезии. Представляешь, полный сундук?.. И что мы с ним сделаем? — Юрка пожал плечами. — Ну что же делают с деньгами? Их тратят... И мы с тобой будем тратить. Поедем куда глаза глядят, на край света, например. Согласен?

Юрка засмеялся. Виталий Сергеевич отпил из стаканчика и долил еще.

— На край света... В страну детских мечтаний и взрослых дураков... Ну, а Юливанну, как вы говорите, возьмем с собой? — Вот и правильно, она годится, с ней можно на край света... А может, это будет не сундук? А скажем... бутылка. Бутылка, обросшая водорослями и ракушками, а в ней призыв: SOS!.. Знаешь, что означает такой призыв? «Спасите наши души»... Это люди придумали, когда еще верили, что душу можно спасти. Спасти можно тело, жизнь, а когда лезут спасать душу... Мы не будем лезть ни в чью душу — попробовали, как другие лезут в нашу...

— Виталий! Ну что ты делаешь?! С твоим сердцем в такую жару, на солнцепеке...

Свист ветра глушил шум шагов, Юливанна вдруг оказалась возле стола и схватила бутылку.

— Не сердись, Юленька, я тоже решил закаляться.

— Таким способом?

— Любым. Страус перестал прятать голову...

— От этого ты никогда не прятался.

— Теперь уже не буду ни от чего. Увидишь.

— А что случилось?

— Ничего. Просто я созрел. Как созревают запоздалые овощи. Не знаю, какие там — латук или сельдерей...

— Это как раз ранние.

— Ну, неважно. Не сердись, Юленька. Больше без твоего позволения ни капли.

— Слово?

Виталий Сергеевич клятвенно поднял кверху сложенные вместе два пальца. Юливанна долго сердиться не умела, и сейчас она засмеялась, взъерошила и без того вихмаченные волосы Виталия Сергеевича.

— Ух, понался б ты мне раньше, взяла бы я тебя в ежовые рукавицы...

— И показала кузькину родительницу... А что на кухне?

— Как всегда, полный контакт и мешок нежных излияний. А суп понемножку кипит.

— Может, пока сходим к морю?

Они пошли, и Юрка с ними тоже. Славка и Митька увидели, что они идут на берег, и побежали следом.

— Хорошо! — снова повторил Виталий Сергеевич, только теперь ему пришлось это прокричать.

Вспененные буруны вставали перед ними в полный Юркин рост и с шумом рассыпались, распластывались на песке. Пронзительно зеленеющая полоса ушла еще дальше в море, за ней в черно-синей глубине вздымались, росли и неслись к берегу белые гривы. Слева, над самым, волна заламывалась раньше, вспенивалась и рассыпалась. К ним волна шла во весь рост, вспухала, вздымалась, пенный гребень ее срывал ветер, стена воды с ревом ударяла в песок, вскипала и неслась обратно, но навстречу ей шла новая громада вод, подхватывала опавшую и рушилась сама.

— Нет, — сказала Юливанна, глядя в черную вспененную даль, — не люблю. Я всегда думаю о тех, кто сейчас там...

— Ну, — сказал Виталий Сергеевич, — это еще несерьезно, балла два, от силы три... Искупаемся?

— Ты с ума сошел!

— Вовсе нет. Пойдем, я тебя научу, трусиха.

Они разделись, Виталий Сергеевич взял Юливанну за руку. Они подошли вплотную к разбивающемуся буруну, повернулись к нему спиной. Вал ударил им в спину, обдал пеной. Виталий Сергеевич подпрыгнул и опять стал на ноги, а Юливанна упала бы, если б не удержал Виталий Сергеевич.

Подошла следующая волна, теперь они оба подпрыгнули и оба устояли — вся тяжелая масса воды прошла у них между ног, а их окатило только гривой. Так они стояли и подпрыгивали, Юливанне это понравилось, она уже смеялась и старалась только подпрыгивать выше. Юрка начал стаскивать рубашку.

— Попли? — крикнул он Славке.

— Ну его, — сказал Славка, — еще собьет.

Юрка снял штаны, сандалии и пошел к вспененным бурунам.

— Молодец! — крикнул ему Виталий Сергеевич. — Давай руку.

Он крепко зажал Юркину руку, и вовремя, потому что подошла волна, а Юрка не успел подпрыгнуть, и его накрыло с головой. Виталий Сергеевич за руку выдернул его, ослепшего и задохнувшегося, на воздух. В следующий раз Юрка уже не прозевал и подпрыгнул, его ударило в спину, но тяжелая масса воды промчалась между ног, и он опять оказался на песке.

Так они стояли спиной к волнам и подпрыгивали, а волны всё набегали и били их в спину, но они были хитрее и ловчее, каждый раз снова твердо опускались на песок, было жутко и весело, и Славка с завистью, а Митька со страхом смотрели на них. Потом они пошли к камню. Юрка и Юливанна оделись, а Виталий Сергеевич остался в плавках.

— А ты что же? — спросила Юливанна.

— Пойду окунусь как следует, — сказал он. — Разве это купанье?

— Ни в коем случае! Хватит.

— Ну что ты, — сказал Виталий Сергеевич. — Первый раз мне, что ли?

Он пошел навстречу бурунам и остановился, выжидая. Волны шли одна за другой, но он все ожидал, а когда напротив него оказалась самая высокая, бросился вперед и нырнул в нее. Волна с ревом разбилась о песок, но Виталий Сергеевич был уже далеко за ней. Над ним навис гребень следующей, он снова нырнул, и голова его вынырнула еще дальше.

— Вот дает, — сказал Славка, — вот это да! Я тоже так научусь.

— Куда тебе, — сказал Юрка, — ты и тут забоялся.

Юливанна крикнула, но ветер отнес, смял ее голос, она замахала руками, показывая, чтобы Виталий Сергеевич возвращался. Он улыбнулся, ободряюще помахал ей рукой и повернул обратно. Его отделяли от берега четыре волны с глубокими провалами между ними. Юрка следил за ним во все глаза — он тоже хотел научиться так плавать. Виталий Сергеевич не торопился, держался на месте и оглядывался, поджидая набегающую волну, а как только она подошла, быстро и сильно заработал руками, оказался на ее гребне и вместе с нею пошел к берегу. Но волна ушла вперед, он остался за ней и стал поджидать следующую. Она пришла, подхватила его, понесла,

он открыл рот что-то крича, поднял руку и скрылся под водой.

Юрка вскочил, чтобы лучше увидеть, где он вынырнет. Волна подошла, с шумом разбилась. За ней сейчас же набежала и разбилась другая. Его не было. С ревом набежала, разбилась третья, а его все не было... Не было...

— А-а-а...

Пронзительный крик заглушил ветер, рев волн стегнул Юрку по ушам. Юливанна, схватив себя за виски, широко открытыми глазами смотрела туда, где он должен быть и где его н е б ы л о.

Она бросилась бежать, споткнулась и упала, но тотчас вскочила и побежала туда, к н е м у... И Юрка почему-то тоже побежал следом за ней. Пенный бурун сбил ее с ног, задрал платье, с ревом и хлюпаньем покатил, поволок ее за собой. Юрка схватил ее за руку, за подол платья. Перед ними разбился новый бурун, Юрка упал на четвереньки, но руку и платье не выпустил, а как только спáла ревущая волна, потянул в сторону, дальше, на песок. У него не было сил, чтобы ее оттащить, он только судорожно держал ее и упирался пятками в расплывающийся песок. Их обдала пеной новая волна. Юливанна встала на четвереньки, поднялась, расширенными от ужаса глазами обшарила волны, вспененные гривы, ревущие буруны.

Его не было...

И снова пронзительный крик стегнул по ушам...

Юрка весь ходил ходуном. Он держал Юливанну у пояса за платье и, задыхаясь, повторял:

— Юлива... не надо... Юлива, не надо...

Она, не замечая того, судорожно тискала, мяла его лицо, грудь, плечи и повторяла одно и то же:

— Боже мой... что же это... боже мой... что же это...

Потом вдруг обернулась и закричала:

— Бегите! Скорей! Зовите!..

Славка сломя голову побежал домой. Митька, сидя на корточках, прижимался к камню и выл.

По разбитым коленям Юливанны текла кровь, платье было разорвано, должно быть, она ударилась и лицом, на скуле вспухал кровоподтек. Она ничего не замечала, и все так же расширенными глазами смотрела туда, где был он. Волны шли одна за другой, гребни их пронзительно зеленели на солнце, вскипали пеной и с ревом рушились.

7

Первым прибежал самый молодой и сильный — Федор, потом Нюшка и мамка, дед с длинной веревкой, папка, за ним, колыхаясь, с трудом несла свое рыхлое тело Максимовна. Она еще издали начала взмахивать руками, как курица крыльями, и приговаривать:

— Ой, беда!.. Ой, беда!..

Мамка и Максимовна подбежали к Юливанне, запричитали на разные голоса:

— Ой, беда!.. Да как же это?.. Вот горе-то!.. Зачем же он?

Юливанна их не слышала, не отрываясь, смотрела туда, где остался он. И все смотрели туда, где один за другим шли бугры и валы зеленой воды, будто ждали, что Виталий Сергеевич сам по себе вынырнет и поплывет к берегу.

— Ну уж, теперь где уж... — сказал дед.

Федор пригнулся, потянул с себя рубаху.

— Куда ты? — испуганно кинулась к нему Нюшка.

— Отстань! — сквозь зубы сказал Федор.

Он скинул штаны и остался в длинных, до колен, черных трусах.

— Ты веревкой, веревкой обвяжись, — сказал папка.

Федор взял у деда веревку, обвил вокруг груди и стал вязать узел. Папка, суетясь, давал советы, как нужно нырять под волну, как потом ловить момент и с волной выплывать на берег. Узел у Федора не получался, он обозлился и зыкнул на папку:

— Иди ты, знаешь куда... А если так здорово понимаешь, лезь сам...

Папка обиженно поджал губы и замолчал.

Федор разбежался, нырнул в волну, она запрокинула его и плашмя бросила на песок.

— Осподи! — крикнула Нюшка.

Она подбежала к нему, но Федор встал сам, обругал ее, закинул назад упавшие на глаза волосы, пригнулся, побежал навстречу волне и снова нырнул.

— Осподи, осподи... Осподи, осподи...— как заведенная повторяла Нюшка. В бога она не верила, никогда не молилась, а теперь вдруг начала вспоминать господа — очень боялась, что Федор тоже утонет.

Федор был уже за третьим валом. Он поплавал немного, оглядываясь, и нырнул. Его долго не было, и у Нюшки совсем побелели губы, папка засуетился, а дед

приготовился тянуть веревку, конца которой не выпускал из рук, но Федор вынырнул, отплевываясь и хватая воздух широко открытым ртом. Он отдышался, нырнул снова и снова вынырнул. Так он нырял, показывая то черные трусы, то оплывающую водой с налипшими на лицо волосами голову, потом помахал рукой, и дед стал быстро перебирать, тянуть на себя веревку. У самого берега Федор не успел изловчиться, волна накрыла его, поставила на четвереньки и потащила обратно в море, как он ни цеплялся за песок. Папка тоже ухватился за веревку, вдвоем они вытащили Федора из бурлящей воды. Он вскарабкался по песку выше и сел.

— Перебуторило все... Кушир, песок. Не видать ничего...

— Так я ж говорил! — подхватил папка. — Сейчас волна отбойная, все от берега тащит. Его уж небось так утащило...

— Эт точно, — сказал дед, — теперь покуда не утихнет, нипочем не найти... И то еще — найдешь ли, нет ли.

Все посмотрели на Юливанну, но она ничего не слышала и смотрела все туда, на беснующиеся лохматые бугры зеленой воды.

— Осподи! — тоненьким голоском сказала Нюшка и заплакала. То ли потому, что надеяться больше было не на что и ей стало жалко Виталия Сергеевича, то ли потому, что она очень боялась, что и Федор утонет, а он не утонул, и весь ее страх выходил теперь слезами. Мамка всхлипывала, Максимовна вытирала глаза кончиком платка и все время приговаривала над Юливанной:

— Ты поплачь, поплачь, милая... Нельзя так молчком, заклякнуть можно... Теперь уж что уж... Как тут пособишь?.. Поплачь...

Юливанна не плакала. Она больше не кричала, не ломала руки, а стояла как каменная, не шелохнувшись, и все смотрела, смотрела туда. И все тоже стояли и смотрели то на нее, то на зеленые валы, с ревом разбивающиеся о песок. Так прошло неизвестно сколько времени, и никто не знал, что теперь нужно делать или говорить.

Первой опомнилась мамка. Митька все еще прижимался к камню и скулил от страха, у Славки слезы текли по щекам, он слизывал их и шмыгал носом. Мамка за руку вздернула Митьку, шлепнула и погнала домой, за ним Славку. Она крикнула и на Юрку, но Юрка не по-

слушался. Он не мог уйти. Его колотило так, что даже стучали зубы, будто стоял не зной, а зимняя стужа, он обхватил себя руками, сдерживая дрожь, только это никак не помогло.

Дед подошел к Юливанне.

— Беда, она и есть беда. — Морщинистое лицо деда сморщилось еще больше. — Только теперь что уж, стой не стой — ничего не выстоишь...

— Пойдем, пойдем отсель, голубушка, — подхватила Максимовна. — Что ж тут стоять, сердце надрывать? Оно ить не каменное...

Мамка и папка тоже начали приговаривать и уговаривать, доказывать, что теперь горю не поможешь, нечего и убиваться, и стоять тут не следует, мало ли до беды... Юливанна все так же не слушала и не слышала их, смотрела на ревущие валы, потом в ней словно что-то сломалось — руки упали, плечи опустились. Юрка подумал, что она сейчас упадет, но тут Максимовна обняла ее за плечи, повернула и повела к дому. Ветер трепал ее мокрое разорванное платье, запрокинул на лицо спутанные, слипшиеся волосы. Она ничего не замечала, шла, глядя под ноги, и сразу стала такой маленькой, такой жалкой, что у Юрки в горле появился ком, да так и остался.

Они пришли к палатке. Максимовна хотела ее посадить, но Юливанна не села, высвободилась и как-то дико оглянулась вокруг, не понимая, почему, зачем ее привели сюда, повернулась, чтобы идти обратно, но Максимовна удержала ее, а дед заступил ей дорогу.

— Нет, — сказал он, — ненадобно туда ходить. Ему не поможешь, а до беды недолго... Вы уж тут посидите, али к нам в дом пойдемте...

Юливанна отрицательно повела головой.

— Ну нет так и нет, а туда ходить ни к чему. Хватит одной беды. Такое дело, Федор, придется тебе в Гроховку смотаться — надо в сельсовет заявить, пускай дадут знать в район — мало ли где его может выкинуть...

Лицо Юливанны дрогнуло, она закусила губу, потом, сдерживая себя, с трудом проговорила, все так же глядя в землю:

— Пошлите телеграмму... Деньги у меня в сумочке, в палатке. Там его паспорт и адрес...

— Кому телеграмму?

— Его жене.

У папки отвисла челюсть, глаза деда спрятались в

морщинах, мамка и Максимовна переглянулись, лица их одеревенели.

— Как же это, — сказал дед, — а...

Юливанна подняла голову, посмотрела ему в лицо.

— Я не жена... Мы... А, да что вам до этого?..

Она повернулась и пошла назад, к берегу. Все так растерялись, что теперь уже никто ее не удерживал, а только смотрели ей вслед, а она шла все быстрее и быстрее, спустилась с бугра, потом вдруг остановилась, ноги у нее подломились, она упала. Папка бросился туда, но мамка крикнула:

— Куда? Чего тебе там отираться?..

И он остался на месте. А Нюшка побежала к Юливанне, за ней Федор, а за Федором побежал Юрка.

Нюшка уже стояла над ней на коленях, звала ее и трогала, Юливанна не отзывалась и не шевелилась. Юрка с ужасом подумал, что она уже умерла, потому что лицо у нее стало какое-то серое, но Нюшка приложила ухо к груди, послушала и сказала:

— Вроде живая. Еле-еле... Чего теперь делать-то, а?

— Давай туда отнесем, не валяться ж тут... — сказал Федор.

Он подхватил Юливанну под плечи и поднял, Нюшка обхватила ее ноги у колен, они понесли ее на бугор. Левая рука Юливанны свесилась вниз, Юрка подбежал и поднял. Рука была холодная и совсем неживая.

Ее положили под кустом тамариска, в жиденькой прозрачной тени.

— Обморок, — сказал папка. — Полагается все расстегнуть и нюхать нашатырь.

— А чего расстегивать, — сказала Нюшка, — когда на ней ничего нет — разлетайка да купальник.

— Обморок! — повторила Максимовна. — У меня их сроду не было...

— Ну, у тебя, — вдруг озлился Федор, — тебя и оглоблей тресни — обморока не будет... Чего стоите? Делайте что-нибудь!..

— Ничего, — сказал дед, — пущай полежит, отлежится — очуняет...

Нюшка не стала ждать, пока Юливанна «очуняет», начала дуть ей в лицо, махать перед ним руками, потом набрала в рот воды, брызнула раз, другой, но ничего не помогло — Юливанна не пошевелилась.

— Вот оно какое дело-то оказывается... — сказал дед.

— От такого дела упадешь! — подхватил папка.

— Да уж теперь хоть стой, хоть падай...

— А я, между прочим, давно догадался. Это было сразу видно, у меня глаз наметанный...

— Ты молчи! — сказала мамка. — У тебя не только глаз... А вы чего тут? — закричала она на Митьку и Славку. — А ну, марш отсюда!

Но Митька и Славка никуда не ушли, потому что в это время пришел Сенька-Ангел. Он еще издали помахал рукой и крикнул:

— Привет честно́й компании! Чего это вы хаты побросали? Я подъехал — двери настежь, а никого нет... Ну, мы загораем — чертова переправа опять не работает, а вы что?..

— Курортник наш утонул, — сказал дед.

Оживление смело с лица Семена.

— Как это?

— Ну как? Купаться полез.

— Вытащили?

— Где там! Шторм вон какой...

— А... — Семен поискал глазами, увидел лежащую Юливанну, — а она что же?

— Вот лежит, не то живая, не то мертвая...

— А она, между прочим, — сказал папка, — знаешь, какая оказалась?

— Какая?

— Ну, эта самая, — сказал папка и подмигнул.

— А ты святой? — зло спросил Семен. — Про твою святость даже твоя жена знает...

— Ты в наши дела не суйся! — сказала мамка.

— Мне ваши дела до лампочки... Она, может, доходит, а вы, святые, стоите над ней, тары-бары разводите?

— Так а мы что — доктора, что ли? — сказала Максимовна.

— Сказал бы я вам, кто вы... Федор, давай бери, понесли ко мне на машину... А вы, ребята, нагребите соломы.

Юрка и Славка бросились к стогу.

— Вы из середки, из середки-то не дергайте, с краю собирайте! — вслед им закричал дед.

Юрка и Славка нарочно, назло надергали вороха соломы получше и потащили к машине. Она стояла у ворот. Семен откинул борт, расстелил солому, покрыл одеялом, которое Нюшка принесла из палатки, потом вместе с Федором поднял и уложил Юливанну. Она была как мертвая.

— Так нельзя, — сказал Семен, — надо, чтобы кто-то придерживал...

— А куда ты ее? В Евпаторию ж теперь не проехать, — сказал Федор.

— В Черноморск, в больницу. Еще ближе — всего двадцать два километра.

— Можно, я поеду? — попросился Юрка.

— Еще чего? — сказала мамка. — Никуда ты не поедешь!

— Давай, Федя, ты, что ли? — сказал Семен.

Федор взобрался в кузов, сел возле Юливанны. Семен закрыл борт.

— Ты слышь-ка, Семен, — сказал дед, — на́ вот паспорт свонный и деньги, отправь телеграмму по месту жительства, жене, значит... Ну и сообщи там, куда следует.

— Само собой.

Семен захлопнул дверцу, машина осторожно съехала с бугра на грунтовку и повернула влево, на Черноморск. Штормовой ветер унес с дороги всю пыль, и машину было видно долго, пока она не скрылась за изволоком.

— Вот те и курорт, — сказал дед.

— Повеселились! — добавил папка.

— Осподи! Какие же вы... — с упреком сказала Нюшка, всхлипнула и побежала домой.

— Но-но! — вслед ей сказал папка. — Ты еще сопдей не вышла так разговаривать...

— Чужие дела — темный лес, — сказал дед, — нам путаться ни к чему... Пущай у них там все как стояло, так и стоит. И ходить туда никому не след. Покуда она возвернется али жена приедет...

— Если самолетом, так и завтра может здесь быть, — сказал папка. — Вот они схлестнутся!

— Это нас не касаемо, наше дело сторона.

Юрка увидел, как мамка и Максимовна переглянулись, как, ухмыляясь, подмигнул папка и побежал прочь. Он не мог больше выносить, не мог видеть, как они переглядываются, подмигивают, кивают друг другу и говорят, говорят что-то неуловимое, скользкое и чему-то даже будто радуются... Как они могут?!

Ветер упирался, толкал его в грудь, но Юрка, упрямо пригнувшись, бежал и бежал, пока не оказался на том самом месте. Вот здесь он нырнул под гребень волны, оттуда помахал рукой и что-то крикнул, и теперь уже никогда не узнать, почему и что он кричал... А здесь Юли-

ванну сбила волна, а Юрка ее тащил и порвал платье, а сейчас где-то по дороге к Черноморску ее трясет и подкидывает грузовик, и она умирает или, может, уже совсем умерла...

И на всем берегу, куда ни глянь, ни живой души, только кипела и бурлила пена, не было даже ни чаек, ни куличков, все куда-то попрятались, в небе одно неистовое солнце, оно нещадно жгло и слепило глаза, а зеленые бугры все бежали и бежали, рушились на берег, вода ревела и клокотала, откатываясь назад, а ветер катил по песку хлопья пены, нес водяную пыль... Лицо у Юрки сразу стало мокрым, а губы солеными, ком в горле давил все сильнее, Юрка сел на песок под камнем, как недавно сидел с Виталием Сергеевичем, и, не таясь, не прячась, громко, в голос, заревел.

Юрка сидел долго, сотрясаемый судорожными всхлипами, потом встал, утерся рукавом и пошел вдоль берега — может, его уже выкинуло?.. Он прошел до сигнальной вышки, на которой когда-то, до того, как размыли пересыпь и сделали переправу, висел створный щит, а по ночам зажигался фонарь. Папка был прав. Сейчас ревущая, клокочущая вода облизывала песок и все уносила с собой. Только потом, когда шторм начнет слабеть, накат будет нести и выбрасывать на берег все, что раньше смыло, утащило на глубину.

Только под вечер к дому подъехала машина, Федор выпрыгнул из кабины, Семен развернулся и сейчас же уехал. Нюшка побежала ему навстречу и Юрка тоже.

— Ну как? — спросила Нюшка.

— А, — Федор махнул рукой, — еле довезли. А там еще, сволочи, принимать не хотели... «Как это? Без документов? Не имеем права...» Ну, мы с Сенькой такой шухер подняли...

— Она-то как?

— Шок, говорят, у нее. И еще что-то про сердце сказали, больное вроде... На вот его паспорт, отдашь деду.

— А что это — шок?

— Да что я — доктор?.. Идем, жрать хочу, как собака...

Славка сразу же как лег, так и засопел, а Юрка долго не мог заснуть, ворочался, снова и снова вспоминал, как все случилось, а потом с самого начала, как приехали Виталий Сергеевич и Юливанна, поставили палатку и стали жить, какие они всегда были ласковые друг с другом и с ними, ребятами, как они вместе гуляли и купались, ездили в город и пили бузу... И даже то, что Юливанна тогда обозвала его, Юрку, казалось ему теперь таким пустяком... Она же хотела ему добра. И всегда была такая веселая, радостная, прямо светилась от радости. А теперь вот стряслось такое — Виталий Сергеевич утонул, а она там в больнице помирает от сердца и еще от чего-то, а вокруг чужие люди и никто ей не может помочь... Если б Юрка мог, он бы прямо хоть что хочешь сделал, чтобы ей помочь, только что он может?.. Потом все спуталось, куда-то провалилось, и Юрке вдруг начало казаться, что не Виталий Сергеевич, а он, Юрка, полез купаться в штормовое море и его захлестнула волна, ухватила и держит под водой, и не просто держит, а давит ему на горло все сильней и сильней, Юрка начал задыхаться, задохнулся совсем...

Он проснулся и сбросил со своей шеи Славкину руку. Была глухая ночь, а на дворе хлестал проливной дождь. Он был такой шумный, что Юрка удивленно повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел, что дверь распахнута настежь, дождь льет через порог. Юрка удивился еще больше — дверь ночью всегда запирается на крючок. Может, открыл кто чужой? Вор... Только чего у них воровать и кто сюда придет? И Жучка во дворе. На ночь ее отвязывают, а уж она никого к дому не подпустит... Юрка приподнялся и посмотрел. Митька и Ленка спали. Да они в дождь и не пойдут. Мамка тоже спала. Не было папки. Значит, он пошел в уборную, плохо прикрыл дверь, а ветер ее распахнул. Надо было встать и прикрыть дверь, у порога уже поблескивала здоровенная лужа, но вылезать под дождь Юрке не хотелось и было лень вставать, все равно папка должен сейчас вернуться. Юрка лежал и прислушивался к шуму дождя и за ближним его плеском стал различать отдаленный грохот и рев наката. Значит, шторм не утихал. Косые перехлесты дождя становились слабее, шум моря слышнее, а папка все не шел и не шел, и лужа у порога расплывалась все шире. Юрка вскочил, метнулся к двери, и в это время у крыльца появился отекающий водой папка.

— Ты чего? Куда ходил? — сердито спросил папка.

— Ты ж дверь оставил, вон натекло...

— Иди спи, не твоя забота.

Папка закрыл дверь, шум дождя сразу стал тише. Папка еще пошарудил в темноте, должно быть, вытирал намокшие лицо и руки, потом заскрипела кровать, он тоже лег.

А утром снова небо было безоблачно, будто и не было ночью никакого дождя, и даже лужи успели подсохнуть, только земля еще была немного влажной, так что Юрка, когда бежал к морю и огибал бугор, даже оскользнулся и чуть не упал. Шторм ничуточки не ослабел. Накат стал даже сильнее, и так же ревела вода, а ветер нес клочья пены и водяную пыль. Сколько ни смотрел Юрка, так ничего и не увидел. Волна все еще была отбойной, жадно облизывала песок и сразу ставшего приглубым берега.

Еще издали Юрка увидел, что во дворе много народу, различил старшего дедова сына, тоже Тимофея, который работал бакенщиком на переправе, его толстую жену, ее сестру...

Пришли в гости — сегодня воскресенье, — а может, узнали про несчастье и захотели посмотреть. Наверно, с ними пришел и Сашка. Поравнявшись с тамарисковым бугром, Юрка подошел ближе к лагерю. На оранжевом полотнище палатки у самого входа кто-то приложил испачканную грязью пятерню. И еще был отпечаток, только размытый, мазаный. Отпечаток был маленький, и Юрка сразу догадался, что это работа шкодливого Сашки. А может, Славка? Юрка припустил бегом.

Дед с сыном стояли осторонь и тихонько разговаривали. А Максимовна во весь голос пела невестке и ее сестре:

— Так ить это и сразу бы догадаться... Он же перед ей прямо расстилался. Разве законный муж о седой голове будет перед женой эдак-то: Юленька да Юленька...

Сашки не было. Славки тоже. Юрка обежал дом. Славка примерял новую Сашкину бескозырку. На ленточке золотыми буквами было отпечатано: «Герой». Славке бескозырка не налезла, он протянул ее Сашке.

— Кто к палатке ходил? — закричал Юрка. — Кто там намазал? Ты?

— Нет, я не ходил, — сказал Славка.

Юрка по глазам увидел, что Славка не врет, повернулся к Сашке.

— Ты?

Глаза Сашки стрельнули в сторону.

— К какой палатке? Чего я туда пойду?

Юрка размахнулся, стукнул его по уху. Сашка скуксился, заныл и побежал жаловаться. Юрка не стал ожидать возмездия. Дед и даже отец Сашки не станут ввязываться, а мать и Максимовна сейчас же поднимут крик и ругань.

— Пойдем поищем, — сказал Юрка, — может, его уже выкинуло...

— Нет, я не пойду, — сказал Славка, и по тому, как Славка замотал головой, Юрка понял, что тот боится увидеть утопленника.

Юрка пошел один. Он прошел опять до вышки, а потом повернул обратно и шел до самой скалы. Здесь море совсем осатанело. Волны пушечными ударами били в скалу, отвесными фонтанами взлетали вверх, ветер рвал фонтаны в клочья и бросал на берег. Юрка долго сидел у обрыва, слушал пушечный гром, чувствовал, как вздрагивает под ним земля, потом захотел есть и пить.

Дедовы гости уже ушли, но Максимовна не забыла жалобы внука, начала Юрку ругать, мамка обругала тоже, но Юрке было все равно.

К концу дня на мотоцикле приехал милиционер. Он наскоро расспросил, как все произошло, и записал всех в свидетели. Все были на месте, только не оказалось папки, он куда-то упел, и никто не видел куда.

— Ладно, — сказал милиционер, — хватит этих. Имущество надо прибрать.

— Это нас не касаемо, — сказал дед, — мы туда не ходим, в это дело не впутываемся. Пускай дожидается, покуда та дамочка возвернется али родственники приедут. А хочете — забирайте али опечатайте как полагается.

— Я чем, пальцем опечатывать буду? Ладно, под вашу ответственность. В случае неприезда родственников сообщите.

Он покрутил ручку руля, стукнул сапогом по какому-то рычагу, мотоцикл затарахтел и укатил.

Папка вернулся затемно и пьяный. Мамка стала его ругать за то, что он опять пьет в долг и чем будет отдавать, а папка кричал, что это не ее забота, у нее он не попросит, а она дура, потому что не понимает, какой человек пропал и как бы он папке помог пробиться, познакомиться с тем московским художником... Юрка не любил, когда папка напивался, но тут он на него даже про себя не сердился — он не ожидал, что папка будет так переживать из-за Виталия Сергеевича...

За ночь ветер ослабел, а утром утих совсем. Но взбудораженное море ревело, грохотало по-прежнему, переправа не работала, и дорога была пуста. И вдруг к дому

подъехала серая запыленная «Волга» с темными клетками на дверцах. Из нее вышли злой шофер, тощий парень в очках, который, несмотря на жару, был во всем черном, даже рубашка у него была черная, и поблекшая женщина с исплаканным запудренным лицом. Губы у нее были накрашены, но помада стерлась, осталась только по краям, и было видно, что губы у нее тонкие, а помадой она их дорисовывала, делала больше. Парень был такой же тонкогубый, но высокий лоб и тонкий хрящеватый нос у него были точь-в-точь как у Виталия Сергеевича.

Юрка догадался, что это его жена и сын.

— Будь оно проклято! — сердито сказал шофер, вытирая потное лицо. — Кабы знал, что такая дорога, сроду бы не поехал...

— Вам за это платят, — хмуро сказал очкатый.

— Да что мне те деньги? А машина обломается, кто будет платить?

Они не стали слушать шофера, пошли во двор. Навстречу им вышел дед, и тут же прибежали мамка и Максимовна. Лица у них были горестные, сочувственные.

— Мы получили телеграмму, — сказала женщина, — где-то здесь мой муж... здесь он... — Губы ее задрожали, она никак не могла выговорить нужное слово.

— Воронин Виталий Сергеевич, — сказал очкатый. — Где он?

Лицо деда жалостливо сморщилось.

— Где ж ему быть? Там...

Все посмотрели через ограду на ревущее вспененное море.

— Не нашли? — спросил очкатый.

— Пробовали. Куда там... Это ить море! Да еще шторм...

— Но почему здесь? Как он здесь оказался? — спросила Воронина. — Он же мне телеграфировал из Евпатории...

— Так они жили здесь. Вон там на бугре, в палатке.

— «Жили»? — повторила Воронина. — Кто это — «они жили»?

— Да была тут с ним одна гражданочка... Юлия Ивановна.

— А-а! — закричала Воронина, лицо ее исказилось. — Я так и знала, я догадывалась, что он опять с ней... Это она! Она его довела, погубила...

— Мама! — сердито сказал очкатый.

— Что, я еще должна стесняться, молчать? Не буду я молчать! Я ей все скажу... Где эта подлая тварь?

— В больницу увезли. Вроде шок у нее какой-то...

— Шок? Чтоб она не встала от этого шока!..

Воронина кричала и плакала, сын безуспешно пытался ее остановить.

На лицах мамки и Максимовны было горестное сочувствие, а в глазах дикое любопытство. Пришел папка, сказал «здрасьте» и приложил руку к кепке, но на него не обратили внимания.

— А вообще есть надежда отыскать тело? — спросил очкатый.

— Вполне свободная вещь, — сказал папка. — Когда в утопленнике образуются газы, его обязательно наверх выносит...

Очкатый неприязненно покосился на папку и повернулся к деду, ожидая его ответа.

— Кто ж его знает? — сказал дед. — Когда шторм утихнет, может, и вынесет.

— А шторм надолго?

— Навряд. О сю пору редко когда затягиваются.

— Придется нам ждать, — сказал очкатый матери. — Пожить несколько дней.

— Где?

Очкатый скользнул взглядом по двору, усеянному гусиным пометом, по крашенным известью стенам дома.

— Не здесь, конечно. Как-нибудь в Евпатории устроимся... А где машина, вещи? — спросил он у деда.

— Все в целости и сохранности.

Воронины пошли на бугор, дед и папка с ними, а Юрка следом. Очкатый парень стащил парусину с «Волги», а мать его влезла в палатку, и оттуда стали вылетать скомканные одежки Юливанны, потом вылетела ее сумочка, расстегнутый клетчатый чемодан. Воронина вылезла, распаренная духотой и злыми усилиями.

— Все, — сказала она, — больше там никакого ее имущества нет, можешь снимать палатку.

Сын сгреб разбросанные платья, запихал в чемодан и, застегнув «молнию», поставил перед дедом.

— Куда ж его теперь? — спросил дед.

— Куда хотите. Можете выбросить. Или хранить для этой...

Дед вздохнул и понес чемодан домой. Сын начал снимать палатку.

Пришел злой шофер, понаблюдал за его неумелой работой и сказал:

— Долго будем чикаться? Опять же вкруг чертова лимана ехать. Если будем копаться — до ночи не доедем...

— Доедете, — сказал папка.

— Что ты мне рассказываешь? По той дороге на ишаках ездить, а не на машине...

— Может, вещи возьмем сразу в такси? — спросила Воронина.

— Какие вещи? — закричал шофер. — Чтобы у меня рессоры полопались?

— Хорошо бы, — сказал сын, — найти здесь шофера. Чтобы согласился перегнать «Волгу» в Москву. И мы могли бы не лететь, а ехать с ним.

— Так отчего же? — подхватил папка и засуетился. — Вполне свободная вещь. В колхозе в Гроховке есть — тут всего пять километров — шофер второго класса, между прочим. Его все знают. Сенька-Ангел по прозвищу.

— Как его найти?

— Для такого дела и я с вами могу подъехать. Надо ж помогать, раз такое дело...

Шофер поломался, но согласился съездить в Гроховку. Они втроем ушли, Воронина продолжала укладывать вещи в машину, оглянулась и увидела Юрку.

— Тебе что, мальчик?

— Ничего, — сказал Юрка, пожимая плечами.

— Тогда иди, нечего тут околачиваться.

Юрка ушел. Теперь он понимал, почему Виталий Сергеевич бросил ее.

А может, она не всегда была такая?

Через некоторое время Воронина пришла во двор. Мамка и Максимовна усадили ее в холодок и начали наперебой рассказывать, как жили здесь Виталий Сергеевич с Юливанной, и наговаривать на нее. Воронина плакала, лицо ее кривилось и дергалось. Видно было, что ей больно и стыдно слушать, но она жадно слушала, а те говорили, говорили. Юрка не понимал, почему, зачем они это делают. Ведь они же лебезили, из кожи лезли перед Юливанной, когда все было хорошо, а теперь...

Такси вернулось, отца в нем не было.

— А где папка? — спросил Юрка очкатого.

— Какой папка? А, этот... он в селе остался.

— Ну как, договорились? — спросила Воронина.

— Не хочет, — ответил сын.

— Может, ты мало ему обещал?

— Двести рублей мало? Сволочь он, а не ангел. Еще и фанаберию напускает. «Я, говорит, на покойниках не нарабатываю...»

— Как же теперь?

— Так я ж говорю, — сказал шофер, — перегнать и я могу. В парке договорюсь, напарник за меня пару дней поработает, а я отгоню.

— Ну хорошо, а пока? Нельзя же оставлять там и машину, и вещи...

— Так а чего? — сказал дед. — Пущай стоит. У нас тут воров нету...

— Ну знаете... — оборвала его Воронина. — Может, пока здесь во дворе поставить? Все-таки не так опасно.

Шофер взял ключ, привел «Волгу» Виталия Сергеевича и поставил перед окнами дедовой комнаты. Ее заперли, Воронины сели в такси и уехали.

Юрка надеялся, что папка от Сеньки-Ангела узнает что-нибудь про Юливанну, но тот пришел поздно, опять пьяный и про Юливанну ничего не знал.

На другой день накат стал слабее, по дороге опять пошли машины — переправа снова заработала. Юрка бегал к дороге, надеясь перехватить машину Сеньки-Ангела, но ни разу ее не увидел. Он ходил и по берегу, искал. Затихающее море выбрасывало на песок бурые валы кушира, всякий древесный и растительный сор. Вечером зашел по дороге домой дедов старший сын и сказал, что тело Виталия Сергеевича прибило к берегу за переправой и его отвезли в Евпаторию. Приехала старая, потрепанная «Победа», на которой кассир дорожной конторы развозит зарплату. Мамка забрала все деньги, и свои и папкины, но папка к вечеру все равно был пьяный. А еще через день на автобусе приехал очкатый сын Виталия Сергеевича и таксист. Сын хмуро попрощался с одним дедом, они сели в «Волгу» и уехали.

Юрка пошел на бугор. Теперь он показался ему голым и неуютным. Дед повыдергал уже колья, и только дыры, оставшиеся в тех местах, где были колья, да прямоугольник примятой, обесцветившейся травы напоминали о том, что здесь стояла палатка, там навес, а под ним стол и стулья, Юливанна хлопотала у газовой плитки, а Виталий Сергеевич улыбался, глядя на нее, и как всем было тогда хорошо, весело и радостно. В горле Юрки снова появился твердый ком. Он пошел домой. В стороне,

запутавшись в корнях тамариска, белел лист бумаги. Это был рисунок Виталия Сергеевича, который он назвал «Счастьем». Должно быть, злая исплаканная тетка выкинула его тогда из палатки и кто-то даже наступил на него — листок был надорван, на рисунке отпечатался каблук. Юрка осторожно счистил грязь и отошел. На него смотрели смеющиеся, радостные глаза Юливанны. Юрка свернул листок в трубку. Сначала он хотел отнести его домой, но потом подумал, что мамка увидит и обязательно выбросит. Он отнес его в сарай и спрятал в щель между стеной и крышей.

А Сенька-Ангел все не ехал, а может, и проезжал мимо, но не хотел останавливаться, и про Юливанну ничего не было известно. Если бы были деньги, можно было бы съездить на автобусе в Черноморск, в больницу, но денег у Юрки не было, а у мамки проси не проси — не даст, да она бы еще и стала допытываться, зачем ему туда ездить, а узнав, не пустила бы. Дни шли, и Юрка начал думать, что Юливанна или умерла, или просто взяла и уехала в Москву, не захотела больше появляться там, где случилось такое горе.

8

Он уже совсем перестал ждать, и тогда она вдруг пришла. Это произошло перед вечером, когда все вернулись с работы, пообедали и сидели во дворе. Не было только Нюшки и Федора. Папка снова был хоть и немного, а пьяный. В Гроховку он не ходил, а все равно выпил. Должно быть, раньше принес, спрятал про запас, и никто не знал где. Мамка несколько раз принималась искать, ничего не находила, а от папки все время пахло водкой, и к вечеру он напивался совсем. Теперь мамка его корила и ругала, он отмахивался и говорил:

— А иди ты...

Максимовна со злым презрением смотрела на него, дед молчал и щурился, потом сказал:

— Ты б, Лександра, все-таки поаккуратнее. А то ить что это получается? Изо дня в день, изо дня в день...

И тут в воротах появилась Юливанна. На ней было то же самое платье, но сама она так изменилась, что Юрка даже не сразу узнал ее. Раньше она ходила быстро и легко, как бы вовсе не касаясь земли, а теперь шла медленно, осторожно, словно боясь оступиться. И вся она

как-то поникла, будто сразу постарела и погасла. Ямочки на щеках превратились в морщинки, загорелая кожа стала теперь просто желтоватой, а полные яркие губы сделались бледными и вялыми. Сбоку, отстав на полшага, шел Сенька-Ангел.

Дед замолчал, и все молчали тоже, смотрели, как они пересекают двор и приближаются. Папка начал суетиться, а у мамки и Максимовны лица стали замкнутые, отчужденные.

— Здравствуйте, — бесцветным голосом сказала Юливанна.

— Доброго здоровьичка, — сказал дед.

Ответил ей только дед, но Юливанна не заметила этого. Она повела глазами, ища, куда бы сесть, но места не было. Юрка метнулся к сараю, там у двери стоял табурет, и поставил его рядом с Юливанной.

— Спасибо, Юра, — сказала она.

Юрка вспомнил про рисунок, снова метнулся к сараю и обратно, протянул ей свернутую в трубку бумагу. Юливанна начала разворачивать, узнала рисунок, губы ее задрожали, она поспешно свернула бумагу опять.

— Значится, поправились, — сказал дед.

— Что? А, да-да, почти...

— А тут, между прочим, — сказал папка, — гражданка Воронина была. С сыном приезжала.

Юливанна посмотрела ему в лицо.

— Я знаю.

— Ну, ваши вещички они оставили, — поспешно сказал дед. Он, видно, боялся, что папка еще чего-нибудь скажет и будут неприятности. — Вещички в целости и сохранности. Сейчас я их принесу.

Он пошел в дом. Все молчали и старались не смотреть друг на друга и особенно на Юливанну, а она, казалось, ничего этого не замечала.

— Вот, — сказал дед и поставил перед ней клетчатый чемодан. — Чего тут, как тут — не знаю, складывал не я, складывали они.

— Спасибо, — сказала Юливанна.

Она расстегнула чемодан, достала сумочку, открыла ее, лицо у нее стало озадаченное. Она поставила чемодан на табурет, открыла его, пошарила в кармане на верхней крышке, засунула руку под платья, пошарила там, растерянно оглянулась, потом подняла чемодан и вывалила на него все.

Платья попадали на табурет, свалились на землю.

Юливанна провела рукой по лицу и снова растерянно оглянулась.

— Странно, — сказала она. — Я не помню где, но у меня были деньги... Не очень много, но были...

Папка ужасно засуетился, дедовы глаза спрятались в морщинах, рот у Максимовны вытянулся в ниточку. А Юрку почему-то обдало жаром.

— Нас это не касаемо, — сказал дед. — Были они там, не были... Мы ваших денег не трогали. Вот как они сложили, так оно и есть...

— Нет, что вы! — сказала Юливанна. — Как вы могли подумать?.. Я вас ни в чем не подозреваю... По-видимому, она решила, что это его деньги, и забрала все...

— А что же, — сказал папка, — вполне свободная вещь!

— Мы до ваших вещей не касались, — деревянным голосом сказала Максимовна. — И все это нас не касается. Разбирайтесь сами!

— Да, да, конечно... — сказала Юливанна. — Только что ж теперь делать?.. Мне нужно ехать и не на что, нет ни копейки... Даже телеграмму не могу послать...

Папка молча суетился, все остальные сидели как каменные.

— Я прошу, — сказала она, — я прошу — одолжите мне рублей пятьдесят... ну хотя бы сорок... Я сейчас же верну, вышлю телеграфом...

Она подняла голову и посмотрела на всех по очереди, но никто на нее не смотрел и не ответил. Время шло, а они молчали. Молчали и молчали...

— Еще чего! — сказала мамка. — Кабы у нас лишние деньги, мы б тоже по курортам ездили... А тут не знай, чем рты напихать...

— Деньги мы не куем, — сказала Максимовна, — у нас лишних не бывает.

— Но как же быть?.. Я ведь прошу в долг и сейчас же верну... Вот хоть и вещи оставьте в залог...

Сенька-Ангел поднял платья, стал запихивать в чемодан.

— На кой они нам? — сказала мамка. — Нам тут фигурять негде, мы люди рабочие...

Юливанна посмотрела на деда, но тот молчал, Максимовна, поджав губы, смотрела в сторону, папка суетился и вроде бы даже усмехался. Юливанна снова провела рукой по лицу и сказала еле слышно:

— Что же мне теперь делать?..

Семен застегнул «молнию» чемодана.

— Нашла у кого просить! — сказал он. — У них зимой снега попроси — удавятся, не дадут...

— А ты нам не указ! — вскинулась Максимовна. — Мы твоих денег не считаем, ты наши не считай...

— Вот чужие-то вы и любите считать, сквалыги завидущие... Пошли отсюда. Ничего ты у них не допросишься...

Он поднял чемодан, взял своей лапищей Юливанну за локоть и, как маленькую девочку, повел к воротам. Она шла, опустив голову, и в самом деле стала сейчас похожей на маленькую обиженную девочку.

— Ишь защитник нашелся! — зло сказала Максимовна. — Один утоп, другой присоседился... Такие небось не пропадают!

— А ловкая какая! — сказала мамка. — Дай ей деньги, а потом поминай как звали...

Щемящая жалость к несчастной Юливанне вдруг обратилась у Юрки в ненависть, слепую ярость. Все тело его начало ходить ходуном, как тогда на берегу.

— Ну и гады же вы все! — сказал он. — Подлые гады!

— Ты чего это, поганец! — изумленно открыл глаза дед. — Ты это кому говоришь?

— Тебе! И тебе, и тебе, и тебе... Все вы сволочи! Вы же врете, что денег нет, вы получку получили... Вам жалко, жмоты проклятые...

— Ах ты пащенок! — крикнула Максимовна. — А вы чего смотрите? Вырастили бандита...

Мамка наотмашь хлестнула Юрку по лицу. Он схватился за щеку и отпрыгнул. Он знал, что сейчас его будут бить, но уже не мог остановиться и кричал, торопился успеть сказать все:

— Бить будете? Бейте!.. Все равно вы сволочи и гады... Был дядя Витя, бегали к ним, подлизывались, жрали, пили, а теперь вам денег жалко?.. А куда ее деньги девались?.. Вы их и украли!

— Кто украл? — вскочил папка. — Я тебе покажу — украли!

Папка поймал его за руку, ударил по лицу.

Папка задиристый, но слабосильный, в драках всегда попадало ему. Теперь он был сильнее и бил со знанием дела, туда, где больней. Юрка кричал, извивался, пытался вырваться, но папка держал цепко и бил все злее и злее...

Юрка изловчился, боднул его в живот. Папка охнул и, схватившись за живот, согнулся пополам. Юрка отскочил в сторону. Лицо у него было разбито в кровь, но он ничего не чувствовал. Его трясло от ненависти.

— Всем бы вам так... За все... Подлые гады!.. Не хочу, не буду я с вами жить... Пропадите вы тут пропадом!..

Мамка бросилась к нему, Юрка увернулся и побежал со двора.

— Беги, беги... — крикнула мамка. — Все равно никуда не денешься, жрать захочешь — прибежишь обратно...

Разбитое лицо горело, распухшие губы стягивала подсыхающая корка крови. Юрка побоялся идти к колодцу — слишком близко от дома — и пошел к морю. Оно дышало медленно и мерно, будто отдыхало от тяжкой штормовой работы. Там, где недавно над черными глубинами проносились лохматые пенные гривы, теперь дробились, множились и слепили глаза солнечные зайчики. Юрка разделся, забрел в воду по грудь и обмыл лицо. Даже на ощупь было заметно, как оно распухло.

На бугре появились две фигурки. Юрка бросился к одежде, но присмотрелся и успокоился — к нему бежали Славка и Митька.

— Ух ты, как он тебя! — сказал Славка.

Зареванный Митька молчал и только, широко открыв «ставни», испуганно смотрел на него.

— Ну, ты его тоже саданул! Он как отдышался, как начал кричать: «Я ему башку оторву, я ему шкуру спущу...»

— Вот он теперь бить меня будет, — сказал Юрка и показал кукиш. — Я больше и домой не приду.

— Совсем-совсем?..

Юрка кивнул.

— А где ты жить будешь?

— Хоть где, только не с ними, подлюками...

Славка озадаченно оглянулся, словно отыскивая место, где сможет жить Юрка. Вокруг были только море и песок.

— Ну да, — сказал Славка. — А есть чего?

— Найду.

Юрка сказал это очень решительно, но тут же вспомнил, как рассказывал Виталий Сергеевич о своем побеге в детстве. Убегая, тот запасся хлебом. У Юрки не было ни крошки. Сейчас есть не хотелось, но потом-то захочется... Все равно, у них он брать не станет.

— Сбегай, принеси мне лески, — сказал он. — И спички.

— Будешь рыбу ловить? — догадался Славка. — Знаешь, давай и я с тобой. Будем жить вместе. Ловить рыбу и вообще... А что? Сейчас тепло, можно хоть здесь, хоть на лимане. Не, там лиманские мухи... Так и здесь можно или на скале. Выроем себе пещеру и будем жить... Вот здорово будет! А?

Глаза Славки заискрились, он заранее предвкушал радости вольготной жизни. Приди им это в голову раньше, Юрка тоже бы обрадовался такой выдумке. Теперь она не нашла в нем отклика.

Что-то в нем обломилось или повернулось так, что ни приставить, ни повернуть обратно, словно он вдруг, сразу стал намного старше.

— Пацан ты, — сказал Юрка, — тебе бы только играть... А есть захочешь — побежишь к мамке.

— А ты? — обиделся Славка. — И ты побежишь.

— Не дождутся.

Митька поднял свои пушистые «ставни», посмотрел на Юрку и опять их опустил.

— А куда ты денешься? — сказал Славка.

— В интернат пойду, в Черноморск. Там и жить буду.

Юрка знал, что в интернат попасть трудно, нужно долго хлопотать и добиваться, а за него никто хлопотать не станет и в интернат его не примут. Он врал нарочно, для Митьки. Митька в это поверит, сам он врать еще совсем не умеет и, если его спросят, скажет, что́ слышал. Пускай думают, что он в Черноморске, а там будет видно...

Славка пошел за лесками. Митька еще посидел на корточках, не поднимая глаз и о чем-то думая, потом побежал за ним...

Славка принесет лески, посидит с ним, ну, может, до вечера, потом уйдет, и Юрка останется один. Совсем один. И уже навсегда. Домой он не вернется хоть бы что. Не потому, что побили. Юрка потрогал распухшее лицо. Больно даже дотрагиваться. Это ничего, пройдет. Его не раз били, ну, не так сильно, все равно дело не в этом... Он опять услышал потухший голос Юливанны, увидел ее измученное, растерянное лицо, как зло смотрела на нее мамка и бросала слова, будто плевалась, как подмигивал и ухмылялся папка, добренько и равнодушно щурился

дед, гадюкой шипела Максимовна... Еще совсем недавно они лебезили, подлизывались, завидовали ей, а теперь будто даже радовались, торжествовали, что ей стало плохо, хотели сделать еще хуже, мстили ей за то, что раньше ей было лучше, чем им... А кто украл деньги? Куда тогда ночью в дождь ходил папка? И почему так взвился, начал бить Юрку по лицу? Чтобы он ничего больше не мог сказать?.. Да кто бы ни взял. Пускай не они. Но у них же деньги есть, а дать не захотели, пусть она как хочет, хоть пропадает... С веревкой бегали Виталия Сергеевича спасать, а теперь она тонет, так они глубже толкают... Падлы!

А что теперь делать, куда идти? Соврать про Черноморск было легко. Для отвода глаз годилось, а делать там нечего — ни жить, ни есть... В Ломовке все ребята знакомые, если попросить, хлеба принесут, только начнут расспрашивать, узнает все село, узнают и дома, поймают, снова побьют... Лучше бы всего пойти в Гроховку, найти Семена. Он и про Юливанну знает, где она и как теперь будет... Только куда с таким лицом... И дед туда часто ездит, то на мельницу, то в магазин, а папка в подвал к Алке, как раз на них нарвешься...

Маленькая фигурка скатилась с бугра, побежала к берегу, а на бугре появилась мамка — Юрка узнал ее по платью, — но гнаться не стала, погрозила рукой и скрылась в кустах. Митька прибежал, придерживая руками вздувшуюся пазуху.

— На, — сказал он, доставая из-под рубахи верхнюю корку, сорванную с ковриги.

— А Славка где?

— Его мамка поймала, заперла. Он сахар хотел принести.

— А ты?

— Я убег, пока она его лупила.

— И тебя отлупит.

— Отлупит, — вздохнул Митька.

— Ты не сразу иди домой, пускай у нее зло пройдет... — Они помолчали. — Ты скажи Славке — сахару не надо. Не нужен мне их сахар. Пускай завтра утром лески принесет. К птичнику.

— Ты там ночевать будешь? Один? — Глаза Митьки испуганно расширились.

— Не, я приду, когда вас увижу.

Юрка сунул корку ковриги за пазуху и пошел по песку в сторону переправы. Он решил идти к птичнику,

только не хотел признаваться в этом Митьке. Птичник пустой, заколоченный, но там деревянное крыльцо — все не на голой земле лежать. И оттуда хорошо видны дом и дорога — в случае чего можно убежать. Он оглянулся. Солнце скрылось за уступом берега. Возле камня все еще стояла маленькая фигурка — Митька смотрел ему вслед. Поравнявшись с узким и длинным, как язык, заливом лимана, Юрка пересек дорогу и по берегу лимана пошел к птичнику. Быстро надвигались сумерки, увидеть от дома его не могли.

Птичник уже не был заколочен. Кто-то отодрал и унес прибитые накрест доски на окнах и на двери. Это-то следовало ожидать — досок ни за какие деньги не купишь, а тут их наколотили... Украли не только доски — вместо двух оконных рам зияли пустые провалы. Наверно, скоро сопрут остальные рамы, и двери, и все, что удастся отодрать и унести. Юрка влез в оконный проем. В комнате пахло пылью, мышами и птичьим пометом. Юрка отгреб из угла мусор, поискал, чем подмести, но мести было нечем, он решил, что обойдется и так. Следовало бы нарвать в лимане камыша и осоки, но здесь берега вязкие, топкие, лезть в грязь не захотелось. Он долго сидел в проеме окна, смотрел на дорогу. В уже не различимом в темноте доме зажегся огонек — это у них в комнате зажгли лампу. По дороге ползла цепочка сваренных светляков — шли машины, над переправой стояло холодное синеватое зарево. Надо было решить, куда завтра идти, что делать дальше, но сколько он ни думал, придумать ничего не мог.

С восходом солнца на него накинулись лиманские мухи. Юрка вскочил, вылез из птичника. Вода в лимане была теплая, не успела за ночь остыть. Лицо вроде бы стало не таким распухшим, но притрагиваться по-прежнему было больно. И очень хотелось пить. Вода была только в колодце возле дома. Юрка посмотрел туда и обрадовался — по берегу бежали Славка и Митька. Славка сбе́гает, принесет напиться. Юрка сел на крыльцо, но тут же вскочил и метнулся за угол птичника. По дороге торопливо шел какой-то человек, дойдя до тропки, свернул к лиману. Так размахивает руками только папка. Митька проговорился или он догадался сам?

Недалеко от птичника к лиману сбега́л от самого верха изволока неглубокий овраг. Осенью, зимой стекала по нему дождевая, талая вода, ранней весной обрастал он редкой сорной травой. Сейчас трава уже высохла, пожел-

тела. Юрка, пригнувшись, побежал по оврагу вверх. Время от времени он останавливался и выглядывал. Папка догнал ребят, они вместе подошли к птичнику, обошли его вокруг.

И только теперь Юрка спохватился: корка ковриги осталась в птичнике. Он положил ее на крыльце, когда пошел умываться, а бросившись бежать, забыл... Совсем нетронутая. Он ее берег, боялся начинать, потом захотел пить, и вот... Возле птичника никого не было видно. Спрятался, ждет, когда Юрка прибежит... Дождидайся!

Птичник был так далеко, что стал похож на спичечный коробок. Уже не боясь, что его увидят и догонят, Юрка пошел медленнее и не таясь, во весь рост. Подъем был не крутой, но Юрка запыхался, во рту пересохло и нестерпимо хотелось пить.

Впереди показалась буро-красная черепичная крыша, под ней вросшие в землю, невысокие стены, сложенные из ракушечника. Выгоревший от солнца и непогоды ракушечник был похож на старые белесые кости. Такими же белесыми были плиты известняка, кое-как уложенные в низенькую ограду. Зачем ее складывали, если на всем широком дворе не то что деревца или огорода, не было ни одной зеленой былки? Между пучками жухлой травы то и дело проступал камень. Возле такого же вросшего в землю сарая сохла пирамидка кизяка. Из-за нее выскочил большой лохматый пес и злобно залаял. Юрка попятился, потом увидел, что пес на цепи. Из полуоткрытой двери дома вышла маленькая девчушка, испуганно уставилась на Юрку.

— Эй, слышь! — крикнул Юрка. — Принеси воды напиться!

Девчушка постояла, все так же испуганно глядя на него, потом шмыгнула в дом, дверь захлопнулась. Юрка ждал, с опаской поглядывая на лохматого. Тот злобно бухал, прыгал вперед, но цепь не пускала его, он поднимался на задние лапы, греб воздух передними, метался в разные стороны, пытаясь вырвать цепь. Дверь так и не открылась.

Справа, метрах в ста, под навесом была «копанка» — колодец. Запряженная в постромки лошадь ходила по кругу, над ней вращался большой решетчатый барабан. У длинной колоды кишели буро-грязные овцы. Юрка пошел туда.

Земля была в пыль размолота острыми копытцами, у подтекающей колоды замешана в грязь. Лошадь погонял

пацан меньше Славки, у колодца стоял заросший многодневной щетиной угрюмый дядька. Несмотря на то что солнце уже припекало, он был в выгоревшем брезентовом балахоне и казался таким же буро-грязным, как овцы. Барабан скрипел, на колодезный ворот наматывалась подрагивающая струна толстого троса. Пацан уставился на Юрку, забыв о лошади, но она сама привычно шла по кругу. Чабан оглянулся.

— Здрасьте, дяденька, — сказал Юрка, — можно у вас напиться?

Из колодца выползла деревянная, окованная железом бадья, такая большая, что Юрка запросто мог бы в ней спрятаться. Пацан остановил лошадь, чабан подтянул бадью к краю колодца, опрокинул в осклизлый, поросший в уголках зеленью желоб, вода хлынула в колоду. Чабан достал из висящей через плечо торбы старую медную кружку с облезлой полудой, зачерпнул из ведра, стоящего поодаль, и протянул Юрке. Зубы у Юрки заныли от ледяной воды.

Лошадь снова пошла по кругу, барабан заскрипел, бадья исчезла в колодце, трос, подрагивая, начал разматываться. Зубы ныли, пить уже не хотелось, но Юрка пил и пил — про запас.

— Спасибо, — сказал он, протягивая пустую кружку.

Чабан спрятал ее в торбу. Барабан скрипел и скрипел, трос все разматывался и разматывался, и конца ему все не было — такая глубокая была копанка. Юрке хотелось заглянуть в колодец, но он побоялся, что чабан заругает, и заглядывать не стал.

Овцы напьются, чабан погонит их в степь. Травы там мало, но овцы находят, щиплют и все время идут и идут. И никого нигде нет — только степь, чабан и овцы. И так все время. Папка так рассказывал, он ведь работал чабаном. Папке не нравилось: тяжело и скучно — сло́ва не с кем сказать, а по-Юркиному — совсем неплохо. Ходи себе и ходи. Ну конечно, зимой хуже — и дождь, и снег, но ведь до зимы еще сколько...

— Дяденька чабан, — сказал Юрка. — Вам помощника не нужно?..

Чабан искоса посмотрел на него.

— Ты, что ли? Ты еще не помощник, а нахлебник. У меня своих иждивенцев хватает.

Юрка сел в сторонке на камень. Трос все разматывался, потом бесконечно долго наматывался на ворот. Чабан опрокинул бадью, поставил ее на край колодца, потом от-

стегнул постромки от хомута. Пацан поднял ведро с водой, изогнувшись на сторону для противовеса, взял лошадь за повод и пошел к дому. Овцы отваливались от колодца, сбивались в кишащую грязно-серую массу, тянули в степь. Чабан их не погонял, просто шел следом за ними.

Отсюда буровые вышки были уже отчетливо видны. Над переправой стлалась сизая дымка. А дом, дорога, птичник и лиманный залив исчезли, словно совсем перестали быть, — за пологим увалом простиралась бесконечная голубоватая мгла и незаметно превращалась в небо. Что ж, так оно и есть — для него дом и дорога перестали быть. Юрке вдруг стало отчаянно жалко всего, что осталось там, и страшно того, что ждало впереди. Он вскочил и пошел к буровой.

Вышка росла и росла вверх, но не приближалась, только отчетливее становились ее решетчатые переплетения. Юрка устал, захотел есть и еще больше пить. Он садился отдохнуть, но вскоре поднимался и шел дальше. Сидеть хуже, чем идти: земля раскалена, сверху жгло солнце, а ветер, здесь уже сухой и жаркий, не приносил, как на берегу, прохлады и облегчения. Но не только зной, Юрку гнали жажда и нетерпение. Там есть люди, значит, есть вода. И потом — а вдруг, а может?.. Виталий же Сергеевич говорил...

Вышка упиралась в небо. Надо было запрокидывать голову назад, чтобы посмотреть на ее макушку. Самые большие дома он видел в Евпатории. Куда им... Даже стальные решетчатые мачты с прожекторами и флагами на переправе показались теперь низенькими и маленькими. В дощатом сарае работал двигатель, железная труба, выведенная наружу, постреливала дымком, из-под нее расплывалась черная маслянистая лужица. Извиваясь по земле, к вышке ползли не то трубы, не то кабели. Поодаль стоял маленький домик.

Юрка подошел и осторожно заглянул в окошко. Домик был нежилой, там стояли только стол и несколько табуреток. За столом сидел рыжий парень в очках и в кепке. Он был еще совсем молодой — толстогубый и круглощекий, а борода пробивалась рыжим пухом. Наверно, там была вода, но Юрка не решился войти и попросить — толстогубый сердито хмурился, муслякал потухшую папиросу и что-то быстро писал авторучкой.

Юрка вернулся к вышке. Основание ее было приподнято над землей, к нему вел помост из толстых брусьев.

Дальше Юрка идти побоялся, сел на краешек помоста. Нижняя секция вышки с трех сторон была обшита досками. Справа и слева стояли какие-то машины, барабаны с намотанными толстыми тросами. С самой верхушки на черных промасленных тросах свисал огромный крюк, под ним четырехгранный брус, воткнутый в круглый стол. Брус и стол вращались с такой скоростью, что еле различимы были грани бруса. И над всем висел железный грохот. От этого грохота подрагивал даже помост, на котором сидел Юрка. От грохота, а может, оттого, что хотелось есть, у Юрки разболелась голова. Возле машины стояли двое мужчин в спецовках и ничего не делали, только смотрели время от времени на белые диски приборов. Юрке все больше хотелось пить, но подойти ближе он не решался — пугал оглушительный грохот, и Юрка боялся, что дядьки в спецовках заругают и прогонят его.

Мимо него прошел в вышку рыжий парень в очках. Он тоже стал смотреть на приборы, что-то прокричал, ему прокричали в ответ. Один из мужчин в спецовке вышел, спустился по помосту и остановился возле Юрки, вытирая замасленные руки концами.

— Ты тут зачем? — спросил он.

— Так, — сказал Юрка, вставая. — Посмотреть.

— А откуда взялся, где живешь?

— Там. — Юрка махнул рукой в сторону моря.

— Вот и беги туда, ребятишкам тут делать нечего.

— Я пить хочу, — сказал Юрка, — у вас напиться можно?

— Пойдем.

В домике, где раньше сидел рыжий, человек в спецовке подошел к стоящему в углу пузатому металлическому баллону, подставил стакан и нажал рычажок. В стакан брызнула шумная пузырчатая струя. Юрка проглотил колючую, пузырящуюся воду и протянул стакан снова.

— Кто это тебя так? — спросил мужчина, когда Юрка напился и вытер губы.

— Упал, — сказал Юрка и покраснел.

— Интересно ты падаешь — на все стороны... Ну, дело твое. Беги теперь домой.

— Дяденька, — сказал Юрка, — а мне к вам нельзя? Учеником. Или убирать чего... Я бы все-все делал.

Мужчина внимательно посмотрел на него.

— Что, конфликт дома, и ты, значит, отдал концы?

Юрка потупился и не ответил.

— У нас для ребят работы не бывает. Буровой мастер — видал, в очках? — и тот инженер, с высшим образованием. Ты, если уж так прикрутило, в город подавайся, в ремесленное. Там квалификацию получишь, человеком станешь...

Юрка повернулся к выходу.

— Постой, ты небось есть хочешь? — Юрка смущенно пожал плечами. — На́ вот, у меня завтрак остался.

Отойдя несколько шагов от домика, Юрка развернул газету — между большими кусками хлеба лежали ломтики колбасы. Он решил съесть половину, а половину оставить, но колбаса была такая вкусная, а Юрка такой голодный, что не удержался и съел все. И снова захотел пить. Почему-то дома, когда вода была под рукой, он пил редко и мало, а теперь хотел непрерывно. Возвращаться опять к вышке? Буро-ржавые переплетения ее уже так отдалились, что снова казались голубоватыми. И что там делать? Видно, и Виталий Сергеевич не всегда говорил все правильно и всю правду... «Все это для вас, для тебя...» А на поверку совсем не так. Что ему оттого, что там ищут, нашли или найдут нефть? Это само по себе, а он сам по себе. И на переправе будет то же самое. Вон плывут над ней синие дымки. И там грохочут машины, работают люди. Ну, построят город. А ему скажут: папанам тут делать нечего...

9

Уже давно перевалило за полдень, раскаленная улица была пуста, только в стоячей воде промоины-канавы копошились утки. Спрятавшись за железной цистерной у копанки, Юрка долго выжидал и приглядывался — не покажется ли знакомая фигура. Магазин недалеко от колодца, а в него могли навернуться папка или мамка. Хорошо еще, что колодец стоит на самом выезде из села и единственную улицу его видно напролет. На двери сельмага висел замок, на улице ни живой души. Юрка вышел из-за цистерны, открутил вентиль и припал к трубе. Потом он посидел в тени за цистерной — ноги гудели от усталости, ступни горели. Напившись еще раз, он обогнул задами Ломовку, пересек дорогу и по меже между ячменем и виноградником пошел к морю. В Гроховке опасность наткнуться на папку была еще больше, и Юрка решил прийти туда со стороны моря и когда стемнеет.

Он прошел по берегу до места, от которого до Гроховки осталось километра два, если идти напрямик. Солнце склонилось к западу, но до вечера было еще далеко. Юрка выкупался, лег на горячий песок, чтобы подсохнуть, и, сморенный усталостью, заснул...

— Ой! — загремело над ним.

Юрка вскочил. Рядом стоял Роман Безногий. Юрка сгреб свои одежки и бросился бежать.

— Ты чего, ты чего сдрейфил? — закричал Роман.

Юрка оглянулся и остановился — Роман был один.

— Чего ты как припадочный? — сказал Роман. — Меня боишься?

— Не, — сказал Юрка, — я думал...

На берегу, кроме него и Романа, никого не было. Солнце уже спряталось за уступом берега, вот-вот начнет темнеть. Значит, он долго проспал.

— «Думал», — сказал Роман. — Видно, у тебя ноги быстрей действуют, чем голова, сначала бежишь, потом думаешь.

Роман был совсем или почти трезвый, папки нигде не видно, Юрка начал одеваться.

— Постой, — сказал Роман. — Плавать умеешь? А нырять? У меня закидушка зацепилась, нырни давай...

Шагах в двадцати лежало Романово имущество — пиджак, кошелка и мятый котелок. От воткнутой в мокрый песок короткой палки убегал в море шнур закидушки. Юрка поднял его и, пропуская между пальцами, пошел в воду. Берег здесь оказался приглубый, волна поднялась Юрке до горла, он поплыл, загребая одной рукой, потом набрал воздуху в легкие и нырнул. Если бы не держался за шнур, он, может, и достал бы до дна, но отпустить шнур он боялся — в воде уже было темно, — а добраться, загребая одной рукой, не удалось. Юрка вынырнул, повернул к берегу.

— Не достал? Эх, так его, придется лезть самому...

Роман отстегнул деревянную ногу, разделся и на одной ноге запрыгал к воде. Плыл он красиво и быстро, лучше, чем ходил по земле. Возвращаясь, он на четвереньках вылез на песок, смотал закидушку, снова ее забинул и опять запрыгал на одной ноге к одежде.

Юрка испуганно смотрел на искромсанную багровую культю.

— Что, не нравится? — сказал Роман. — Вот так, браток: был моряк, красивый сам собою, а теперь вечная

слава и полторы ноги... — Он оделся, но, видно, плавая, продрог и зябко передернул плечами. — Выпить хочешь?

Юрка покачал головой.

— Ну и ладно, не приучайся. Все одно я б не дал, самому мало.

Он достал из кошелки бутылку, заткнутую тряпичной пробкой, запрокинул голову и половину мутной беловатой жидкости вылил себе в рот, как в воронку, потом достал кусок хлеба, понюхал и положил обратно.

— Ты что, рубать хочешь? — спросил он, поймав внимательный Юркин взгляд. — На, действуй.

Роман отломил себе небольшую корочку, остальное протянул Юрке.

— А где тебе ногу?.. — спросил Юрка, набивая рот хлебом.

— В Евпатории, в десант...

Он достал бутылку, запрокинул голову и вылил в себя остаток беловатой жидкости.

— У нас курортник утонул, — сказал Юрка. — Помнишь, на «Волге» в подвал приезжал?

Роман посмотрел на него помутневшими глазами и ничего не ответил.

— А ты знаешь, где Сенька-Ангел живет? — спросил Юрка.

— Шоферюга? — Роман кивнул.

— У него тетеньки такой нет, Юливанна называется?

Вместо ответа Роман сказал:

— Слышь, Жорка...

— Да какой я тебе Жорка, когда я Юрка!

— А какая разница? — мутно посмотрел на него Роман. — Ты, слышь, собери давай, чего найдешь, костер зажгем, а то трясет меня...

В наступающей темноте собирать топливо было трудно, да и не бывало здесь никогда ничего путного, так только — палочки, тростник, пересохший кушир. Юрка нагреб ворох такого мусора, Роман ловко и быстро разжег костер, протянул к огню руки. За их спинами сразу стало темным-темно.

— Понимаешь, — сказал Юрка, — он утонул, а она осталась. И где теперь — неизвестно. Семен ее увез.

Роман уже опьянел, лицо у него набрякло, он бессмысленно таращился на огонь и вдруг закричал свою песню:

— Ой, був та й нема...

Юрка поднялся.

— Ты, слышь, принеси еще, мало собрал, — сказал Роман.

Юрка хотел сначала уйти потихоньку — пора было идти в Гроховку, пока там не легли спать, — потом ему стало стыдно: Роман отдал ему весь свой хлеб, а он сбежит. Где ему, одноногому, ходить по песку, собирать топливо...

Всё, что было поблизости, Юрка уже подобрал, теперь пришлось идти дальше. Глаза быстро привыкли к темноте и уже легко различали светлый песок и более темные полосы сора, выброшенного морем. Юрка набрал полную охапку и повернул обратно. Красная звездочка костра, приближаясь, разгоралась все ярче. Юрка стал различать световой круг на песке, сидящего Романа, отблески огня на невысоком глинистом обрыве. И в это время раздался топот скачущей лошади. Юрка бросил топливо, метнулся к обрыву и спрятался за его уступом. Неужели дед дал папке Дочку и тот его выследил? А может, его уже милиция ищет? Нет, милиционер на мотоцикле, у него лошади нет...

Топот оборвался, в световой круг на песке въехал пограничник.

— Кто такой? Зачем костер?

Роман поднял голову.

— Погреться.

— Гаси огонь!

— Ну да, как же!

Пограничник соскочил с коня, сапогами загреб песок раз, другой, догорающий костер задымил и погас.

— Кто еще с тобой? — спросил пограничник.

— Никого, — буркнул Роман, но тут же вспомнил: — Пацан тут один...

— Какой пацан?

— Ну, наш пацан, Жорка Нечаев. На сороковом километре живет...

Пронзительный лучик света рассек темноту, заскользил по берегу сначала в одну сторону, потом в другую. Юрка прижался к глине и затаил дыхание. Он никогда не думал, что карманный фонарь может так сильно и далеко светить.

— Смылся, — сказал Роман, — тебя испугался.

— Ладно, — сказал пограничник и погасил фонарь, — никуда от нас не спрячется. Собирай манатки, пошли.

— А чего я пойду?

— Расскажешь, зачем огонь зажигал.

— Да куда я на одной ноге пойду...

— Не шуми! Ты на службе был, шумарей боялся? И я тебя не боюсь. Иди!

— Так я ж тут живу, я Роман Безногий, меня все знают... И ты меня знаешь!

— Я тебя знаю, — со скукой в голосе сказал пограничник. — А порядок есть порядок.

— Ха, герой, диверсанта поймал!.. Да я за эту землю кровь проливал, без ноги остался!

— То — раньше. А теперь нарушил — отвечай.

— Не пойду!

— Пойдешь... Ну, топай!

Роман, яростно ругаясь, напялил пиджак, поднял кошелку и, увязая деревянной ногой в песке, пошел. Пограничник сел на лошадь, поехал следом. Юрка подождал, пока совсем затихли топот копыт и ругань Романа, вскочил и, зачем-то пригибаясь, побежал от берега.

Теперь уже нечего думать о Гроховке, надо бежать. Подальше от берега, совсем отсюда. Здесь его найдут в два счета. Пограничники — не папка с мамкой, у них и лошади, и мотоциклы, есть, наверно, и ищейки... И как он мог забыть, он же знал, что ночью нельзя на берегу зажигать огни! И Роман знал. Ну, тот спьяну, а Юрка же не пьяный... Сделать ему, может, ничего и не сделают, когда поймают, но уж обязательно вызовут отца, вернут домой...

Юрка добежал до колхозного виноградника и уже шагом пошел между рядами черных в темноте лоз. В случае чего здесь легко спрятаться, а виноградник еще не охраняли — виноград только завязывался.

Виноградник оборвался у грунтовки. Юрка повернул по ней вправо. Слева за дорогой мерцали редкие огоньки Ломовки. По дороге шли к переправе машины, Юрка сторонился, но руки не поднимал — не надеялся, что возьмут, да и денег, чтобы заплатить, не было.

Впереди смутно забелели стены дома и ограда. Юрка

напряженно прислушивался и всматривался. Ни звука не долетело со двора, за мертвенно поблескивающими стеклами окон было темно. Под ноги ему метнулся черный клубок. Он потрепал Жучку по голове, она извивалась и подпрыгивала, норовя лизнуть в лицо. Окна их комнаты тоже были темны. Юрка постоял, глядя на дом, на тамарисковый бугор за ним, где еще недавно ему было так хорошо. Горло сдавило, в глазах стало щекотно. Он отвернулся и пошел дальше. Сзади требовательно и недоуменно тявкнула Жучка.

— Иди домой, — негромко сказал Юрка. — Домой!

Жучка повертела хвостом, побежала к дому. Перед Юркой неясно проступала в темноте дорога, убегающая к синеватому зареву.

Пневматические копры уже не работали, возле них сиротливо горели электрические лампочки. Причальную стенку с покрышками вместо кранцев освещали небольшие прожекторы. И на той стороне не было слышно стука копров, рычания бульдозеров. Посреди промоины стояла залитая светом землечерпалка. От нее шел железный грохот и хруст — отекающие водой ковши, как ступеньки ползущей вверх лестницы, поднимались и опрокидывались. Рядом с землечерпалкой чернела осевшая в воду грязнуха *.

Сзади одна за другой подходили машины. Шоферы глушили моторы, выключали фары и собирались к причалу — покурить, «потрепаться» в ожидании парома. Юрка скользнул в тень и, стараясь не попадать под свет подфарников, пошел с левой стороны к хвосту машинной очереди. В кабине последней бортовой никого не было. Юрка подпрыгнул, ухватился за борт и по колесу забрался в кузов. Он был пустой. Юрка шагнул вперед и лег вплотную к переднему борту, чтобы водитель не мог увидеть его через заднее зарешеченное окошко в кабине. Почти тотчас стенку кабины озарил дрожащий нарастающий свет — сзади подходила еще одна машина. Свет стал пронзительно ярким и погас — машина подъехала и остановилась. Машины подходили еще и еще — Юрка слышал шум моторов, голоса проходивших шоферов. Юрка лежал и думал об одном: только бы добраться до Евпатории. Там его искать не станут, а если и станут, не так скоро найдут, он успеет... О том, что́ успеет,

* Землеотвозная шаланда.

Юрка старался не думать, он попросту не знал. Не знал, куда деваться и что делать.

Голоса шоферов зазвучали снова. В машине открылась и хлопнула сначала одна дверца, потом вторая, в кабине невнятно забубнили, значит, там сидели двое. Юрка еще плотнее прижался к борту. Мотор зарычал, грузовик, заваливаясь на ухабы, пополз вперед, въехал под причальные прожекторы, потом перевалил через сходню на освещенную палубу. Моторы снова были заглушены, но машины подрагивали вместе с палубой от работающих под ней двигателей. Юрке был виден застекленный мостик, фигура капитана в черной фуражке с огромным «крабом». Юрка подумал, что если он видит капитана, то и капитан может увидеть его, сказать водителю, но капитан или не видел Юрку, или ему было наплевать на то, что кто-то лежит в машине, и он следит только за тем, чтобы машины правильно въезжали на паром и съезжали с него.

Машина сползла с парома, дребезжа и подпрыгивая, пробралась через залитую светом стройку, въехала в темноту, на асфальт, и начала набирать скорость. Юрка поднялся и сел в угол, все так же прижимаясь к переднему борту. Море ушло в сторону. Два столба света, покачиваясь, ощупывали дорогу, далеко впереди мелькал красный огонек стоп-сигнала, потом исчез и он. Идущие сзади машины отстали, остались только тусклые звезды наверху, прозрачные щупальца фар и летящий под машину асфальт. Если б так ехать и ехать, хоть всю ночь, хоть круглые сутки, лишь бы подальше заехать...

Впереди замелькали одиночные огоньки, потом целая россыпь. Огоньки множились, разбегались все шире и внезапно утонули в пыли — машина пошла в объезд по грунтовке. Кончился объезд, огней стало больше, они стремительно бежали навстречу и вдруг обступили машину со всех сторон. На вокзальной площади машина развернулась, попятилась и уперлась задними колесами в бровку. Дверцы кабины хлопнули раз и другой. Юрка подождал немного, перекинул ногу через борт и спрыгнул на асфальт. Дом бабушки совсем недалеко: два квартала, потом короткая улочка и тупиковый переулок. На улицах еще людно — уже понаехали курортники, а они тают ся допоздна. В переулке фонарей не было — свет падал только из окон. Юрка вошел во двор. Окно бабушкиной комнаты было открыто, длинный прямоугольник света пробивался через марлевую занавеску. Юрка пошел

прямо к окну и вдруг отпрыгнул в тень — в комнате рассказывала-кричала мамка... Приехала за ним, искать его! Юрка попятился, вышел за ворота и бегом припустил из переулка... А он-то надеялся: бабушка, бабушка... А что бабушка? Она же папкина мать и, конечно, будет с ним заодно. Все они заодно...

В переулке у входа на базар стояла водопроводная колонка. Юрка напился, вдоль трамвайной линии вышел на бульвар, поискал, где бы сесть. Узенькие газоны, огороженные узорными керамическими плитками, были сплошь утыканы цветами, скамейки заняты парами. Они сидели вплотную по три-четыре на скамейке и шептались. Только на одной скамейке сидели двое. Развалившись, расставив ноги в узких черных брюках, откинулся на спинку парень с давно не стриженными волосами. На плече у него, уцепившись обеими руками за шею, висела молоденькая девчонка с подведенными глазами. Оба молчали. В черно-белом ящике на груди у парня громко крякало, хрюкало и выло. Ноги у Юрки подгибались, он сел на самый краешек скамейки.

— Мотай отсюда, — сказал парень.

Он не повернул головы, и Юрка не понял, что сказано это ему.

— Ты что, глухой? — повернулся парень. — А ну, пошел... — и выругался.

Юрка встал. Девчонка потерлась щекой, умащиваясь поудобнее, и опять оцепенела. В ящике хрюкало и выло.

На одной из скамеек пели. Там сидели две девушки и трое парней. Один из них бренчал на гитаре, как на балалайке, и унылым голосом полупел, полуговорил:

— «Ты ваяешь, а что ваяешь — не понимаешь».

— «Я ваяю, — подхватил другой парень, — и понимаю: ягодицы я ваяю...»

Девушки засмеялись.

— Бросьте, — сказал третий парень в очках. — Пародии на дураков и негодяев — пустое дело. Они убеждены, что это не про них.

— Хорошо, — сказал парень с гитарой, — оставим пародии и пойдем спать.

Он поднялся, за ним встали остальные. Юрка бросился к скамейке — боялся, что ее снова займут. На скамью больше никто не садился, другие скамейки пустели

одна за другой, и скоро Юрка остался на бульваре один. Прямо перед ним сияли витрины магазина «Воды — мороженое», где они пировали с Виталием Сергеевичем, за ним проступал в темноте мрачный куб мечети, увенчанный куполом. Юрка оглянулся еще раз и вытянулся на скамье.

Утром дворник принес резиновую кишку, чтобы поливать цветы, и согнал Юрку. Возле булочных стояли фургоны с надписью «Хлеб», из фургонов в магазины носили полные лотки. Юрка старался на них не смотреть. Он снова пошел вдоль трамвайной линии, подальше от базара, от дома бабушки, чтобы не столкнуться с мамкой. На скрещении двух улиц трамвай отвернул влево, булыжная мостовая кончилась, начался гладкий асфальт. Бурые от пыли кусты и деревья чахли по обе стороны жирно поблескивающего асфальта. Справа тянулась бесконечная высокая ограда из ракушечника. Где-то недалеко за ней шумело море. У бензозаправочной станции Юрка постоял, посмотрел, как автомобили гуськом подползали к красным колонкам, долго сосали толстую, обвитую проволокой кишку, сразу повеселев, вышмыгивали с площадки станции и тут же терялись в непрерывной веренице машин, которые, фырча и пришепетывая, неслись по асфальту.

Ограда нефтебазы под прямым углом ушла к морю. Дымчатой полосой оно показалось в проходе между стеной и деревянной сараюшкой. В сараюшке гудел примус. В домике рядом трепались на сквозняке занавески в открытых окнах. За этим домиком виднелись другие, такие же маленькие, приземистые. Конца им не было видно. Ноги у Юрки гудели от усталости, он сел в колючий пыльный бурьян возле ракушечной стены. Прямо по немощеному тротуару в открытый двор въехал серый «Москвич», остановился возле домика. В окне показалась женская коротко остриженная голова, и почти сейчас же на крыльцо вышла улыбающаяся молодая женщина. Хозяин «Москвича» запер дверцы, подергал их и увидел Юрку.

— Эй, пацан, ты тут живешь?

— Нет, — сказал Юрка.

— Ну, все равно. Заработать хочешь? — Юрка готовно вскочил. — Посмотри за машиной, чтобы никто ничего...

Хозяин «Москвича» и стриженая женщина ушли в дом. Из открытых окон долетели их голоса. Голоса звучали все громче, все раздраженнее — там ссорились. Юрка подошел к «Москвичу». Черно-белый номерной знак начинался, как и на «Волге» Виталия Сергеевича, с букв МО — московская... Подошли двое мальчишек, маленьких, как Митька, и уставились на машину. Юрка их прогнал. Больше прогонять было некого, в комнате громко бубнили сердитые голоса. Юрка опять сел в куцей тени, падающей от стены. Хозяин «Москвича» и стриженая женщина вышли на крыльцо.

— Когда ты приедешь опять? — спросила она.

— Не знаю.

— Тогда я уеду!

— Как хочешь.

Дверца машины хлопнула, «Москвич» попятился и развернулся. Юрка вскочил, замахал рукой, но хозяин «Москвича» его не заметил и уехал. Женщина ушла в дом, Юрка пошел дальше.

С левой стороны шоссе появилась арка ворот с надписью «Пансионат». Юрка не понял и подошел посмотреть. За придорожными кустами в два ряда друг против друга стояли разномастные автомобили. Между ними виднелись то палатки, то навесы из парусины, каких-то тряпок и одеял. В машинах или прямо на вытоптанной, пыльной земле лежали развороченные постели. На них валялись или сидели, поджав ноги, полуодетые взрослые и ребятишки. Гудели примусы, коптили керогазы. На растянутых веревочках, кусках проводов сохли рубашки, трусы, полотенца. Вся эта человеческая толчея смеялась, разговаривала, кричала, а, заглушая ее, из круглой кубышки на столбе грохотал металлический голос: «Там, где речка, речка Бирюса, ломая лед, поет-звенит на голоса...» От кустов несло бензином и кухонным чадом.

Юрка перешел снова на правую сторону шоссе. Маленькие домишки пригорода кончились. Под навесом на высоких металлических трубах стояли лежаки, на них, между ними кишели полуголые тела. Дальше вдоль шоссе кустов уже не было, жирная полоса его становилась аспидной, светлела, начинала зеркально блестеть, струиться и исчезала. Между шоссе и морем прямо на песке под нещадно палящим солнцем бесконечной цепочкой вытянулись автомобили, белели, желтели тенты, сновали люди. Юрка повернул обратно.

Под одним из навесов не было лежаков. На высоком каменном помосте, залитом асфальтом, стояли металли-

ческие столы и стулья. Это была столовая, и Юрка подошел ближе.

Люди непрерывно подходили, поднимались по нескольким ступенькам. Одни сразу садились за столы, ели принесенное с собой в сумках, бумажных свертках, другие становились в длинную очередь у раздаточного окошка, ставили на алюминиевые подносы тарелки, которые им совали из окошка, несли их к столам и ели. На столах оставались тарелки с недоеденной кашей и макаронами, куски хлеба. Юрка смотрел на них, глотал голодную слюну, но пойти и взять не решался. Подходили уборщицы, сгребали грязную посуду, хлеб и уносили.

Народу постепенно стало меньше, уборщицы не так торопились уносить, все больше столов было заставлено объедками, и Юрка решился — поднялся по ступенькам, опасливо сел за крайний стол. На него никто не закричал. На одной тарелке в коричневой жиже лежали толстые, в палец, макаронины, по другой была размазана манная каша, на третьей остались полтора кусочка хлеба. Юрка схватил хлеб, подобрал им скользкую кашу. Макароны были недоварены, но Юрка проглотил их не жуя — он спешил, боялся, что прогонят. За другим столом осталась полная тарелка макарон, но Юрка не успел — подошла уборщица и унесла. Неподалеку встала и ушла семья — отец и мать с маленьким мальчиком. Там осталась нетронутой манная каша и несколько кусков хлеба.

Юрка метнулся туда, съел кашу, схватил хлеб и сунул его в карман.

— Ты чего, ты чего суешь? — закричал сзади женский голос. — А ну, вывертывай карманы!

Сидящие поблизости оглянулись. Уборщица засунула руку в Юркин карман и вывернула, хлеб упал на пол. Юрка залился краской и не смел поднять глаз. Он знал, что все смотрят на него — на в о р а.

— Что вам, куска хлеба парнишке жалко? — сказал мужской голос.

— А вы мне не указывайте! — огрызнулась уборщица. — Сначала хлеб, потом ложки утащат, а мы должны отвечать!

— Да ведь он ложки не взял, только хлеб, — сказал женский голос.

— Им и объедков жалко, они потом ведрами таскают, свиней откармливают, — сказал кто-то третий.

— А ваше какое дело? — огрызнулась уборщица. — Свиней тоже кормить надо. Я эти объедки своим горбом зарабатываю.

— Сначала все-таки людей надо кормить, — сказал первый голос.

— Пускай их родители кормют, хулиганов этих. Нарожали, так пускай и кормют!

— Эй, парень, поди сюда!

Юрка исподлобья посмотрел в сторону говорящего. Лысый мужчина в майке сгреб хлеб со своего стола, протянул ему:

— Держи!

Юрка схватил хлеб, мельком заметил рядом с лысым девчушку, которая испуганно смотрела на него, и бросился к выходу.

— И чтоб я тебя больше тут не видела! — закричала вслед уборщица.

Юрка бежал и бежал, пока снова не очутился возле каменной ограды нефтебазы. Карманы вздулись. Восемь кусков — чуть не половина хлебного кирпича, и не черного, а серого, какой мамка лишь изредка привозила из города...

Никто не знал, где находится ремесленное училище. Прохожие попадались все приезжие, шоферы стоящих машин не знали тоже. Юрка встретил двух милиционеров, но их он не спрашивал, а переходил на другую сторону и ускорял шаг, будто торопился по делу. Только перед вечером он отыскал училище. Оно было закрыто.

— Тебе чего? — спросил дворник, когда Юрка подергал запертую дверь. — Никого там нет, на практике все, в Саках.

— А когда принимают? — спросил Юрка.

— В училище-то? — спросил дворник. Ему было скучно сидеть одному, он был рад и такому собеседнику. — Это музыка долгая — осенью принимать будут. Так что ты покуда казакуй, догуливай на свободе. А осенью собирай документы и приходи...

Документы... Какие у него могут быть документы?

Остаток дня он слонялся по улицам, избегая мест, где мог столкнуться с мамкой — вдруг она еще не уехала, — сидел на каких-то скамейках у ворот. Он сунулся было на городской пляж — вход был тут же, с бульва-

ра, — но там не то что протолкаться, некуда было поставить ногу — впритык друг к другу, покатом лежали полуголые люди. Только поздно вечером, когда уже стемнело, Юрка снова пришел на опустевший пляж и выкупался. Здесь он и остался на ночь, на одном из дощатых лежаков. Рано утром его согнала уборщица, Юрка снова поплелся в город.

Остаток хлеба он прикончил утром и скоро снова захотел есть. Еда была всюду, на каждом шагу, россыпи, горы еды... В витринах гастрономов, продовольственных магазинов высились пирамиды консервных банок, лежали штабеля колбас и окороков. Юрка знал, что они не настоящие, сделанные из бумаги или еще из чего-то и разрисованные. Но при взгляде на них Юрка глотал слюну и отворачивался. Это не помогало: еда подвертывалась, лезла, перла ему в глаза. Булочные ломились от смуглых хлебных кирпичей, золотистых белых караваев, обсыпанных сахарной пудрой плюшек. В кондитерской громоздились пачки печенья, лотки с пирожными, стеклянные банки с конфетами. На каждом углу из металлических ящиков продавали коричневые, мятые, похожие на стоптанные детские башмаки, но какие же вкусные пирожки, жаренные в масле... Висела на крюках лиловая, обтянутая стеариновым жиром баранина, говяжьи бока скалили кривые клыки ребер, истекали желтизной куриные тушки, лотки прогибались под ворохами, кучами моркови, редиски, картофеля... И все ели. Непрерывно. Куда бы Юрка ни смотрел, он видел, как за стеклами витрин, окон столовых и домов, прямо на улице, на базаре, на пляже, стоя, на ходу люди жевали и жевали. Завтракали, обедали, ужинали, закусывали, перехватывали, перекусывали, подкреплялись, заправлялись, рубали, лопали, жрали...

Надежды на то, что где-то вдруг он найдет потерянный рубль или даже трешку и наестся досыта, быстро угасли. Никто ничего не терял. Только один раз он нашел почерневшую никелевую монету в двадцать копеек. Юрка послюнил ее, потер об землю, пока она не заблестела, и бросился в хлебный магазин.

— Ты чего суешь? — закричала продавщица. — Думаешь, не замечу?

— А что? — не понял Юрка.

— Это же старая, дообменная! Ишь ты, еще и притворяется! Рано жульничать приучаешься!

Никто не терял денег, не ронял пирожков, не выбра-

сывал хлеба. Юрка пытался заработать. Несколько раз он подходил к женщинам, изнемогающим под тяжестью перегруженных сумок, и говорил:

— Тетенька, давайте я вам поднесу...

Тетеньки прогоняли его или, ничего не отвечая, покрепче перехватывали сумки — боялись, что он украдет. Красть Юрка не умел и боялся.

Спать он пошел снова на пляж, только теперь обошел все лежаки, перерыл урны. В скомканных промасленных газетах были обглоданные кости, окаменевшие на жаре хлебные корки. Он медленно их сосал, чтобы растянуть еду подольше.

Купальщики на пляж приходили спозаранку, чуть ли не вместе с уборщицами, — чтобы занять место. Они тащили с собой одеяла, подстилки и авоськи, сумки, целые торбы, набитые едой. И сразу начинали есть. Толстая, колышущаяся, как студень, тетка села неподалеку от Юрки, раскрыла сумку и начала пихать еду в маленького мордастого пацаненка. Тот отворачивался и кривил губы.

— Ешь, а то вон мальчику отдам! — пригрозила тетка.

Мордастый покосился на Юрку и начал лопать.

Возле входа в булочную стояла морщинистая сгорбленная старуха. Она кланялась каждому выходящему и жалостливо приговаривала:

— Подайте милостыньку, не пожалейте довесочка бедной старухе...

Юрка стал рядом. Почти все покупали целые хлебные кирпичи, круглые караваи, но иногда старухе совали довески, чаще — медяки. Юрка стыдился протягивать руку и кланяться, жалостливо приговаривать не умел. Ему ничего не давали.

Старуха несколько раз оглядывалась на него, а когда рядом никого не оказалось, сердито прошипела:

— Ты чего тут торчишь?

— Есть хочу, — сказал Юрка.

— Булочных тебе мало? Это мое место, я тут кажное утро стою! На́ вот и иди отсюдова...

Старуха сунула ему горсть довесков. Какой это был свежий, вкусный, пахучий хлеб! И как мало его было...

Голова непрерывно болела и вдруг начинала кружиться. Юрка садился, где пришлось, и долго отдыхал. Куда

ему было спешить?.. Пойти к бабушке? Она бы накормила, а потом под замок — и домой... Старуха не то что злая, а строгая, при ней сам папка становился куда какой смирный... Нет уж, лучше так, лучше пускай совсем пропасть, чем вернуться домой, чтобы опять били, а потом еще и смеялись над ним, как он бегал, бегал, а никуда не убежал...

10

Так потянулись дни. Юрка потерял им счет, вернее, вовсе не считал. Все время было наполнено, занято одним — желанием есть. Он все реже вспоминал о том, что произошло там, дома, а когда вспоминал, ему казалось, что это было давным-давно, и только ненависть не слабела — это ведь они довели, сделали его таким...

У него даже выработался распорядок — сначала он шел на автобусную станцию. Там всегда много людей, обязательно кто-нибудь ел и, случалось, недоеденное летело в урну или куда-нибудь в угол... Потом на бульвар, мимо магазинов, особенно хлебных. Клянчить Юрка не научился, но иногда выходящие из магазина роняли довески, поднимать с земли не хотели или стеснялись, их подбирал Юрка. На базаре он старался не смотреть по сторонам, на заваленные лотки и прилавки, смотрел под ноги — раздавленная редиска, оброненная морковка, стручки зеленого гороха — все годилось. Можно было обмыть, а то и так — обтереть и съесть. После базара — вокзал. Из самого здания его гоняли — то носильщики, то сердитые тетки в железнодорожной форме. Но и на площади, у самого вокзала всегда много было народу — сидели на чемоданах, ждали, толпились возле фанерных киосков, в которых продавали пирожки, бутерброды, булочки... Многие покупали на дорогу, от таких поживы не было, некоторые ели тут же, тогда, случалось, перепадало и ему.

Юрка околачивался возле киоска «Продукты на дорогу». Женщина набивала сетку свертками. Рядом стояла маленькая девочка и жевала бутерброд с сыром. Есть ей не хотелось, она перекатывала кусок из-за щеки за щеку, оттопыривала губы. Заметив, что Юрка на нее смотрит, она совсем перестала есть, открыв рот, уставилась на него. Юрка отвернулся.

К вокзалу одно за другим подъезжали такси, по тротуарам и напрямик, пересекая площадь, спешили люди с чемоданами. Очень громко, гнусаво и неразборчиво бубнило радио. В толпе пассажиров мелькнуло что-то знакомое, но Юрка не понял что́ и снова повернулся к девочке. Мать ухватила ее за руку и поспешно повела к вокзалу. У входа снова мелькнуло знакомое. Это было ее платье... Юрка бегом бросился к вокзалу. Вход забил сплошной поток пассажиров. Юрка втиснулся между ними, пытался прорваться вперед, но перед ним была стена, непроницаемая стена — спины, чемоданы, сумки, авоськи. И сзади, со всех сторон его стиснули чужие локти, чемоданы, сумки. Плотный поток прополз через вестибюль, зал, втиснулся в двери на перрон и только здесь стал редеть, растекаться в стороны. Юрка заметался. Во всю длину перрона вытянулся сверкающий лаковыми боками поезд. В открытые узкие щели зеркальных окон выглядывали веселые, улыбающиеся лица, перекрикивались с провожающими, у тамбуров клубились, завивались хвосты пассажиров, уже нашедших свои вагоны, другие спешили вдоль состава, перегибались от тяжести чемоданов, навстречу им спешили другие, озабоченно поглядывали на номера вагонов.

Юрка повернул налево, ринулся в кричащую, суматошную толпу. Его толкали, толкался он сам, не обращая внимания на окрики и жадно шаря глазами. Он добежал до последнего, четырнадцатого вагона. Юливанны не было. Уже не веря и все-таки надеясь, Юрка побежал обратно.

Теперь было легче — последние пассажиры поднимались по ступенькам, проводницы доставали из чехлов свернутые желтые флаги. Вот только провожающие все еще суетились, торчали на дороге, размахивали руками и кричали. Юрка бежал изо всех сил. Проводницы поднимались на ступеньки, оттесняя пассажиров в тамбуры. Юрка добежал до последнего вагона перед багажным, поезд беззвучно тронулся, и тут он увидел ее. Юливанна выглядывала в оконную щель и еле заметно махала кистью руки. Юрка сорвал кепку и отчаянно замахал. Юливанна его не заметила, она прощалась не с ним. Юрка повернул голову. В двух шагах стоял Сенька-Ангел и, подняв руку, прощально покачивал ладонью. Вагоны ускорили бег, колеса защелкали на стыках. Семен повернулся, увидел Юрку.

— А, солдат? — сказал он. — Привет, привет!

— Эх, — сказал Юрка, — уехала, а я не успел...

— Уехала, — подтвердил Семен, — хватит ей тут мучиться... Постой, а ты откуда взялся? — Юрка стесненно пожал плечами. — И чего это тебя так обтянуло? Больной, что ли?

— Не, так... — сказал Юрка. — Я из дому убежал. Совсем.

— Как это — совсем?

— Ну, когда ты с Юливанной приходил, вы как ушли, я им сказал, какие они все гады... Ну, побили меня, я и убежал...

— Постой, так это когда, это ж дней десять назад? Где ж ты все это время был?

Юрка промолчал.

— Понятно. От такой жизни обтянет. Пошли.

Семен привел его в зал с вывеской «Буфет-ресторан». Юрка стеснялся сесть за столик, но Семен потянул его за рукав, он сел, но сейчас же спохватился, снял кепку и сунул ее под себя. В буфете было пусто, только за двумя столиками, уставленными пивными бутылками, шумели раскрасневшиеся мужчины.

— Какая у вас еда есть, чтобы не ждать? — спросил Семен официанта.

— Котлеты рубленые. С макаронами.

— Давайте котлеты рубленые. — Семен оглянулся на Юрку и добавил: — Две порции.

— Лучше просто хлеба... — шепотом сказал Юрка.

— Правильно — и хлеба. Побольше. Ну а мне... — Он что-то пальцами показал официанту, тот понимающе кивнул и ушел.

Юрка, не жуя, давясь, глотал макароны, подталкивал их в рот кусками хлеба. Семен катал хлебный шарик и на него не смотрел. Юрка был этому рад — он стыдился жадности, с которой ел. Котлеты он оставил напоследок и съел, когда подчистил тарелки куском хлеба.

— Ну, заправился малость? — спросил Семен.

— Во! — сказал Юрка и провел большим пальцем по горлу. Ему казалось, что он сейчас лопнет.

Официант поставил перед Семеном графинчик, до половины налитый прозрачной жидкостью, и здоровенную, как стакан, рюмку. В ней поместилось все содержимое графинчика.

— Ну, за хорошую жизнь? — сказал Семен.

Он выцедил все не переводя дыхания, поморщился, намазал горчицей корочку и зажевал. Юрка во все глаза смотрел на него.

— Ты ж не пьешь! — сказал он.

— А ты и в самом деле думал, что я — ангел? — усмехнулся Семен. — Я только местами... Ну, пошли, больше тут делать нечего.

Юрка украдкой оглянулся по сторонам, сгреб оставшийся на тарелке хлеб и запихал в карман. Семен сделал вид, будто не заметил.

— Ну, чего ты ел — по тебе видно. А спал где?

— На скамейках, — сказал Юрка, — или на пляже, на лежаках.

— Лихо!.. А зимой тоже на пляже будешь?

Юрка не ответил.

— Я в ремесленное хотел, — помолчав, сказал он. — Только там — осенью. И документы нужно. И в интернат документы...

— М-да, — сказал Семен, — все до этих клятых бумажек приклеены. Как мухи до липучки.

Они остановились возле Семенова «газона», уткнувшегося задними колесами в бровку тротуара.

— Садись, поехали, — сказал Семен, открывая дверцу.

— Куда? — спросил Юрка и попятился. — Я домой не поеду.

— Я тебя домой не зову. Ко мне поедем. Там что-нибудь придумаем.

Юрка повеселел и полез в кабину.

— А ты не боишься ехать? — спросил он. — Ты же выпивши...

— У нас там инспекторов нет, обнюхивать некому. Да и что я, пьяный, что ли? Подумаешь — сто пятьдесят со зала выпил...

«Газон» медленно обогнул привокзальную площадь, отвернул вправо на черноморскую дорогу.

Юрке не хотелось спрашивать, он надеялся, что Семен скажет сам, но Семен ничего не говорил, и Юрка не удержался:

— Как там... у них?

Он уже не хотел, не мог сказать «у нас».

— Не знаю, не заезжал, — ответил Семен.

— Слушай, — вспомнил вдруг Юрка. — У нее же не было денег, у Юливанны! Кто ж ей дал?

— Не все ведь сволочи, есть и люди, — сказал Семен.

— Ты?

Семен промолчал. Преодолев бугристый объезд, «газон» мягко покатил по асфальту. От давно не испытанной сытости Юрка опьянел и обмяк, привалился к спинке и заснул. Он проснулся только у переправы, когда «газон» запрыгал на выбоинах. Еще в полусне он вспомнил все, почему-то ему почудилось, что спрятанный хлеб потерялся, он испуганно ухватился за вспухший карман и окончательно проснулся. Семен покосился на него, но ничего не сказал.

Больше Юрка не заснул. Он напряженно всматривался в растущий, приближающийся дом и, хотя никого не увидел, когда машина поравнялась с домом, сполз с сиденья и пригнулся.

— Герой, — сказал Семен, — там и нет никого.

Юрка пристыженно вполз обратно и оглянулся. Ни души не было видно ни во дворе, ни на дороге.

Семен въехал прямо в свой двор, ворота которого стояли нараспашку.

— Шагай, шагай! — подтолкнул он заробевшего у двери Юрку. — Старуха, ты где?

В кухне никого не было, из комнаты никто не откликнулся.

— Небось на огороде или у соседки, — сказал Семен. — Посиди.

Юрка сел на табуретку. Семен ушел. Кухня была как кухня, и комната, дверь в которую была открыта, тоже. Ничего особенного. Кровать с блестящими шишками, стол, накрытый клеенкой. Только чисто. Очень чисто. Пол так блестит, что по нему страшно и ходить. Не то что у них...

В кухню вошла женщина, вслед за ней Семен. Юрка вскочил и сказал:

— Здрасьте, тетенька.

— Здравствуй, — безразлично ответила женщина, но Юрке показалось, что ответила она неприязненно. Почему Семен называл ее старухой, если она совсем еще не старая?

Должно быть, Семен уже все рассказал жене про Юр-

ку, она не удивилась и ни о чем не спрашивала, молча собрала на стол.

— Садись, порубаем, — сказал Семен.

— Так и же ж сытый, — застеснялся Юрка. — У меня уже и места нет...

Место нашлось. Тем более что холодный борщ, забеленный кислым молоком, был очень вкусный.

— Ты энзе-то вытащи, теперь уже не понадобится, — сказал Семен.

Юрка покраснел и выложил на стол зачерствевшие в кармане куски. Он хотел есть борщ с ними, чтобы не брать хлеб из миски, но жена Семена бросила их в большую корчагу возле печи.

— Раскладушку еще не убрала? — спросил жену Семен. — Вот и ладно. Ложись, солдат, спи, а я пойду к начальству.

Юрка разделся и вытянулся на раскладушке. Какая же она была мягкая и удобная после скамеек и лежаков...

Жена Семена взяла его рубашку, осмотрела и сказала.

— Скидай трусы, небось не чище.

— Да ну, тетя, не надо, что вы будете...

— Скидай, скидай без разговоров!

Когда Юрка проснулся, солнце было высоко, на спинке стула висели чистые трусы и рубашка.

— А когда вернешься? — спросила в кухне жена Семена.

— За день не обернуться, — ответил Семен. — Дня два, не меньше, а то и три... А, солдат, вовремя — надо завтракать и ехать.

Юрка всласть наелся вареной картошки, заправленной салом.

— Дело такое, — сказал Семен, — поскольку ты домой не хочешь, тебе и здесь быть нельзя — дознаются в два счета. Верно? — Юрка кивнул. — Посылают меня в Симферополь. Никогда не был? Поедем вместе. Город что надо, куда Евпатории... А по дороге завернем в совхоз «Виноградное». Там у меня сеструха живет. Муж у нее — сукин сын: два года назад сбежал, оставил ее с ребятенком. Ему пятый год, а детсада нет. Идет на работу, его — под замок. А он мало чего натворить может... Понимаешь? Ну вот, поживешь у них. Она небось рада будет, что за Васькой есть кому присмотреть...

— Ой, — сказал Юрка, — да я все-все буду делать! Что ни скажет — сделаю...

— Ну, там посмотрим... Надоест, захочешь домой — отвезу. Нет — время пройдет, они тут поостынут, я подход найду, выправим тебе документы, там и учиться можно, школа есть. Они, думаю, согласятся; им-то что: одним ртом меньше... Ну как, подходит?

— Спрашиваешь! — сказал Юрка.

— Тогда — по коням! Только сначала на бригадный двор заедем...

На бригадном дворе Семен остановил машину, ушел в кузницу. Юрка остался сидеть в кабине.

Возле входа в подвал уже стояли трое мужиков. Пришла горбатая Алка, открыла дверь, и мужчины спустились в подвал вслед за ней. Припадая на деревянную ногу, прошел Роман Заруба.

— Роман! Дяденька Роман! — закричал Юрка, высунувшись из кабины.

Роман приостановился и оглянулся.

— Отпустили тебя, ничего не сделали?

— А на черта я им сдался?.. — На лице Романа появилось подобие улыбки. — Еще и домой отвезли. На машине...

Роман заковылял дальше и снова приостановился.

— Слышь, Жорка! Как там твой старик?

— А что?

— Да мы тут здорово врезали с ним, так он вроде чуть не перекинулся...

Он подождал ответа, но Юрка не знал, что ответить, и Роман заковылял дальше, к подвалу.

Семен принес на плече заново обтянутую рессору, закинул ее в кузов. «Газон» миновал кладбище, виноградник и выехал на шоссе. Сердце Юрки екнуло. Все было, как тогда, когда они ехали в Гроховку с Виталием Сергеевичем: Дочка, запряженная в телегу с бочкой, обмахивалась хвостом, мамка и Федор сгребали лопатами гравий, дед покуривал, свесив ноги в кювет. Не было только папки и Виталия Сергеевича...

Теперь уже Юрка не стал прятаться, но на всякий случай отклонился от окна. Мамка выпрямилась и безучастно посмотрела на машину. Юрку она не увидела, но сам Юрка успел рассмотреть ее лицо и поразился, как оно вдруг, и без того худое, еще больше осунулось и постарело. Это, наверно, оттого, что папка заболел. Так что ему, первый раз? Он же всегда после выпивки болеет. Отлежится и опять начнет... А если он лежит, может, даже спит, это Юрке на руку...

— Ты останови около дома, — сказал он Семену, — я подопью Славку, чтоб он хоть куртку вынес, а то что я в одной рубашке...

— Правильно, — кивнул Семен, — куртка не помешает.

На дедовой двери висел замок, видно, Максимовна ушла в Ломовку к сыну. В холодке, стоя спиной к дороге, стирала Нюшка. Дверь их комнаты была распахнута. Семен остановил машину, Юрка спрыгнул с подножки. Жучка бегала по ограде, гремела цепью и скулила. Опять никто не налил ей воды и не дал поесть... Эх, пацаны!

На берегу, у самой кромки воды, слепящей солнечными зайчиками, бегали три крохотные фигурки. Пошли купаться. Как же теперь добыть куртку? Бежать к ним, потом обратно... А если Семен не захочет столько ждать? Юрка оглянулся на дорогу и решительно повернул во двор, к дому. Не удастся, так убежит без куртки, папке его не догнать... Он заглянул в открытую дверь. Папкина постель была смята, но пуста. Сидит где-то на солнце или тоже пошел купаться? На всякий случай Юрка неслышно, на цыпочках поднялся на две ступеньки. Из комнаты не доносилось ни звука. Юрка шагнул через порог, и внутри у него все оборвалось. Папка сидел в углу за столом и, высоко подняв голову, смотрел на него.

Юрка хотел броситься обратно, сломя голову бежать на дорогу и не мог, ноги приросли к полу, будто папка своим взглядом пригвоздил его к месту. А папка не закричал, не вскочил, продолжал так же пристально, напряженно смотреть на Юрку, только руки его непрерывно шевелились. Они торопливо скользили, шарили по столу. А на столе ничего не было, только лежала пачка «Памира». Папка нащупал ее, засунул пальцы внутрь и скомкал — она была пустая. Он хотел отбросить, но снова развернул, лихорадочно пошарил внутри и бросил в сторону. И все время, не отрываясь, смотрел на Юрку напряженным, неподвижным взглядом... Почему же он не кричит, не бросается его бить? Или уже не сердится, все забыл? Как же, забудет он...

Папка отодвинул стол, все так же высоко задрав голову, опустился на четвереньки и начал шарить по полу, искать. Юрка догадался: он ищет сигарету. Но что ее

искать, если вон она лежит прямо на глазах возле плинтуса, а на второй полке этажерки на книжках лежат две пачки «Памира»?..

Юрка ничего не понимал, но почему-то ему стало невыносимо страшно. Он попятился, половица скрипнула.

— Кто там?

Папка вскочил и прислушался, только смотрел он теперь не на Юрку, а в сторону, на стену.

— Славка, Митька! — окликнул папка. — Я тут сигарету уронил, никак не найду...

Юрка стоял затаив дыхание, боясь еще раз шевельнуться.

Задрав голову, вытянув перед собой руки, папка пошел, но не к Юрке, а туда, куда смотрел, — к стене, наткнулся на табуретку, она с грохотом упала, папка остановился.

— Ребята, где же вы? — сказал папка. Голос его стал какой-то отчаянный, чуть не плачущий.

Сам не зная почему, Юрка вдруг подошел, поднял сигарету и протянул отцу.

— На́.

Отец обернулся и, глядя на Юрку, спросил:

— Это ты, Слава?

— Нет, это я, — сказал Юрка.

— Сынок... — Голос папки задрожал. — Ты вернулся, сынок...

Он пошел к Юрке, вытянув руки. Юрка подсунул ему сигарету, но отец ее тут же упустил, ухватил его за руку. Он не схватил, он ухватился за Юрку. Вот так же хватался за него Славка, когда Юрка учил его плавать, а тот боялся утонуть и отчаянно цеплялся за него...

Отец одной рукой держался за него, а другой лихорадочно ощупывал, гладил его локоть, плечо, голову.

— Сынок, ты пришел... А я вот не вижу. Совсем ничего не вижу. Даже света...

Он держался за Юрку, а смотрел поверх него, куда-то в пустоту.

— Может, еще вылечат? — сказал Юрка.

— Нет, — сказал папка. — Мать возила меня и в

Черноморск, и в Евпаторию. Врачи говорят уже всё, конец... Я знаю. Мне еще в госпитале военврач сказал: чуть что, и конец...

Из широко открытых глаз его потекли слезы, застряли в многодневной щетине на подбородке, нижняя челюсть задрожала. И у Юрки тоже почему-то задрожала нижняя челюсть. Он сцепил зубы, подвел отца к табуретке.

— Садись.

Он потянул руку, отец еще отчаяннее вцепился в нее.

— Куда ты?

— Пусти, я тебе сигарету дам.

Он подал сигарету, нашел спички. Отец напряженно прислушивался к его шагам, только когда Юрка поднес зажженную спичку, немного успокоился и жадно затянулся.

— Сиди, — сказал Юрка и пошел к двери.

— Сынок! Куда ты, сынок? — закричал папка.

Юрка спустился с крыльца. На мелководье, расплескивая солнечные зайчики, взапуски бегали три крохотные фигурки. Пацаны... Теперь их тут и вовсе замордуют, затуркают. Будут расти, как бурьян, без призора... На мамку теперь все. А что она сможет? А отец так и будет мыкаться в четырех стенах, вытянув перед собой руки, натыкаясь на все и падая...

Он шел к дороге, и каждый шаг давался с трудом, будто он без роздыха шел целые сутки или надел, как водолаз на переправе, свинцовые башмаки.

Семен перегнулся со своего сиденья, распахнул дверцу.

— Что, не дает? — спросил он.

— Он не видит, — сказал Юрка.

— Чего не видит? — не понял Семен.

— Ничего не видит. Совсем. Ну, ослеп он. Понимаешь?

У Семена приподнялись брови, он тихонько присвистнул.

— Вот это да... — Он помолчал. — Водочка?

Юрка пожал плечами.

— Ну и как ты решаешь?

— Понимаешь, на мамку теперь все... И пацаны... И он, слепой...

— Раздумал, значит? — Семен, прищурясь, посмот-

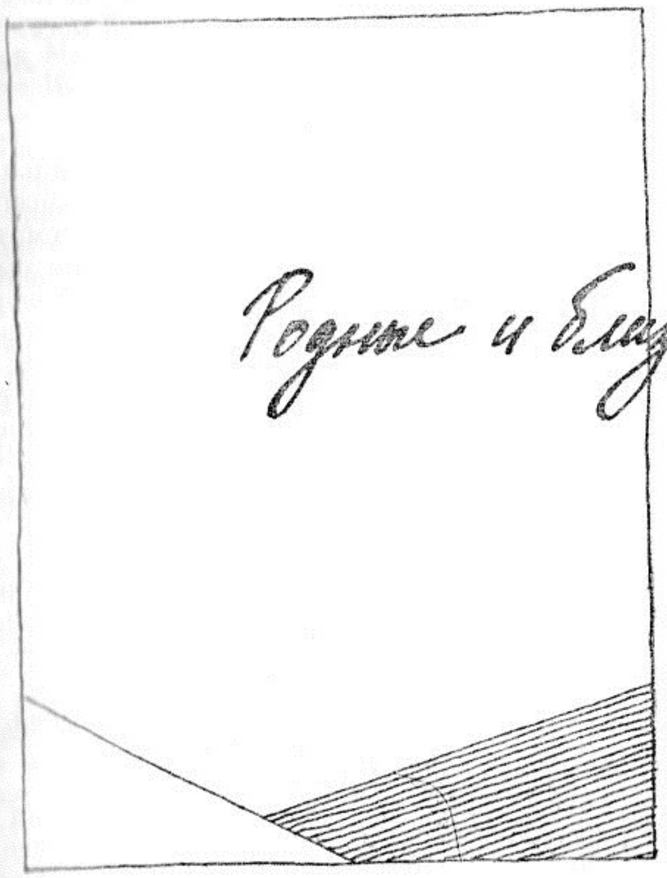
рел на побелевшую от зноя дорогу. — Что ж, видно, правильно... Тогда — привет. На обратном пути заеду.

Он захлопнул дверцу. Стартер зарычал, машина тронулась с места. Сзади, грохоча и подскакивая, подлетел самосвал, обогнал Семенову машину, за ним пролетел второй, потом еще и еще. Машины мчались, рявкали сигналами, подгоняя друг друга, и нельзя было понять, то ли они догоняют что-то и никак не могут догнать, то ли убегают от чего-то и боятся, что убежать не смогут. Они мчались все быстрей и быстрей, и все мимо, мимо...

Юрка повернулся и пошел к дому.

1965—1966 гг.

Родные и близкие



повесть

Светлой памяти
Веры Мироновны Дубовой посвящаю
Автор

Шевелев грохнул кулаком по столу.

Стало так тихо, что безмятежное тиканье будильника показалось зловещим стуком метронома во время воздушного налета. Теперь все отвернулись от Димки и смотрели на него, Шевелева, а он молчал и смотрел на сына.

— Так уже было... однажды, — с трудом проговорил он. — Только ты, недоучка, этого не знаешь. Однажды отец, которого звали Ноем, собрал урожай на своем винограднике, выпил вина и заснул в шатре... А его сын указывал братьям на спящего отца и глумился над ним...

Шевелев поднялся. Идти ему было еще труднее, чем говорить, однако медленно и грузно он пошел к Димке.

— Ты... ты что? — Димка отступил на шаг.

Шевелев подошел к нему вплотную.

— А звали этого сына Хамом, — сказал он и, не размахиваясь, резко хлестнул его по щеке так, что голова Димки дернулась. Шевелев ударил по другой щеке, и голова снова дернулась.

Глаза Димки округлились, лицо залилось краской.

— Ты сошел с ума... — проговорил он.

— А теперь пошел вон... Вон, я говорю!

Он снова шагнул к Димке. Тот дико метнул взгляд на сидящих за столом, выбежал и с громом захлопнул дверь.

— Ну, знаешь, — сказал Борис, — это переходит всякие границы...

— Ага... Границы переходит? Уходи и ты!

— Так нельзя, отец! Мы же не маленькие дети! И в такой день...

Шевелев распахнул дверь и стал у косяка, ожидая. Первой, стуча своими платформами, выскочила холеная Борисова кобыла. Для нее и траур был поводом расфуфыриться. Следом за женой пронес себя оскорбленно надувшийся Борис.

— Извини, Матвей, — сказал Шевелев.

Устюгов понимающе кивнул и, уходя, тронул его плечо рукой, не то успокаивая, не то прощаясь.

— Надо посуду помыть, — сказала Зина, — я сейчас.

— Не надо! — с нажимом сказал Шевелев.

Стекла Зининых очков брызнули ледяными искрами.

— Ну и сиди здесь как сыч один, — негодуя, сказала она и прошмыгнула мимо.

Сергей тоже встал:

— Мне что, ночевать к Борису поехать?

— Как знаешь.

— Ладно, видно будет. Пока пойду пройдусь.

Затворяя дверь, Шевелев увидел, что у него трясутся руки. Следовало все убрать, хотя бы отнести на кухню грязную посуду с остатками поминального ужина, но он не стал ничего убирать, только сорвал с зеркала простыню — она раздражала, как бельмо. Дурацкий предрассудок... Это Зинаида все старалась, чтобы было как у людей, чтобы все как полагается...

Ему стало душно. Он вытер вспотевший лоб и открыл балконную дверь. В комнату ворвался всегдашний гул.

Этот гул с самого начала раздражал Шевелева, и однажды он пожаловался Устюгову. Тот осклабился своей улыбкой сатира, отчего по лицу его привычно зазмеились глубокие морщины.

— Ну, дорогой мой, это ты напрасно! По моему мнению, звук весьма назидательный. У меня на шестнадцатом он еще явственнее. Вероятно, правильнее всего было бы сказать, что сама природа освистывает бетонные коробки, дело рук своего незадачливого венца творения. Но это было бы похоже на бесплодное критиканство... Поэтому, следуя за журналистами, которые любят выражаться красиво и торжественно, считай, что ты слышишь поступь НТР, величавый ход самого времени. Хотя, признаться, сам я тоже не чувствую ничего величавого в этом довольно противном завывании...

Раздражал Шевелева не только гул. Ему вообще не нравилась новая квартира на двенадцатом этаже. Конечно, здесь были все удобства, все по-современному — горячая вода, мусоропровод и все такое. И все-таки «там» было лучше. Не только потому, что «там» был дом, где он родился и вырос, где прошла большая и, наверно, лучшая часть жизни. Это само собой. «Там» вокруг жили люди, которых он помнил и знал, сколько знал и помнил самого себя. «Там» был большой общий двор для нескольких домиков таких же ремесленников и работяг, каким был отец. Когда-то их разделяли заборы, в гражданскую войну все заборы пошли в топку, а больше их уже не ста-

вили — привыкли обходиться так. Поэтому двор был огромен, как пустырь, по нему носилась горластая ватага ребятишек. Случалось, и дрались, и безобразничали, но они всегда были перед глазами, всегда можно было их хотя бы на время утихомирить, загнать домой, в крайности тут же, не сходя с места, поучить уму-разуму. Как ни были заняты хозяйки своими заботами и нескончаемой женской работой, всегда находилась минутка, чтобы пожаловаться на нехватку того или сего, осудить соседа, который начал слишком часто заглядывать в рюмку, похвастать редкими обновами. По вечерам двор служил клубом для отцов. Безмозглый «козел» тогда еще не был в таком ходу, люди предпочитали разговаривать друг с другом, а не стучать костяшками.

Двор даже казался красивым, хотя, в сущности, ничего красивого в нем не было. Пустырь и пустырь. Три беспорядочно разбросанных дерева, самодельные, на врытых чурбаках, скамейки — вот и все радости. Зимой наносило сугробы, весной и особенно осенью стояла липучая, вязкая грязь, летом каждый порыв ветра вздымал пыль, окурки, всякий сор кружил по двору и швырял в окна.

Здесь до двенадцатого этажа сор не достигал. Здесь не было и двора, а большие промежутки между домами были безлики и пусты — их сплошь занимали одинаковые газоны, аккуратно разлинованные асфальтовыми дорожками. Дети здесь не играли и не бегали — дворники ругали и гоняли их, чтобы не тонтали газонов, пока не отучили. Да все равно с шестнадцатого или даже девятого этажа своего Алешку или Витьку не разглядишь, до него не докричишься, следом за ним не побежишь. И дети постепенно уходили из-под родительского надзора — где-то бегали, играли, и у них начиналась своя, отдельная жизнь. И у взрослых тоже.

Им еще повезло. Весь их квартал объявили подлежащим срочному сносу, чтобы освободить место для постройки института. Горевать в общем-то не стоило. Старые, неказистые домики и домишки места занимали много, а жилья было мало. Тесно жили. Сначала никаких норм площади на человека не существовало, потом нормы появились, но жилплощади от этого не прибавилось, прибавлялось только население — женились, плодились и ютились как придется. Однако кое-кто пытался протестовать, жаловаться. Не помогло. Решение было спущено свыше, стройка института была срочной, и квартал снесли. Всех жителей скопом переселили в только что отстроенные дома на Русановке. Так и получилось, что бывшие соседи и на новом месте оказались соседями, иногда даже более близкими — через лестничную площадку, через этаж или подъезд. Только это не сблизило, а отдалило друг от друга. Не стало двора — места постоянных встреч и неторопливых бесед. Теперь сталкивались только случайно, на ходу — в гастрономе, булочной, у подъезда. С грузом в руках или в скоростном лифте много не наговоришь. «А, сколько зим!» — «Как жизнь?» — «Нормально». — «Ну, привет!» И каждый спешил в свою сторону, в свою теперь уже не коммунальную, а отдельную клетку. Так постепенно отчуждались, отдалялись соседи от соседей, друзья от друзей, дети от родителей...

Единственное здесь хорошо — неоглядный простор. Он разверзался сразу за балконом, через всю Дарницу, левобережную низину островов и протоков вплоть до высокого коренного берега, который отсюда не казался ни крутым, ни высоким. Десять-пятнадцать лет назад с Петровской аллеи здешние места виделись перемежающейся песчано-зеленой пустошью, которая пепельной дымкой уходила за горизонт. Теперь все пространство было аккуратно выложено бесчисленными белыми кубиками, прямоугольничками домов. Кварталы, как шеренги, выглядывали друг из-за друга, и даже горизонт стал ломаной линией многоэтажных и высотных силуэтов. По вечерам все шеренги вспыхивали мириадами, сплошным половодьем огней до пределов, каких никогда не достигало настоящее весеннее половодье. Впрочем, после того как выше Киева зачем-то построили электростанцию-перевертыш, не стало и прежних половодий. Водохранилище то накапливало воду, то выпускало...

Шевелев вдруг ужаснулся самому себе. Что это такое?! Только что схоронил жену, набил морду сыну... Черт с ним, с сыном, от него не убудет... Но ведь умерла Варя! Варя умерла!.. А у него в голове какая-то собачья труха — старый двор, соседи, дома, огни, до которых ему нет никакого дела, будь они прокляты... И вообще — до чего может быть сейчас дело, если умерла Варя! Умерла!.. А он, старая скотина, стал бесчувственным поленом или, может, просто спятил?

Сердце будто споткнулось, дыхание перехватило. Ну вот, пожаловала родимая... И почему такое гнусное название — грудная жаба? Неужели люди на самом деле верили, что в груди сидит какая-то жаба и душит чело-

века? А в груди ничего нет, даже сердце не болит, только горло сжимает все туже и дышать все труднее. Должно быть, при этом от натуги округляются, вытаращиваются глаза, и Варя всегда ужасно пугалась: ей казалось, да и все так считают, что это от страха смерти. А он никакого страха не испытывал. Просто становится все труднее дышать, вот и все...

Вцепившись в подлокотники плетенного из лозы кресла, он широко открытым ртом с натугой, со стоном и хрипом втягивал воздух. Глотки становились все меньше и короче. Еще минута-другая, и не хватит больше сил ни вдохнуть, ни выдохнуть... И нет рядом Вари, нет никого, кто бы заметался в панике, бросился вызывать «Скорую»... Может, и лучше, что никого рядом нет, никто не увидит?.. В конце концов, днем раньше, днем позже — когда-то ведь это случится... А тогда будет почти как в красивой сказке, читанной в молодости: они жили долго, счастливо и умерли в один день... Если по правде, то не так уж долго и не слишком счастливо. Ну, хотя бы последнее условие будет почти соблюдено. Почти... Всегда и во всем только «почти», ничего полностью и до конца...

В кармане лежали тубы с валидолом и нитроглицерином, но он не сделал попытки достать их. И все равно не состоялось даже последнее условие сказки — дышать стало легче. Все тише стали хрипы и свист при вдохе, пока не исчезли совсем. Сами собой расслабились пальцы, судорожно сжимавшие подлокотники. Все. Пока пронесло...

Вот только страшно пересохла глотка. Шевелев ощущал, что горло и даже язык стали шершавыми от сухости, но сил, чтобы подняться и выпить воды, не было, и он сидел в оцепенелом бездумье, глядя на бесчисленные мережи освещенных окон, которые начали уже заметно редеть.

Нет, он не спятил и не превратился в полено. Так уже бывало прежде, когда раздражалась катастрофа. Солдат на войне все время под прицелом. В любой миг — шальная пуля, снаряд, осколок, и человек переставал быть, не успев ничего почувствовать и подумать. Совсем другое, когда не внезапно, вдруг, а явственно и отчетливо ты видишь свою смерть, знаешь, что от нее не увернуться и не скрыться, она неотвратимо надвигается на тебя, и каждый твой шаг — шаг ей навстречу... Так было в злосчастном сорок первом, потом в сорок четвертом. И тогда тоже охватывали, наступали не

страх, не паника, а какое-то оцепенение чувств, душевная немота. Черт его знает, должно быть, это какая-то защитная реакция организма, что ли?.. Потом приходили и ужас, и отчаяние, боль обо всем, что было, и обо всем, чего не было и уже никогда не могло быть, не будет, потому что не будет его самого... Но это потом, а сначала думалось не об этой неизбывной, непоправимой беде, а о чем-то несравненно менее важном или даже совсем неважном, чтобы — пусть на самое короткое время — отодвинуть, заслониться от того, на что обречен и от чего спасения нет и быть не может...

В комнате послышалось осторожное звяканье посудой. Вернулась Зина? Вряд ли, у нее коротких обид не бывает. Недели две теперь будет разжевывать оскорбление... Значит, вернулся Сергей. Молодец, к Борису все-таки не поехал. Ну что ж, хотя бы один из троих...

Верхний свет в комнате потух. Шевелев посидел еще, чтобы дать Сергею время уснуть. Однако в комнате Сергея не оказалось. Значит, поставил себе раскладушку в кухне. Постель на тахте была приготовлена, над ней у изголовья горела настенная лампочка. Рядом, на тумбе, стоял стакан чая.

«И об этом не забыл», — растроганно подумал Шевелев и жадно выпил холодный чай. Может, в самом деле лечь? Двое суток без сна и все время на ногах... Но он тут же понял, что сна не будет, а начнется невыносимая мука воспоминаний, и снова вышел на балкон.

Погасли аккуратные мережи окон в жилых домах, исчезли сдвоенные светляки автомашин, остались только поредевшие пунктиры уличных светильников. В их зеленоватом холодном свете безжизненные прямоугольники кварталов напоминали какой-то нелепо громадный макет. Да, именно макет, какие так любовно лепят теперь они, проектанты. Виды с птичьего полета... А люди смотрят на дома не с птичьего полета, а с земли, по которой пока не разучились ходить. Должно быть, поэтому такие красивые в макетах проекты превращаются в унылые, наводящие тоску коробки, когда становятся домами...

Господи, да что ему до этих коробок и проектов?! Ага, дело не в них, конечно. Дело в предположениях, ожиданиях и в том, во что они обращаются потом. О коробках пускай думают архитекторы. С него хватит сыновей. Вот три сына. Сколько было радости, восторгов, какие были чаяния и надежды! Сбылись? Нет. Ни одна. Начать с то-

го, что ни один не похож на него самого. Ну, это, положим, беда небольшая... Не такой уж он образец для подражания. В юности, как водится, были планы и мечтания. Не то чтобы честолюбивые — нет, честолюбцем он никогда не был... Тщеславие? Пожалуй, случалось. И его ненадолго хватало. В общем, мира не потряс и пороха не выдумал. Заурядный инженер в заурядной проектной конторе. Вот и все. Только, может, и достоинств, что никогда не пыжился, не корчил из себя фигуру, какой не был. В общем, как принято говорить, обыкновенный, средний человек. Не всем быть гениями и даже талантами. Они редки, таланты-то. Много ли он встретил талантов за свою жизнь? Раз, два и обчелся... Так что ребятам он не был примером и образцом. И что вообще за чушь, будто дети должны повторять своих родителей, быть на них похожими?! Но как могло получиться, что они и друг на друга не похожи? Если б не фамилия и некоторое внешнее сходство, можно подумать, что они вовсе и не братья — ничего общего, ничего похожего. Как, почему это произошло?

— Ты так и не прилег? — Сергей стоял в распахнутой двери уже одетый, с еще мокрыми от душа волосами.

— Не могу. Я, должно быть, тут сидя подремал.

Он видел зарождение и разлив утреннего света, первые отблески солнца на Лаврской колокольне, первые игрушечные автомобильчики, побежавшие по игрушечно-макетным улицам, а потом уже непрерывные их вереницы. Он видел и не видел ничего... Прошлое — и давно минувшая юность, и наступившая потом зрелость, все мимолетные радости, все беды, несчастья, по каким волокла его судьба, характер или обстоятельства, и прошлое совсем недавнее — все это обступило сразу, отодвинуло и заслонило то, что было перед глазами.

— Пойдем позавтракаем. Я там соорудил из остатков.

— Ты ешь, мне не хочется. Я чаю только выпью.

— Ну хоть что-нибудь проглоти. Нельзя при такой язве оставаться с пустым желудком.

— Ладно, пойдем кормить язву...

Кусок холодного мяса был похож на лепешку из отрубей, какие довелось есть в детстве во время голода.

— Я — в Аэрофлот, — сказал Сергей, — попробую взять билет на завтра. И на почтамт зайду.

— Уже на завтра?

— Надо. И чем я могу тебе помочь?

Шевелев покивал:

— Ничем, разумеется. Ты только долго не шатайся. Надо бы все-таки поговорить.

— У меня к тебе тоже разговор есть. Я по-быстрому.

Вернулся Сергей с кастрюлей в авоське и, улыбаясь, поставил ее на стол.

— Это еще что?

— Тетя Зина. Говорит, стояла в подъезде не меньше часа, ожидала соседей, чтобы передать. Бульон или что-то в этом роде. Для твоей язвы. А ты заботницу топчешь.

— Такую затопчешь... Засунь этот язвенный харч в холодильник, и поехали.

Они спустились в метро, вышли на станции «Днепр» и свернули по Петровской аллее вправо.

— Когда все вы разбежались и мы с мамой остались вдвоем, то изредка — раз или два в год — устраивали себе такой мини-праздник. Мама ничего не готовила, и мы ехали обедать в «Кукушку». При тебе она уже была или еще нет?

— Не знаю, я тогда в рестораны не ходил.

— Ресторан не ахти какой, но маме нравилось, что на открытом воздухе.

Павильон не переменился, над круглой конусной крышей его, как всегда, торчала неуклюже изогнутая неоновая трубка, отдаленно напоминающая птицу, сидящую боком.

Через павильон они прошли на открытую площадку над самым обрывом, и Шевелев досадливо помянул черта.

В эту пору дня посетителей всегда было мало, но последний столик в левом углу площадки — любимое Варино место — был занят. За ним, подперев скулу кулаком, сидел лысый мужчина.

Шевелев подошел ближе, чтобы глянуть на столик — может, посетитель уже пообедал и скоро уйдет? Тот отнял кулак от скулы и оглянулся. Это был Устюгов. Он несколько секунд отчужденно смотрел на них, словно не узнавая, и только потом сказал:

— А... Привет, привет!

— Ты-то как здесь оказался? — удивился Шевелев.

— А что, нельзя?

— Придумал!.. Просто у нас это, можно сказать, семейная традиция, а ты — как-то неожиданно...

— Считай, голос сердца, — усмехнулся Устюгов. — Телепатия теперь в моде, вот я и шагаю с веком наравне... Кстати, не секрет, когда вы ее завели, свою традицию?

— Где-то в шестидесятых.

— М-да... — усмехнулся Устюгов. — Приоритет неоспоримый. Ну что ж, не буду нарушать ваш семейный ритуал, празднуйте свою традицию.

— Да чем ты можешь нарушить? И традиция-то была у нас с Варей.

— Не уходите, Матвей Григорьевич, — сказал Сергей, — может, меня поддержите.

— В чем?

— Не сразу, потом.

— Ты что это, — сказал Устюгов, увидев, что Шевелев налил себе водки, — «эй, гусар, пей вино из полных чар»? А потом?

— Потом будет видно. Пока мне хоть что-то надо проглотить — двое суток в глотку ничего не лезет... Когда у тебя самолет?

— Завтра, в двенадцать сорок, — сказал Сергей.

— Уже? — спросил Устюгов. — Почему такая спешка?

— Пользы от меня здесь никакой. А там — дело.

— А чем ты, собственно, занимаешься? Вообще-то я знаю, ты биолог, но это настолько общо, расплывчато...

— Я изучаю моллюсков, точнее, цефалоподов, то есть головоногих. Наука эта называется теватологией.

— Моллюски, головоногие... Должно быть, иметь с ними дело не слишком приятно? Это всегда что-то мокрое, скользкое и холодное?

— Вы думаете, иметь дело с мокрым, скользким и теплым приятнее? А этим ведь постоянно занимаются хирурги, копаясь в человеческих внутренностях. Дело привычки и пристрастия.

— Привычки, я еще понимаю. Ну и потом — любознательность, научный интерес, но пристрастие к головоногим?

— Даже привязанность. Тем более что они на нее отвечают взаимностью.

— Представляю — нежно привязанная каракатица! Ты, оказывается, юморист. Какие могут быть привязанности у безмозглых тварей?

— Вы ошибаетесь, Матвей Григорьевич... И вообще, извините, но, кажется, у вас на этот счет больше предрассудков, чем познаний... Вы знаете, что они мокрые, скользкие, потом детские сказки из «Тружеников моря» Гюго, из Жюля Верна о гигантских спрутах, которые нападают на людей, даже на корабли, и утаскивают их в

пучины моря... Вот и все, если не считать консервированных кальмаров, которыми у нас безуспешно пытаются подменить крабов.

— М-м... Пожалуй, да. В тавтологии я еще разобраться смогу, а в теватологии не силен, нет.

— Вы говорите — «безмозглые». А это совсем не так. У них большой и развитый мозг. Интеллект и совершенство их организма так велики, что некоторые исследователи считают головоногих приматами моря, подобно тому, как приматами суши считаются человек и человекообразные. У них великолепная память, они способны учиться и очень быстро, конечно, не читать философские трактаты, но, скажем, различать геометрические фигуры, играть с человеком, испытывать к нему — иначе это не назовешь — род привязанности. У них огромные глаза, пугающе похожие своим выражением на человеческие. Наконец, осьминоги поддаются гипнозу, а больше на это не способно ни одно морское животное. Попробуйте загипнотизировать рыбу, например...

Шевелев механически жевал и глотал, солил и перчил еду, но она все равно не имела никакого вкуса. Все было не то. Не тем было и все окружающее. Неузнаваемо изменилось застроенное Заднепровье, через реку перемахнули новые мосты, и сама река стала словно меньше, такая теперь была на ней буксирная, баржевая и лодочная толчея. Голоса сына и Устюгова звучали в отдалении. Он слушал и не слушал, о чем они говорили.

— М-да, — сказал Устюгов, — чудеса в решете, или еще одна иллюстрация к душеспасительному завету: век живи, век учись...

— Это еще не самое удивительное, — продолжал Сергей. — Осьминог вообще поразительное животное. У него три сердца. И не метафорически, как говорили об аристократах, а на самом деле голубая кровь. У них самый совершенный движитель — реактивный. Однако самое примечательное, должно быть, — как они оберегают потомство. Отложив яйца, осьминожица остается охранять их и уже не покидает ни на секунду. Она все время подгоняет к ним свежую воду, свирепо набрасывается на всех, кто пытается приблизиться, и в этих заботах перестает есть. Даже если ей подсовывать пищу, она отбрасывает ее как сор, который может повредить яйцам. И когда маленькие осьминоги появляются на свет, мать уже настолько обессилена и дряхла, что ей остается только умереть. И она умирает. Оказалось, это не созна-

тельное самопожертвование и не генетически унаследованный инстинкт. Исследователи установили, что возле глаз у осьминога находится особая железа. Она воспринимает свет независимо от глаз и, когда интенсивность света и, стало быть, все прочие условия становятся самыми благоприятными для размножения, выделяет какой-то гормон, который приводит в действие весь механизм размножения. Но одновременно он убивает у осьминожицы самый сильный животный инстинкт — стремление утолить голод. Так, условно говоря, гормон продления жизни в потомстве оказывается для матери гормоном молниеносной старости и смерти. Профессор маленького университета в городке Вэлдхэм в штате Массачусетс удалил у осьминожицы глазную железу сразу после того, как она отложила яйца. И произошло чудо. Не стало рокового гормона, осьминожица, как и полагается, о яйцах заботилась, но есть не перестала. Более того, она перестала стареть!.. И когда детеныши появились на свет, она вернулась к обычному образу жизни. Вэлдхэмский профессор продлил ей жизнь.

— А все это не из области ненаучной чепухи, которая выдается у нас за научную фантастику?

— Вот, — сказал Сергей и положил перед Устюговым телеграфный бланк.

Устюгов прочитал вслух:

— «Киев. Почтамт. Востребования. Шевелеву Сергею Михайловичу. Сигма начала есть. Пермяков». Ничего не понимаю.

— Я, как и вы, усомнился и решил повторить вэлдхэмский опыт. Сигмой я назвал свою подопытную осьминожицу и оперировал ее за три дня до телеграммы о смерти мамы. А Пермяков мой помощник.

— Выходит, опыт удался?

— Окончательно выяснится позже, но, по-видимому, удáлся.

— С успехом тебя!

— Не надо преувеличивать. Успех не мой, я только повторил чужой опыт. Но и это полезно. Сделанное своими руками всегда дает больше пищи для размышлений.

— Теперь понятно, почему ты так рвешься домой... А ну-ка, вот так, положа руку на сердце, — ты счастлив?

Сергей улыбнулся. Устюгов думает о Сигме. Сигма — это, конечно, важно, очень важно... Закинув сплетенные пальцы на затылок, он смотрел, как осторожно идет «Ракета» мимо Труханова острова, как, миновав пляжную россыпь тел, набирает скорость, приподнимается над водой и от стоек подводных крыльев взлетают сверкающие на солнце косые фонтаны. Он смотрел на летящую в радужном ореоле «Ракету», но видел не ее, а Ингу... Изо всех сил она бежит от крыльца к калитке палисадника навстречу ему, струится и трепещет ее платье, вьются волосы, солнце светит ей в затылок, и вся она, и платье, и волосы в ореоле света. Она не бежит, а летит — и кажется, что ее несет этот сияющий ореол, — подбегает и, потеряв дыхание, припадает к нему. На мгновение. Только на мгновение отстают от нее катящиеся кубарем Пашка и Петька. Вот уже каждый хватает его за ногу, молотит по ней кулачишками, и, задрав конопатые мордасы, они кричат:

— Папа! Ну, папа же!

Они требуют ритуального «колеса встречи». Портфель и чемоданчик отбрасываются в сторону. Он хватает одного и, положив животом на руку, переворачивает так, что голова и ноги делают полный круг. Потом второго. Они визжат от притворного ужаса и восторга. Потом краткая, но крайне воинственная стычка за право нести портфель, пока он не командует: «Вместе!» Портфель велик, им с трудом удается нести его, не чиркая по земле; сопя и напыжившись, они волокут его к дому и поминутно оглядываются — не исчез ли он, не растаял ли вдруг и видит ли, как они стараются... Он обнимает Ингу за плечи, и они идут следом за близнецами... Сколько? Уже восемь лет женаты, а все — как в первый день... Разве это расскажешь?

— Да, — сказал Сергей. — Наверно, да. Счастлив.

— Стучи скорей по дереву, поскольку мы уже преодолели все родимые пятна проклятого прошлого, а также предрассудки... — Устюгов постучал по столу и приподнял скатерть. — Ну, конечно, теперь и дерева не найдешь — всюду железо или чертова пластмасса... Ничего не поишешь: тебе действительно придется полагаться на научное мировоззрение... И что — все безоблачно, никаких неприятностей?

Сергей засмеялся:

— Ну, какое может быть счастье без неприятностей? Англичане говорят, что в доме у каждого в шкафу свои скелеты... У меня, к сожалению, не скелет, а цветущего здоровья мужчина — номенклатурный дурак, назначенный к нам начальником. Его распирают энергия и жажда славы.

— Он мешает работать?

— Как раз наоборот: он жаждет помогать. Но это, в общем, одно и то же. Он жаждет все организовать и превратить в мероприятия, приуроченные к датам или еще к чему-либо. Поставить исследования на поток, запланировать открытия и перевыполнить план выпуска научных трудов.

— Ну, и как вы?

— Пока справляемся. Слушаем его пламенные призывы, с неизменным подъемом голосуем, принимаем обязательства и — занимаемся своим делом. А он ездит по форумам и симпозиумам.

— М-да, фигура знакомая. Как говорится, носить не переносить... Слушай, Сергей, а зачем, собственно, нужно, чтобы каракатица жила долго?

— Никто не собирается превращать каракатицу в долгожительницу, — улыбнулся Сергей. — Биологи хотят познать причины и весь механизм старения живых организмов. Если удастся его узнать, быть может, откроется возможность и управлять этим механизмом, отодвигать старость. У головоногих обнаружили железу, выделяющую гормон старения, потому ими и заинтересовались.

— То есть ты полагаешь, что эта самая железа ускоренного старения заложена не только в твоих каракатицах, но и в других организмах? Что ж, вполне возможно. Природа — штука беспощадная: исполнил свою функцию и марш-марш на удобрение... Тогда, может, и в человеках заложена такая хреновина, которая заставляет их слишком поспешно стареть?

— Не знаю. Пока этого никто не знает. Но — не думаю... Человека старит не железа, а обстоятельства жизни. Люди так умеют отравить друг другу жизнь, что укорачивают ее себе и другим без всяких специальных желез...

Шевелев поднял голову, в упор посмотрел на сына:

— Вот, ты сам заговорил об этом... Ты меня осуждаешь?

— Ты о чем?

— О вчерашнем. И вообще.

На скулах Сергея обозначились бугры. Он снова посмотрел в сторону моста Патона — «Ракеты», конечно, и след простыл, от моста, буравя тупым носом воду, вверх по течению шла самоходная баржа.

— Я не судья тебе, отец, — ответил Сергей. — Что

касается этого балбеса Димки, я, наверно, сам бы его вздул. Только раньше и основательнее.

— Ты за домострой? — спросил Устюгов. — Его еще до революции считали допотопным.

— Я за дом. Дом должен оставаться священным. В доме вырастают, из него уходят — это закономерно. Ты вырос — создавай свой дом. Но прежний, в котором ты вырос, нельзя превращать в заезжий двор, в свалку для своего душевного мусора... Впрочем, Димке никакая выволочка не поможет, пока жизнь не трахнет его мордой об стол... Только тогда будет поздно. Их много развелось, таких любителей приятной жизни. Иной поседеет, облысеет, а все порхает, все порхает. Эдакие седенькие, лысенькие мальчики...

— Надеюсь, ты не о присутствующих? — осклабился Устюгов и нежно погладил свою просторную лысину.

— Так ведь вы не порхаете, Матвей Григорьевич... А судить тебя? За что? О твоих отношениях с мамой я не знаю ничего. И вообще в этом не могу быть судьей. Ты сам? Ты всегда был для меня образцом. Ты воевал, я гордился этим и хвастал твоим орденом и медалями. Вы же не знаете, как мальчишки хвастали друг перед другом заслугами своих отцов... Когда ты вернулся из армии, сколько я помню, ты всегда работал как вол, чтобы обеспечить семью. Этим я тоже гордился и старался стать на тебя похожим... За что же мне судить тебя? Если на то пошло, я сужу не тебя, а себя. За то, что был мало внимателен к маме. Это не только моя вина, а, кажется, общая и неизбежная беда — дети уходят, у них появляется своя любовь, другая, отдельная жизнь, и она заслоняет, отодвигает прошлое. Все меньше остается времени, чтобы вспомнить о матери, которая помнит о тебе всегда, дать ей почувствовать, что ее тоже помнят и любят. В этом я виноват, как многие. Но не только в этом. Я не дал ей сделать живительный глоток молодости. Внуки — это ведь для бабушки возвращение в молодость, когда ее собственные дети были такими же маленькими и беспомощными. И она как бы заново проходит тот счастливый промежуток жизни, который уже когда-то прошла...

— Боюсь, — сказал Устюгов, — боюсь, твои чувствительные построения в наш практический век отдают некоторой маниловщиной. «Глоток молодости», о котором ты так трогательно говорил, слишком часто оборачива-

ется тем, что бабушка становится нянькой для внуков и заодно домработницей для дорогих деток...

— Нет, нет, — засмеялся Сергей, — у нас нет. Инга бы ничего подобного не допустила.

— Что теперь об этом говорить... — сказал Шевелев.

— Об этом, конечно, поздно. И я хотел говорить не о маме — о тебе.

— А что обо мне?

— Что ты собираешься делать?.. Я понимаю, бестактно говорить об этом на следующий день после похорон, но другой возможности не будет, а в письмах о таких вещах не договоришься... Мы давно в разброде. Теперь мамы не стало... Не трудно ли тебе будет? Я понимаю, у тебя есть друзья, знакомые, вы, конечно, встречаетесь...

— Теперь все реже — стары стали, да и повымерли: кто на войне уцелел, тех она потом догоняет...

— Сколько бы их ни было, они семьи не заменят. Они придут, поговорят и уйдут, и ты снова останешься один. Я уж не говорю о всяких бытовых делах... Конечно, тетя Зина тебя не оставит. Вон вчера смертельно оскорбилась, а сегодня бульон все-таки принесла. Но и она ведь не девочка, ей тоже все это уже трудно... Короче говоря: не переехать ли тебе к нам? Мы не роскошествуем, но ты будешь иметь отдельную комнату — так называемый кабинет мне попросту не нужен, хватит институтской лаборатории. Захочешь общаться — пожалуйста, не захочешь — делай что хочешь: читай, спи, гуляй, лови рыбу, если любишь... Инга? Я еще не встречал человека, который бы к ней плохо относился. Думаю, и ты с ней поладишь. Ну, про моих сорванцов нечего и говорить. Они немедленно станут твоими телохранителями, рабами и кем ты только захочешь... Живем мы тихо, скандалов у нас не бывает.

— И как вы этого достигли? — спросил Устюгов.

Сергей засмеялся:

— Путем полной и безоговорочной капитуляции. У нас царит безусловный матриархат. Мужское население ведется по жизни нежной и трепетной рукой, но в случае надобности на ней мгновенно обнаруживается ежовая рукавица... А в общем, спасает чувство юмора. Когда Инга чем-то недовольна, она начинает изъясняться чрезвычайно торжественно и высокопарно. При ее курносости, некоторой конопатости и округлых щеках с жизнерадостными ямочками это создает изрядный комический эффект. Ей самой становится смешно, так смехом все и гасится...

— Ну что ж, — сказал Устюгов, — видимо, демон-искуситель до них еще не добрался и не подсунул рокового яблока с древа познания добра и зла. Вполне райская жизнь. Соглашайся, Михайла, пока не поздно.

— Вы обращаете все в шутку, а я надеялся, что вы поддержите меня, посоветуете отцу поехать к нам.

— Дорогой мой, — сказал Устюгов, нежно поглаживая лысину. — Советы дают из тщеславия, чтобы потом, когда их не выполнят, торжествовать и кричать: «Ага, а я говорил, я говорил!..» Принимают же советы для того, чтобы потом было кого винить в неудаче. Поэтому я никогда не даю советов. Только однажды я советовал твоему отцу, даже требовал не спасать меня. Он не послушался, и я не уверен, что впоследствии об этом не пожалел...

— Ну что плетешь? — сказал Шевелев.

Устюгов отмахнулся от него.

— Если же говорить всерьез... то не в порядке совета, а так, умозрительно... Никуда не денешься — мы с ним уже попросту старые грибы. И если развить это уподобление, то держимся только до тех пор, пока цела незримая грибница привычек, быта, воспоминаний и каких-то привычных обстоятельств, которые эти воспоминания сохраняют и поддерживают. И стоит оборвать эту незримую грибницу, как человек, подобно твоим каракатицам, скоропостижно стареет... С летальным исходом, как говорят врачи, — сардонически осклабился Устюгов.

— Вот уж не ожидал от вас, — сказал Сергей. — Я биолог, но и то терпеть не могу никаких аналогий и параллелей подобного рода. Ни антропоморфизма, ни зооморфизма. Человек не гриб, если сам себя таким не делает. Люди всегда были легки на подъем, а сейчас больше, чем когда-либо. Колесят по всему миру, и ничего с ними не делается.

— Но они возвращаются д о м о й. Ты сам сказал, что ты за д о м.

— Да, за дом, но не пустой. Четыре привычные стены — разве это дом? И скажите, чем поможет отцу ваша эта незримая грибница, если ночью ему вдруг станет плохо? «Дома и стены помогают» — это красивые, но пустые слова. Помогают люди. Надо, чтобы рядом были близкие. А Инга, между прочим, врач, и, кажется, неплохой... И что же хорошего — он будет неизвестно зачем

сидеть здесь, а я там непрестанно беспокоиться о нем?

Устюгов усмешливо посмотрел на него и отвел взгляд. Сергей почувствовал, как у него загорелись мочки ушей. Получалось, что он заботился не столько об отце, сколько о своем спокойствии, во всяком случае не только об отце.

— В конце концов, — сказал он, — приезжай, поживи, осмотрись. Понравится — останешься, нет — дорога обратно не заказана. А от воспоминаний никуда не уедешь, они везде останутся с тобой.

— Что ж, это мысль, — сказал Устюгов. — Поехал, пожил там, надоело — вернулся, здесь надоело — снова туда... Это даже ново в семейной практике — так сказать, кочующий дед, или, по аналогии с налетами авиации во время войны, челночный дед...

— Вы подумали, — сказал Сергей Устюгову, — будто я не столько забочусь об отце, сколько о своем спокойствии. А я начинаю подозревать, что, высмеивая мое предложение, вы тоже не бескорыстны.

— О чем я подумал, я не сообщал... Но ты совершенно прав. Я действительно не хочу, чтобы твой родитель сбежал из Киева. И мотивы мои откровенно, даже бесстыдно эгоистичны. На кого мне тогда обрушивать ниагары моего суесловия? Я попросту захлебнусь, утону в нем... А твой отец окончательно отвыкнет от человеческой речи, ибо, как ты мог заметить, даже под моим благотворным влиянием он не стал разговорчивым...

— Что ж ты молчишь, отец?

— Так ведь это не завтра, — сказал Шевелев. — Я подумаю...

Уже уходя на кухню, где он снова поставил себе раскладушку, Сергей остановился в дверях:

— Это правда, что ты спас Устюгова? Почему никогда об этом не рассказывал?

— А что тут рассусоливать? Дотащил до медсанбата, вот и все...

— Ну-ну, — улыбнулся Сергей, — у тебя прямо страсть все дегероизировать. Мемуарист из тебя не получится.

— Их без меня хватает.

Сергей уговорил отца не ездить в Борисполь ский аэропорт, и Шевелев проводил его только до Аэрофлота

на площади Победы. Оттуда в аэропорт шли специальные автобусы.

У подъезда дома, сидя в своей двухцветной «Ладе», его ожидал Борис.

— Наконец-то, — сказал он, — а то я уже собирался уезжать.

— Давно ждешь?

— Почти час.

— Как же ты во время работы?

— А я — начальство. У начальства день ненормированный.

Он тщательно запер машину и, крутя в пальцах ключ зажигания с каким-то замысловатым брелоком, пошел следом, к лифту. Вчерашней надутости не было и следа. Неприлично было бы раздувать это, в сущности, пустяковое дело. В конце концов, по морде получил не он, а Димка... Отца тоже следует понять. Он сейчас в таком состоянии, что трудно контролировать свои поступки. В состоянии аффекта можно и не такое устроить. Смерть, похороны... Надо понимать, быть снисходительным. Во всяком случае, в такой ситуации. Смерть мамы — ужасная потеря для всех. Но для отца она, конечно, тяжелее, чем для остальных. У них у каждого своя семья, а для него это утрата подруги всей жизни... Сам он тоже зря погорячился вчера. Надо держать себя в руках. Сейчас он уже вполне держал себя в руках, на лице его были положенные скорбь и сочувствие. И никаких следов обиды.

— А где Сергей? — спросил он.

— Улетел.

— Уже? Ну и свинья! Даже не попрощался...

— Он пробовал тебе звонить. Так ведь ты из «выходящих».

— Каких «выходящих»?

— Сам говоришь — начальство. А о начальниках не сообщают, куда ушел, когда будет. «Вышел» — и все. Вот он и не дозвонился.

— А приехать не мог? Он ведь ни разу не был у нас, не видел даже, как мы живем.

— Ничего, свой импортный голубой сортир ты ему в другой раз покажешь.

Раздражение снова вспыхнуло в Борисе, но он сдержался. Несолидно, в конце концов, лезть в бутылку из-за стариковской подначки. Тем более что никого нет, никто не слышит.

— Я не понимаю, что за спешка. Что ему, план выполнять?

— Дело.

— Какие там у него дела? У меня на плечах все транспортное хозяйство фирмы — две сотни машин, гаражи, мастерские. И то, если надо, я всегда могу выкроить день-другой...

— Так у тебя помы и замы. А он один. Работяга.

— Обыкновенный фанат. Ему кажется, что он один науку толкает, без него не обойдутся. А в науке прошло время кустарей-одиночек. Научно-техническая революция требует коллективного творчества.

— «Раз, два, взяли?» Что-то я не слыхал, чтобы открытия поротно или повзводно делали.

— Посмотри, кого премируют? Коллективы!

— Способ известный — один с сошкой, а семеро с ложкой...

— Дело не в ложках. У нас же не частная лавочка, понимаешь. Ни у кого нет своего института, лаборатории, предприятия... Ну, придумал ты какую-то фиговину, так ведь ее сделать надо! А что можно сделать без поддержки руководства, без помощи коллектива?

— Вот я и говорю: открыватель один, а прихлебателей дюжина... Я на собственной шкуре испытал. Теорию относительности я не придумал, так, небольшая рацуха, и то у скольких глаза разгорелись, в соавторы потянуло.

Старик безнадежно отстал. И упрям. Спорить с ним бесполезно — ничего не докажешь, незачем и заводиться.

— В конце концов, — сказал Борис, — бывает по-всякому. А все-таки обидно, что он так уехал... Мы же сколько лет не виделись! А теперь вообще неизвестно, когда увидимся. Посидели бы, поговорили по душам. Коньячок, шашлычок, то-се... Потом — у него же пацаны! Хотя я их и не видел, но все-таки племянники. Я бы какой-нибудь подарок организовал.

— Он бы не взял. Я тоже хотел. Он сказал — не надо, пусть радуются приезду отца, а не подаркам, какие он привез.

— Ну, я бы своих детей в черном теле не держал.

— Ты сначала их заведи.

— Дело нехитрое. Прежде всего надо обеспечить, чтобы с самого начала жили по-человечески.

— Это как — барахла нахапать поверх головы?

— Что значит «нахапать»? Я что, ворую? Пользуюсь тем, что положено, вот и все.

— Прямо ты не воруешь, нет. Могут поймать. И главное — много не украдешь. А насчет «положено»... Кто нам, собственно, положил? Сами себе и кладете.

Нет, выдержать его невозможно. Переживания переживаниями, но и забываться не следует. Терпеть эту пропагандистскую болтовню нельзя. Это он от своего дружка, Устюгова, набрался... Мутная какая-то личность. Чем он вообще занимается? Что-то там в кино делает, что-то пописывает... А главное, обо всем рассуждает, всех судит. Такой, понимаешь, шибко грамотный, больше всех знает...

— Давай, батя, поставим точку. Я себе должности не придумал и все прочее тоже. И если меня на этой должности держат, значит, заслужил, ценят... А всякие злопыхательские разговорчики ни к чему хорошему не ведут. И не за этим я к тебе приехал. Я по делу приехал.

Шевелев поднял на него взгляд и молча ждал.

— Могилу надо привести в порядок. Первый дождь, и она поползет, размоет. Прежде всего ограду. Ну, это дело я организовал. Дал команду, уже делают. Из квадратного прута. Она, конечно, будет сварная, но вроде как кованая. Как когда-то делали. Со всякими там изгибами и прочими финтифлюшками. Завтра ребята подбросят ее на кладбище и поставят. Я тоже подъеду, чтобы никаких недоразумений не было. Хотя в конторе кладбища я обо всем договорился, но мало ли что... Заодно захватят компрессор и тут же с ходу покрасят серебрянкой. На нитролаке, конечно. И сохнет моментально, и вполне прилично выглядит... Могу заехать за тобой, только стоит ли?

Шевелев отрицательно повел головой.

— Вот и я так считаю — ни к чему. Можешь не беспокоиться, все будет о'кэй. Я сам за всем прослежу. Ну вот. Теперь насчет памятника... Конечно, памятник можно ставить только через год, когда земля осядет... Однако обеспечить надо заранее. В конторе мне сказали, что у них надо ждать очереди чуть ли не год. И делают они только плиты из крошки. Ну, это такая грубая дешевка — просто было бы даже стыдно.

— Ей теперь все равно, — сказал Шевелев.

— Но мне, нам не все равно! Люди же пальцами будут тыкать...

— Не престижно? На кладбище тоже надо престиж оберегать?

— Вот опять ты не понимаешь... Дело не в престиже. Перед памятью мамы стыдно, в конце концов... Нельзя же на могилу матери положить бетонную плиту, как на мостовую. Я понимаю, денег больших у тебя нет. Но ведь я помогу. И что, Димка или Сергей откажутся?

— С сынка по рубчику на памятник незабвенной мамаше? Как на новогодний выпивон? Складчины не будет.

— Ну хорошо, хорошо. В общем, дело обстоит так: я попрошу дизайнера нашего КБ, он набросает эскизик, если ты одобришь, сделает чертеж. А я потом смотаюсь в Житомирскую область, в Коростышевский район. Там есть каменоломни. В общем, я уверен, договорюсь — нашей фирме не отказывают. Там не спеша сделают все честь по чести. Транспорта у них, конечно, никакого, но для меня, как ты понимаешь, это не проблема. Словорезчик здесь, кажется, подходящий.

— Это еще кто?

— Ну, который надписи делает. В каменоломне плиту обработают, отполируют, и все. Надписи там делать не умеют. А здесь, при конторе, есть особый специалист... Ну как, санкционируешь эти мероприятия?

Шевелев пожал плечами и промолчал.

— Вот и отлично!

Борис удовлетворенно потянулся, поднялся и подошел к распахнутой двери на балкон.

Шевелев смотрел на него и в который раз задавал себе вопрос: родные братья, а почему они так не похожи друг на друга? Долговязый, длиннорукий Сергей со своим костистым, обветренным лицом был похож на лесоруба или рыбака, а не на ученого. Кого же напоминает ему Борис? Продавца-рубщика в мясном отделе гастронома? Нет, тот просто жирный и самодовольный... Борис не жирный. Он плотный, сбитый, но никак не жирный. И не самодовольный. Это в нем есть, но не главное. Главное — уверенность в себе, в том, что все, что он говорит и делает, хорошо и правильно. А если кто возражает, то только от недопонимания. А он понимает все. И главное — понимает, как надо жить. Вот жить, устраиваться он умеет. Еще молод, а уже «дорос», как говорят, до начальника транспортного цеха. Он и дальше пойдет. Далеко пойдет... Запросто станет коммерческим директором своей же фирмы. Или другой. Ему все равно... Небось и на этом не остановится. Сам не раз говорил, что его девиз, как у летчиков, — все выше и выше... И модник, не отстает от современности. Только патлы не за-

вел. Патлы — не солидно. Для солидности он усики отрастил. Усишки реденькие, как перья, ну все-таки... А губы толстые, красные. Пожрать любит. И бабник, должно быть... Вот! Понял, кого он напоминает. Сытого, гладкого кота. Даже глаза слегка навыкате, круглые и блестящие, как у кота...

— Да, — сказал Борис, — вид у тебя отсюда шикмодерн. Я каждый раз любуюсь. Здесь за один вид можно деньги брать...

Беглым взглядом он окинул комнату и снова сел к столу.

— Как будет дальше, батя?

Прежде он называл его «папа», потом изредка «отец». Снисходительное «батя» появилось, когда Шевелев ушел на пенсию, а сам Борис стал «начтрансом».

— А что дальше должно быть?

— Жить как думаешь?

— Как жил, так и буду жить.

— Это само собой! Почему нет, пока бодр и здоров? Но ведь ты не мальчик, за плечами не очень легкая жизнь, война. Неизвестно, когда и как все скажется...

— Ты давай круги не разводи, говори прямо.

— Я прямо и говорю, никаких кругов... Останешься один, на отшибе. Сергей во Владивостоке, тетя Зина — старуха, Димка — пустое место. Разве на них можно положиться? В общем, я так считаю — ответственность целиком падает на меня. И на меня ты всегда можешь положиться. Но что я могу сделать, чем помочь, если мы там, а ты здесь один? Телефона нет, ни мне, ни в «Скорую» не позвонишь. А если скрутит тебя язва, как тогда, или еще что? Не окажись тогда рядом Устюгова, тебя бы потом уже никакая операция не спасла...

— Что ты предлагаешь?

— Съехаться, жить вместе. Тебе не нужно будет заниматься всякой бытовой дребеденью, бегать по столовкам и забегаловкам, а я буду спокоен, что с тобой все в порядке.

— Все хотят быть спокойными, — усмехнулся Шевелев.

— Я беспокоюсь не за себя, а за тебя.

— Да ведь не горит, я думаю?

— О чем разговор! Конечно, не горит... Только ведь жить надо с дальним прицелом. Стратегия не только в военном деле, она и в жизни нужна.

— Какой же у тебя прицел?

— Конечно, просто бросить эту квартиру было бы глупо. Чтобы съехаться, надо устроить обмен. Твою однокомнатную и мою трехкомнатную можно обменять на четырехкомнатную. Ну, а если не спеша, покомбинировать, учитывая площадь, район, то-се, можно, пожалуй, организовать и что-нибудь получше. Трудно, но можно.

Шевелев вприщурку смотрел на сына.

— Что ты так смотришь на меня?

— Алина небось уже прикинула, какие гарнитуры покупать... А если я обману ожидания твоей Алины?

— То есть?

— Заживусь на этом свете. Или болеть начну, так что меня даже за молоком не пошлешь... Пользы никакой, одна обуза. Тогда что, сдадите в дом для престарелых?

Всю выдержку и тщательно взвешенную снисходительность сдуло:

— Знаешь, я тебе скажу... В конце концов, надо знать меру. Ты думаешь — отец, значит, имеешь право безнаказанно оскорблять? Вчера Димку, сегодня меня? Что ты привязался к Алине? Ты сразу невзлюбил...

— Ну, любить ее — твое дело, а не мое, я на ней не женился.

— Никто тебя любить не заставляет, но, в конце концов, есть какие-то пормы... Ведь ты с ней даже никогда не разговариваешь!

— А о чем с ней можно разговаривать? О барахле?

— Ладно, Алина какая есть... Но кто дал тебе право м е н я подозревать в каких-то гнусных расчетах? И когда такое несчастье! У других людей смерть сближает оставшихся...

— Смерть не только сближает. Смерть проявляет оставшихся...

— Выходит, я плохо себя проявил?

— Нет, ты проявил себя лучше некуда! Все было на высшем уровне. И похороны организовал вполне престижные... А на поминки даже икру достал... Горе, если его чем повкуснее заесть, оно уже не такое горькое. Вот ты одним заходом и горе всем скрасил, а главное — себя показал...

— Вот что, дорогой папаша, — Борис подбросил ключи и яростным рывком поймал их, — ты говори, да не заговаривайся. Как говорится, не плюй в колодец... Потому — как аукнется, так откликнется. К тебе, понимаешь, по-хорошему, по-человечески, а ты... Ладно, поживем — увидим. Прикрутит — запоешь иначе...

— Долго ждать придется. Иди гуляй, сынок...

Входная дверь захлопнулась. Шевелев вышел на балкон. Через некоторое время крохотная фигурка села в «Ладу», и та, как наскипидаренная кошка, сорвалась с места.

Он вернулся в комнату, сел к столу. Порыв ветра подхватил длинные белые шторы у балконной двери, они взметнулись вверх и опали. Как тогда...

Он уговорил Варю не вставать. Врачи ведь запретили. Да и делать, собственно, нечего. Он сейчас смотается в булочную, молочный и купит все, что нужно. Ветер задувал в балконную дверь и трепал шторы.

— Не дует? Может, закрыть дверь?

— Нет, пусть так. Больше воздуха...

Он «смотался» и с покупками прошел прямо на кухню.

— Ты знаешь, — громко, чтобы Варя услышала его через открытые двери, сказал Шевелев, — ни ряженки, ни простокваши не было. Зато было стерилизованное молоко, ну, знаешь, которое с васильками... Разолью по стаканам, и через день будет своя простокваша, только еще лучше... А может, сейчас выпьешь чашку молока? Что от этого чая? Горячая вода, и все.

Варя не ответила. Он налил молока в чашку, вспомнил, что она обязательно ставила чашки на блюдечки, поставил чашку на блюдце, понес в комнату и увидел ее неподвижный взгляд. А ветер вздергивал шторы, они взмывали вверх и опадали, словно кто-то в белом в немом отчаянии заламывал руки и горестно опускал их, заламывал и опускал...

Туба нитроглицерина лежала на одеяле возле Вариной руки. Не успела? Или не хватило сил? А его не было рядом, чтобы подать, помочь... Она умирала и была о д н а. А его не было рядом. Может, последним усилием, последним вздохом она позвала его, а его не было... Н е б ы л о!

Сжатые кулаки он прижал к вискам, стараясь вдавить их как можно сильнее, чтобы этой болью заглушить ту, что снова прорвалась.

У входной двери позвонили. Шевелев открыл. Дворничиха протянула пластиковый мешочек с чем-то тщательно завернутым в газету.

— Ось, — сказала она.

— Что это?

— Я там не знаю. Сестра ваша принесла. Я уже два раза поднималась, так вас дома не было.

Дворничиха ушла. Шевелев, не разворачивая, сунул сверток в холодильник.

В этом вся Зина — долг превыше всего. Обида обидой — обид она не прощает, — но считает, что ему необходима диета, значит, она должна ее обеспечить, заботиться о нем больше некому.

А почему, за что, собственно, он ее обидел? И вообще натворил все это — одному сыну набил морду, другого выгнал... Вместо того чтобы быть всем вместе, разделить горе... А как можно горе разделить? На каких весах его взвешивать, на какие части резать? Бред. Красивые пустые слова. Разве легче оттого, что рядом кто-то сидит с постной рожей? Так что же, он свое горе на них вымещает? Или попросту съехал с катушек? Стариковский бзик?

Нет, не бзик... На Сергея-то он не набрасывался. Может, то, что говорил Сергей, он, не понимая, не отдавая себе отчета, чувствовал сам: где-то в подсознании было ощущение того, что все, один больше, другой меньше, все-таки виноваты в том, что произошло? Конечно, и детки руку приложили. Нарочно? Сознательно? Боже упаси! Никто не хотел матери зла, никто не имел желания причинить ей боль, заставить страдать. Они любили ее, старались доставить радость, сделать приятное... И все-таки, все-таки...

Все-таки в них свое, личное перевешивало и уводило все дальше. И всех в разные стороны. И сами они становились разными... Он не раз задавал себе вопрос: вот три сына, почему они так не похожи друг на друга? И это еще куда ни шло. Но почему они не похожи на них с Варей, словно и не их дети? Должно ведь быть что-то общее у детей с родителями?

Однажды он сказал об этом Устюгову. Тот помолчал, раздумчиво поглаживая лысину, потом сказал:

— Если оставить в стороне сходство внешнее, физиономическое, то дети похожи на свое время, а не на родителей.

Сначала это показалось обычным устюговским суесловием. Теперь все чаще он раздумывал: может, так оно и есть? Когда и как это началось?

В сущности, их разделяют не такие уж большие промежутки времени. Сергей родился в тридцать шестом, Борис в сороковом, Димка в сорок седьмом. Впрочем, не-

большие они для взрослых, для детей — громадны. Тяжелее всего досталось Сергею. Когда началась война, ему было пять лет — возраст, в котором все помнят и многое понимают. Он запомнил все — страх, муку неизвестности, непрестанно грызущий голод, холод и мокрядь, бездомье и полную во всем нищету. Однажды, став взрослым, он сказал, что со временем все это как бы пригасло, утратило остроту. Немеркнуще, на всю жизнь запечатлелись в его памяти Миръюнусовы.

По возрасту и ранениям Шевелева демобилизовали в числе первых. Еще не было триумфального потока эшелонов с победителями, возвращавшихся в громе оркестров и половодье цветов. Впритычку, в тамбурах, как придется он добрался до Киева. И вот пустой двор, запертый дом, окна с задернутыми занавесками. Он задохнулся от смятения, какого не испытал даже на фронте, перевел дух и постучал, предчувствуя, зная, что ему никто не откроет. Дверь открыла Зина.

Помогать другим всегда было ее первой заповедью. Она помогала Варе в поспешных сборах, потом — донести Бориса и вещи до вокзала, расположиться на нарах в товарном вагоне и только после этого побежала домой за своим чемоданчиком и рюкзаком. Когда она снова добралась до вокзала, эшелон уже ушел. Он был последним. Зина осталась в городе и жила попеременно то у себя, то в квартире брата, оберегая их жалкий скарб от мародеров. Зина пережила с городом все — и подконвойный исход девяноста тысяч евреев в ад Бабьего Яра, и взрывы, а потом огненное полыхание Крещатика и Прорезной, и, как грибы, расплодившиеся частные лавочки и комиссионки, где торговали награбленным в опустевших квартирах, и наконец... первые советские танки, ворвавшиеся в город. Их встречали не цветами — кто там думал тогда о цветах?! — а слезами счастья и надежды, которые дороже всяких цветов. Только через три года после разлуки дошло до нее Варино письмо. Она оказалась в Ташкенте. Много позже из сбивчивых, вперемежку со слезами рассказов Вари Шевелев узнал, что им пришлось пережить.

Дорога была ужасна. С самого начала — бомбежка... Наверно, это была не настоящая бомбежка. Потом говорили, самолет возвращался, уже израсходовав бомбы, иначе разнес бы весь эшелон в щепы. Он летел поперек

путей, но, увидав эшелон, развернулся и полетел вдоль состава. Где-то близко грохнуло. Поезд остановился. Люди бросились в кустарник снегозащитной полосы, в открытое поле. Варя с Сергеем и годовалым Борисом на руках не могла бежать, и, выпрыгнув из вагона, они легли прямо в кювете возле насыпи. Она прижимала Бориса к какому-то металлическому бочонку, торчащему из земли, и прикрывала собой. А самолет летал над самым составом туда и обратно, из прозрачного фонаря в фюзеляже пыхал дымок, и сквозь рев мотора был слышен отчетливый мерный стук пулемета. Варя следила взглядом за самолетом, и ей казалось, что она различает в стеклянном фонаре силуэт человека, скорчившегося над пулеметом и целившегося прямо в Сережу и Борьку... Она прижимала Борьку к металлическому бочонку, другой рукой обхватила Сережу, пытаясь прикрыть собой и его. Только когда самолет улетел, Варя увидела, что торчащий из земли бочонок, к которому она прижимала Бориса, был неразорвавшейся бомбой.

И дальше все было ужасно. И теснота, и голые доски нар, и грязь, и духота, а потом невыносимый зной, когда ехали через пустыню, и голод, и жажда. Как только поезд останавливался, все, кто мог, высыпали из вагонов в поисках еды и воды. Поезд шел без всякого расписания, пропускал идущие на запад эшелоны. Он мог часами стоять где-то на разъезде или полустанке и в любую минуту мог внезапно тронуться дальше. Варя боялась выходить, боялась, что не поспеет, не сумеет влезть в набирающий скорость вагон и останется здесь, а дети там, в вагоне. Ей помогали соседи: приносили воду и какую удавалось еду. Все было тяжко, мучительно, но впереди была цель, ожидание и надежда, что там пусть и не сразу, а потом, но все-таки станет легче и лучше. Стало хуже.

Эвакуированные брали штурмом, держали в непрерывной осаде все учреждения, которые должны были и могли им помочь. Работники этих учреждений падали с ног, разрывались на части, пытаясь как-то утихомирить, сдержать этот поток людского горя и несчастий, хлынувший с севера в тихий, захолустный Ташкент. Но они не были чудотворцами и не могли сразу накормить, устроить, дать жилье и работу десяткам тысяч обездоленных людей. А каждый день к ним прибавлялись все новые и новые.

Прежде всего требовали жилье, крышу над головой.

Но все хотели привычное жилье, какое было у них дома. Не хотели и боялись идти в «кибитки» — так назывались узбекские глинобитные дома. В них не было никакой мебели — сидели, ели и спали на глинобитных полах.

Самое ужасное — Варя оказалась одна с двумя детьми на руках, которых негде и не на кого было оставить. Она и на эвакуацию согласилась только потому, что предполагали ехать вместе с Зиной. Так решила сама Зина. «Это безумие, — как всегда, решительно и категорично сказал она, — это безумие — ехать неизвестно куда с двумя маленькими детьми. Ты просто погубишь детей. И себя тоже. Поэтому я поеду вместе с вами. Хотя и уверена, — уже менее решительно добавила она, — что скоро на фронте наступит перелом и наши погонят фашистов обратно... Но все-таки надо ехать вдвоем. Вдвоем будет легче». Зина со всей ее решительностью и энергией осталась в Киеве, а здесь, в Ташкенте, Варя ночью увидела, что ведет детей и себя к гибели, которую предсказывала Зина.

Они ночевали на вокзале, в сквере на скамейках. Все стали грязными, а помыться и постирать было негде, и Варя с ужасом ожидала, что вот-вот все запаршивеют, завшивеют, заболеют и начнется кошмар, о котором она боялась и думать. И она начала искать сама, хотя бы на время, комнату или пусть даже угол, чтобы привести в порядок детей и себя, а потом уже добиваться и ждать постоянного жилья. Это был напрасный труд. Ташкент распирало неслыханное, невиданное многолюдье. Все дома, все сколько-нибудь пригодные для жилья помещения были переполнены до отказа, набиты людьми... Изверившись, потеряв надежду и все-таки надёясь, Варя шла и шла, всюду встречая отказ, а то и ругань. Уставал Сережа, уставала она сама, они садились отдохнуть, потом шли дальше.

Широкая, обсаженная деревьями Узбекистанская кончилась. За ней потянулась узкая улочка, которая почему-то называлась Чимкентским трактом, хотя ничем не напоминала тракт. Кончились и привычные, европейского вида домики. Дальше вдоль тракта с обеих сторон тянулись сплошные глинобитные ограды. Она уже знала, что называются они дувалами, но не знала, что забрела в Старый город, где совсем не было привычных домов и вообще на улицах не было никаких домов, а только сплошные стены дувалов.

Возвращаться назад было мучительно и бессмыслен-

но. Варя свернула в первый проулок направо, надеясь, что он приведет ее туда, где снова стоят нормальные дома. Высоченные, в два человеческих роста, дувалы вздымались, как отвесные обрывы ущелья, ветер сюда не проникал, и в ущелье стоял удушливый зной. Ноги по щиколотку уходили в горячую бархатную пыль. Борька начал кукситься, потом плакать, Сережа молчал, но она видела, что он держится из последних сил. Ее силы тоже были на исходе.

Стены глиняного ущелья уперлись в переулок. Но он не вел в европейскую часть города, а уходил влево, и вдоль него тоже тянулись только дувалы. Правда, здесь они были пониже, за ними виднелись кроны деревьев, изредка плоские крыши, на которых рос бурьян. Борька требовал воды, пить хотели и они с Сережей. Увидев в дувале калитку из широких досок, Варя постучала раз, потом другой. Калитка приоткрылась, за ней стоял седой узбек в белой рубахе и штанах, в глубоких галошах на босу ногу.

— Извините, пожалуйста, — сказала Варя, — простите, что я вас беспокою...

— Ма́ныке бельма́йде *, — сказал старик и захлопнул калитку.

Варя постучала снова, потом еще раз, — калитка больше не открылась.

Так же ей ответили у второй калитки. Третья, как она ни стучала, не открылась вовсе.

Вот тут она и впала в отчаяние. Она не знала, куда дальше идти, как выбраться из лабиринта глухих глиняных стен, и некого было спросить, потому что ни одна живая душа не появлялась между этими стенами. А если бы и знала, у нее уже не было сил, чтобы проделать обратный путь.

У нее не было больше сил ни на что. Она села где стояла, прямо в размолотую горячую пыль, и прислонилась к дувалу. Зной и усталость сморили Борьку, он заснул, разметавшись, на ее коленях. По замурзанному от пыли и слез лицу его ползали мухи. Сережа тоже сел, облокотился на поднятые коленки и стал похож на маленького старичка. Он не плакал, но и его лицо было в грязевых потеках — от пота.

Солнце било прямо в стену противоположного дувала, и под ним обычная желтоватая глина стала такой яркой, будто светилась изнутри. За дувалами плотная

* Не понимаю.

густая листва незнакомого дерева казалась почти черной, а еще выше распахивалось голубое, отдающее синевой небо, которое вот только теперь Варя и увидела. Небо без единой тени или облачка, бесконечно далекое и безмятежно равнодушное. Из глаз Вари потекли слезы. Она не сдерживала их и не вытирала. Все было ни к чему. Все страдания оказались напрасными, и даже пронзительная красота, простиравшаяся перед ней, была мучительна и враждебна. Она не могла ответить на безысходный вопрос: «Что делать? Что же делать?» Не было никого, кто мог бы на него ответить.

Шлепая босыми пятками по пыли, мимо нее пробежала девочка. Волосы ее были заплетены во множество косичек, под платьем были длинные, до щиколоток, штаны. Она подбежала к калитке и постучала. Калитка не открылась.

— Ойé! — пронзительно закричала девочка. — Хаким! А Хаким!

Она повернулась спиной к калитке и застучала в нее пяткой. Попеременно то одной, то другой она молотила пятками по калитке и с диким любопытством зыркала на сидящих у дувала. Калитка открылась, девочка юркнула в нее. За дувалом зазвучал ее звонкий голос и еще чей-то, потом голоса отдалились и затихли. Через некоторое время калитка приоткрылась, в нее выглянула сначала девочка, потом какая-то молодая женщина, за ней женщина постарше. Калитка снова закрылась, женские голоса негромко что-то обсудили. Потом из калитки вышла молодая женщина. Под платьем у нее тоже были длинные, сужающиеся к щиколоткам ситцевые штаны. Волосы были заплетены не в косички, а в две толстые косы. Она присела на корточки перед Варей и стала внимательно ее рассматривать. Потом сказала:

— Зачем плячит? — Она согнала муху с лица Бориса. — Зачем баранчук * гразный-гразный? Яман! ** Баранчук чистый-чистый — якши! *** Айда! Будым баранчук дэлить чистый-чистый.

Она махнула рукой к калитке и поднялась. Варя с ребятами пошла следом. Слева за калиткой стоял глинобитный дом, справа под прямым углом к наружному дувалу уходил другой и исчезал среди фруктовых деревьев. Через проем в этом дувале они прошли в неболь-

* Сын, мальчик.
** Плохо.
*** Хорошо.

шой, чисто подметенный двор. Здесь, словно опираясь на наружный дувал, тоже стоял глинобитный дом, на плоской крыше которого рос бурьян. Посредине дома была приоткрытая дверь, по обе стороны от нее по два окна.

Следом за ними прибежала давешняя черноглазая девочка, потом еще какая-то, подошла невысокая пожилая женщина, за ней другая, еще старше. Из дома вышла худая старуха, в черном, как монашка. Лет ей, должно быть, было много, лицо в глубоких морщинах, но запавшие глаза были неожиданно ярки и зорки. Она подошла ближе и что-то сказала по-узбекски, но в это время Варя увидела: из-под внутреннего дувала в сторону сада идет неглубокая канавка — арык, а в арыке течет вода.

— Пить! — сказала Варя. — Дайте нам, пожалуйста, напиться. Воды! — пояснила она.

Молодая женщина метнулась в дом.

— Чой! — вслед ей сказала старуха.

Женщина вынесла большой пузатый чайник и пиалу и налила в нее зеленоватую жидкость. Женщины молча наблюдали, как жадно, захлебываясь, Борька, потом Сережа и сама Варя пьют теплую, слегка горчащую жидкость.

— Кок-чой *, — пояснила молодая. — Якши!

— Спасибо вам, — сказала Варя.

Старуха что-то сказала, молодая перевела:

— Он сказал — где твой кибитка?

— Дом? Там, далеко... Там теперь война.

Про войну поняли все женщины и горестно закивали. Старуха спросила снова.

— Хазаин есть? — перевела молодая. — Мо-уж, — неуверенно пояснила она.

— Муж на войне.

Женщины снова горестно закивали. Только старуха стояла неподвижно.

— Папашка, мамашка есть?

— Нет, — отрицательно повела головой Варя. — Нет у меня ни мужа, ни дома, вот только они... И нигде никто не пускает, и что делать, я теперь совсем не знаю...

Слезы снова потекли у нее из глаз. Полуотвернувшись, она вытирала их ладонью, старалась сдержать, но они все лились и лились. Женщины тихонько обменялись несколькими словами и замолчали. Старуха молча смотрела на нее, потом сказала несколько слов.

* Зеленый чай.

Женщины заулыбались, молодая весело перевела:

— Мамашка сказал — живи мой кибитка. Вот твой кибитка, — показала она на правую половину дома.

— Ой! — Варя даже растерялась. — Правда?.. И можно сразу? — Но тут же она остановилась. — А сколько я должна буду платить? Я ведь еще и не работаю пока... Сколько денег?

Старуха снова произнесла несколько фраз, молодая перевела:

— Мамашка сказал — деньга не надо. Война — твой кибитка йок *. Мой кибитка бар **. Живи мой кибитка. Война кончал, твой пошел свой кибитка. Не надо деньга — война!

Сжав руки, Варя смотрела на старуху и не знала, что сказать.

Молодая показала пальцем на старуху:

— Его — Ойé, мамашка. — Потом она показала на пожилых женщин, на себя: — Его, его, мой — кизимка.

Варя догадалась, что «кизимка» означает «дочь».

— Мой, — сказала молодая, — Соодат. — Она направила палец на Варю и спросила: — Твой?

— Шевелева, — сказала Варя. — Варвара Шевелева.

Старуха отрицательно покачала головой, проговорила несколько фраз. Соодат перевела:

— Мамашка сказал — нет. Его чтеры кизимка. Ассалат, — указала она на старшую из женщин, — Карамат, — указала на вторую, — Иннобат там, — махнула она рукой, — другой кибитка... Соодат, — она снова потыкала пальцем себе в грудь. — Твой — беш кизимка — Санталат. Бельмайде? Санталат.

Варя скорее догадалась, чем поняла, что старуха нарекает ее своей пятой дочерью под именем Санталат. У нее перехватило дыхание, она прижалась к впалой груди старухи и отчаянно заплакала, теперь уже слезами облегчения и радости. Старая Ойе тихонько похлопывала ее по спине и приговаривала: «Якши, якши, Санталат...»

Вот здесь, в тихом Чимкентском переулке, они и прожили всю войну. Варе говорили правду. Кибитка оказалась пустой комнатой с глинобитными стенами и глиняным полом. В тыльной стене несколько глубоких ниш для посуды, постели и одежды. И больше ничего — ни

* Нет.
** Есть.

печки, ни даже табуретки или скамеечки. Ойе с младшим сыном Хабибуллой и Соодат со своей годовалой Мухабат жили во второй комнате. У них тоже не было печки — они обогревались сандалом. Посреди комнаты в полу было квадратное углубление, над ним на коротких ножках маленький столик. В углубление насыпали горящие древесные угли, столик накрывался распростертым во все стороны ватным одеялом. Когда в комнату входили, обувь оставляли у порога и садились к сандалу, засовывая ноги под одеяло. Так ели, так и спали. Чтобы не угореть, одинарные окна даже зимой приоткрывались. В комнате было прохладно, но ноги находились в тепле, и от холода никто не страдал.

Варю пугала такая перспектива — остаться на зиму с детьми без печки, — и муж Карамат, красивый гигант и мастер на все руки, сложил в углу маленькую плитку — на ней готовили, ею обогревались. Он же из каких-то ящиков соорудил подобие двух кроватей, а потом стол на козлах и скамейки. Варя поступила на один из эвакуированных заводов. Тогда чуть ли не на каждом шагу висели плакаты: «Все для фронта, все для победы!» В лозунгах, в сущности, нужды не было — без всяких призывов все работавшие этим и жили. Варе часто приходилось задерживаться на заводе, и поначалу она беспокоилась о ребятах. Но очень скоро обнаружилось, что тревожилась она напрасно. Сережа чуть ли не в шесть лет почувствовал себя помощником и хозяином. Он прибирал комнату, кормил Борьку, от него потом прятал еду, чтобы тот — всегда голодный — в один присест не слопал весь их хлебный паек, выносил за ним горшок, а вообще держал его в строгой струне, особенно летом: Борька пользовался любой возможностью улизнуть в сад, чтобы объедаться падалкой или даже рвать фрукты с деревьев. Сергей не раз давал ему за это взбучку; почти весь урожай сада продавался на Алайском базаре, на вырученные деньги семья хозяев жила целый год до нового урожая. Других доходов у них не было: Соодат нянчила Мухабат, вела хозяйство, а Хабибулла еще учился в школе.

К приходу матери Сергей подготавливал топку — дробил в сарае саксаул, который невозможно ни пилить, ни колоть, а можно только ломать и дробить, и носил из колонки воду. Соодат не обременяли никакие гигиенические предрассудки: в любую погоду она обмывала закаканную Мухабат в арыке, оттуда же брала воду для самовара и для котла. Увидев это, Варя пришла в ужас.

К счастью, через две усадьбы в переулке находилась водоразборная колонка. Сергей видел, как тяжело матери, и без того усталой после работы, носить воду для приготовления обеда и про запас, и стал носить сам. Это оказалось самым трудным. Колонка находилась не на улице, а в углублении между дворами, и вел туда довольно крутой откос. В хорошую погоду было не так уж тяжело наносить воду сначала по четверти, потом по половинке ведра. Но достаточно было маленького дождя или чтобы кто-нибудь пролил воду, как откос становился скользким, будто намыленным. Зимой он покрывался мокрым льдом, и тогда преодолеть его было почти немыслимо. Сколько раз Сергей падал на том откосе, обливался водой, расшибал локти и колени, оказывался с головы до пят измазанным липучей, мокрой глиной!.. Случалось, он даже плакал от боли и злости, но, как бы ни расшибался, снова спускался к колонке, набирал воды и снова карабкался вверх по откосу. Иначе не могло быть. Он знал, что делать это, кроме него, некому, и шел опять и опять, пока не запасал нужное количество воды. Потом они сидели с Борькой и ждали, пока придет мама, затопит плиту. В комнате сразу станет тепло и весело, а на плите будет булькать жиденький, прозрачный, как вода, супчик, приправленный ложкой хлопкового масла, и, когда он поспеет, они, обжигаясь, будут хлебать этот необычайно вкусный супчик.

Пообедав, Сережа и Борька ложились спать, а мама садилась к столу и, вытирая слезы, писала письма. После освобождения Киева она писала туда каждую неделю; возвращаясь с работы, прежде всего спрашивала, нет ли письма, но писем не было, и каждый раз на глазах у нее появлялись слезы. Она со страхом думала, что́ случилось с Зиной, жива ли она — мало ли что могло произойти. И Зина была единственным звеном, через которое могла поступить весточка о Михаиле, о котором она ничего не знала с первого дня войны, когда он ушел в военкомат. Когда наконец от Зины пришло письмо, Варя расплакалась в голос.

Радостно улыбающаяся Соодат принесла письмо, размахивая им над головой, присела на корточки и наблюдала, ожидая, что Варя расскажет о своих новостях. Увидя, что Варя плачет, она недоуменно сказала:

— Письмо йок — плячит-плячит. Письмо бар — плячит-плячит. Зачем плячит? — Она подумала и пришла к выводу: — Сорт такой!

Если удавалось раздобыть немного муки, мама по выходным делала затируху. В сущности, это был просто клейстер, но каким сказочно вкусным казался он тогда! Однажды Борька сказал:

— Ладно, мама, когда кончится война, мы каждый день будем есть затируху?

— Обязательно! — сказала мама, глотая слезы вместе с затирухой.

Сергей внимательно наблюдал, как мама растапливает, готовит, и однажды сам затопил плиту и начал варить супчик. К приходу матери в комнате было тепло и супчик был готов, так что ей осталось только вымыть руки и разлить суп по тарелкам. Он оказался без соли и слегка подгоревшим, но это были пустяки, и растроганная Варя сказала со слезами на глазах:

— Спасибо, Сережа, дорогой ты мой помощник! Ты становишься настоящим мужчиной...

Сергей вспыхнул от радости и сердито напыжился, чтобы рот не растянулся до ушей в счастливой улыбке. Только потом он сказал:

— При чем тут мужчина, если это женская работа?

— Нет работы мужской или женской, никакая работа не стыдная. А настоящий мужчина всегда старается взять на себя как можно больше, самое тяжелое и трудное.

И, становясь подростком, Сергей одновременно все больше становился маленьким мужчиной. Скоро он взял на себя почти всю домашнюю работу, даже стирал свои и Борькины трусы, ходил за хлебом, за убогим сухим пайком, какой иногда давали по карточкам.

Так скудно и голодно они жили всю войну. Но они бы просто не выжили, если б не Ойе и многочисленная семья. В сущности, это уже было много отдельных семей, но вместе с тем они оставались и единой семьей. Когда-то основатель ее ходжа Мир-Юнус имел большой участок земли, и весь он был занят фруктовым садом. Там росли урюк, орех, абрикосы, персики, яблони, груши.

Когда дети подрастали, он женил или выдавал их замуж и каждой молодой чете отрезал часть своего участка. Общими усилиями и с помощью соседей для молодых строили кибитку, и они начинали самостоятельную жизнь. Так было со старшим сыном Убайдуллой, с Ассалат и Карамат. Только Иннобат ушла в кибитку мужа в другом районе. Вскоре после рождения младшего сы-

на Хабибуллы ходжа Мир-Юнус умер. К тому времени уже были введены паспорта, и в паспортном столе имя отца превратили в общую для всех фамилию — они стали Миръюнусовы. Для Соодат кибитки не строили — ей и мужу отдали комнату, в которой теперь жила Варя с детьми. Замужество Соодат длилось недолго. Варя спросила, где ее муж, может, тоже на войне, Соодат поначала головой:

— Его тюрьма пошел.

— Как? За что?

— Деньга считал. Много-много считал.

— Кассир, что ли?

— Ага, деньга считал-считал, деньга не хватал — его тюрьма пошел.

То ли горе давно было оплакано и стало привычным, то ли не было оно слишком большим, или виноват был невозмутимый нрав Соодат, говорила она об этом совершенно спокойно, как о чужом, безразличном деле.

После смерти мужа Ойе стала главой рода, непререкаемым авторитетом, верховным судьей, советчицей, наставницей и заботливейшей обо всех попечительницей. Она была немногословна и строга, никогда не повышала голоса, однако все сказанное ею становилось законом и для седеющего Убайдуллы, и для старшего зятя — уже просто седого и лысого «бабая», как все его звали, то есть старика. С ней никогда не спорили, почтительно выслушивали ее и беспрекословно повиновались. Она была скупа на проявление чувств, изредка только ласково похлопывала кого-нибудь из льнувших к ней малышей и легонько отталкивала, чтобы они снова бежали играть. Суровость ее была чисто внешней. Сердце ее было переполнено любовным вниманием ко всем и заботой о каждом.

Сказанное Ойе при первой встрече осуществилось: Варя действительно стала ее пятой дочерью. Не зная русского языка, Ойе сердцем угадывала, чувствовала состояние Санталат, по-своему старалась успокоить, утешить и прежде всего помочь. Варя с ребятами жила своей отдельной семьей, но Ойе — хотя ни разу не вошла к ним в комнату — видела и понимала каждую их нужду. Сколько раз, когда сухой паек был мизерным или его не было вовсе, она подкармливала их, посылая Соодат с миской шурпы или маставы *; по ее слову дочери на-

* Суп.

несли Варе кто подушку, кто одеяло, необходимую посуду, одежонку для ребят, не новую, ношеную, но целую и чистую. На скудную Варину зарплату всего было не накупить, и на первых порах, пока Варя не работала, это было просто спасением.

Как только на деревьях появлялись первые плоды, Ойе показывала рукой дорожку в сад и произносила несколько слов, а Соодат тут же переводила:

— Иди куший-куший. Курсак * польный-польный — якши. Такой красивый — тольстый-тольстый...

И она надувала щеки, показывая, какими они станут красивыми, если будут есть и растолстеют.

Варя и Сережа ходить в сад и есть фрукты стеснялись, за Борькой Сережа следил, чтобы и он туда не бегал. И сколько раз за лето Ойе присылала Соодат или сама подходила к открытому окну с подолом или миской, полными яблок, урюка или персиков! О покупке фруктов для ребят на базаре Варя не могла и мечтать, каждый раз такой подарок трогал ее до слез не только сам по себе, но и потому, что семья Ойе жила продажей фруктов из своего сада, а их было не так уж много. После всех разделов от большого когда-то участка ходжи Мир-Юнуса у Ойе остались только четвертая часть, сами они жили и питались совсем не роскошно. Время от времени что-то приносили и остальные, а чаще других — воплощение деликатности и доброты — Карамат: то пиалушку кишмиша, то сладкие жгуты сушеной дыни, то еще что-нибудь.

Варя уже усвоила несколько узбекских слов и растроганно повторяла:

— Рахмат! Рахмат! **

Они смущенно улыбались и отмахивались:

— Зачем рахмат? Куший-куший...

На всю жизнь запечатлелись в сердце и памяти эти люди, такие щедрые на добро. Ойе и Убайдулла, Ассалат и ее бабай, Карамат со своим мужем, улыбчивым гигантом Ганыке, и их дети — востроглазая Саламат, первая увидевшая их, и ее старший брат Хаким, — Соодат со своей Мухабат, Хабибулла и часто приходившая в гости младшая сестра Ойе, которую все звали «холя» — тетя.

Они не читали газет, не слушали радио, не имели понятия о дружбе народов и никогда не произносили,

* Живот.
** Спасибо.

даже просто не знали никаких высокопарных слов, держались за свой уклад и обычаи, от всего непривычного отгораживались твердой формулой — «узбечка закон». Но самым главным законом их жизни было — оставаться людьми и творить добро. Не потому, что кто-то заставлял их или обязывал делать это, — они просто были такими и не могли иначе.

Пусть же всегда будет мир и благополучие в ваших кибитках, Миръюнусовы! Да будет земля тебе пухом, незабвенная Ойе!

В Ташкенте Сергей пошел в школу с опозданием, учебников не было, тетрадей тоже, к тому же он не снял с себя ни одной прежде взятой обязанности, и в Киеве обнаружилось, что многое он знает плохо, а кое-чего не знает вовсе. Но оказалось, что не напрасно он целые дни работал по дому, когда его сверстники бегали, весело горланя, не зря мордовался на обледенелом откосе, когда ходил по воду в Чимкентском переулке, зная, что непременно будет падать и расшибаться, однако снова и снова шел, падал и расшибался, но всегда успевал наносить воды к приходу матери. С таким же упорством он принялся за ученье и вскоре догнал сверстников. Устюгов к тому времени тоже вернулся в Киев, разыскал Шевелева и стал в их доме своим человеком. Однажды он пришел с угловатым свертком и сказал:

— Я вижу, ты усердно грызешь гранит науки. Это прекрасно, так как известно, что науки юношей питают, а старцам подают отраду... Но вот что я должен тебе сказать, исходя из наблюдения многих лиц, которые уверены, что поскольку они закончили вуз, то автоматически стали вполне культурными людьми. Можно закончить вуз, даже два и остаться болваном, то есть заделаться узким специалистом и быть дремучим невеждой во всем остальном. Ни школа, ни вуз образованным ничего не делают. Образованным человека делает чтение. Постоянное, непрерывное и систематические. Для начала я тебе принес вот эту штуковину. Правда, в «буне» был только один том, но не будем терять надежды, может, попадутся и остальные... — и он протянул Сергею «Жизнь животных» Альфреда Брема.

Эта первая, читанная и перечитанная, книга решила судьбу Сергея. Окончив школу, он сказал, что поедет в Москву сдавать в МГУ, на биологический.

— Почему? — удивилась Варя. — Сдавай на какой хочешь, но почему в Москву? Чем тебе плох киевский?

— Я не говорю, что он плох. Я хочу изучать подводную фауну, а самые крупные специалисты в этой области в Москве. Здесь таких нет.

— Но здесь есть дом! Ты будешь в семье, а не мыкаться по углам!

— Почему обязательно «мыкаться»? Если выдержу, дадут место в общежитии.

— А жить на что? Мы не сможем тебе много посылать. Ты же видишь, как отец работает, и то мы еле сводим концы с концами.

— Дадут стипендию.

Сергей спокойно парировал все панические возгласы матери и поглядывал на молчащего отца.

— Не будем ему мешать, Варя, — сказал Шевелев. — Он, как видно, решил твердо. Пусть едет.

Сергей уехал, сдал экзамены, как и предвидел, получил стипендию, общежитие, с восторгом писал об университете и профессуре. Но каждый раз, когда он приезжал на каникулы, матери казалось, что он похудел, измучен, вообще ужасно выглядит, и она старалась его откормить, даже обкормить — про запас... На самом деле Сергей вовсе не выглядел перетрудившимся изможденцем, просто мальчик и юноша, какого знала Варя, превращался в мужчину, но для Вари, хотя он был уже на две головы выше матери, оставался все тем же мальчиком, который без ее ухода и забот непременно погибнет. На каникулы Сергей приезжал только зимой — он был членом студенческого научного общества, и каждое лето его включали в какую-нибудь экспедицию. От всякой денежной помощи он отказался еще на втором курсе, когда получил Сталинскую стипендию. Много позже Сергей признался, что стипендии, конечно, не хватало, особенно когда нужно было покупать что-то из одежды, тогда он с товарищами подрабатывал на железнодорожных станциях, разгружая вагоны.

Приехав по окончании университета домой, Сергей радостно сообщил, что его направляют во Владивосток.

— А в другое место нельзя было? — спросила Варя.

— Можно. Я сам просил Владивосток.

— Так ты нарочно? — поразилась Варя. — Чтобы подальше от нас?

— Ну что ты, ма! Просто там интереснее... И ты ведь

знала, что так или иначе я буду работать не в Киеве, а где-нибудь у моря.

— Ну и пожалуйста! Почему нельзя поближе, хотя бы на Черном море? Во Владивосток ехать надо чуть ли не две недели! А тут один день, и ты дома... Все мечтают о Черном море, а ему, видите ли, не нравится.

— Нравится, ма. Солнце, воздух и вода, кипарисы, магнолии и все прочее. Но это хорошо для курортников, а не для исследователей. Жизнь в нем есть только в верхнем слое — каких-нибудь метров сто пятьдесят — двести, дальше на всю глубину, две тысячи метров, — мертвая сероводородная зона. Мне же на Черном море просто делать нечего — я специализировался на беспозвоночных, в частности на головоногих, а их в Черном море нет совсем.

Сергей уехал, не часто, но регулярно писал письма. Через какое-то время женился и однажды приехал в отпуск с Ингой — познакомить ее с родителями. Потом у них родились двойняшки. Дальние путешествия для малышей были утомительны и опасны, он присылал фотографии — глянцевые карточки, с которых таращились пухлощекие младенцы... В общем, это был уже отрезанный ломоть. Варя все собиралась съездить во Владивосток, посмотреть, как они там живут, но свободных денег на это не было, да и домашние заботы держали в Киеве. Так и не собралась.

С Борисом не было никаких осложнений. Воспоминания о бедах военного времени свелись у него к боязни голода. Сытость после войны наступила не сразу, поэтому Борис всегда старался поесть поплотнее, про запас. Потом забылось, ушло и это, пострадала только фигура, и Шевелев однажды сказал ему:

— Спортом бы занялся, что ли. Молодой человек, а задница у тебя, как комод.

Нельзя сказать, чтобы зад у Бориса был очень большим — он стал каким-то прямоугольным и внушительным. Борис неуклюже отшутился.

Учился Борис старательно, стремясь быть если не первым, то одним из первых. Никаких дурных склонностей не проявлял, с плохими компаниями не якшался, в подъездах и подворотнях, как другие подростки, не торчал. На старом дворе друзей среди своих сверстников он не заводил — дружеские связи образовались в школе и

особенно в институте. О них Борис рассказывал охотно, даже несколько хвастливо — все это были дети солидных, ответственных людей, судя по всему, и сами собирались стать такими же солидными и деловыми. Он часто и с удовольствием уходил к друзьям, но к себе их не приводил: стыдился скудости своего быта.

И с вузом не было осложнений. Борис успешно выдержал экзамены в автодорожный и хорошо учился. Волнения вспыхнули, когда подошло распределение. Вероятнее всего, Бориса запроторили бы в какую-нибудь «дыру», в «Сельхозтехнику». Варя заранее сокрушалась, даже тихонько поплакивала в чаянии предстоящей разлуки. Шевелев ничем помочь не мог, да и не видел никакой беды в том, что зеленый инженер несколько лет поработает на периферии. Даже полезно: живое дело, прямая ответственность скорее сделают его настоящим специалистом. Борис не хотел становиться специалистом в «дыре». Вот тут и пригодились дружеские связи с детьми солидных родителей и знакомства с этими родителями: в телефонном разговоре мимоходом, между прочим была названа фамилия и высказан совет-пожелание. Борис остался в Киеве.

Фирма, в которой Борис работал, еще только разворачивалась. Поступил он начальником участка в транспортном цехе, но в этой должности не задержался. Голова у него была светлая, руки росли, как он говорил, не не из того самого места, и он быстро поднимался по служебной лестнице — стал заместителем начальника, а через какое-то время и начальником цеха. Продвижение энергичного, напористого молодого специалиста было естественным. С работягами Борис был, когда нужно, достаточно жестким, но держался на дружественной ноге — соблюдая, конечно, дистанцию — и давал им возможность заработать. Его уважали. В своем кругу он был покладист и услужлив, а с начальством эластичен. Он знал, где и что можно говорить, а в особо тонких ситуациях умел не видеть, не слышать и держать язык за зубами. Его ценили все более.

Домой он приходил только спать, да и то не всегда, небрежно объясняя потом, что ночевал у товарища — засиделись поздно, транспорта уже никакого, не тащиться же пешком через весь город! Однажды Варя посетовала, что он совсем не бывает дома. Борис мягко, но непреклонно объяснил:

— Иначе не получается. Работа колготная, день нормированный. Это мои работяги от звонка до звонка, а на мне лежит ответственность.

— Я понимаю, — сказала Варя. — Но ты и в выходной обязательно куда-то уходишь.

— Что ж ты хочешь, мамочка? Целую неделю вкалываю, как проклятый. Должен я когда-то встряхнуться, повидать друзей?

— Странно, — сказала Варя, — когда Сережа жил с нами, у нас постоянно толклись его товарищи. А у тебя как-то все на стороне. Мы и друзей твоих совсем не знаем. За все время ты ни разу никого не привел...

— Сюда? Да что б мы тут делали?

— Оставь, Варя, — сказал Шевелев. — Дело молодое, кому в его возрасте хочется сидеть дома?

Бориса самого тяготила раздвоенность его жизни — один дома и совершенно иная, не похожая, там, вне дома. Да и вообще далеко, неудобно, ездить надо троллейбусом, потом автобусом... Он объяснил свое положение начальству, напирая на то, что, если б он жил поближе, он и работать бы мог с большей отдачей. В его положение вошли и в ближайшей по сроку сдач «гостинке» выделили однокомнатную квартиру. Шевелев смотреть не поехал, но Варя съездила и вернулась очень довольная — квартира вполне приличная. «Раз уж есть квартира, пора подумать и о хозяйке», — высказала она свою уже давнюю заботу.

— А куда мне спешить? — посмеиваясь, сказал Борис. — Не беспокойся, мамочка, «в девках» я не останусь...

Дел всегда было «по завязку», поэтому Борис не часто посещал родителей, но был сыном внимательным и заботливым: расспрашивал, как они себя чувствуют, каждый раз привозил что-нибудь «вкусненькое» — коробку конфет или торт и — непременно! — цветочки, и каждый раз Варя была растрогана.

«В девках» он не засиделся. Через некоторое время после того, как стал «начтрансом», Борис загадочно сказал, что намечается кое-какая перспектива, поэтому теперь можно думать о женитьбе, а затем привел будущую жену. Алина оказалась длинноногой, очень красивой девушкой с большими, навыкате, глазами. Предполагая, что она будет стесняться, Варя старалась ее всячески обласкать, разговорить. Алина односложно отвечала на вопросы и никакого разговора не поддерживала. Почти все время она смотрела в стол, изредка поднимала глаза на

говорящего, потом снова опускала взгляд. Все это больше смахивало на высокомерие, чем на застенчивость. Варя смешалась и замолчала тоже. Борис говорил за всех четверых.

Потом Варя уговорила себя, что этого не могло быть, она ошиблась. Алина не высокомерная, а просто очень скромная и стеснительная. Когда Борис приехал узнать, какое впечатление произвела его невеста, Варя расхвалила ее, особенно напирая на скромность и красоту. Борис сиял.

— А где будет свадьба? — озабоченно спросила Варя. — У тебя тесно, да у тебя и нет ничего — ни посуды, ни мебели. Лучше всего у нас. Посуду, стулья одолжим у соседей...

— Ну что ты, мамочка! — засмеялся Борис. — Кто сейчас так справляет свадьбу? Сколько здесь поместится — человек тридцать, сорок? Остальным ждать очереди на улице?

— А сколько ты собираешься приглашать?

— Точно я еще не прикидывал, но не меньше сотни, а то и все сто пятьдесят.

— Это все — друзья? — спросил Шевелев.

— Друзья. И нужные люди. Пренебрегать нельзя — себе дороже...

— Куда же такую прорву? — сказала Варя. — Их вообще нигде не разместить.

— Не беспокойся, мамочка! Договорюсь в ресторане о банкетном зале, а то сниму целиком какое-нибудь кафе. И все будет о'кэй, на высшем уровне.

И все было на высшем уровне.

К дверям зала вел небольшой, но широкий и пологий лестничный марш. Вдоль него с обеих сторон, как почетный караул, выстроились официанты. На площадке перед закрытой дверью стоял метрдотель. Он был торжествен и величав, как полководец, у которого не бывает поражений. Своей армией в черной униформе он командовал без слов и мановений — одними взглядами.

Когда Алина и Борис приблизились к площадке, метрдотель встретил их полупоклоном, собственноручно распахнул двери, и тотчас навстречу молодым грянул марш Мендельсона.

Большой банкетный зал был отделан под мрамор. На составленных «покоем» столах — слепящая белизна скатертей и салфеток, сверкание хрустальных фужеров

и рюмок, частоколы бутылок, в ведерках со льдом наклонившиеся, как ракеты перед стартом, темные обводы бутылок шампанского с боеголовками, обтянутыми серебристой фольгой. На полукруглом возвышении против столов волосатые молодцы в белых пиджаках с широкими черными лацканами, стоя, наяривали марш. Непривычная ресторанным лабухам музыка звучала не очень стройно, и недостаток стройности они возмещали усердием. Отгрохотав свадебный марш, музыканты сели и заиграли хорошо отработанную вязь эстрадных песен.

Борис остановился у входа. Он принимал поздравления и приветствовал гостей. Это было не похоже на обычный свадебный ритуал и скорее напоминало светский прием, какие показывают в иностранных фильмах. Но Борис знал, что делал. Он своими глазами видел, кто принял приглашение и приехал, а кто его не принял и не приехал. И он мог сделать то, что иначе в такой многолюдной колготне было невозможно, — лично приветствовать всех приехавших и поблагодарить: он по себе знал, как каждый ценит личное к нему внимание. А кроме того, каждый из мужчин, кто стесняясь, а кто, напротив, даже с некоторой аффектацией, протягивал ему конверт. Борис благодарил и бросал его в широкую вазу, которая по мановению метрдотеля немедленно оказалась у него под рукой на маленьком столике.

Борис все нервознее вскидывал взгляд поверх голов поднимающихся гостей и, наконец, просиял: одним из последних появился крупный, плотный мужчина в возрасте и кондиции, о которых нельзя с уверенностью сказать, что человек только что достиг сорока или уже приближается к шестидесяти. Он держался совершенно свободно, с той свободой, какую дает уверенность, что дорогу ему уступят, а когда он откроет рот, внимательно выслушают и — послушаются. Он не совал никаких конвертов, покровительственно обхватил Бориса за плечи и, прихлопывая ладонью, сказал:

— Поздравляю, поздравляю! Знакомь с молодой женой... Так вот она какая? Ну, знаешь, кабы не строгая жена, увел бы... Прямо из стойла увел бы! — хохотнул он, не сомневаясь в том, что вполне демократический комплимент будет оценен.

Его оценили — окружающие и Борис тоже заулыбались.

Борис оставил свой пост и повел важного гостя к почетному месту — во главе стола. Остальные гости тоже

расселись по местам. Официанты теперь выстроились позади сидящих и не сводили глаз со своего полководца. Уловив знак Бориса, тот обвел величавым взглядом свои войска. И тотчас бутылки с шампанским были выхвачены из ведерок, оплетка сорвана и грянул пробочный залп. Гости взяли с подносов пенящиеся бокалы и повернулись к молодоженам. Важный гость тоже взял бокал, высоко поднял его и раскатисто провозгласил:

— Здоровье молодых!

Он выпил и, полуобернувшись, швырнул бокал за спину; тот со звоном разлетелся вдребезги.

— Кажется, так полагается по нашему русскому обычаю? — сказал он, улыбаясь.

Лабухи вскочили и еще раз нестройно отгрохали свадебный марш.

Варя с ужасом ожидала, что остальные гости тоже начнут колотить хрустальные бокалы, но больше никто бокалов не бил, началась обычная свадебная кутерьма— тосты, возгласы, говор и бряк посуды. То и дело все это перекрывал, победно глушил вой и грохот ансамбля. Сам по себе немногочисленный набор инструментов не мог действовать так оглушительно, но лабухи шли в ногу с веком — перед каждым торчал микрофончик, а в углах зала стояли внушительные тумбы с динамиками. Время от времени оркестр начинал играть типе, и дюжие патлачи вывихнутыми голосами скулили что-то чувствительное. Шевелев не понял ни одного слова и даже на каком языке они поют: может быть, им казалось, что это английский?

Потом начались танцы. Сам Шевелев не умел их различить, но сидящая рядом монументальная дама, которую только габариты удерживали за столом, была, должно быть, большим знатоком. Она с завистью и восторгом следила за танцующими и бросала невежественному соседу: «Твист... шейк... хали-гали...» А на свободном пространстве между столами толклись бесноватые. Они сучили руками и ногами, вихляли бедрами, дергались, как эпилептики.

Шевелев смотрел на них сначала с недоумением, потом со все более возрастающим отвращением. Сам он не умел танцевать, но ему нравилось смотреть на танцующих, когда под мелодичную музыку они плавно скользили, словно летели над паркетом. Полет захватывал, увлекал танцующих, доставлял наслаждение им самим, и на них приятно было смотреть со стороны — танец был

красив. Здесь танцующие тряслись и судорожно дергались, будто всех одновременно поразили болезнь Паркинсона и пляска святого Витта.

Шевелев понимал, что он просто старый и очень отсталый от нынешних обыкновений человек. Пройдет время, и появятся какие-то другие танцы, или снова начнут танцевать старые. Во времена его молодости о танцах вообще никто не заикался, считали, что они исчезли навсегда вместе с остальным проклятым прошлым. Да что танцы! Яростно, до крика и оргвыводов, спорили, можно ли комсомольцу носить галстук или же этот кусок тряпки непременно увлечет соблазнившегося в пучину буржуазной идеологии... Сейчас смешно, тогда смешно не было. Потом были реабилитированы и галстук, и танцы. И снова моды стали сменять одна другую...

Да в конце концов, что ему до этого? Пусть корчатся и дергаются как хотят, если им нравится, но при чем тут он, почему он должен на это смотреть? И Варя тоже... Он видел, что с самого начала ей было не по себе среди этих самодовольных и самоуверенных людей. Она чувствовала себя затерянной и ненужной, как бедная родственница. Она и была бедной. Надела свое лучшее платье и единственную драгоценность, которая вовсе не драгоценность, — маленький кулончик «слезка» из горного хрусталя на серебряной цепочке. Какими старомодными и жалкими выглядели и ее платье, и кулончик здесь, среди разряженных баб с золотыми кольцами и браслетами на руках. Она крепилась изо всех сил, старалась показать, что ей весело и все очень интересно, но Шевелев несколько раз уловил в ее глазах затаенное страдание.

— Пошли отсюда, — шепнул он ей.

— Куда?

— Домой. Нечего нам здесь делать.

— Что ты, разве можно?! — ужаснулась Варя. — А как же Боря? Он же обидится!

— Он и не заметит. Вон как нарезает винта вместе с этими припадочными... И Димка там же. В конце концов, ты больной человек, устала, вот и все. У меня и то башка разламывается от грохота... Пошли, пошли.

И они ушли. Ухода их действительно никто не заметил.

Борис примчался на следующий день, исполненный обиды и даже готового прорваться негодования.

— Как вы могли? Зачем вы это сделали? Чтобы ме-

ня перед всеми опозорить? Для чего вы устроили демонстрацию? Где это видано, чтобы отец и мать ушли со свадьбы сына? Это же просто неприлично!

— Ну-ка сбавь тон, — сказал Шевелев. — Никакой демонстрации не было. Маме стало нехорошо, вот мы и уехали. И позора не было — никто не заметил. Ты тоже.

Обида оказалась не слишком глубокой, ее тут же сменили участие и тревога.

— Но почему мне не сказали? Я бы дал команду, чтобы отвезли.

— Как видишь, сами добрались. Так что тебе не обучать нас приличиям, а следует сказать спасибо, что тебе настроения не испортили.

— Извини, сорвалось сгоряча... Как ты сейчас, мамочка? Врача не вызывали? Может, я съезжу, привезу знакомого кардиолога?

— Не надо, не надо, — сказала Варя. — Я отлежалась, мне лучше... Ты не обижайся, Боренька. Уж очень было шумно и многолюдно, я не привыкла к такому многолюдью...

— Что я мог поделать? — сокрушенно, но и не без гордости развел руками Борис. — Меньше никак было нельзя. Положение, как говорится, обязывает.

— Столько народу и вообще всего, — сказала Варя, — целый оркестр, это, должно быть, стоило бешеных денег...

— Не беспокойся, мамочка, дебет превысил кредит. Подарки все оплатили...

— Жаль, я не видела... Хорошие вещи подарили?

— Какие вещи? Деньги дарили — каждый вручал конверт. Ну, ты сама понимаешь, надо быть жлобом, чтобы на свадьбу сунуть десятку... Так что банкет меня не разорил.

— А кто этот руководящий ухарь, — спросил Шевелев, — вокруг которого ты танцевал и который потом посуду бил?

— Так уж посуду — всего один бокал... Да и по обычаю так полагается. Это — Василий Васильевич, коммерческий директор нашей фирмы.

— Что же он конвертика не сунул?

— Он не конвертик, батя, он мне такой подарок сделал, что ни в какие конвертики не засунешь. То есть не лично он, конечно, но без него мне бы много лет ждать пришлось...

У двери позвонили, пришел Устюгов.

— Привет, привет! — сказал он. — Как прошло бракосочетание? На радость гостям ты спел эпиталаму «Пою тебе, бог новобрачных, бог Гименей»? Не пел? Напрасно! Старомодно, но красиво... Особенно когда поет Лисициан.

Лицо Бориса было отчужденно.

— А что же вы, Матвей Григорьевич? Значит, командировки у вас не было, вы просто не захотели прийти?

— Не следует подозревать старших во лжи, дорогой мой. Командировка была, но не состоялась. Противоестественный гибрид искусства с производством, который называется кинематографом, — штука совершенно неменяемая. При множестве планирующих и контролирующих инстанций в нем никогда не известно, что произойдет через день или даже через час. Например, облака закрывают солнце, и все производство останавливается, искусство тоже... Вот так примерно произошло и с нами. Мы ждали лихтвагена, но группа, в которой он был занят, со съемок не вернулась, а когда она вернулась, было поздно уже и для съемок, и для свадьбы... Так что, пожалуйста, не надувайся и не делай вид, что ты кровно оскорблен. Я склонен думать, что мое отсутствие вряд ли было замечено, во всяком случае оно не омрачило торжества. Тебя я уже поздравил авансом, а мои поздравления супруге передашь ты.

— Нет уж, теперь придется вам самому... Как ты себя чувствуешь, мамочка? Тебе нужно лежать или ты можешь выходить?.. Вот и прекрасно! Тогда сейчас поедем все ко мне.

— Зачем?

— Во-первых, Алина не будет думать, что вы имеете что-то против нее...

— Ну, ради этого... — сказал Шевелев.

— Не только ради этого. Я хотел еще вчера показать, но вы уехали...

— Это совсем не тот дом, — сказала Варя, когда черная «Волга» остановилась у подъезда девятиэтажного здания.

— В том-то и дело, мамочка! — торжествуя, сказал Борис. — Ты, пожалуй, езжай, Сашко, — повернулся он к шоферу. — Что тебе торчать тут у подъезда? Нужно будет, я позвоню.

Бесшумный лифт поднял их на седьмой этаж.

— Варенька, — предостерегающе сказал Устюгов, — обопритесь о руку спутника вашей жизни, в крайнем

случае о мою. Седьмой этаж — это почти как седьмое небо. Ждите чудес. Лично я не буду удивлен, если сейчас откроется сезам.

Сезам открылся, на пороге стояла Алина. И улыбалась.

— А что я говорил! — воскликнул Устюгов. — Чудеса уже начались. Где добываются такие невесты? Может, там еще остались?..

Он витиевато поздравил Алину со вступлением в законный брак и пожелал супругам всего, что принято желать. Алина улыбалась. Борис сиял.

— Тебе дали новую квартиру? — удивилась Варя.

— Ну конечно же, мамочка! Руководство учло, так сказать, возможную перспективу, пошло навстречу, и мнение Василия Васильевича сыграло решающую роль.

Трехкомнатная квартира была просторна и удобна. Борис с гордостью показал все удобства, даже чешский «компакт» в уборной.

— Голубая мечта диабетиков и клизмачей, — тихонько, чтобы не услышала Варя, взвеселился Устюгов.

Потом была продемонстрирована обстановка комнат.

— Шик-блеск-красота! — резюмировал Устюгов. — Экскурсия окончена, теперь можно сесть?

Они сели в кресла вокруг низенького круглого столика.

— Может, хотите выпить? — спросил Борис и отворил дверцу бара в «стенке». За ней открылись стройные шеренги рюмок, бокалов и плотный ряд разнофигурных бутылок с яркими наклейками.

— Дары гнилого Запада? — ухмыльнулся Устюгов. — Весьма соблазнительно, но недоступно. Матери твоей нельзя по причине сердца, родителю из-за язвы и гипертонии, а мне по совокупности причин, каковые не станем уточнять. Так что закрывай свои соблазны, мы их оценили на глаза.

— Господи, неужели у вас не бывает света? — спросила Варя.

В углублении «стенки» на расписанной цветами и птицами стеклянной подставке стояла керосиновая лампа под зеленым абажуром.

Борис снисходительно улыбнулся, но Устюгов опередил его:

— Вы отстали от жизни, Варенька! Сейчас это, как говорится, последний вопль моды. Называется он «ретро», что в переводе с латинского означает «назад» или

«обратно»... Люди утратили связь с прошлым, или, как сказал поэт, порвалась связь времен... А без такой связи человек жить не может. То есть, конечно, может, но это жизнь амебы, у которой нет ни прошлого, ни будущего, а только настоящее — пожирание пищи и размножение. А люди не хотят быть амебами. Они с тоской оглядываются назад, пытаясь понять, как было тогда и почему стало так, как есть сейчас. Не умея установить духовной связи с прошлым, они делают доступное им — собирают его материальные осколки. Духовное родство подменяется коллекционированием старого хлама... Виноват! Я говорю не о присутствующих, а вообще... Собираются лампы и канделябры, шкатулки и секретеры, наперстки и прялки, даже каминные щипцы, а каминов не собирают только потому, что их не продают в комиссионках, а если б продавали, то возникли бы трудности с транспортом и установкой в многоэтажных домах... Не считайте сказанное злословием. В принципе мне мода нравится. Полезно, чтобы детеныши, подрастающие под сомнительным излучением телевизоров, знали, что деды их сидели при керосиновых лампах, коптилках, а прадеды при свечах и даже лучинах...

Борис ворвался в паузу:

— Как вам квартирка?

— Чудесная! — сказала Варя. — Просто прелесть! Все хорошо распланировано, удобно... Я так рада за вас, что и сказать не могу...

Дверь открылась, и Алина вкатила столик на колесиках, на котором был сервирован чай, в хрустальных вазочках лежали пирожные и конфеты.

— О! — сказал Устюгов. — Файв-о-клок... Как в лучших домах Лондона и Филадельфии...

— Зачем же здесь? — Варя со страхом посмотрела на сверкающую полировкой столешницу. — Можно ведь и в кухне, даже удобнее.

— Что ты, мамочка! — сказал Борис. — Кто принимает гостей на кухне?

— Ах, Варенька, не мешайте ему демонстрировать хай лайф и дольче вита... Только ведь по правилам великосветской жизни эту ездовину вкатывает ну, скажем, экономка, а не хозяйка? — Борис развел руками. — Да-да, понимаю и вхожу в твое положение... Однако вы, дорогие молодожены, нарушили еще более важное обыкновение этой самой хай лайф. Там принято сразу из-под венца, а у нас, скажем, прямиком из загса отправ-

яться в свадебное путешествие. Вокруг света, например. Или еще куда-нибудь.

— Мы уже были, — сказала Алина. — В прошлом году. В круизе вокруг Европы.

— Мы там с Алиной и познакомились, — сказал Борис.

— Очень интересно! — сказал Устюгов. — И как поживает старушка Европа? Где вы были, что видели?

— Везде, где теплоход останавливался, — ответила Алина. — А в Париж и Рим нас возили на автобусах. Жаль только, что мало времени. По Парижу нужно пешком ходить. Какие там магазины! Одни витрины чего стоят!

И Алина с необычным для нее пылом начала описывать парижские магазины, парижские моды, кафе, выплескивающиеся на тротуары.

— А в Лувре были?

— Были. Интересно, только ужасно утомительно. Очень уж там много всего. Я так уставала, думала, у меня ноги отнимутся.

— Ну, а в Риме, в Греции?

— Были, конечно. Там нас без конца водили по всяким развалинам... Все ноги избили. А что на них смотреть? Камни и камни...

— Да, действительно, — камни и камни... — несколько растерянно сказал Устюгов и умолк.

— А в этом году, — сказал Борис, — было не до путешествий: я хотел к свадьбе отделать квартиру. Думаете, здесь все так и было? Все сделал заново...

И он подробно начал рассказывать, как меняли паркет, заново отделывали стены, меняли светильники, даже выключатели, как нужно было следить за работягами, чтобы не нахалтурили.

— Ну вот, — закончил он и обвел рукой вокруг, — теперь вроде можно жить и гостей пригласить не стыдно... А ты что молчишь, батя? Тебе не нравится?

— Нравится, — сказал Шевелев. — Только не слишком ли ты жаден на это барахло? Мы в молодости както обходились и без него.

— Теперь потребности другие, — сказала Алина, складывая посуду на свою «ездовину».

— Я тебе помогу, — сказала Варя.

Шевелев проводил их взглядом.

— У вас, значит, другие потребности... Ну, конечно, у твоей матери, когда она выходила замуж, было жгучее

желание иметь только одно платье на все случаи жизни и штопаную кофточку. А мне просто требовалось светить подштанниками через единственные протертые штаны.

— По-твоему, нам надо от всего отказываться только потому, что не было у вас?

— Отказываться не надо, только когда потребительство становится культом...

— Почему это называется культом? В конце концов, для чего все делается, выпускается, производится? Для сводок? Для складов и в запас для будущих поколений? Люди делают вещи и вообще все для того, чтобы ими пользоваться. И не когда-нибудь, а сейчас, когда они живут, работают и могут потреблять то, что они делают, а не когда им, кроме манной каши и клизмы, ничего не будет нужно...

— Вот я и хотел сказать, что все больше распространяется потребительство... На Западе молодежь даже бунтовала против потребительского общества.

— Это нам не угрожает, — сказал Устюгов. — Там бунтовали студенты, сбитые с толку маркузианством, которое, в сущности, является окрошкой из удешевленного марксизма и подгримированного фрейдизма с примесью маоизма и прочих религий.

— Да, — сказал Шевелев, — у нас без религий — хватай, кто может, вот и все.

— По-твоему, — сказал Борис, — нужно, как в первые пятилетки? Жизнь в палатках или бараках, баланда в столовках или всухомятку — и вперед, да здравствует! Это хорошо было тогда. А сейчас конец века, время НТР. — Он опасливо оглянулся на закрытую дверь в прихожую. — Нутряным паром ракету в космос не запустишь! И гигантские ГЭС с однолошадными грабарками не построишь, нужны шагающие экскаваторы. И так далее. Так что техника на уровне века, а люди должны жить как робинзоны? Мы не хотим так жить!

— Кто мы?

— Технари. Руководители. В наше век, я считаю, решающие фигуры — деловые люди, технократы, и никуда от этого не денешься. А если так — будьте любезны дать нам что положено.

— И это? — Шевелев повел взглядом по обстановке.

— И это.

— Где же это для вас положили? Люди ищут месяцами, ждут очереди. А ты враз все сварганил.

— Это другой разговор. Кое-кого пришлось подмазать, а в основном сработали дружеские связи.

— То есть блат?

— Тебе обязательно хочется меня задеть? У тебя друзья есть?

— Есть. Немного.

— А у меня много! И я этим горжусь. Когда ты помогаешь друзьям или они тебе, ты это тоже называешь блатом? Или что можно тебе, другим нельзя?

— У нас дружба идет не по снабженческой линии.

— А у нас дружба не от сих до сих!.. Мы помогаем друг другу во всем. Иначе какая это, к черту, дружба?

— О чем вы так кричите? — сказала Варя, входя в комнату. — Даже в кухне слышно... Может, поедем уже домой? Я что-то устала...

— Пора, пора, — сказал Шевелев.

— Подожди, мамочка, я сейчас организую... — Борис снял трубку, набрал номер. — Валя? Что там Сашко делает? «Козла» забивает? Добьет в следующий раз, Скажи, чтобы ехал ко мне.

Минут пять Борис расспрашивал мать, как она вообще себя чувствует, не нужно ли чего-нибудь достать, привезти. Остальные молчали. Борис пошел их проводить, Алина осталась дома. Машина уже ждала у подъезда.

— Садись, мамочка, спереди, тебе будет удобнее, — сказал Борис. — Счастливо!

— М-да, любопытно, весьма любопытно... — сказал Устюгов, когда машина отъехала, но в зеркальце тылового обзора поймал внимательный взгляд водителя и умолк.

— Итак, рассеялся сон золотой о великосветской жизни, мы снова вернулись в трезвую повседневность... — сказал Устюгов, когда машина ушла. — Для вас, родителей, это путешествие в царство мечты было необходимостью. Но за что пострадал я? Снедаемый черной завистью и сознанием своего ничтожества, я теперь проведу ночь без сна. И, может быть, не одну... Честь имею.

— Погоди балаганить, — сказал Шевелев. — Мне после шикарного приема есть захотелось, тебе небось тоже. Пойдем, Варя нас чем-нибудь накормит.

— В самом деле, Матвей Григорьевич, — сказала Варя. — От обеда остались котлеты, разогрею их, вот

и поужинаете. А то что вы, пойдете в забегаловку или будете есть колбасу из бумажки?

— Меня соблазняют не котлеты — хотя котлеты тоже! — а возможность излить душу, которая исполнена и переполнена... И если я вам еще не надоел...

— Иди, иди, не кокетничай, — сказал Шевелев.

Раздражение, вызванное стычкой с Борисом, все еще клокотало в нем, и он не хотел оставаться сейчас с Варей наедине. Обмена впечатлениями не избежать, и он боился, что не сумеет сдержать себя, наговорит бог знает чего, а ей, видно по всему, и без того тошно. Устюгов же своим суесловием может спустить все на тормозах.

— Надеюсь, вы не поведете меня в столовую, отделанную дубовыми панелями, — сказал Устюгов. — И не только потому, что у вас ее нет... Моя плебейская душа плохо переносит великосветский шик и предпочитает пролетарские журфиксы на кухне... Привет тебе, доблестный лыцарь! — провозгласил он на пороге кухни.

— Какого рыцаря вы здесь нашли? — улыбнулась Варя.

— Боженко. Я не виноват, что этого завзятого вояку прославили через посредство шкафов, стульев и табуреток, назвав его именем мебельную фабрику. Конечно, это не Луи Каторз и даже не Бидермайер. Глаз они не радуют, но во всяком случае не надо думать, как пробраться через собственные колени, которые торчат выше стола, чтобы достать чашку чая... Вы не обращали внимания, как ничтожно влияние литературы на жизнь? Десятки лет назад Маяковский высмеял «подтяжки имени Семашки» и призывал уважать имена всякого рода достойных людей. Не помогло! Боженко как был, так и остался ангелом-хранителем мебельной фабрики, лихого рубаку Чапаева превратили в шоколадные конфеты, и — страх сказать! — киевская фабрика даже Карла Маркса приспособила к кондитерскому производству, носит его имя... И все привыкли, вроде так и должно быть, хотя, как известно, Маркса сладости не привлекали и занимался он совсем другими вещами... Вы знаете, иногда я мечтаю посмотреть в прозрачные глаза идиота, которому пришло в голову шоколадные конфеты назвать «Каракум», что, как вам известно, означает «Черные пески». Аппетитное, привлекательное название для конфет, не правда ли? Иногда этих идиотов кидает в поэзию. Получается не лучше. Например, есть конфеты «Мечта» и

«Фантазия». «Взвесьте мне триста граммов «Мечты». Или: «Дайте мне «Фантазии» на рубль сорок...» Прелестно, а?

— Будет вам, — сказала Варя. — Лучше расскажите, из-за чего вы там ссорились.

— Вы правы, Варенька, человеческая глупость неисчерпаема, мои иеремиады против нее не помогут, и я затыкаю фонтан... Котлеты божественны! Как, впрочем, и все, что делаете вы... А ссоры давеча не было. Был разговор в несколько повышенном тоне, вот и все.

— А из-за чего он повысился?

— Я так думаю, из-за недоразумения. Из-за того, что стороны не захотели или не сумели друг друга понять. — Варя не спускала с Устюгова глаз, и он озабоченно потер лысину. — Дело, Варенька, в том, что у вашего супруга скверная привычка слишком кратко изъясняться. Я столько лет пытаюсь отучить его от этого, но тщетно. Лапидарные высказывания хороши в философском споре или в разговоре о предметах, кои ни одного партнера не затрагивают за живое. Если же партнер почувствует себя затронутым, то разговор кончается, начинается спор, который очень легко переходит в ор, когда собеседника уже не слышат, не понимают и орут самому себе, доказывая собственную правоту...

— Матвей Григорьевич, ну что вы все ходите вокруг да около?

— Отнюдь! Просто в отличие от немногословного Михайлы я, как вы знаете, очень многословен, поэтому так исподволь подхожу к сути...

— Из-за чего же был ор, как вы говорите?

— Извольте — конспективно. Борис спросил, нравится ли нам все. Михайла сказал, что нравится, но задал вопрос, не слишком ли он жаден на вещи, в ответ на что Алина сообщила, что теперь другие потребности...

— Это было еще при мне.

— Далее Михайла выразил неодобрение потребительству, если оно становится культом. Правильно? — Шевелев кивнул. — Тогда Борис произнес речь о том, что вещи делают не для музеев, а для потребления, стало быть, ничего зазорного в потребительстве нет. В частности, технари, деловые люди, как он выразился, имеют на то полное право, так как они хозяева жизни и двигатели прогресса. А когда Михайла выразил сомнение в том, что при этом следует прибегать к блату, Борис обиделся, приняв это на свой счет, и сказал, что блат —

понятие умершее, а в дружеских связях ничего плохого нет: в чем же и состоит дружба, как не в том, чтобы помогать друг другу. В этот момент возвратились вы.

— И больше ничего? — повернулась Варя к мужу.

— Ничего, — подтвердил Шевелев.

— Как видите, вы совершенно напрасно тревожились... Произошло как раз то, о чем я говорил: Борис почему-то почувствовал себя задетым, и начался спор. Достаточно нелепый, кстати сказать. Если бы Михайла не скупился на слова и отчетливо сформулировал свою позицию, мог бы произойти интересный разговор. Лично я не вижу проблемы в том, что молодежь любит вещи и хочет их иметь. Это законное право всех людей, вещи для того и делают, чтобы ими пользоваться. И конечно, Михайла не собирался проповедовать аскетизм, отказ от удобств и всех радостей жизни. Проблема состоит в том, что, как это говорится у нас, — осклабился Устюгов, — некоторые отдельно взятые люди хотят их иметь за любую цену. Я имею в виду не деньги, а приспособленчество, махинации и просто подлость... Нет, нет. Варенька, — поспешно сказал он, уловив тревогу в глазах Вари, — я вовсе не имею в виду Бориса. Я говорю вообще. Вы же знаете мою пагубную страсть к обобщениям. Когда-нибудь она меня действительно погубит...

— Чтобы этого не случилось, выпейте чаю, — сказала Варя.

— С наслаждением! Он у вас всегда хорош, а теперь я его еще более оценю, так как за ним не нужно карабкаться через свои коленки... Так вот, явление, которое у нас окрестили блатом, известно издавна: непотизм, кумовство, протекционизм... Разница состоит в том, что в отдаленные времена это явление считалось зазорным. У некоторых, во всяком случае. Люди порядочные презирали и его, и тех, кто это практиковал. И они, практиканты, как-то стеснялись этого. Теперь не стесняются, а даже гордятся и хвастают. Ты мне, я тебе — универсальная отмычка к благам мира и собственному благополучию. И тут не брезгуют ничем. Все можно, все позволено, все прилично. И окружающие относятся к этому с пониманием. Существовало такое понятие — порядочный человек. Он сам не делал подлостей и порывал с теми, кто их делал. Хапуге, взяточнику, вору, хаму не подавали руки, с ними прекращали знакомство. И даже иногда вызывали на дуэль. Теперь знают, что такой-то вор, не-

годяй, подлец, но это никого не смущает, не возмущает, и все — иногда потихоньку осуждая, а иногда завидуя — поддерживают с ним отношения как ни в чем не бывало. Изменилось само содержание понятия. Сейчас порядочный человек — это человек, который неохотно делает подлости. Только и всего.

— Вы обо всех людях так думаете? — спросила Варя.

— Что вы, Варенька! Нет, конечно!

— Стало быть, порядочные люди все-таки есть и на свете еще можно жить? Тогда позлословьте тут без меня, я пойду немного полежу...

— Может, мне уйти?

— Нет, нет. Вы же ора не устроите?.. А я выпью капли и полежу.

С минуту они сидели молча.

— Хорошо, что ты напустил своего словесного тумана, — сказал Шевелев, — увел Варю от раздумий по этому поводу...

— М-м... Не уверен. Боюсь, что мне это не слишком удалось. Она ведь сама все видит и понимает. Если уж ей стало тяжко на свадьбе собственного сына... Одна молодая жена чего стоит!

— Да, не понимаю, как Борис мог такую выбрать.

— Что ты! На нее редкий мужик не оглянется. Такая жена вроде ходячей витрины житейских успехов... Вот если бы она еще молчала! Ты же сам слышал: в Лувре — Джоконда, Венера Милосская, а ей запомнилось только, что у нее ноги заболели. И в Греции одни камни, от которых ноги болели. В общем, она Европу восприняла, как конь, ногами...

— Ну, в конце концов ему с ней жить. Но каков сам — технократ...

— Я склонен думать, что он себе сильно польстил. И своим дружкам тоже. Технократы, если они у нас есть, должны быть на порядок выше. По умственному развитию и прочему... А эти, они не технократы, они — плутократы. Только не от греческого слова «плутос», что означает богатство, а от российского слова «плут», которое объяснения не требует...

— Да что он, жулик, что ли? Он же работает!

— Нет, конечно, не жулик. И работает, надо думать, хорошо, если его ценят... Как бы это объяснить? Ага, вот! Как известно, формула коммунизма гласит: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». И конечно, Борис и ему подобные — за коммунизм и

уверены, что они его строят. Только в этой формуле они подменяют всего одно слово — от каждого по способностям, нам по потребностям. Не каждому, а нам! И в этом все дело. С какой стати нам ждать, пока будет каждому, если мы уже сейчас можем иметь по потребностям? Разумеется, вслух они этого не скажут. Они строят коммунизм вообще, который будет когда-то, и в нужных случаях произносят на этот счет все необходимые слова, но на практике для себя они его уже построили, ну, и, конечно, при удобном случае продолжают совершенствовать, ибо аппетит приходит во время еды, потребности растут, стало быть, надо их удовлетворять...

— Не могу понять, почему он стал таким и как я мог это проглядеть?

— А когда тебе было на это глядеть, если ты света божьего не видел, работал не разгибаясь... А почему? Наверно, это начинается с мелочей... Несколько лет назад у нас на студии сделали документальную одночастевку о детях. Дошкольного возраста. Снимали в детском садике скрытой камерой, телевиком, так что пацаны ни о чем не подозревали. Фильмик так себе, но там был один примечательный эпизод. Детей в детсаду, конечно, кормят, но каждая мамаша, боясь, что ее детеныш охлянет на казенных харчах, обязательно сует своему сокровищу завтрак. Материальный уровень семей разный, ну и завтраки соответственно — у одного котлетка из мяса, а у другого из картошки... Чтобы не возникала зависть у одних, хвастовство у других и прочая пакость, воспитатели нашли мудрое решение. Ребята приходят в садик и отдают свои завтраки воспитательнице, а когда наступает время еды, все делится между всеми — чтобы не было худших и лучших. Как уж там они делили, я не знаю, да это и неважно. Во всяком случае, это правильно и даже мудро с воспитательной точки зрения. Так вот, отдавали не все! И камера показала, как один щекастый такой, упитанный поганец, как только мама ушла, а от детсадика его еще отделяли какие-то кустики, деревца, достал свой завтрак и начал его лопать. Он сыт, дома его покормили, но он торопливо и жадно жрет свой пирожок, запихивая в рот руками... Чтобы пирожок не достался другим и чтобы ему досталось больше. Ведь когда будут делить принесенные завтраки, он обязательно получит равную долю, хотя сам ничего не принес... Мерзкое было зрелище. А ведь лиха беда нача-

ло... Может, из таких и вырастают нынешние плутократы?..

— Может быть, — помолчав, сказал Шевелев. — В детский сад Борис не ходил. Какие там садики сразу после войны?.. Но я, пожалуй, не был бы удивлен, если б он тоже так делал. С детства он был жаден на еду. Это понятно: голодуха сказывалась. И военная, и послевоенная. Голодуха ушла, а жадность осталась. Он и товарищей себе выбирал — у кого кусок больше.

— Теперь он имеет свой. И научился делать его жирнее...

К сыну Шевелев больше не ездил. Варя была у Бориса несколько раз и каждый раз возвращалась огорченная и подавленная. Ей было там не по себе. Казалось, что Алина молчит умышленно, чтобы свекровь поскорее ушла, неприятно было нанускное оживление Бориса, который старался говорить за троих. Но особенно тягостно было, когда там случались гости. Она чувствовала себя неловко среди этих развязных, горластых людей, которые никогда к ней не обращались, даже не замечали ее, и она видела, что Борис как бы стесняется ее, совсем не шикарно одетой и не умеющей вести веселый застольный треп, к какому там привыкли. И Варя тоже перестала ездить к сыну. Но Борис остался внимательным и заботливым. Особенно когда у него появилась «Лада». Хотя бы раз в неделю он заезжал на полчасика — надолго не позволяли дела, — расспрашивал, как они живут, не нужно ли чего-нибудь. Если в аптеке не оказывалось нужных лекарств, он доставал их какими-то своими способами. Когда врачи настоятельно рекомендовали Варе поехать в Кисловодск, а Шевелев добиться путевки не смог, Борис добыл ее в два счета. Позже, когда Варе уже запретили дальние поездки и вообще менять климат, он дважды доставал для нее путевки в кардиологический санаторий в Пуще-Водице. Он предлагал и отцу достать путевку в крымский санаторий, чтобы не мыкаться там дикарем, но Шевелев от путевки отказался. Приезжал Борис всегда один, без Алины.

Сергей с головой погрузился в науку и уехал. Борис ушел в свой особый мир, куда явно не стремился вовлекать родителей, в который Варю и самое не тянуло.

Единственной отрадой и объектом неусыпных забот остался Димка. Может быть, сложилось так потому, что родился он хилым и слабеньким, в детстве часто хворал, и все были в постоянной тревоге за него, даже за его жизнь. Сказались лишения военного времени, а год его рождения — сорок седьмой — был просто голодным после жестокой засухи и неурожая сорок шестого. Постепенно детские хвори его оставили, парнишка выровнялся, и его погнало в рост — он был одним из первых акселератов, как после войны стали называть непомерно долговязых ребят. Димка был общительным, веселым и добрым, таким и остался навсегда. Учился он ни хорошо, ни плохо, хотя мог бы учиться и хорошо — мальчик он был способный. Ему мешали увлечения, без конца сменявшие друг друга. Он увлекался то собиранием марок, то фотографией, то радиолюбительством, то драмкружком. Прочным оказалось только одно увлечение — рисование. Он рисовал дома и в школе, поступил в художественную студию при Дворце пионеров. Варя и тетя Зина всячески поощряли это его увлечение, лелея надежды, о которых говорить вслух остерегались. Шевелев не препятствовал: профессия художника не казалась ему основательной, но в конце концов профессия как профессия. Окончив школу, Димка подал документы в Художественный институт, но на экзаменах провалился. Он был огорчен и обескуражен, мать и тетка — в отчаянии.

— Может, подашь в какой-нибудь технический? Время еще есть, — сказал Шевелев.

— Очень нужно! — сказал Димка. — Стать инженером и вкалывать за сто рэ в месяц? А через десять лет получить прибавку в десять рэ?

— Что ж ты собираешься делать?

— На будущий год подам снова.

Он подал снова и снова провалился. На этот раз мать и тетку охватила паника. Не столько из-за самого провала, сколько из опасения, что Димку, раз он не учится, возьмут в армию. Сам Димка возмущался порядками, говорил, что выдерживают те, кого натаскивают специальные репетиторы, и что вообще теперь происходит не конкурс абитуриентов, а конкурс родителей — решают знакомства и связи. Позвонит какая-нибудь цаца, и любую бездарь за уши втянут в институт, хотя бы он провалил все экзамены...

Шевелев понимал, что упреки адресованы ему: он не нанимал репетиторов и никаких связей не имел. Однако

виноватым он себя не чувствовал. В годы его ученья по блату не поступали. И репетиторов не было. Возьмут в армию? Ничего страшного. Даже полезно: армия вышибет из парня всю дурь и легкомыслие, сделает человеком.

Однако Димку не взяли и в армию: у него оказался ревмокардит.

Когда тревоги по поводу возможного призыва улеглись, Шевелев как-то за ужином спросил Димку:

— Ну что, будешь еще год бить баклуши и снова подавать в свой Художественный?

— Нет. Пойду работать.

— Кем ты можешь работать? Ты же ничего не знаешь и не умеешь. Хватит дурака валять — готовься как следует и поступай в технический.

— Не хочу. Понимаешь? Не хочу и не буду ишачить за сто рэ!

— А так тебе больше дадут? Сто рублей — их еще заработать нужно.

— Заработаю больше.

— Тебе образование нужно получить, а не думать о заработке.

— Нет, мне нужно думать о заработке, потому что я... — Димка набрал воздуха в легкие, словно собирался нырять, и выпалил: — Потому что я хочу жениться.

Руки Вари в испуге взлетели к щекам.

— Ты что, спятил? Или дурацкие шутки шутишь? — сказал Шевелев.

— Не спятил. И не шучу.

Когда товарищи по работе или Зина жаловались на подростков, проходивших свой трудный и для родителей и для них самих «переходный возраст», Шевелев с радостью отмечал, что у них в семье этого не было. Конечно, все — и Сергей, и Борис, и Димка — проходили этот злополучный возраст, вызывающий столько нареканий, но у них все это миновало как-то мягко и не очень заметно: ребята не заносились, не дерзили, между ними и родителями не возникало никакого отчуждения. Он понимал, что его заслуги в этом нет, все складывалось так благодаря Варе. Ее доброта, мягкость и такт гасили в зародыше возможные стычки и конфликты. Ни взаимная любовь, ни уважение к родителям, их авторитет ни разу не были поставлены под сомнение. И вот теперь, когда «трудный возраст» был давно позади, восемнадцатилетний Димка стал вдруг похож на взъерошенного парнишку годов тринадцати, которому любая блажь или

глупость кажутся основанием для бунта против родительского «гнета» и возможностью для самоутверждения. Стиснув зубы и наклонив лобастую голову, он всем своим видом показывал, что отступать не собирается.

— Господи! — сказала Варя. — Но ты же еще мальчик! Ты просто не понимаешь, насколько это важный шаг и что он влечет за собой.

— Я уже не мальчик, мама, и все понимаю.

— В истории, — сказал Устюгов, — можно насчитать немало случаев, когда в брак вступали в четырнадцать, двенадцать лет и даже ранее. Но происходило это в семьях всякого рода герцогов и королей в интересах династических — продолжения рода и сохранения власти. Поелику тебе не угрожает владетельный трон и даже наследственная должность, то мне кажется, можно так уж и не спешить...

Димка зыркнул на него и ничего не ответил.

— Может быть, — сказал Шевелев, — ты уже д о л ж о н жениться? Как это теперь у молодежи называется — жениться на животе? Давай уж, выкладывай все начистоту.

— Нет, не должен. Живота нет. Я просто хочу. И женюсь.

— Да ты же недоучка! — взорвался Шевелев. — Недоросль! Самый настоящий Митрофанушка — «не хочу учиться, хочу жениться»...

Димка вспыхнул и открыл рот, чтобы тоже что-то закричать, но не успел.

— Как не стыдно! — негодующе воскликнула Зинаида Ивановна. Стекла ее очков сверкали, на всегда бледных щеках проступили розовые пятна. — Как вам не стыдно! А если это — любовь?

Это было не только неожиданно. Это было невозможно, как если бы встрепанные бетонные львы у входа в Музей украинского искусства вдруг поднялись со своих мест и начали танцевать жеманный гавот.

Зинаида Ивановна, или, как чаще всего ее называли, тетя Зина, была добродетельна. Кроме того, она была старой девой и потому добродетельной вдвойне. Она была ходячим сводом правил и норм поведения, кодексом благородства и порядочности. К чести ее, следует сказать, что она не только исповедовала и проповедовала правила этики и высокой морали, но и сама неукоснительно им следовала. Это знали все близкие. Но они

не знали того, что́ тетя Зина навсегда, как ей казалось, похоронила в своем сердце.

Когда Зина была молоденькой и очень привлекательной девушкой, к ней пришла настоящая большая любовь. Любовь была взаимной, и все могло сложиться как нельзя лучше, но Зина уже тогда преисполнилась добродетелей, а кроме них, обладала стальной волей. Будь Зина честолюбива, она могла бы стать выдающейся государственной или еще какой-либо деятельницей, но честолюбия у Зины не было, она была студенткой педагогического института, и ее стальная воля, не найдя себе надлежащего применения, обратилась против нее самой. Жених, ее сокурсник, жаждал немедленного завершения любви, но Зина категорически воспротивилась. «Человек не должен быть игрушкой своих страстей, — сказала она, — жизнь следует подчинять самым высоким целям. Женитьба может помешать полноценным занятиям, поэтому с ней следует подождать. Кроме того, такое ожидание поможет проверить, насколько серьезны и глубоки наши чувства». А он не стал ждать — с отчаяния или в отместку женился на другой. Брак оказался неудачным. Потом он приходил к Зине, раскаивался в непростительной глупости и легкомыслии, жаловался на жену и детей, снова уговаривал ее пожениться. Удушив свое чувство после предательства жениха, Зина жалела его, но все предложения решительно отклонила. Принять их означало бы разрушить семью, обездолить детей, словом, поступить безнравственно, а на безнравственные поступки она была не способна.

Коротко остриженные волосы Зины красиво, но очень рано поседели, ослабевшее зрение заставило ее надеть очки, и с тех пор Зина такой и оставалась. Устюгов както заметил, что она, как мумия, не меняется. Словно оправдывая эту характеристику, Зина с ходом времени лишь медленно, еле заметно усыхала. О чувствах, о любви она говорила только применительно к литературным произведениям и их героям. Но она не простила себе своей вины, и, когда увидела, как все пытаются задушить в Димке то, что в свое время она сама задушила в себе, ее благородное сердце восстало против чудовищного насилия.

— Что, если это любовь, я вас спрашиваю?

— Вполне возможно, — сказал Устюгов. — На этот предмет, был даже кинофильм под таким названием. Так сказать, советский вариант «Ромео и Джульетты»...

— Шекспира вы тоже будете высмеивать?

— Помилуй бог! — сказал Устюгов. — Это мог себе позволить только Лев Толстой. Он был исправным зеркалом революции, но в искусстве под старость стал зеркалом несколько кривоватым и расправился с Шекспиром по-свойски...

— Так почему же в театре, глядя на Ромео и Джульетту, — а ей было всего тринадцать лет! — вы умиляетесь, а когда сталкиваетесь с этим в жизни, начинается ханжество?

— Что касается меня, то я никогда не умилялся. По-моему, брак несовершеннолетних противоестествен.

— Дима совершеннолетний.

— По паспорту — да, в физиологическом смысле, вероятно, тоже... — Поймав страдальческий взгляд Вари, Устюгов осекся. — Все, я молчу.

Ни жесткая позиция Шевелева, ни слезы и уговоры Вари не помогли. Непреклонная решимость Димки при бурной поддержке тети Зины победила — Дима женился на своей Соне.

Жить молодые стали у родителей Сони — квартира у них была просторной, семья обеспеченной: отец Сони работал в каком-то торге. В каком и что он там делал, Шевелев не знал, да и не стремился узнать: к сватам и молодым он не ходил. Варя изредка ходила, но, возвращаясь, ничего не рассказывала. Зато Димка забегал к родителям часто, иногда вместе с женой. Миловидная пухленькая Соня была слегка апатична, однако держалась очень хорошо — всех внимательно слушала, охотно смеялась. Только на Устюгова, когда он приходил, Соня смотрела опасливо и настороженно: витиеватая речь его была не всегда ей понятна.

Через надлежащий промежуток времени Соня родила мальчика. Еще до родов Варя и Зина захлопотали, чтобы обеспечить будущего младенца необходимым приданым, но оказалось, что родители Сони уже всем обеспечили его, даже заготовили целый ящик гигиенических пеленок одноразового пользования, так что им осталось только любоваться новорожденным и гадать, на кого он больше похож. Димка без конца приносил все новые и новые фотографии Игоря во всех видах и ракурсах. Потом повторное увлечение фотографией угасло, он увлекся чеканкой, затем поделками из древесных веток и корней, одаривал ими маму, тетю Зину и даже несколько раз предлагал Устюгову. Устюгов, посмеиваясь, отклонял

все дары, пока не остановился на одном, который Димка называл «Паном». Это был бугристый, узловатый корень, на котором Димка легкими насечками обозначил не черты, а скорее намек на черты старческого лица с запавшими глазами.

— Сомневаюсь, — сказал Устюгов, — сомневаюсь, чтобы эту штуковину можно было назвать «Пан». Как видно, твои познания в мифологии не идут дальше нескольких собственных имен. Согласно мифологии, Пан вовсе был не лысым, а, напротив того, чрезвычайно заросшим мужчиной. Твой же монстр лыс, как колено. Нет, это, конечно, не греческий Пан, а скорее отечественный леший... Я возьму его, так как усматриваю в нем некоторый намек на мою персону...

Увлечения всевозможными игрушками не мешали Димке работать, семейная жизнь его текла, по-видимому, беспечально. Однако года через три что-то в ней разладилось. Димка и прежде, если случалось засидеться у родителей, оставался ночевать. Теперь это происходило все чаще и чаще, потом однажды он сказал:

— Вы не будете возражать, если я поживу у вас некоторое время?

— Что случилось? — встревоженно спросила Варя.

— Ничего не случилось... Только я, наверно, с Соней разведусь.

— Любовь уже кончилась? — спросил Шевелев.

— Любовь... — хмыкнул Димка. — Я виноват, что она оказалась мещанкой и дурой?

— В этом нет. Виноват в том, что прежде, чем бежать в загс, не увидел этого. А время у тебя было, в шею тебя никто не толкал, даже пытались удержать... Живи, места не пролежишь. А как будет с ребенком?

— Как у всех, — пожал Димка плечами. — Буду платить алименты.

Развод прошел тихо и мирно: по-видимому, от брака не были в восторге ни сама Соня, ни ее родители. Они принадлежали к разряду жадных, завистливых ловчил, которым чужой кусок всегда кажется слаще, рассчитывали, что и Димка будет стараться «для дома, для семьи». Димка прилично зарабатывал, но к шмоткам был равнодушен, ловчить не умел и не хотел. Разводом Димки была довольна даже Варя. Она призналась мужу, что давно, с самого начала, поняла, что собой представляет Соня, и страдала от мысли, что Димка вынужден будет прожить всю жизнь с такой женщиной. Глупенькая —

это бог с ней, но она мещанка до мозга костей, а мещанство — трясина, в которой тонули и более устойчивые люди, чем Дима.

Ужасно смущена и обескуражена была одна тетя Зина. Собственный благородный порыв казался ей теперь бесследно лопнувшим мыльным пузырем. Она потеряла равновесие, как человек, который поднял ногу, чтобы стать на лестничную ступеньку, и промахнулся. Опасаясь каких-либо выпадов, упреков и напоминаний о ее бурной защите Димкиной любви, Зина напустила на себя еще большую строгость. Но даже Устюгов, щадя то ли ее, то ли Варю, никаких выпадов не делал.

А Димка чувствовал себя, как воробей, который в знойный день нашел лужицу воды, всласть накупался, очищаясь от всякой скверны, встряхнулся и, весело вереща, взвился в сияющую голубизну свободы.

Когда все вошло в привычную норму, Шевелев сказал сыну:

— Не надоело околачиваться? Учиться ты собираешься или нет?

— Зачем?

— То есть как зачем? Чтобы иметь настоящую специальность.

— Специальность у меня есть, я работаю и зарабатываю неплохо.

— Это мазюканье твое — специальность?

— Чем она хуже других? За это платят деньги, значит, делать нужно. Само собой не сделается, должен делать кто-то. Вот — делаю я. Что тут позорного? Не буду академиком или лауреатом? Ты тоже не стал. И дядя Матвей тоже. И еще миллионы людей не стали и не станут. И никто от этого не умирает. Каждый делает свое дело.

— А образование?

— Образованным можно стать без вуза.

— Но ведь ты хотел в Художественный — это же тебе по специальности. Или тебя уже нечему учить, ты до всего дошел самоучкой?

— А до чего я должен дойти? Ну, кончают Художественный, получают дипломы, потом начинают малевать подобие цветных фотографий — портреты, заводы, тракторa... Да я все эти гектары унавоженного красками холста отдам за один триптих Босха...

— И ты не прогадаешь, — сказал Устюгов. — За работу художника пятнадцатого века, несомненно, запла-

тят дороже... Итак, ты видел картины Иеронима Босха? Прекрасно! А мне вот как-то не удалось побывать в Мадриде и в Нидерландах, поэтому я видел не картины, а только репродукции. — Димка покраснел. — И к стыду своему, многого не понял. Поелику ты такой ценитель Босха, ты наверняка сможешь мне объяснить. Вот, скажем, внизу правой створки триптиха «Воз сена» изображено некое подобие игральной карты, только наоборот: на обычных картах погрудные изображения валета, короля и дамы соединяются с такими же погрудными, только головами в разные стороны. У Босха соединены, так сказать, поножья — две пары ног, обращенные в разные стороны, но ни животов, ни голов нет. А на правой створке «Садов земных наслаждений» изображены два гигантских уха, прижатых друг к другу, между ними, как пушка на лафете, торчит не то кинжал, не то столь же гигантский кухонный нож. Под этим монструозным сооружением копошатся крохотные людишки. Так что означают эти странные фигуры?

Димка несколько смешался:

— Ну, у Босха много всяких аллегорий, символики... Не все можно буквально расшифровать. И не нужно! У живописи свой язык, не все можно и нужно объяснить словами. И я говорю не о частностях, а вообще...

— А! Ну, если вообще, то, конечно...

Вообще Димка проявлял все большую разносторонность интересов и познаний. Относились они главным образом к сферам загадочным и таинственным. Он раздобыл сборник вырезок из «Вестника иностранной литературы» начала века с переводами заметок Фламмариона и с упоением рассказывал о чудесах телепатии, сбывшихся пророчествах и общении с обитателями потустороннего мира. Он даже предложил устроить дома спиритический сеанс, чтобы вызвать дух какого-нибудь великого человека, писателя например. Быть может, ему удалось бы уговорить мать и даже тетю Зину, которую, несмотря на весь ее рационализм, явно соблазняла возможность запросто побеседовать с Толстым или Достоевским, но все дело испортил Устюгов.

— Имейте в виду, — сказал он, — что сеанс нельзя проводить в смешанном обществе, так как загробные духи — ужасные сквернословы. Мой опыт по этой части весьма печален — он погубил мою первую любовь.

— Как? — улыбнулась Варя.

— Будучи отроком годов десяти, я был влюблен в свою сверстницу и соседку Зою. Она казалась мне воплощением красоты и всех совершенств. Моя любовь была нежной и трепетной, как язычок пламени трехкопеечной церковной свечки. Об общении с загробными персонажами я не помышлял и вообще не имел понятия, мне вполне было достаточно общества ненаглядной Зои. Но моя старшая сестра вдруг заделалась спиритка и вместе со своим поклонником устроила спиритический сеанс. А чтобы увеличить магнетическую силу, излучаемую человеческими пальцами, за стол посадили и нас с Зоей. Все было сделано надлежащим образом. На столе лежал лист бумаги с начертанными по кругу буквами алфавита, а на блюдце нарисована стрелка, чтобы она могла указывать нужные буквы. Мы долго ждали, потели от напряжения и охватившего всех волнения. И вдруг — блюдце дрогнуло и поползло по бумаге! Тогда сестра громко и торжественно провозгласила: «Пушкин! Пушкин! Мы вызываем тебя... Ты здесь?» Странным образом, с загробными духами все почему-то фамильярничают и обращаются к ним на «ты»... Блюдце немножко поелозило по бумаге, потом уперлось стрелкой в буквы «д» и «а», что, несомненно, означало «да». «Пушкин, — громко сказала сестра, — скажи нам, что нас ждет?» Блюдце дрогнуло, потом задвигалось быстро и уверенно, а мы, затаив дыхание, следили за стрелкой. «Идите в...» — указало блюдце, а далее последовал адрес, настолько неудобосказуемый в дамском обществе, что я не решаюсь его повторить... Ну что ж, срам и скандал. Все с пылающими щеками, а девочки со слезами на глазах разбежались. Подозревать в хулиганстве девочек или себя я не мог, поклонник сестры тоже явно не был виноват, так как на самом деле был влюблен в нее и не мог желать разрыва, который, конечно, произошел. Стало быть, сделал это действительно Пушкин. И его легко понять. Сколько тысяч юных губошлепов или великовозрастных недоумков пристают к нему с идиотскими вопросами и требуют ответов! Так и ангела можно довести... А я получил первый урок скромности — не лезть к великим людям со своими ничтожными интересами и делишками. И дорого заплатил за этот урок — утратой своей первой любви. Скандальное происшествие создало между мной и Зоей некоторую отчужденность, а в силу этой отчужденности я заметил, что Зоя всегда ходит с открытым ртом и говорит насморочным голосом,

так как в носу у нее полипы, и вообще, что она не так божественно красива, как мне казалось...

Димка хохотал громче всех, о спиритических сеансах больше не заикался, но и дальше обрушивал на домашних все новые и новые сенсации. То это были летающие тарелки, то даже их обитатели — зелененькие инопланетяне, где-то высадившиеся на Землю. В доказательство он приносил слепые, затертые перепечатки сообщений о том, что будто американские астронавты наблюдали, как несколько таких тарелок полпути до Луны сопровождали «Аполло», а на Луне увидели целую армаду космических кораблей. Потом его бросило в таинства йогов, он рассуждал о хатха-йоге, раджа-йоге, джанака-йоге и медитации. Однако по живости характера сам Димка в медитацию не погружался, воздерживаться от пищи не пробовал и стоять на голове не пытался. Потом он услышал о чудесах телекинеза Урии Геллера, который одним взглядом останавливал часы, сгибал и даже ломал вилки и ложки. Он собирал где мог сведения о филиппинских магах, которые делают полостные операции без хирургических инструментов, руками вырывают опухоли, а потом тут же, по-особому двигая пальцами, бесследно заживляют вскрытую полость. Или, наконец, погружался в фантастические загадки Бермудского треугольника, где бесследно исчезают огромные суда и целые эскадрильи самолетов, с кораблей необъяснимо пропадают пассажиры и команды, хотя суда пребывают в полном порядке, или самолеты проваливаются в какое-то четвертое измерение, а потом появляются оттуда как ни в чем не бывало...

Переменный ветер слухов и моды мотал его из стороны в сторону, как хорошо смазанный флюгер. Варя слушала сына с большим интересом. Ей нравилось, что он так начитан и жаден на все новое в науке, пусть пока оно и не стало наукой. Тетя Зина относилась к Димкиным разглагольствованиям с настороженным любопытством. Шевелев считал все бреднями, но почти не спорил, считая, что со временем эта блажь осыплется с него, как шелуха. Только если при том случался Устюгов, вспыхивали горячие споры. В сущности, спорил не Устюгов, а сам Димка. Устюгов несколькими ироничными, а то и язвительными репликами протыкал ярко разрисованный пузырь очередной сенсации, и тот опадал бесформенной тряпкой. Димка яростно бросался в бой, но ему оставалось только кричать, так как вместо

аргументов и доказательств у него были лишь азарт и эмоции. Однако Димка никогда не злился, не обижался и оставался, как и прежде, веселым и добрым малым.

Длинные волосы Димка отрастил, как только окончил школу, теперь, несмотря на ворчание отца, отрастил усы и бороду. Устюгов больше месяца был в командировке и, придя к Шевелевым, изумленно остановился на пороге.

— О! — сказал он. — Глядя на тебя, мне хочется молитвенно сложить руки и воскликнуть: «Учитель! Озари меня светом своей мудрости и скажи, как надо жить...» Еще немного, и ты станешь похож на Рабиндраната Тагора, которого в тридцатом году я мельком видел в Москве. Для окончательного сходства тебе остается только поседеть.

— В отличие от Тагора, — сказал Шевелев, — у него волос долгий, да ум короткий.

— Дорогой мой, — сказал Устюгов, — никакой зависимости между волосатостью и умственными способностями не существует. Ты сам без труда назовешь множество людей, которые при исключительном многоволосье отличались вместе с тем выдающимися умственными и прочими способностями, а некоторые были даже гениями, например Леонардо да Винчи или Лев Толстой. Волосатость или отсутствие ее — вопрос моды. Воевать с модой глупо и бесполезно. Так что не мешай своему отпрыску растить дремучую бороду. Лишь бы он не остался дремучим во всем прочем...

Димка не остался дремучим. Варя видела, что круг его интересов очень широк и расширяется все более. Иногда к нему приходили такие же бородатые или усатые друзья, у них немедленно загорались споры об искусстве и литературе. С завидной легкостью они пинали друг друга всякими «измами» и гвоздили именами великих художников слова и кисти. В свое время Варя читала классиков, видела некоторые картины прославленных художников, но эти молодые люди называли все новых и новых гениев, всевозможные «измы» были ей непонятны, и она чувствовала себя ужасно отсталой и радовалась тому, что у Димы такие образованные друзья, а он ни в чем им не уступает. При этом Димка не был бездельником. Правда, Варя никогда не могла с уверенностью сказать, где именно он сейчас работает, и не потому, что Димка это скрывал, просто он часто переходил с места на место, работал в каких-то артелях, товари-

ществах, в реставрационной группе, в мастерских Худфонда и что-то такое делал для молодежных газет. Как бы там ни было, зарабатывал он раза в полтора, а то и в два больше, чем отец.

После того как Димкина любовь, за которую тетя Зина так пылко вступилась, скоропостижно иссякла и закончилась банальным разводом, она очень осторожно высказывалась о Димке и его делах. Кое-что ей определенно нравилось. Димка не стал, подобно Борису, ни ловкачом, ни стяжателем. Он даже с презрением относился к стяжательству, был равнодушен к вещам, к собственной карьере и положению. Единственное, с чем тетя Зина не могла примириться, было полное Димкино пренебрежение к общественной работе, к которой сама тетя Зина с юных лет относилась благоговейно.

— Ну, хорошо, — говорила она, — ты не хочешь учиться, и очень жаль, но это твое дело. Ты не хочешь приобрести юридически, так сказать, законную профессию. Но ты работаешь — стало быть, не тунеядец, а никакой труд не зазорен. Но каково твое общественное лицо?

— А какое мне еще нужно лицо?

— Человек, живущий в обществе, не может быть антиобщественником!

— Из чего следует, что я «анти»?

— Ты не принимаешь никакого участия в общественной работе!

— А что это такое, тетя Зина? Аплодировать и голосовать на собраниях? Вы привыкли, чтобы все объясняли друг другу, что они должны делать. Все без конца и объясняют, только от этого ничего не меняется. И мы этим сыты по горло. Человек, живущий в обществе, должен работать, чтобы приносить обществу пользу. Работать! А не болтать о необходимости работы. Я работаю — вот это и есть мое общественное лицо. Большое или маленькое, красивое или некрасивое, какое уж есть. А вот если я стану паразитом, бездельником — тогда объявляйте меня тунеядцем и бросайте в меня камни...

Сбить Димку с этой позиции тете Зине не удалось, и она отступилась.

На следующий год после развода Димка сообщил, что он с группой товарищей едет в Крым. Стыдно сказать, он до сих пор не бывал ни в Крыму, ни на Кавказе. Нет, не в санаторий. Что за удовольствие торчать на одном месте? Они решили отправиться дикарями и пешком

обойти весь ЮБК — Южный берег Крыма. Ребята молодые, здоровые, ничего им не сделается. Зато все увидят. Где захотят — остановятся, надоест — пойдут дальше.

— Но что вы будете есть? — встревожилась Варя. — Там летом столько курортников...

— Не тревожьтесь, Варенька, — сказал Устюгов. — Весь Крым утыкан кафе, столовыми и забегаловками. Ваш муж может подтвердить.

Варя посмотрела на мужа, Шевелев кивнул.

— Ну вот, вы можете спать спокойно — они не похудеют. Конечно, раз вы впервые едете в Крым, вас привлечет экзотика Южного берега. Но потом, я надеюсь, вы узнаете и оцените прелесть не курортного пятачка, а суровую и печальную красоту его заброшенных углов — Чуфут- и Мангуп-кале, почти библейскую отрешенность пустынных, выжженных холмов Восточного Крыма... Ну, понимание этого придет потом, с возрастом. Если, конечно, придет...

Димка купил спальный мешок, большой рюкзак, набил его и уехал. Предложение Вари проводить его он мягко, но решительно отклонил. Варя поняла, что он не хочет перед товарищами выглядеть маленьким мальчиком, которого провожает заботливая мамочка.

Вопреки предсказаниям Устюгова, вернулся Димка похудевший, но такой загорелый, веселый и счастливый, что даже Варя не придала этому значения. Захлебываясь, перескакивая с одного на другое, он вывалил на близких распиравший его восторг, причем самыми радостными оказывались воспоминания не о красотах, а о переделках, в какие они попадали, — о том, как к вечеру взобрались на Ай-Петри, остались там ночевать и всю ночь дрожали от ледяного ветра, когда внизу, у подножия горы, стояла удушливая жара, как за скалой Парус сверзились вместе с рюкзаками в воду и несколько часов ходили в чем мать родила, пока сохли разложенные на камнях шмотки... Историй оказалось множество, все они были если не смешны, то забавны, и Варя любовалась сыном, который, несмотря на свою долговязость и уже окладистую бороду, выглядел напроказившим мальчишкой.

Отшумев, Димка сказал, что хотел бы познакомить их с одной девушкой: не будут ли они возражать, если в воскресенье он приведет ее к обеду.

— Она тебе нравится? — спросила Варя.

— Да, конечно. Иначе зачем бы я ее сюда вел? Воз-

ражений нет? Только, тетя Зина, приходите обязательно тоже. И вы, дядя Матвей.

— Так это что, смотрины? Может, тогда позвать и Бориса с Алиной? — спросила Варя.

Димка на секунду задумался:

— Обойдемся без них. Очень нужно, чтобы они тут выпендривались... Я хочу, чтобы все было просто, по-свойски.

Несмотря на декларацию сделать все просто, Димка с утра объездил несколько магазинов кулинарии и приволок торбу со всякими закусками, пирожными и двумя бутылками шампанского. В целлофановом пакете был ворох цветов.

— Почему ты не предупредил, что хочешь устроить парадный обед? — сказала Варя. — Мы бы с тетей Зиной все приготовили.

— Хватит казенных харчей, — сказал Димка. — Очень нужно, чтобы ты с больным сердцем целый день стояла над плитой и падала от усталости.

Потом Димка уехал. В назначенное время он втолкнул в комнату девушку, встал за нею и положил ей руки на плечи.

— Вот знакомьтесь. Это — Лена.

Маленькая, худенькая Лена не доставала Димке до плеча и рядом с ним казалась девочкой-подростком. На висках и под глазами у нее от волнения проступили бисеринки пота. Она хотела сделать не то общий поклон, не то книксен, но не умела этого, и ни то, ни другое не получилось. Даже сквозь густой загар стало видно, как она покраснела.

— Как не стыдно! — сказала Варя. — Что ты в самом деле выставку устраиваешь!

Она оттолкнула Димкины руки, обняла Лену за плечи.

— Идите сюда, Леночка, садитесь. Я — мама, это — Михаил Иванович, папа, тетя Зина и наш друг...

— Матвей Григорьевич, — сказала уже слегка оправившаяся Лена. — Я знаю, мне Дима про всех рассказывал.

— Вот и прекрасно! Перестаньте смущаться и робеть. Никто вас здесь не обидит.

Лена перестала смущаться и оказалась милой и скромной девушкой. Она была такой маленькой, что всем хотелось называть ее девочкой. Она была девочкой — большеглазой, немножко большеротой и толстогубой, по,

несмотря на это, миловидной. Держалась она очень просто, но старалась произвести хорошее впечатление и, может быть, благодаря этому такое впечатление произвела. Димка сообщил, что Лена журналистка, работает в молодежной газете, но Лена сказала, что, хотя она и закончила журналистский факультет, но журналисткой не стала, в газету ничего не пишет, а работает в отделе писем. И ей очень нравится. Писем много, несколько десятков в день. Конечно, бывает, пишут всякую ерунду, особенно много стихов, но на них отвечает отдел литературы. Вообще большинство писем расходится по отделам, а она занимается письмами, в которых всякие жалобы, просьбы дать советы по разным делам...

— И вы всем даете советы? — спросил Устюгов, и Димка опасливо посмотрел на него.

— Ой, что вы! Разве я могу? Я запрашиваю специалистов, всякие учреждения. Наверно, не всегда, но кому-то это помогает — потом некоторые пишут, благодарят. И я очень рада. Не тому, что благодарят, хотя это тоже приятно, а что не зря корпела и кому-то помогла.

Перед началом обеда Димка разлил шампанское в разномастные бокалы.

— Предлагаю выпить за знакомство, — сказал он.

— Тогда уж за приятное знакомство, — уточнила Варя, и Лена, теперь уже польщенно, покраснела.

Сама она говорила мало, но с готовностью отвечала, если спрашивали, с интересом слушала, что говорили другие и особенно когда говорил Дима. Она переводила взгляд с собеседника на собеседника, но долее всего он задерживался тоже на Диме. Когда обед окончился, Лена так естественно и непринужденно начала собирать посуду, словно была у себя дома, и Варя не стала возражать. Женщины ушли на кухню. Димка попытался было туда проникнуть, но был изгнан. Устюгов расспрашивал, где Димка и его товарищи были и что видели. Сам Устюгов в молодости исходил весь Крымский полуостров. Оказалось, что Димка и его товарищи многое упустили, не зная, чем примечательны эти места. Женщины вернулись в комнату, и по лицам их было видно, что возникшие сразу взаимная симпатия и расположенность не ослабли, а укрепились.

— Я уже, наверно, пойду, — сказала Лена. — Вам надо отдохнуть...

— Подожди! — спохватился Димка. — Я же забыл про вторую бутылку! — Он метнулся на кухню и вернулся

с полными бокалами шампанского. — Предлагаю тост за счастье, — сказал он и оглянулся на Лену.

— Стоп! — сказал Устюгов. — Не годится. Не будем говорить о дамах, но мы с Михаилом — никуда не денешься! — едем не на ярмарку, а с ярмарки. И рассчитывать на какое-то особливое счастье нам не приходится. Как правило, счастье старых локализуется уже только в счастье юных. Вот я и предлагаю — за счастье молодых!

Димка и Лена просияли и зазвенели бокалами.

Они ушли. Зинаида Ивановна сказала, что, по ее мнению, Лена очень приятная девушка, скромна и вообще хорошо держится. Лично ей нравится, что Лена ходит без всякого грима и даже не красит губы. А Варя сообщила, что Лена сирота, два года назад потеряла мать. Должно быть, ей живется не очень легко, но она не жалуется, и вообще, кажется, у нее легкий характер. Ей, Варе, всегда нравятся люди, которые ничего не требуют от окружающих, даже сочувствия. В это время вернулся Димка.

— Ты не пошел ее проводить? — удивилась Варя.

— Зачем? Не ночь ведь, что она, маленькая, сама не доберется? Вы лучше скажите: как она вам? — и Димка обвел всех взглядом.

— Ты не дал нам времени всласть посплетничать и обсудить качества твоей избранницы, — сказал Устюгов. — Но твоя мать и тетка уже высказались за. У меня возражений тоже нет — славная птаха. Слово за твоим родителем.

— Если бы ты не был шалопаем, не кидался в загс с кем попало, то женился бы не на той курице, а на Лене.

— Уже! — осклабился Димка.

— Что уже?

— Мы уже муж и жена.

— То есть как, без загса? — сверкнула очками Зина.

— Тетя Зина, ну какое это имеет значение? Не беспокойся, оформим брак по всем правилам.

— А свадьба?

— Так вот она и была сейчас, наша свадьба! А что, разве плохо я придумал? Или, может, надо было по-Борькиному — показуху на весь город? По-купецки. Расступись народ — дерьмо плывет...

— Дима! — строго сказала Варя.

— Ну, мамочка, ну ведь на самом деле так! Вы же

сами тогда ушли, тошно стало... А мы с Ленкой решили — или вот так, или никак. Ей тоже противны эти мещанские показухи. Счастье ведь не в том, сколько сожрали или вылакали на свадьбе...

— Ну что ж, — сказал Шевелев, — я рад, что ты хоть иногда способен на разумные поступки.

— Но почему ты заранее не сказал, не предупредил? — спросила Варя.

— А вдруг бы она вам не понравилась? Одно дело, когда девушка просто приходит в гости, и совсем другое, когда «здрасьте, я ваша невестка...». Вот мы и решили устроить сюрприз...

— Положим, не такой уж это сюрприз, — сказал Устюгов.

— Так это для вас... А как вы догадались?

— Милый мой, погляди на себя в зеркало... Впрочем, сейчас ты и там увидишь не себя, а Лену. На ваших сияющих мордасах все было написано аршинными буквами.

— Я все-таки не понимаю, — сказала тетя Зина, — жениться вот так, с бухты-барахты...

— Совсем не с бухты-барахты! Мы уже год знакомы. Сначала встречались редко, случайно. Потом чаще, ну и... Ну, в общем, поняли, что любим друг друга. Тогда мы решили проверить себя и поехали в Крым...

— Выходит, Лена была теми «ребятами», о которых ты врал?

— Ну, конечно, мамочка. Ну что было бы, если б я тебе сказал правду? Ты бы ужасно расстроилась, огорчилась. Стала бы меня отговаривать и уговаривать, а то и всем семейством начали бы... Ну и что? Была бы у тебя жизнь отравлена, и у нас все испорчено. А так мы проделали великолепное свадебное путешествие и вернулись мужем и женой...

— Свадебное путешествие до свадьбы... — хмыкнул Устюгов. — Ты совершил открытие в матримониальном деле. До сих пор только ученые и техники, когда они знают, чего хотят, но не знают, как этого добиться, действовали методом проб и ошибок, то есть наобум и наугад. Ты применил эту методу в брачном деле... А если бы ошибся?

— Но вы же видели, что я не ошибся! И я знал, что не ошибусь. Это совсем не то, что было с Соней. Это — на всю жизнь!

— Дай бог! — сказала Варя. — Где же вы будете жить?

— У нее. Зачем мы будем вас стеснять, если у нее отдельная квартира?.. Так что, грома и молнии не будет? Тогда я позову Ленку.

— Она же уехала!

— Никуда она не уехала — стоит за дверью и трясется от страха. Хорошо, если не ревет... — Он распахнул входную дверь и закричал: — Ленка, порядок! Иди сюда!

Лена действительно была заревана. Варя обняла ее, у нее самой тоже полились слезы.

— Вставай, Михайла, — сказал Устюгов, — пойдем пройдемся. Сейчас мы здесь лишние, будем только мешать...

Леночка вошла в семью, как если бы всегда к ней принадлежала и просто вернулась после долгого отсутствия. Может быть, сказалось то, что она рано утратила своих родных и была рада обрести новых, но главное, конечно, было не в этом. Она всегда была ласковой, доброжелательной, внимательной и заботливой без назойливости, искренне полюбила всех. И ей отвечали тем же. У молодых был свой круг друзей и знакомых, своя, особая жизнь, но родителям не было нужды зазывать их к себе, они часто и охотно прибегали сами, вникали во все подробности их жизни, угадывали, в чем можно и нужно помочь. Шло это, конечно, от Леночки, так как Димку по-прежнему то и дело заносило в горние сферы искусства и метафизики или в то, что ему казалось такими сферами. Друг с другом они прекрасно ладили. Иначе и не могло быть, потому что Димка не уставал любоваться Леночкой, Леночка же смотрела на него молитвенно и восхищалась всем, что он говорил и делал. Они сами отремонтировали квартиру — Димка оказался на все руки мастер, — выбросили рухлядь и приобрели новую мебель, для чего Димке пришлось, по его собственному выражению, порядком подхалтурить. И когда, закончив работу и меблировку, они устроили что-то вроде новоселья, Варя и тетя Зина были восхищены уютной, хорошо обставленной квартиркой. Шевелев тоже похвалил и Димкину работу, и обстановку. Вслух он не сказал, но про себя подумал, что, может, благодаря Лене Димкино шалопайство на этом и закончится — поуспокоится, возьмется за ум и вернется к учебе. Время еще не упущено. Ну, пусть не в стационаре, чтобы не сидеть

бородатому среди мальчишек, а на вечернем или заочном...

Каждое лето, когда у Лены был отпуск, молодые отправлялись в путешествие; сначала теплоходом по Днепру и Черному морю, по туристским путевкам побывали на Соловках и в Закарпатье, проехали по Волге от Москвы до Астрахани и обратно. Потом решили ехать в Крым, только уже не вдвоем, а вчетвером: к ним присоединились Мила, ближайшая подруга Лены, и ее приятель. Вернулись Димка и Лена опаленные счастьем и солнцем, с восторгом рассказывали, как было интересно и весело, какие удивительно образованные, остроумные и вообще прекрасные люди Мила и Юра.

— Он кто, муж? — спросила тетя Зина.

— Я не знаю, записаны они или нет, — сказала Лена. — Ну, в общем, как муж.

Брови тети Зины поднялись, но она поджала губы и промолчала.

По возвращении молодые, как и прежде, часто забегали к родителям, потом это стало происходить все реже. Особенно редко стал показываться Димка. Работы, должно быть, и в самом деле было много, он даже осунулся, недавний почти коричневый загар перешел в какую-то болезненную желтизну. Потом оба исчезли на две недели. Варя напридумывала всяких страхов и решила ехать к ним, но вечером, когда после чая все сидели в комнате, а Варя мыла на кухне посуду, в дверь коротко позвонили. Варя открыла. С растерзанным лицом перед ней стоял Димка.

— Что случилось? Почему вы пропали? Что с тобой?

— Там что, полный сбор? — вместо ответа спросил Димка. — Не хочу я туда. Пойдем в кухню.

Он тяжко, как старик, опустился на стул, оперся локтями о столешницу и несколько секунд молчал, глядя на свои стиснутые руки, потом поднял взгляд на мать:

— Они не поймут. И не захотят понять. А ты поймешь... Понимаешь, я ушел из дома...

— Как это? Что значит — ушел?

— Совсем. Я оставил Лену.

Варя отшатнулась, в ужасе глядя на сына.

— Ну что ты так смотришь на меня? Я больше не могу. Понимаешь? Не могу! Вот и ушел.

— Да почему?

— Я больше не люблю ее. И не хочу притворяться.

— Вот так, вдруг? То любовь без памяти, то вдруг «не люблю»?..

— Не вдруг. Началось давно. Может, с год или даже больше. Мне как-то все начало казаться преувеличенным, напускным, что ли, — и нежность, и заботы, и всякие слова... Ты не думай, я с этим боролся, убеждал, уговаривал себя, думал, что пройдет. А оно не прошло, становилось хуже... Это гасло, как свет в кино. По инерции, по привычке я еще говорил и делал все, как прежде, а здесь, — Димка стукнул себя в грудь, — стало пусто! Любовь умерла...

— А Лена?

— Что Лена! Ленка — молодец... Я рассказал ей все. Мы проговорили, проплакали целую ночь. И она поняла. Она по-прежнему любит меня и не хочет мешать моему счастью.

— Какое же счастье, если ты сам его уничтожил?!

— Я полюбил другую женщину.

— Опять? — ужаснулась Варя. — Какую женщину?

— Милу. С которой мы ездили в Крым.

— Это та самая — лучшая подруга Лены? И она, конечно, полюбила тебя?

— Да.

— И ты не понимаешь, как все это мерзко?

Димка искоса посмотрел на нее и снова уставился в стол.

— Не надо так, мамочка. Все слова, какие нужно, я уже сам себе сказал. И не один раз. Слова не помогают. И не помогут.

— Опомнись, Дима! Я не знаю, что на тебя нашло — блажь, слабость, затмение... Это пройдет, забудется. Нужно собрать, найти в себе силы, чтобы преодолеть эту слабость. Ведь ты не мальчик уже, Дима, ты — мужчина! Так и веди себя как мужчина!

— Что ж мне теперь — вести двойную жизнь? Врать, выкручиваться, притворяться?.. Это — подло!

— А с Леной так — не подло?

— И с Леной подло, — Димка поднял на мать глаза, по щекам его текли слезы. — Все подло! Только я ничего не могу с собой поделать. Это сильнее меня... Понимаешь?

— Нет! — сказала Варя. — И не хочу понимать. Человек сильнее всего... если он человек.

Варя оперлась о столешницу и закрыла лицо руками.

Димка подумал, что она плачет, и осторожно тронул ее руку.

— Не надо, мамочка!

Варя опустила руки. На лице ее проступили красные пятна, но глаза были сухими.

— Ты решил бесповоротно?

— Да. Две недели я живу у Милы... Только случилось это раньше... давно.

Варя несколько секунд вглядывалась в его лицо, словно отыскивая то, что видела всегда и не находила теперь.

— У меня три сына, — каким-то сухим, отчужденным голосом сказала она. — Сережа вырос настоящим человеком, но он далеко. Борис... близко, но сделался чужим. Остался ты. Других я любила и люблю не меньше, но ты был ближе всех. Все последние силы души своей я вложила в тебя. Ты рос ласковым и добрым. И честным! Ты стал моей последней опорой и надеждой. Ты этого не понимал и понимать не мог, но ты помогал мне жить. Ты делал глупости. Кто их не делает? В восемнадцать лет женился... Это было легкомысленной глупостью, но я поверила в твое чувство и защищала тебя. А ты бросил жену и ребенка...

— Соня вышла замуж! — поспешно сказал Димка.

— Мужа можно заменить. А кто заменит ребенку отца? Ведь ты после развода ни разу не видел Игоря. Тебе оказалась безразлична не только судьба Сони, но и судьба *твоего* сына! Да, ты аккуратно платишь алименты. Но что будет думать о тебе твой сын, когда вырастет и поймет, что любовь к нему ты разменял на наличные?.. Значит, у тебя не было и нет никакого чувства... Нет, молчи и слушай! Я всегда защищала тебя. Теперь я должна сказать тебе все. Ты влюбил в себя чистую, доверчивую девочку. Она без памяти полюбила тебя, а мы все полюбили ее. Она отдала тебе все, что имела, — любовь и судьбу. А ты растоптал их.

— Мамочка, ну не надо так высокопарно! Мне жалко Ленку, конечно, ей тяжело... Но в конце концов от этого не умирают.

— Ну, поставь себе в заслугу, что ты не убил. Ты не зарезал, не задушил... Но ты все равно убийца! Дважды. Ты убил счастье Лены и мою веру в тебя.

— Мама, как ты можешь?!

— У меня был сын... Ну, пусть легкомысленный, не-

доучившийся, неустроенный... Но ты не делал подлостей! Я считала тебя честным, порядочным человеком...

— Теперь не считаешь?

— Нет, если ты мог сделать такое... Ты думал, я, как всегда, пойму, примирюсь и прощу? Буду защищать перед другими? Я заслонила бы тебя своим телом от пули, от бомбы, но подлости твоей я покрывать не стану...

Варя вскочила и, дернув Димку за руку, заставила его встать:

— Иди! И скажи всем. Посмотри им в глаза...

Она распахнула дверь и вытолкнула Димку почти на середину комнаты. Все изумленно уставились на них.

— В чем дело? — спросил Шевелев. — Что случилось?

— Пусть сам рассказывает, — сказала Варя и изнеможенно прислонилась к косяку.

От них Димка пощады не ждал. С него сразу слетели смирение и растерзанность. Он засунул большие пальцы в карманы джинсов и с вызовом оглядел сидящих за столом отца, тетю Зину и Устюгова.

— Для кворума не хватает братца с супругой... Ничего, вы справитесь сами, — сказал он. — Я пришел, чтобы рассказать банальную историю: он любил ее, потом разлюбил и полюбил другую... Конкретно: я оставил Лену и ушел к другой женщине. Подробности опускаю как несущественные. Мама жаждет всеобщего суда надо мной. Вот он я, судите. Приговор мне известен заранее... — криво усмехнувшись, Димка сел на стул верхом и ухватился за спинку.

— Ты что, пьяный? — спросил Шевелев. — Что это за дурацкий балаган?

— Я трезвый. Повторяю: я оставил Лену.

— Ты развелся с Леной? — ужаснулась тетя Зина.

— Еще нет. Но разведусь. Я разлюбил ее и полюбил другую женщину.

— Опять? Это уже растленность какая-то!

— Да, да, тетя Зина! Вы забыли сообщить, что это безнравственно и аморально!..

— Да, безнравственно и аморально! А ты не только не стыдишься своего позора, а еще бравируешь?

— Я не бравирую. Я только говорю правду. Вы у нас самая большая специалистка по морали. Так вот, по-вашему, соединиться с любимой женщиной — безнравственно и аморально. А остаться с нелюбимой женщиной, спать с ней, делать вид, что ничего не случилось, — это

морально? Все время притворяться, врать ежедневно, ежечасно — это нравственно? Достойно похвалы и восхищения? Да это в сто раз хуже! И что в результате: три несчастных человека, которые неизвестно зачем мучают друг друга...

— А так всего один, — сказал Шевелев. — Удобная арифметика.

— Да! Всего один. Это лучше, чем трое несчастных.

— Бедная птаха! — негромко сказал Устюгов.

— Тебе двадцать восемь лет, ты не мальчик, а мужчина! — воскликнула тетя Зина. — Должны же быть у тебя какие-то принципы, устои!

— У меня один принцип — правда. Не надо врать. Вот и все.

— Ну да, — сказал Шевелев, — сначала ты поднес свою правду Соне. Теперь Лене. Завтра поднесешь этой новой?.. — Димка молчал. — А если она тебе поднесет такую же правду?

Димка еле заметно повел плечами:

— Значит, мне будет плохо...

— Тебе еще будет... Но Лене уже сейчас плохо, — негодовала тетя Зина. — Ты о ней подумал? Ты женился — значит, взял на себя ответственность за ее судьбу. А ты ее искалечил, изуродовал... Он, видите ли, за правду! Правда бывает благородной, но она бывает и подлой!.. Матвей Григорьевич! Что же вы молчите? Вы же умный человек, объясните ему!

— Ум тут не поможет, — сказал Устюгов, — им управляют гениталии, а не разум.

Варя, стараясь не привлечь к себе внимания, ушла в кухню. Шевелев проводил ее встревоженным взглядом.

— А почему, собственно, такой хипеж вокруг моих личных дел? — спросил Димка. — Я что, первый или последний? Мало у нас разводятся? Или другим можно, а мне нельзя?

— Мы не можем отвечать за других, — сказала Зина. — А ты член нашей семьи!

— И семья будет решать, кого мне любить?

— Люби кого хочешь. Но л ю б и! А что это за любовь — сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья... Ты женился, значит, взял на себя моральную ответственность. Ты же глава семьи, мужчина!

— Он просто бабник, а не мужчина. Это совсем не одно и то же, — сказал Шевелев и поспешно прошел в кухню.

Варя сидела, откинувшись на спинку стула, лицо ее было бледно.

— Что с тобой? Снова худо?

— Ничего, сейчас пройдет, — с трудом ответила Варя, попыталась подняться и не смогла.

Шевелев, как ребенка, взял ее на руки и понес в комнату. Господи! Как же она исхудала, если так легко ее нести! И как давно уже он не носил ее на руках... Но эти мысли тут же погасил страх за нее.

Зина и Устюгов вскочили.

— Матвей, — сказал Шевелев, — у соседей этажом ниже телефон. Вызови «Скорую». Попроси стэбовскую бригаду. Варя у них на учете...

Устюгов выбежал. Зина достала подушку. Шевелев осторожно опустил Варю на тахту. Выпрямившись, он увидел Димку. Прижимаясь к стене, тот испуганно смотрел на мать.

— Уйди с глаз долой, обормот, — сквозь зубы сказал Шевелев.

Не сводя с матери глаз, Димка попятился к двери.

— Может, нитроглицерин? — спросила Зина.

— Не надо, я уже приняла, отлежусь, все пройдет, — сказала Варя и закрыла глаза.

Устюгов вернулся.

— Машина выезжает, — сказал он, остановившись в прихожей. — Как Варя? — Шевелев пожал плечами. — Я посижу на кухне — может, надо будет в аптеку или еще что-нибудь...

Бригада приехала. Двое молодых, необычайно долговязых ребят внесли большой ящик и ящик поменьше. По сравнению с фельдшерами-акселератами пожилой врач казался маленьким и невзрачным. Он проверил пульс, прослушал сердце, измерил давление.

— Эуфиллин, строфантин, димедрол, — сказал врач фельдшеру-лаборанту.

Тот открыл большой ящик, достал стерилизатор со шприцами. Напоминающий актера Тараторкина, даже с таким же кадыком, как у того, фельдшер-техник быстро и ловко опутал Варю разноцветными проводочками, на щиколотках и запястьях защелкнул резиновые манжеты, включил маленький ящик — кардиограф. Тот тихонько зажужжал, из него поползла узкая ленточка кардиограммы. Так же быстро и ловко фельдшер снял проводочки, и тогда лаборант, который уже набрал в большой шприц все медикаменты, ввел иглу в вену. За это время врач

успел просмотреть бланки исследований, которые оставили предшествующие бригады, потом углубился в новую кардиограмму. Заполнив бланк, врач подошел к Варе, снова проверил пульс:

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо. Теперь совсем хорошо. Спасибо, доктор, — сказала Варя.

— Вот и прекрасно, — сказал врач и снова сел за стол.

— Можно нести в машину? — спросил фельдшер у ящика с медикаментами.

— Закрыть можно. Уносить подождем.

Они сидели с полчаса. Врач еще раз проверил пульс у Вари.

— Ну вот, теперь получше, — сказал он. — Поправляйтесь. Всего хорошего.

Фельдшера унесли свои ящики. Врач задержался в прихожей.

— Пока ничего страшного не произошло, — сказал он Шевелеву. — Больной следует полежать несколько дней. Сердечко у нее слабенькое. И никаких эмоций. Ни отрицательных, ни положительных.

— Положительные тоже опасны? — усмехнулся Шевелев.

Слова врача успокоили его, и он принял сказанное за шутку. Врач не шутил.

— Опасны, — подтвердил он. — У моего пациента приняли сына в институт. От радости у него произошел обширный инфаркт.

— Положительные нам не угрожают, — сказал Шевелев. — Вопрос в том, как уберечь от отрицательных?

— Постарайтесь. А как — не знаю. Тут я не советчик.

Шевелев снова взял Варю на руки. Зина постелила постель.

— Ты иди, — сказала она, — я посижу.

Шевелев ушел на кухню, прикрыв за собой дверь. Сутулившийся Устюгов смотрел в стол, услышав шаги, поднял голову.

— Обошлось, отходили, — сказал Шевелев. — Врач говорит — берегите от эмоций. А как? — Устюгов развел руками. — С такими детками убережешь... Черт его знает, откуда это идет? Вот вырос сынок — дубина под потолок, завел дворницкую бороду, родил сына. А сам остался мальчишкой. И что он, один такой?

— М-да, — ухмыльнулся Устюгов. — Болезнь у нас довольно распространенная. Для нее придумали научное название — инфантилизм. По-русски — детскость. Детскость мышления и детскость поведения. Уже давно в печати раздаются вопли и размазываются сопли — обабившиеся мужчины, «где вы, мушкетеры?» — и так далее.

— Я не очень за этим слежу.

— А я слежу. Любопытная складывается картина. Раньше дети вырастали и становились взрослыми. Теперь они вырастают, обзаводятся детьми, лысеют, отращивают бороды или хотя бы усы, а сами остаются инфантильными. Появились даже повести и романы, где всякая подлость и негодяйство героев объясняется их инфантильностью. Люди, которые видят корень зла в пресловутом инфантилизме, обнаруживают собственную интеллектуальную и социальную инфантильность.

— По-твоему, такой болезни нет?

— Нет. Бороться с инфантилизмом — значит лечить симптомы болезни, а не самое болезнь, что, как известно, занятие для дураков.

— В чем же болезнь?

— В безответственности! А у нас она прививается с младых ногтей. Подрос пацаненок — его в детсадик. Там для него все приготовлено и расписано. Все его обязанности — есть, садиться на горшок, спать и играть. По команде. Два притопа, три прихлопа.

— Так ведь это необходимо — родители работают.

— К сожалению. Мы не одиноки — во всем так называемом цивилизованном мире то же самое... Подрос пацан — отвели в школу. Ну, там и вовсе каждый шаг расписан и предписан. Что пацану говорить и даже думать, решают учительница и вожатая. И так далее. В результате вырастают...

— Илоты?

— Ну, зачем такие страшные слова?! Не илоты, а исполнители. Это не исключает ни трудолюбия, ни даже энтузиазма. Они усердно исполняют то, чему их обучили и что им поручили. Вот только за это и отвечают. И то не всегда... Отвечать за все остальное, решать все остальное их не учили, а сами они не научились. Только когда облысеют, уйдут на пенсию, вот тут они сами решают — забивать «козла» или нет?.. Так вот, дорогой мой Михайла, пресловутый инфантилизм при сколько-нибудь серьезном рассмотрении на самом деле оказывается прививаемой с детства, насаждаемой безответственностью. И главная причина этого в том, что мы слишком уверовали в магическую силу слов. Воспитание у нас стало словесным. Люди думают, что если над человеком часто и много говорить, давать хорошие советы и призывать, то человек непременно станет хорошим. Инфляция слов неизбежно влечет за собой девальвацию идей. Обесцененные слова превращаются в тот самый горох, который отскакивает от стенки, то есть от воспитуемого...

— Ты, брат, зарапортовался: бессловесное воспитание тоже невозможно.

— Я к нему не призываю... Нельзя, чтобы словесное было единственным. У Теккерея есть мудрая формула: «Посеешь действие — пожнешь поступок, посеешь поступок — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу»... Вот в чем суть — сеять действие, а не слова! С детских лет человек должен жить не по команде — сам решай, сам отвечай за свои решения и поступки. Человеческий детеныш, как и всякий другой, начинает с подражания, а не с понимания. Понимание приходит потом, если приходит... Ну, и так далее.

— А как бороться с безответственностью, когда она уже образовалась?

— Не замалчивать ее, а говорить во весь голос. И во всех случаях. Чтобы новые поколения видели всю опасность безответственности для всех и каждого. Новое поколение отметает заблуждения и ошибки предшествующих... Правда, оно насаждает новые заблуждения и совершает новые ошибки, но и они, в свою очередь, конечны.

— Утешил! Димка-то у меня не в будущих поколениях, а сейчас.

— Я не собирался тебя утешать. Утешения нужны слабым. Это всего лишь способ отвлечь от трудного и сложного. Сильным нужно понимание.

— Вот я и хочу понять, почему Димка стал распутным.

— Ты ищешь однозначного ответа, а его нет. Если человек вырос в убеждении, что мир создан для него и вращается вокруг его особы с единственной целью доставлять ему удовольствие, и если к этому добавить обычно невысокий уровень культуры у таких людей и падение культуры чувства, то...

— Что еще за культуру ты придумал?

— Придумал не я, а человечество... С того времени,

как наш прапредок, размозжив голову сопернику, за волосы втаскивал избранницу в свою пещеру, прошли десятки тысяч лет. Все эти тысячелетия человек не только умнел и учился делать вещи, он инстинкт продолжения рода обращал в чувство любви, лелеял и развивал культуру этого чувства. И достиг в том высочайшей человечности. Он укротил дикий и грубый акт детопроизводства, облагородил его и путь к нему украсил так, что он превратился в дорогу счастья. Конечно, физическая близость сохранила свое значение, но чувство стало настолько могущественным, что иногда, и не имея физического завершения, оно так преображает человека, что он оказывается способным на самые высокие взлеты духа и поступки, потрясающие других своим благородством и красотой. Примеров, я думаю, приводить не надо. История и литература полны ими.

Шевелев согласно покивал.

— Вернемся к теме... «Сколько веков поют влюбленные своим избранницам...» Но поют по-разному. У каждого своя песня. Какая ни на есть, но непременно своя! А как только ее одалживают у других, насущный хлеб любви подменяется муляжом... Хорошо, если я ошибаюсь, но мне кажется, у многих, во всяком случае у некоторых, теперь эту песню исполняют электронно-механические устройства. Влюбленные молчат, за них говорят транзисторы, магнитофоны и проигрыватели. А если все уже сказано, то, не тратя лишних слов, можно переходить к делу... Сладостная судорога близости становится все доступнее и происходит все с меньшими душевными затратами. Или вообще без них. Как у кур и петухов. Им просто нечего тратить. Они не понимают, что любить означает не брать, а отдавать другому все лучшее в тебе, а не только тело. Когда отсутствует культура чувства, любовь отделяется от акта соития. Духовная нищета партнеров делает не так уж важным, кто партнер, — сегодня может быть один, завтра другой... Человечество судорожно мечется в поисках самого себя и своего будущего, а они озабочены сменой партнеров... На могучем потоке жизни, как ни глубок он, всегда поверху плавает и пена, и бытовой сор... Нет, я не причисляю к нему Димку. Пока, во всяком случае. Ты считаешь его распутным. Я так не думаю. У него нет царя в голове и отсутствует культура чувства. Влюбляясь, а вернее, увлекаясь, он каждый раз совершенно искренне убежден, что вот это и есть большое, настоящее, на всю жизнь. Потом оказывается, что этого чувства «на всю жизнь» хватило только до угла. И он начинает сначала...

— Но так ведь можно без конца? Как же это назвать?

В кухню вошла Зина.

— Уснула, — сказала она. — И сон как будто спокойный...

— Слава богу! — сказал Устюгов. — Тогда я, наверно, пойду, а то совсем заболтался...

Когда Устюгов вышел из подъезда, от каштана на газоне отделилась долговязая тень.

— Как мама, дядя Матвей? — хрипло спросил Димка.

— Ей лучше. Она уснула.

Устюгов шагнул и остановился, сжав кулаки.

— Эх, если бы ты не был сыном своей матери! — с сожалением сказал он и зашагал прочь.

Варя оправилась, все вошло в норму. Шевелев никогда не заговаривал о Димке и его делах, старался, чтобы и другие не касались этой взрывчатой темы, однако совсем избежать ее было нельзя. Примчался на своей «Ладе» Борис.

— Что вы тут судилище над Димкой устроили? — сказал он. — Вчера он проторчал у меня весь вечер, размазывал слюни. Конечно, глупо, что он устроил этот спектакль: ах, я тебя больше не люблю, полюбил другую... Тоже мне трагедия! Ну, полюбил и люби на здоровье. Зачем об этом кричать на весь свет? Так он дурак, что с него взять!

— Только дурак? — спросила Варя.

— Конечно, дурак! Если б шито-крыто, или ему самому, или той бабе надоело бы, так и кончилось бы ничем...

— Ты это и своей Алине проповедуешь? — спросил Шевелев.

— При чем тут Алина? Я говорю вообще.

— Ага, — сказал Шевелев, — у тебя, значит, две морали — одна для Алины, другая для себя, вообще... Удобно!

— Не надо меня подлавливать, батя! Сейчас не тургеневские времена. Ах, дворянское гнездо, ах, тургеневские девушки! Меня и в школе тошнило от этого занудства. Где эти гнезда, где эти девушки? Мы рационалисты, прag-

матики и ценим реальные вещи, а не словесную трескотню...

— Золото, — сказала Варя, — во все времена считалось драгоценным. Сейчас ведь тоже?

— Еще бы! — усмехнулся Борис. — Только его нет в обращении.

— Его нет в денежном обращении. В человеческом обращении есть. Это, по-моему, любовь, дружба, верность... К человеку приходит любовь. Это все равно, будто он нашел золотой самородок. Конечно, золотую монету можно разменять на медяки. Вместо одной будет целый ворох. Только человек от этого не станет богаче. Он обменяет драгоценность на множество стертых, позеленевших медяков...

— Все это очень красиво, мамочка, и я не собираюсь оспаривать. Хотя, по-моему, деньги есть деньги, важно, что на них можно купить, а не какие они... Я хочу о деле... Ну, Димка — балбес, наделал глупостей, но разве за это обязательно выгонять из дома?

— Никто его не выгонял, — ответил Шевелев. — Он довел мать до приступа, я сказал ему, чтобы убирался, не путался под ногами. Только и всего.

— Тогда порядок. Может, нужны какие лекарства?

Лекарства не были нужны.

— Да, за разговорами я совсем забыл. — Борис пошел в прихожую, вернулся с коробкой конфет, протянул ее матери. — Вот тебе немножко сладенького. Говорят, сладкое укрепляет сердечную мышцу... Сделано по спецзаказу, но мне достали.

Димка снова стал приходить к родителям. Держался он без тени вызова и бравады, рассказывал о новых загадках и тайнах, которые потрясали его воображение, но о своих семейных делах не заикался. Только однажды он осторожно спросил, не будет ли мамочка против, если он — не сейчас, как-нибудь потом — приведет Милу: она очень хочет познакомиться.

— Нет! — твердо сказала Варя. — Ни сейчас, ни потом. Я не хочу знать лучшую подругу, которая предала свою подругу. Если она появится, я должна буду сделать то, чего не сделала Леночка, — дать ей пощечину.

О самой Леночке Варя то и дело спрашивала Зину, огорчалась тем, что та не приходит, и собиралась сама поехать к ней, однако каждый раз Шевелев и Зина решительно восставали. Сама Зина побывала у Лены. Та держалась молодцом, рвалась к ним, но не решалась:

Димка специально приезжал, чтобы рассказать о приступе и предупредить, что матери опасно любое волнение. В конце концов Варе удалось уговорить Зину — та дала знать Леночке, когда Шевелева заведомо не будет дома, Леночка приехала, и они дружно все оплакали. От этого ничто не изменилось и измениться не могло, но и Варе и Леночке стало как бы легче: они убедились, что их взаимная привязанность не нарушилась и не ослабела. Леночка по-прежнему любила Димку и не хотела слышать о нем ничего дурного. О любимой подруге Миле она не поминала.

Встреча с Леночкой не вызвала никаких дурных последствий, она снова стала забегать к Шевелевым, только несравненно реже, а когда стало известно, что Димка и Мила расписались, перестала бывать совсем.

Никаких новых тревог или происшествий, которые могли бы вызвать волнения, больше не случалось, но здоровье Вари ухудшалось. Приступ повторился, потом еще и еще, пока в злосчастное солнечное утро Шевелев не ушел за ряженкой, а вернувшись, увидел неподвижный взгляд Вари...

Пришла Зина — у нее был свой ключ, — увидела, в каком странном положении лежит Варя, как смотрит на нее Михаил, даже не заметивший прихода сестры, и все поняла. Слезы хлынули у Зины из глаз, но она тут же взяла себя в руки: стальная воля ее проявлялась сильнее всего, когда случалась беда. Зина позвонила Борису, тот примчался и со всей энергией и деловитостью взял на себя мучительные похоронные хлопоты и все, что с ними связано. Шевелев ничего не слышал и не отвечал, когда к нему обращались, — он смотрел на Варю. К нему словно вернулась контузия, которая настигла его в огневом аду под Штеттином. Даже когда появился прилетевший Сергей, Шевелев не произнес ни звука — взглянул на сына, кивнул и снова повернулся к Варе.

Она вдруг оказалась в гробу, потом в тряском автобусе. Не успели сесть в автобус, как уже нужно было из него выходить, потом, ужасно спеша, гроб заколотили и молниеносно опустили в яму. Нестройно отревев подобие похоронного марша, духовики деловито заспешили к автобусу. Остальные пошли тоже. Пошел и Шевелев — Вари уже не было, вместо нее появился песчаный холмик, заваленный венками и цветами.

Добросердечные соседки приготовили поминальный ужин. Знакомые, соседи, старые Варины сослуживицы

ели, пили, прочувствованно говорили о том, какая Варя была чудная женщина, добрая, отзывчивая, справедливая... За все время только Устюгов и Шевелев не произнесли ни слова. Может быть, потому, что два старых солдата слишком хорошо знали цену смерти и все ничтожество слов перед нею. Может быть, потому, что большое горе не кричит, большое горе молчит...

Шевелев смотрел в стол и ни к чему не притрагивался. Голоса вокруг сливались в монотонный, невразумительный шум. Он ждал, когда посторонние уйдут, а когда они ушли, не заметил этого. Остались только родные и Устюгов. Шевелев поднял голову и увидел, что сидящий напротив него Димка наливает себе большой бокал водки, потом, морщась от отвращения, пьет. Лицо его распухло от слез и было красным — должно быть, выпил он уже много. Волна бешенства вдруг подхватила Шевелева, но он вцепился побелевшими пальцами в столешницу и остался сидеть.

— Запиваем горе водочкой? — сказал он. — Или, может, заливаем совесть? Ну и как, помогает?

Димка резко поставил бокал на стол, отчего тот разлетелся на куски.

— А что тебе моя совесть? Почему мне ее нужно заливать?

— Ах ты, бедный ребеночек, ты не знаешь? Ты уже забыл, до чего довел мать, с чего все началось?

— А я не знаю, с чего началось! У мамы стенокардия давно. Я в ней виноват? А все остальные нет? И ты, конечно, ни в чем не виноват — рыцарь без страха и упрека?..

Борис, Сергей, тетя Зина заговорили разом, пытаясь удержать, урезонить Димку. В другое время и в другом состоянии он бы послушался и сдержался, даже просто не посмел. Но сейчас он был пьян — затуманенный горем и водкой, не слышал ничего, кроме своей обиды. Димка вскочил, выбежал из-за стола.

— Ты меня считаешь дурачком. Да, был. Ничего не понимал, ни о чем не задумывался. Но я помню! Ты всегда так заботился о жене и семье, да? А почему отдыхать ты уезжал один? Я маленький был, но я помню — ты уезжал в Крым. Один! Почему ты не брал с собой маму? Ты присылал оттуда открытки. И каждый раз мама плакала. Я потом читал эти открытки. Ты писал, что погода хорошая, ты хорошо отдыхаешь. Все хорошо, да? Почему же мама плакала?..

Шевелев грохнул кулаком по столу...

Ну, грохнул. Ну, набил сыну морду. В общем-то, поделом, хотя и бессмысленно: вырос шалтай-болтай, таким и останется. Мордобоем не исправишь. И не за это бил — за то, что оказался хамом, полез куда не следовало... Ну, а себя-то почему с Ноем сравнил? Для красоты и убедительности? Тоже мне — патриарх... Где взращенный тобой виноградник и какой урожай ты собрал?.. А что, если все это ты сделал для отвода глаз? Чтобы не догадались, не поняли? Заткнул сыну глотку из страха, что он знает и скажет больше? И что другие тоже узнают?

Шевелев понимал, что теперь и до конца дней он непрерывно будет судить себя за то, что сделал вот тогда и тогда, а еще больше за то, что не сделал тогда-то... Приговор известен заранее — нет ему ни оправдания, ни пощады и быть не может, как не будет конца муке сожаления, стыда и раскаяния. Варя умерла, и уже ничего нельзя сказать, объяснить, вернуть и исправить, сделать заново, бесполезны сожаление и раскаяние... А вдруг все это его самоедство попросту фарисейство? Но тут же перед ним возникли измученные глаза Вари, когда она сказала, что ей нечем больше жить... И он снова и снова искал грань, за которой несчастье и неминуемая гибель обернулись спасением и счастьем, а потом счастье оказалось несчастьем, пытался понять, как и когда ложь во спасение стала убивающей...

Последняя атака была уже бесполезной и бессмысленной. Шевелев еще не успел выпрямиться, как сзади громыхнул взрыв, деревянные ряжи и настил моста с водой и пламенем взлетели вверх. Моста не стало, нечего было больше прикрывать, но они уже выскочили на окопчика и, крича, бежали с винтовками наперевес. Шевелев тоже бежал и кричал, не слыша собственного крика. Разрыва он тоже не услышал, а только увидел впереди бледную вспышку, почувствовал удар в голову, в ногу и упал.

Он очнулся оттого, что над самой головой у него надсадно жужжала разведывательная немецкая «рама». Шевелев открыл глаза. В полуметре мохнатый шмель пытался забраться в сиреневый луговой колокольчик, но тонкий стебелек гнулся, шмель срывался и, сердито гудя, начинал все сначала. Шевелев приподнял голову, все

перед глазами поплыло, закружилось, и он опять опустил щеку на колючую траву. Гудение оборвалось — шмель то ли достиг цели, то ли отчаялся и улетел. Шевелев снова приподнял голову, оглянулся. Спасшая ему жизнь каска валялась в двух шагах. Нигде не было ни души — ни наших, ни немцев, только на некотором расстоянии, разбросавшись, лежали неподвижные тела. Раненые, как он, или убитые? Шевелев попытался крикнуть, пересохшая глотка издала лишь надсадный хрип. Никого и ничего, только зной и тишина. Нет, тишины не было, где-то далеко монотонно и глухо рокотало. Шевелев вслушался и почувствовал, что весь вдруг покрылся липкой испариной — от страха. Рокотало далеко на востоке, за Сеймом... Значит, фронт уже где-то там, там наши, а здесь немцы, и он один среди них — не солдат и не пленный. И первый немец, увидев его, нажмет спусковой крючок своего автомата...

Шевелев не мог знать, что, натолкнувшись на упорное сопротивление войск Юго-Западного фронта у Киева, немцы по флангам этого фронта прорвались на восток, далеко вперед выдвинули стальные клещи первой и второй танковых групп и где-то в ста пятидесяти — двухстах километрах от фронта захлопнули клещи. Часть Шевелева — одна из тех, что попали под этот уничтожающий удар, — была смята и перестала существовать.

Шевелев попытался подняться и замычал от нестерпимой боли: в левом бедре повернулась раскаленная кочерга. Он протянул руку и нащупал заскорузлый струп. Кровь, залившая траву, давно засохла. Крови натекло много, но, как видно, кость и нервы остались целы — он попробовал пошевелить ступней, пальцами. В ране снова резануло болью, но пальцы и ступня двигались.

Справа пойменная луговина тянулась вдоль берега реки, и, кроме редких кустов тальника, на ней не было ничего. Вдалеке слева тянулась синяя полоса леса. Ни луг, ни лес не могли ему помочь, помочь могли только люди. Поодаль прямо перед ним луговина переходила в еле заметную возвышенность. На ней курчавилась зелень садов, кое-где выглядывали скаты соломенных крыш. Там могли быть немцы. Но там прежде всего н а ш и. И все равно оставалось только рисковать...

Солнце висело над самым горизонтом. Приближаясь к нему, оно вспухало и краснело, будто вбирало кровь,

которая так обильно лилась теперь на земле, и, наконец, скрылось за пойменным тальником. Шевелев подождал, пока не наступили сумерки, так, что уже не мог различить тела убитых, и сел. Голова опять пошла кругом. Превозмогая себя, он стащил гимнастерку, разорвал нижнюю рубаху и туго перевязал рану: при движении она неминуемо должна была открыться и кровоточить. Подогнув здоровую ногу, Шевелев оперся на нее и с напряженной осторожностью выпрямился, но, как только попытался опереться на раненую, в ране снова повернулась раскаленная кочерга, он упал. И вокруг ни палки, ни прутика...

Сколько там было — полтора, два или все три километра? Выносливый, в расцвете мужских сил, Шевелев прополз бы это расстояние за каких-нибудь два часа. Обессиленный потерей крови, голодом, всей неизбывной усталостью нещадного воинского труда, он полз всю ночь. Сколько раз он изнеможенно останавливался, посылал все в тартарары и намного дальше, решал плюнуть — пусть будет как будет, но, отдышавшись, снова забрасывал руки вперед и, помогая здоровой ногой, подтягивался, потом снова и снова...

Больше всего он боялся сбиться с правильного направления. Когда небо начало сереть, он увидел, что приполз как раз туда, куда наметил, — к крайней леваде, на которой стояли три кое-как сложенные копешки сена. Левада была окопана канавой. Шевелев перевалился через небольшой валок и скатился вниз. И сразу все исчезло — над ним осталась только полоса наливающегося первым светом неба. Шевелев решил отдохнуть, прежде чем двигаться дальше, — и заснул.

— Ну что? Что ты смыкаешь? Думаешь, вот так я тебя и пущу? А потом за тобой целый день бегать?

Разбудивший Шевелева звонкий девчоночий голос обрадовал и напугал: в его положении всегда лучше, чтобы он первый видел и решал, полезна или опасна будет встреча. В поле его зрения появилась голова девчушки с длинной косой, тут же исчезла, и голос снова зачастил:

— Вот и все! Вот и будешь тут гулять и никуда не убежишь...

Голова появилась снова, приблизилась, и Шевелев увидел девчушку до пояса. Она смотрела на луг, в сторону реки, прижала ладонь к щеке и горестно, по-бабьи покивала. Потом взгляд ее опустился ниже, девочка

увидела Шевелева. Она закусила нижнюю губу, побледнела, глаза ее стремительно наливались страхом.

— Тихо! Не кричи! — сказал Шевелев.

— Я не кричу, дядечка, я не буду кричать... — испуганно сказала девочка. — То я так злякалась, дядечка, так злякалась — я думала, что вы уже совсем мертвый...

— Кто с тобой?

— А никого со мной нема, — ответила девочка и даже оглянулась, чтобы окончательно убедиться в этом.

— А с кем ты говорила?

— Так то ж коза!

Глаза ее заискрились смехом, она едва не прыснула, но тут же спохватилась и прикусила нижнюю губу, чтобы не засмеяться.

— Немцы в селе есть?

— Нема. Совсем нема. Они вчера так прожогом промчались скрозь весь хутор туда, до Сейма, а больше совсем их не было.

— С кем ты живешь?

— Сама.

— Как сама?

— Сама, одна. Тато о прошлом годе померли. А мамо весной. Вот я и живу сама-одна.

— Принеси воды. Только чтобы никто не видел. Поняла?

— А конечно, поняла, дядечка. Я сейчас сбегаю...

— Не надо бегать! Иди нормально. А то сразу увидят — что-то случилось, раз ты бежишь.

— Так я всегда бегаю! То скорее люди что-то подумают, если я тихонько пойду.

— Ну, хорошо. Только обо мне никому ни слова.

— Ой, дядечка, разве ж я не понимаю? Да кому я буду говорить, если в хате никого нема?

— Мало ли... Соседка вдруг зайдет.

— От чтоб мне очи повылазили! — сказала девчушка и перекрестилась в подтверждение клятвы.

— Очи очами, ты язык придержи, а то он у тебя тоже бегает...

Девчушка снова прикусила нижнюю губу, чтобы не прыснуть, и исчезла.

Она оказалась сообразительной: не несла всем напоказ ведро или кувшин с водой. На одной руке у нее была плетеная корзинка, в другой она держала серп, будто собиралась жать траву для своей козы.

— Вот какая я догадливая, правда, дядечка? Як кто и увидит, все одно ничего не подумает...

— Молодец! — сказал Шевелев. — Посмотри как следует: никого не видно? А потом сядь спиной ко мне, будто ты свою козу пасешь, а сама поглядывай. Если кто появится, иди к нему, чтобы отсюда увести.

Девчушка послушно все выполнила, осторожно опустила корзину в канаву, и Шевелев припал к чайнику с холодной водой.

— Ну, спасибо! — сказал он. — Как же тебя зовут, спасительница?

— Марийка. Марийка Стрельцова меня зовут, — как послушная школьница в классе, ответила девчушка. — А вас?

— Михаил... Михаил Иванович.

— То вы оттуда? — кивнула Марийка в сторону реки. — И ото все лежат побитые? Прямо страх божий смотреть... А как же вы, дядечка?

— А я ночью сюда приполз. Ходить не могу, нога у меня раненая. Слушай, Марийка, ты здесь все места знаешь. Где бы мне спрятаться, пока нога подживет?

— Так а где ж прятаться? В хате. Не в погребе же — там холодно и жабы прыгають...

— Жабы не самое страшное. Там небось лестница. Лестницу мне не одолеть.

— А где ж еще? В сарае? Что вы, зверюка какая, чтобы в сарае жить?

— Да пойми ты: нельзя мне прятаться в хате! Если немцы узнают, что ты прячешь солдата, тебе тоже не поздоровится.

— А что они мне сделают?

— Они все могут сделать. Никого не щадят — ни старых, ни малых. Одно дело, когда я сам прячусь и ты про то не знаешь, и совсем другое, если ты меня в свой дом заберешь...

Марийка помолчала, раздумывая.

— От шо я вам скажу, дядечка. Немцев в хуторе нема. Может, и не будет, бо шо им тут делать? Все мужики и хлопцы в армии, остались одни бабы, старики да малеча. Что, немцы будут тут сидеть и тех баб сторожить? И там когда-то шо-то будет, а вы отлежитесь, рана ваша заживет, тогда и пойдете, куда хочете... Так что идемте до хаты, там и сховаетесь...

— А если придет кто?

— Да кто там до меня придет? Соседка? А чего ей в

комнате делать? Да я и не пущу. Я ей так голову заморочу, что она забудет, зачем пришла. Думаете, я не умею? Я кого хочешь переговорю... Мне еще в школе на собраниях слова не давали, бо я як начну балакать, так и остановиться не могу...

— Похоже, — сказал Шевелев. — Ладно, до ночи и здесь полежу, а потом...

— А чего это вы будете тут целый день лежать? Вот еще придумали — лежать в канаве! Нога раненая, а вы будете лежать в грязюке! Разве так полагается? Не, как хочете, дядечка, а вставайте и пойдем до хаты.

— Соседи увидят.

— Какие соседи? У меня одна соседка, так она спозаранку забрала малечу и пошла до свекрови помогать картошку копать. Сейчас же люди картошку копают, а вы думаете, у них только и дела, что в Марийкин огород заглядывать...

— Ну хорошо, принеси мне палку какую-нибудь...

Марийка подхватила корзину, улетучилась и почти тотчас появилась снова.

— Ну ты и бегаешь, — сказал Шевелев.

— А что? — польщенно порозовела Марийка. — Я така моторна, така моторна, никто не догонит... Вот вам, дядечка Михайло, ломаки, смотрите, какая лучше...

Шевелев взял палку поувесистее, поднялся, но, выбираясь из канавы, задел раненой ногой бровку, пошатнулся и закряхтел от боли. Марийка побледнела, закусила нижнюю губу, словно и она испытала нестерпимую, жгучую боль.

— Ой, дядечка, вы же так не дойдете. Вы обопритесь на меня... А что? Я хоть ростом и маленькая, а сильная, я выдержу.

Боль затихла, и Шевелев теперь впервые увидел Марийку во весь рост. Она была вовсе не девчушкой, как показалось ему, а хотя и молоденькой, но, несомненно, уже девушкой. Только ростом действительно не удалась: макушкой не достигала его подбородка.

— Вы не думайте, дядечка, я умею... Когда мы в школе играли в войну, я всегда была санитаркой. Я умею, вот увидите... Кладите свою руку вот так, — и она положила его левую руку себе на плечо, — а я вас возьму вот так, — Марийка обхватила его правой рукой. — Вот так потихонечку и пойдем. Только вы опирайтесь сильнее, а то ж вам больно будет...

Ну вот, мы уже и пошли, вот мы уже идем себе и идем...

Так они преодолели леваду, простиравшийся за нею огород, пересекли двор. Маленькая хатка под соломенной крышей слепила глаза свеженобеленными стенами.

— А теперь, дядечка, осторожно, тут приступочка, — как маленькому, объяснила Марийка у входной двери,— вот так, а тут порожек... Ну вот мы и пришкандыбали! — торжествуя, сказала она, когда Шевелев снял руку с ее плеча и опустился в кухне на лавку. — А вы таки тяжеленький, дядечка, я аж упрела... — Согнув в локте руку, Марийка смахнула с лица проступившую испарину. — Ой, дядечка Михайло, мы все балакаем и балакаем, а вы ж, мабуть, голодный?..

— Как собака, — сказал Шевелев. — Последний раз ел позавчера.

— А маты божа! Так шо ж вы молчите? Я зараз...

Марийка заметалась по кухне, перед Шевелевым тут же появились хлеб, холодная вареная картошка, соль и зеленый лук. Он набросился на еду. Марийка села напротив, пригорюнившись, наблюдала, как жадно он ест, потом вдруг вскочила, выбежала из хаты. Вернулась она с кружкой холодного молока.

— Вот, дядечка Михайло, теперь вы уже будете у меня совсем сытый. Правда?

Рот у Шевелева был набит, в ответ он только энергично покивал.

— Все! — сказал он, отвалившись. — Наелся на неделю вперед. Спасибо тебе!

— А на здоровьечко. Шо ж бы вам еще такое сделать?

— Если бы пару гвоздей да молоток, я бы себе палки приспособил, чтобы тебе больше меня не таскать.

— А есть! Десь у тата были и молоток, и гвозди...

Гвозди оказались погнутые и ржавые, молоток еле держался на рукоятке, но Шевелев все-таки соорудил две палки с верхними поперечинами, чтобы удобно было опираться.

— Вот это — другой разговор, — сказал он и, опираясь на палки, сделал несколько шагов. — Э, так я тебе весь пол исковыряю...

От палок в глинобитном полу остались углубления.

— Пхи! — ответила Марийка. — Шо ей, доливке, сделается? Глина и глина. Я все одно каждую субботу ее

подмазываю. Так что колупайте, сколько хочете... Хотя вам теперь не ходить, а лежать надо. А то ж натомились и нога раненая... Вот только вам хочь бы трошки помыться. А то — вы не обижайтесь, дядечка! — такой вы грязнючий да страхолюдный, аж смотреть страшно... Ось поглядите сами.

Марийка метнулась в комнату, принесла маленькое зеркало. Заросшее многодневной щетиной лицо Шевелева от пыли и потеков пота стало черным, выделялись только белки глаз да зубы.

— Ну-ну, — сказал он. — Бандитская харя, и все... Просто удивительно, что ты не заорала, когда меня увидела.

Марийка прыснула, но тут же прикусила нижнюю губу и уже серьезно сказала:

— Так я же сразу догадалась, шо вы наш красноармеец и ховаетесь от немцев.

— Пойдем во двор, — предложил Шевелев, — я там где-нибудь сяду, а ты мне сольешь.

— Не! — решительно сказала Марийка. — Шо то за мытье? Надо как следует, а то у вас и одежа вся от пота смердючая. Зараз я нагрею воды, и будете вы мыться по-настоящему. Вот тут. А то что ж вы, посреди двора голый стоять будете?

— Как же тут мыться? Болото будет.

— А в балии. Мы всегда в балии моемся. И никакого болота не будет, вот увидите.

Марийка принесла из сеней круглое деревянное корыто, похожее на срез огромной бочки, разожгла в печи огонь, натаскала в чугуны воды, потом надолго исчезла в комнате, что-то, приговаривая, перебирала и вернулась со слежавшимся холщовым бельем.

— Ось! — торжествуя, сказала она. — То когда тато померли, то я все после них перестирала и сложила в сундук — хай лежит, хлеба не просит. А оно вот и сгодилось... Ну, вода уже горячая, раздевайтесь, дядечка Михайло, и будем мыться.

— Как это — будем? Ты воду поставь и уходи. Я сам.

— Да шо вы сами можете? А кто вам спину потрет? А кто обольет потом? У вас же нога раненая, шо ж вы, как черногуз *, будете на одной ноге стоять? И одной рукой мыться? Что ж то будет за мытье? Только грязь размазывать?.. Да вы что, меня стыдаетесь, чи шо? А от

* Аист.

если б вы в лазарете были, кто бы вас мыл? Все одно сестра, только что медицинская. Так я в школе всегда санитаркой была, с отакенной сумкой и с красным крестом... Или вы думаете, что я не умею? А я умею. Когда тато хворали, я всегда мыться им помогала. И что ж тут такого?

— То был отец, — сказал Шевелев.

— Так вы же, дядечка, тоже старый... И шо ж делать, если вы такой бедный и пораненный? Ну шо вы сидите и думаете? Так и вода остынет...

«Черт с ним, в конце концов, — подумал Шевелев. — И для нее не мужчина, она для меня не женщина... Неизвестно, когда еще подвернется такой случай. И подвернется ли?..»

— Хорошо, — сказал он. — Будь по-твоему.

— Вот и добренько! — обрадовалась Марийка. — Вот я вам ставлю скамеечку: раздевайтесь и садитесь. Ну, все, что нужно, спереди вы сами помоете, а где вам не достать, там я буду.

И она принялась шуровать его рогожной мочалкой.

Марийкин отец был, как видно, ростом поменьше Шевелева — штаны и рукава рубахи оказались коротковатыми, но после пропыленной, пропотевшей формы показались ему верхом удобства и роскоши.

— Чистой тряпки у тебя не найдется? — спросил Шевелев. — Надо бы рану перевязать.

Марийка снова метнулась в комнату, там раздался треск разрываемой ткани, и она вернулась с широкими длинными полосами разорванной женской рубахи.

Шевелев задрал штанину, с трудом развязал намокший узел повязки, начал ее разматывать, морщась и непроизвольно подергивая ногой от боли. Прикусив нижнюю губу, Марийка внимательно следила за его движениями, и каждый раз, когда нога Шевелева дергалась, в лице ее мелькала тень, словно боль испытывала она сама.

Намокшая при купании повязка отходила довольно легко, и наконец открылась вспухшая, багровая, с рваными краями рана. Из нее сочилась сукровица.

— А маты божа! — в ужасе сказала побледневшая Марийка.

— Йода у тебя нет?

— Нема.

— А зеленки?

— Тоже нема.

— Ладно, как будет, так будет. — Шевелев туго обмотал рану лентами, которые Марийка скрутила в тугие валики, как бинты.

— А теперь идите, дядечка, и ложитесь, я вам постель уже приготовила.

В горнице, отделенной от кухни ситцевой занавеской, было так чисто, что сразу становилось очевидно: ею пользовались только по праздникам или не пользовались вовсе. В углу перед иконами Спаса и Богородицы горела лампадка. Здесь были сундук, лавы и стол домашней работы и старая-престарая кровать с никелированными шишками.

— Вот тут и ложитесь, — сказала Марийка, — кровать еще мамино приданое, только матраца городского у нас нема, ну все одно, я думаю, тут будет лучше, чем в той канаве, — и она прикусила губу, чтобы не прыснуть.

— Так ведь это твое место, — сказал Шевелев. — Ты постели мне на полу, вот и все.

— Чего это вы, пораненный, будете на полу валяться? А я тут совсем и не сплю, я вон — на печке...

Шевелев лег — взбитый сенник приятно зашуршал.

— Ну, спасибо тебе за все, Марийка! Я прямо как второй раз на свет родился...

— От и хорошо! Лежите себе и отдыхайте...

Проснувшись, Шевелев встретился с Марийкой взглядом.

— Ой, слава богу! — сказала она. — Вы все спите и спите... Я уже по хозяйству управилась и до бабки Палажки сбегала, а вы все спите и спите. И так тихонько, что я уже думала: а ну как мой дядечка совсем помер? А он, слава богу, живой и здоровый.

— Живой. А что, Марийка, тато твой брился или бороду носил?

— Не, они только усы носили — вот такенные, а бороду брили.

— Так, может, после него и бритва осталась?

— А десь была... — Марийка подняла крышку сундука, порылась в нем. — Ось!

Бритва оказалась источенной и тупой. Шевелев попытался направить ее на своем ремне, потом, отчаявшись, долго и мучительно соскребал с лица многодневную щетину. Марийка, убегавшая на леваду за козой, вернулась с подойником, поставила его на лавку и увидела бритого Шевелева.

— Э, дядечка, — сказала она, — а вы, оказывается, ничего себе. И совсем не такой уже и старый...

— Старый, Марийка, старый. В деды, может, и нет, а в отцы тебе гожусь...

— Ну да! Тато у меня были совсем старенькие, а вы еще — ого! Ну, конечно, не парубок, но и не дед. Вы так — середка на половинку. А вот я вас как вылечу, то вы и совсем будете как казак... Ото ж я и бегала до бабки Палажки, взяла все, что нужно, сейчас запарю, почь оно постоит, а потом начну лечить, и вы у меня враз станете здоровенький...

— Что еще за бабка?

— А есть у нас такая древняя-древняя старушка. Она сама не помнит, сколько ей годов. У нас же тут ни доктора, ни фершала, вот она всех и лечит.

— Свя́ченой водой от всех болезней?

— А вы не смейтесь, дядечка Михайло! Там про все болезни я не знаю, а как у кого какая болячка, так она всем помогает. И не свяченой водой, а травами. Она по тем травам чистый академик, все знает. Вот когда тато себе сокирою по ноге ударили, там така рана была — страх глядеть, а она дала какие-то корешки, травки, все и заросло.

— Так ты ей и про меня сказала?

— Что я дурная, про вас рассказывать? Я сказала, что у тетки Насти, соседки моей, хлопчик на ржавый гвоздь напоролся, нога теперь у него распухла и гной идет... А сама Настя прийти не может, бо картошку копает. Набрехала три короба. Что она, проверять пойдет? Она така старенька, вся согнутая, со двора давно уже носа не высовывает...

Прикусив нижнюю губу, Марийка осторожно сняла самодельный бинт.

— Вот видите, уже и гной появился, — сокрушенно сказала она и, окунув тампон в буро-коричневый настой, начала промывать рану. — Ой, дядечка, — испугалась она, — тут же у вас какая-то железяка торчит...

— Осколок, наверно, — присмотревшись, сказал Шевелев.

— Так его ж вытянуть надо! Разве можно с железякой в ноге?

— Ну, не знаю... Минные осколки — подлая штука. Края рваные, потянешь — сосуд заденешь или перв. Нет, без врача нельзя. Может, сам выйдет?

Марийка наложила тампон, пропитанный примочкой, забинтовала рану.

— Вот так и будем теперь. Бабка Палажка сказала, надо утром и вечером, бог даст и заживет.

Осколок не вышел, но гноя появлялось все меньше, потом он исчез совсем, рана начала затягиваться.

— Гениальная у вас тут бабка, — сказал Шевелев. — Ее бы в другом месте на руках носили.

— А что я говорила! — обрадовалась Марийка. — Скоро вы свои палки позакидаете и еще танцевать пойдете...

— Танцор из меня, как из табурета скрипка. А вот без дела сидеть не годится. Давай мне все инструменты, какие у тебя есть.

Когда Шевелев просыпался, Марийки уже не было на печи. Еще на рассвете она убегала на огород, потом прибегала, кормила его, делала перевязку и снова убегала. От зари до зари она копала картошку. Копанием это можно было назвать только условно — она поддевала куст лопатой, чтобы разрыхлить землю, а потом, согнувшись пополам, руками выбирала клубни: крупные — для еды — в одну корзину, мелочь в другую — на семена. Целый световой день Шевелев видел в окошко ее согнутую фигурку. Она только и распрямлялась, когда несла корзины во двор, рассыпала картошку в тени, чтобы обсохла, а потом собирала ее и уносила в погреб.

Шевелева грызла совесть. Несмотря на рану, он мог бы ей помогать. С больной ногой много не накопаешь, но выбирать картошку, хотя бы сидя, вполне можно. А может, смог бы и носить корзины. Но он понимал, что соседка или ее дети тотчас бы увидели, что по Марийкиному подворью ходит чужой мужчина. Об этом немедленно узнал бы весь хутор, а дойдет до немцев — разговор короткий: пуля в лоб или концлагерь. Пуля могла настигнуть его и раньше. В конце концов тогда, на берегу Сейма, он один вытащил счастливый билет, а мог остаться лежать, как остались другие... Дело не только в нем. В случае чего, Марийку за укрывательство тоже не пощадят. У него холодело внутри, когда он думал, что могут сделать с этой доброй, веселой девчушкой, которая только вступила в свою весну, и ей еще жить и жить... Вот почему Шевелев никогда не выходил во двор, пока не наступала темнота, а каждый раз, когда Марийка убегала по своим делам или, как сейчас, копалась на огороде, она запирала входную дверь на висячий замок. Кто же заподозрит, что в запертой на замок хате прячется человек?..

— Черт знает что, — сказал он Марийке. — Ты работаешь, а я баклуши бью... Стыдно смотреть, как ты целый день стоишь согнувшись пополам. Как только спина у тебя не переломится?

— То ж обыкновенная наша бабская работа, — засмеялась Марийка. — Я с малолетства привыкла, всегда помогала, когда мамо картошку копали... А с картошкой надо управиться — кто его знает, когда заморозки ударят. И хиба вы байды бьете? Вон дверь починили, а то она уже прикрываться перестала, зимой из нее, как из прорвы, дуло... И рогачи как новенькие, не надо бояться, что чугун перекинется. А топор? Я как пойду дрова рубить, так и не знаю, по полену он ударит или по ноге... Так что вы, дядечка, не сомневайтесь. Вы как мой тато — они тоже все умели делать, что надо, по хозяйству...

Шевелев старался привести в порядок все, что удавалось, в убогом Марийкином хозяйстве. Рана затянулась совсем, во второй палке нужда отпала, но одной он все-таки пользовался — опираться на раненую ногу было больно. После уборки картошки Марийка стала свободнее, нет-нет да и убегала то к соседке, то к своим подружкам. Каждый раз она приносила новости. Это не были достоверные сведения, вычитанные в газете или услышанные по радио — ни того, ни другого не было и в помине, — источником было изустное радио, прозванное тогда ОБК — «одна баба казала».

Глаза называют зеркалом души. У Марийки таким зеркалом было все лицо. Все ее чувства, переживания, настроения, глубокие и мимолетные, тотчас с необычайной ясностью отпечатывались на лице. Каждый раз, когда Марийка возвращалась, Шевелев еще до того, как она открывала рот, знал, хорошие или дурные вести она принесла.

Вести были одна безрадостнее другой. Немцы заняли Харьков... Немцы продолжают наступление... Японцы начали воевать с Америкой... Немцы заняли Донбасс... С каждым днем фронт отодвигался на восток. И с каждым днем все мучительнее становился для Шевелева вопрос: что делать? Рана зажила, он еще прихрамывал, но уже ходил без палки. Вот так и сидеть здесь на хлебах у маленькой девчонки, прятаться за ее юбку? Идти в Киев? Двести километров. О железной дороге не мо-

жет быть речи: сцапает первый патруль. Да и что делать в Киеве? Прятаться за спины жены и детей, на них навлекать опасность? И чем жить — работать на немцев? Лучше сдохнуть... Идти к фронту и через фронт? До него уже больше двухсот километров, и с каждым днем он все дальше...

Возвращаясь из своих отлучек, Марийка еще на пороге выпаливала все принесенные новости. Но вернувшись однажды, она не сказала ни слова, избегая взгляда Шевелева, собрала ужин, но сама не ела и сидела молча, глядя в стол.

— Что случилось, Марийка? Плохие новости? Давай выкладывай, что в прятки играть? Все равно сказать придется.

Марийка выркнула на него, снова опустила взгляд и, закусив нижнюю губу, принялась старательно размазывать пальцем лужицу молока.

— Люди говорят, — сказала она, — что в селе два гада нашлись — заделались полицаями... Мало, что был староста, так теперь и полицаи есть... Так люди говорят, что те полицаи похвалялись, что если кто будет партизан прятать, так и тех партизан и хозяев в гестапо сдадут и хату спалят...

— А что, партизаны объявились? Где? — взволновался Шевелев.

— Да нема тут никаких партизан. Люди бы знали. И где им быть? У нас на хуторе? В селе чи в Тарновском лесу? Там того леса — курячьи слезы, наскрозь все видать. А партизанам же где-то прятаться надо... То полицаи людей стращают, чтобы никого не прятали, никому не помогали...

— Этого следовало ожидать, — сказал Шевелев. — Я ведь тебе с самого начала говорил: нельзя мне у тебя прятаться. Теперь из-за меня и ты можешь пострадать. Ну, я — солдат, а ты за что?

Марийка исподлобья выркнула на него и снова опустила голову.

— И то хорошо, что так получилось. Меня ведь могли сразу зацапать и шлепнуть. А ты мне ногу вылечила и вообще выходила.

— Где ж там выходила, когда вы шкандыбаете?

— Шкандыбать лучше, чем ползать. Доползти я только до твоего огорода смог, а дошкандыбать можно далеко... Я уйду, и никакой гад к тебе не придерется. Ни-

чего, если я одежку твоего таты надену? Все не так буду в глаза бросаться.

Шевелев надел засаленный ватник, который Марийка называла «куфайкой», взял облезлую смушковую шапку.

— Спасибо, милая, за все. Если выживу, никогда тебя не забуду.

Марийка, исподлобья наблюдавшая за его сборами, внезапно вскочила и, раскинув руки, заслонила собою дверь. По лицу ее вихрем пронеслись смятение, страх, отчаяние, и так же мгновенно оно застыло в непреклонной решимости.

— Не пущу! — сказала она, закусила нижнюю губу и с вызовом откинула голову.

— Что значит — не пустишь? Это не игрушки — надо уходить, пока не поздно.

Шевелев взял ее руку у запястья, чтобы отвести от двери, но она вдруг ощерилась и крикнула:

— Не чипайте, бо укушу!

Глаза ее стали бешеными, и Шевелев понял, что она действительно может укусить его за руку.

— Не дури, Марийка! Все, что ты могла, сделала. А бороться с немцами и полицаями — не девчоночье дело.

— Какая я вам девчонка? Мне через два месяца восемнадцать будет!

Шевелев невольно улыбнулся:

— Ну прямо старуха, ничего не скажешь.

Ожесточенное напряжение в лице Марийки не ослабело, от двери она не отошла и рук не опустила.

— Вот я вас слухала, дядечка, а теперь слухайте вы меня... Никуда вы не пойдете, бо я вас не пущу. Для того я вас выхаживала, чтобы вы ото пошли и пропали? Куда вам идти? Некуда вам идти! В Киев? На фронт? Да вы же всю зиму будете шкандыбать и не дошкандыбаете! Да вас первый немец как побачит, так и застрелит! А есть что? А спать где?

— Люди помогут.

— Люди разные бывают. Вот же нашлись такие, что в полицаи пошли?.. А на тех полицаев я плевать хотела! Да я их вокруг пальца обведу! Моя ж хата самая дальняя от дороги: пока они сюда дойдут, я вас сто раз успею в сене зарыть... Так что снимайте, дядечка Михайло, куфайку и шапку, бо никуда вы не пойдете.

— Ну, хорошо, пусть будет по-твоему, — сказал Ше-

велев и разделся. — Ты поешь все-таки, а то ведь ни к чему не притронулась.

— У меня всегда так, — сказала Марийка. — Я всегда ужасно переживаю. Как начну переживать, так совсем есть не могу...

— Я давно тебя спросить собираюсь. Что за манера у тебя — чуть что, сразу губу кусаешь?

— Та, — засмеялась Марийка, — отака дурна привычка. С малолетства. Маты и лаяли меня, и по губам били, а все равно так и осталась.

Марийка принялась за еду, потом вдруг искоса посмотрела на Шевелева.

— А чего это вы вдруг стали такой послушный? То пойду, пойду, то вдруг сразу нет... Ох, вы же и хитрый, дядечка Михайло! Вы подумали: как та дурна дивчина заснет у себя на печи, так я тихонечко оденусь и уйду, а она себе будет спать и спать... Так вот, дядечка Михайло, вы хитрый, а я еще хитрее. Вот и сделаю так, что никуда вы не пойдете. — Марийка сняла с вешалки «куфайку» и шапку и забросила их на печь. — Вот и все. Куда вы теперь голый пойдете?

Шевелев обозвал ее про себя чертовой девкой: именно так он и собирался поступить.

— Ну что ты придумала? А если мне выйти понадобится?

— А идите на здоровьечко. Мороза еще нема, а все одно без куфайки не засидитесь, — прыснула Марийка.

— Упряма ты, как твоя коза!

— А вы думали, меня обманете? А як же! — торжествуя, сказала Марийка.

Обычно отлучки Марийки продолжались недолго, но через несколько дней она вдруг запропастилась. Шевелев начал тревожиться и, предполагая худшее, оделся, чтобы в случае чего успеть убежать хотя бы со двора, спрятаться в канаву у левады, как тогда, в сентябре. Висячий замок на наружной двери нетрудно было вырвать из тонких колечек. Он даже начал осторожно отодвигать занавеску на окошке, из которого был виден подход ко двору и калитка. И он увидел, как встрепанная, расхристанная Марийка сломя голову бежит к хате. Шевелев встал перед входной дверью, готовый к худшему.

Марийка не вбежала, а ворвалась в кухню, припала к нему, потом схватила за руки и начала кружиться, заставляя и его, неуклюже прихрамывая, кружиться тоже.

— Ой, дядечка, ой, дядечка! — ликуя, закричала Марийка. — Теперь все! Теперь не надо бояться! И плевать на всех полицаев... И не надо вам больше ховаться, и будете вы теперь, как все люди...

— А ну, давай толком! — оборвал ее Шевелев.

От радости и желания сказать все сразу Марийка несколько минут ничего толком сказать не могла, слова сыпались из нее, как горох из лопнувшего мешка. Поуспокоившись, она рассказала, что весь хутор ходором ходит. Галька Кононенчиха, что живет у самой дороги, и соседка ее Оксана Демчук поехали в город на базар. А там прослышали, что немцы в бывших конюшнях артполка сделали лагерь для военнопленных. Сколько их там, никто не знает. Много. Сидят они, бедные, за колючей проволокой, а немцы их совсем не кормят и не лечат, а там и раненые, и больные... Ну, люди видят, как наши погибают от голода и всяких болезней, и начали носить, кидать им за проволоку кто что может — кто хлеба, кто картошки... А одна тетечка увидела там не то мужа, не то брата, побежала до начальника и в ноги: отпустите, он же и больной, и раненый... Тот и отпустил. Тогда и другие стали просить. Чего уж они там говорили, неизвестно, только немцы и еще отпускали...

— Так всех и отпустили? — недоверчиво спросил Шевелев.

— Ну, где там всех! А сколько-то отпустили. Тогда и Галька тоже решила. Она молодица смелая, ничего не боится. Чего уж она начальнику брехала, не знаю, только выпустили того, на кого она показала... Вот Галька и привезла его. Сам бы он десять раз по дороге помер — такой худющий. Одни глаза да кости. Галька говорит: ничего, откормлю. А еще Галька говорила, что из нашего села еще одна тетечка тоже выпросила себе пленного и привезла его в село. И староста про то знает, и никто им ничего не говорит и не делает. Значит, можно пленным у людей жить, если их даже из лагеря отпускают. Значит, и вам, дядечка Михайло, можно больше не прятаться... А что? Почему Гальке можно, а мне нельзя? Тому дядьке можно, а вам нет? Вот давайте набрешем, что вы мой двоюродный дядька. У мамы десь за Бахмачем жил двоюродный брат, учителем был в каком-то селе. Тут он сроду не был, бо мамо же не отсюда родом, а из Выровки. А он как поехал учиться, так потом и дома не бывал. А когда началась война...

— Нет, Марийка, лучше не брехать — в брехне лег-

ко запутаться. Давай уж как было на самом деле: я приполз раненый, ты помогла, выходила меня, вот и все. Ты только не спеши рассказывать про меня — посмотрим, как с теми будет...

С теми обошлось — ни бывших пленных, ни приютивших их хозяек никто не преследовал, и Шевелев перестал прятаться. Оказалось, соседи давно уже знали, что Марийка прячет раненого, только молчали об этом. А теперь произошли «смотрины». Под пустяковым предлогом пришла соседка, похвалила Шевелева за то, что он помогает бедной дивчине, которая осталась одна и никакой мужской работы делать не умеет, спросила, откуда он и не встречал ли ее мужа, всплакнула о нем, потому что даже неизвестно, живой ли он, а если живой, может, вот так же где-то попал в плен и тоже бедует... С лишними вопросами она в душу не лезла и скоро ушла. Без всяких предлогов прибегали Марийкины подружки. Они вежливо здоровались, но в разговор не вступали, шушукались с Марийкой, а на него только зыркали с жадным любопытством.

— Ну, как на хуторе отнеслись к тому, что ты меня прятала? — спросил Шевелев.

— А хорошо отнеслись, — ответила Марийка. — Говорят, правильно сделала, не дала пропасть человеку. Все люди хвалят, — не без гордости добавила она. — Вот только Кононенчиха-та...

— А что Кононенчиха?

— А плетет, бесстыжие ее очи... «Надо было, говорит, как я. Вон какого казака выбрала — и молодой, и здоровый. Откормлю, будет як коняка. А ты какого-то старика подобрала, да еще и хромого...» Дура она, хоть и двое детей уже имеет...

— Так ведь правильно, Марийка, — улыбнулся Шевелев. — Так оно и есть — и хромой, и старый, толку от меня мало.

— Тю на вас, дядечка Михайло! Да шо я, выгоды какой искала? Я думала, как помочь, когда вы были такой бедный, шо и ходить не могли... И то брехня — не такой уж вы и старый!

Теперь, уже не таясь, Шевелев стал, насколько умел, приводить в порядок Марийкино хозяйство, а узнав, что у соседки дверь коровника плохо закрывается, а корове скоро телиться и Настя боится, что теленок замерзнет, пошел туда и, провозившись почти целый день, подогнал перекошенную, провисшую дверь. В благодарность Насте протянула ему кусок сала, завернутый в тряпочку.

— Извиняйте, больше у меня ничего нет.

— Я не ради этого приходил, — сказал Шевелев. — Я солдат, а вы жена солдата. У вас вон двое пацанов, как у меня. Что же я, у детей кусок отнимать буду?

Вместо ответа Настя расплакалась.

Повалили снега, у Шевелева прибавилось забот — разгребать сугробы, прокладывать дорожки. Он был бы рад работать тяжелее и дольше, но вся работа кончалась засветло, дни же становились все короче, а вечера длиннее и мучительнее. Мучительнее всего была неизвестность.

Вот только здесь и теперь Шевелев понял, как много значило то, чему прежде он не придавал значения, о чем даже не задумывался. Никогда он не усаживался с намерением слушать радио, слушал его только на ходу, между делом, не читал газеты от доски до доски, не собирал, не выспрашивал никаких новостей, но изо дня в день, с утра до ночи они наплывали на него со всех сторон. Он знал, что происходит в мире, в стране, в городе, в институте, в кругу его близких и друзей. Не отдавая себе в том отчета, он не только знал, но и был как бы всему сопричастен. Пусть практически сопричастность эта не выходила за пределы узкого круга сослуживцев, друзей и знакомых — она была несомненной и необходимой, создавала полноту жизни, без которой существование было немыслимо.

И вот теперь он вел это немыслимое существование. В глухом, занесенном снегом хуторе оборвались все прежние связи с жизнью. Он оказался оторванным от всего и от всех, словно оглох и ослеп. Мир потрясала самая ужасающая война из всех, что когда-либо происходили. А он ничего не знал о ней. В страну хлынули полчища беспощадных врагов, они взрывали, жгли, уничтожали и рвались все дальше на восток, в глубину России. Он не сомневался, что война не на жизнь, а на смерть продолжается, рано или поздно эти полчища остановят и погонят обратно. А он ничего не знал об этом. Остались одни, без его помощи, Варя и дети. Где они, живы ли, а если живы, то как и чем они живут, какие беды и страдания выпали на их долю? А он ничего не знал об этом, и узнать не было никакой возможности и надежды. И, наконец, он не знал, как жить и что делать ему самому. Он не прятался от войны, не бежал

с поля боя. Уцелел он чудом, но уцелел, война лишь покалечила его и отбросила в эту призрачную жизнь, которая не жизнь, а выматывающее душу ожидание... Чего? Этого он тоже не знал.

Марийку не терзали мучения, которые испытывал Шевелев. Конечно, война сказалась и здесь, на хуторе. Скучно было без радиоточки, которая раньше непрерывно жундела, что-то бормотала или наигрывала, в селе не стало ни сельпо, ни клуба, некуда было сбегать раз в неделю в кино, негде было купить керосин или что еще. Но грохочущая машина смерти, которая называется войной, пронеслась мимо, в хуторе и в селе все хаты остались целы. Мужчины и парни ушли в армию, остались старики, бабы да малыши, но жизнь надо было продолжать, а чтобы продолжать ее, нужно было работать. И все в меру сил, а то и через силу работали. Работала и Марийка. Похоронив мать и оплакав потерю, Марийка с тревогой думала, как одна-одинешенька она будет зимовать в своей хате на отшибе, но потом появился этот раненый дядечка Михайло. И она принялась за ним ухаживать, как ухаживала за татой, а потом за больной матерью. Или как медсестра на фронте. Ну, не совсем как медсестра, потому что у нее был всего один раненый боец, но все-таки она его выходила, вылечила, как будто была медсестрой и тоже участвовала в войне. И потихоньку, про себя, Марийка этим гордилась. А кроме того, получилось так, что теперь бояться ей нечего: зимой она будет не одна, перепугавший ее своим страхолюдством дядечка оказался обыкновенным и даже симпатичным, вот только не очень разговорчивым — все время молчал и о чем-то думал. Сама Марийка молчать не умела и говорила за двоих. Никакой другой жизни она не видела и не знала — даже еще ни разу не была в райцентре — и потому не могла о ней тосковать, жизнь в глухом, заброшенном хуторе не тяготила ее, и, если не война, жизнь эта была бы совсем безоблачна. Никто не мог сказать, что будет потом, даже завтра, но пока все было тихо и спокойно, ничто не угрожало ни самой Марийке, ни ее дядечке. Так зачем сушить себе голову над тем, что все равно не угадаешь и не узнаешь? Надо просто работать и жить. Как ни бедно было Марийкино хозяйство, оно все-таки требовало целодневного труда. Он был ей привычен и потому не тягостен. А иногда даже приятен. Молчаливый дядечка Михайло нет-нет да и хвалил ее за расторопность и уменье. От его

скупых похвал Марийка расцветала и старалась еще больше.

Покончив с делами, они ужинали при каганце, обсуждали новости, если они были, и что надо сделать завтра, потом Шевелев шел в комнату и ложился. Марийка прибирала на кухне, потом стелила себе на печи, раздевалась, но не ложилась сразу, а в одной рубашке становилась перед иконами на колени и шепотом молилась. Подслеповатая лампада освещала лики Спаса, Богородицы и склоненную фигурку Марийки. Извне не доходило ни звука, а в хате стояла такая тишина, что Шевелев довольно отчетливо слышал шепот Марийки. Должно быть, она не знала до конца ни одной молитвы, когда какую нужно употреблять, и из вечера в вечер повторяла затверженную вязь молитвенных отрывков, а под конец просила бога сделать то-то и то-то, напоминала ему о своих прежних просьбах, которые еще не были исполнены, потом, шлепая босыми пятками по доливке, бежала к печке и взбиралась на нее. Но время все-таки было раннее, спать ей не хотелось. Она ложилась на живот поперек печки, подпирала подбородок кулаками и пыталась разговорить Шевелева:

— Что вы, дядечка Михайло, все молчите и молчите? Хоть бы поговорили со мной. А то будто вы сердитесь.

— За что мне сердиться? Просто я всегда не очень разговорчивый.

— Вот и тато у меня такие были. Мамо, бывало, над ним говорят-говорят, говорят-говорят, а они все молчат. А потом мамо аж сердились: «Степан, — говорит, — да ты меня слухаешь чи ни?» — «А как же, — говорят тато, — тебя слухать, если у тебя слова впереди тебя бегут, так шо ты их и сама не слышишь?..» От, наверно, и я так. А?

— Похоже, — сказал Шевелев.

— Так вы взяли бы да рассказали чего-нибудь. Шо я? Дурна сельская дивчина. А вы в Киеве жили и с высшим образованием. Сколько всего видели, знаете, Вы, мабуть, и в Москве были, и в Ленинграде...

— Был.

— Вот и рассказали бы, какие они.

Шевелев начал рассказывать о Ленинграде, а так как очень любил этот город, то даже увлекся, описывая его дворцы, соборы, каналы и мосты... И вдруг он явственно услышал зевок.

— Что, Марийка, неинтересно тебе?

— Нет, дядечка Михайло, очень интересно! Только... ну что ж те мосты, если я их не видела и, может, никогда не увижу? А вы расскажите что-нибудь про любовь...

— Ну нет, — сказал Шевелев, — про любовь пусть тебе молодые рассказывают.

— А они ничего говорить про то не умеют. Только и знают, что мовчки лапаться... А оно мне нужно, чтобы меня лапали? Я — по рукам, по зубам и бегом до дому... Да и где они, те молодые? Все на войну ушли. Может, всех уже и поубивало.

— Так уж и всех! Кто-то вернется... А потом подрастут другие.

— Для них я буду уже старая... Вы не думайте, я не как-нибудь там... Я просто хочу понять. Вот говорят, говорят и в книжках пишут — любовь, любовь... А шо оно такое — любовь?

Шевелев помолчал.

— Не знаю, Марийка. Вряд ли я смогу объяснить. Да, наверно, и нельзя это объяснить — у каждого по-своему. Мне кажется, любовь — это когда один без другого не может жить. И главное — это когда хотят и делают все, чтобы сделать жизнь любимому человеку легче и радостнее.

— Ото и вы так свою жинку любите?

— Да. Старался, чтобы так было.

— Счастливая она! — вздохнула Марийка.

Она давно уже выспросила у Шевелева, где он жил и чем занимался, женат ли и есть ли дети, сколько кому лет и как они живут, какая у них квартира и зарплата и что можно на ту зарплату купить. Все эти вопросы были проявлением простого любопытства к жизни человека, с которым случайно свела ее судьба. Сейчас она пыталась выяснить то, что, по-видимому, на самом деле волновало ее и спрашивать о чем больше ей было не у кого.

— А расскажите мне про свою жинку. Какая она?

— Разве это можно рассказать!

— А конечно же, можно! Очень она красивая?

— Да нет, пожалуй, нет. Разве дело в этом! У Вари была очень красивая подруга, но полюбил-то я не ее, а Варю.

— А за что?

— Да пойми ты, любят не за что-то или почему-то... Любят, и все.

— То вы просто не хочете сказать. Как это так — встретил дивчину, сразу ее полюбил, а за что, неизвестно... Так не бывает! С чего-то ведь началось...

— Не знаю, с чего началось. Может быть, с того, что она показалась мне такой маленькой, такой хрупкой и нежной, что ее чуть ли не ветер может переломить...

— И вы ее пожалели? — подсказала Марийка.

— Вовсе не нужно было ее жалеть! Она была такая живая, веселая и подвижная, как ртуть. Моторная, как ты говоришь про себя.

— Правда? — обрадовалась Марийка.

— Только, наверно, эта живость делала ее хрупкость и ранимость еще очевиднее. И мне все время хотелось быть с нею рядом, чтобы оградить, охранить ее от всего, что могло ранить ее... Да ну тебя, хватит об этом. Спи давай!

Вопросы Марийки разбередили давно ноющую рану. Все так и было, как он сказал. Так с Варей все началось, так продолжалось все последующие годы до черного июньского дня, когда на окраину Киева упали первые бомбы, а через два часа после объявления по радио он ушел в военкомат... Но до этого так ли бережно хранил он Варю от тягот и всякой скверны жизни? Любовь оказалась незамутненной, но не приглушал ли ее чистый голос бытовой шум? И не стало ли многое, что прежде каждый раз было радостным открытием, отдавать привычкой?..

Хуторская жизнь шла заведенным чередом. Вопросов о любви Марийка больше не задавала, только иногда Шевелев ловил на себе ее необычно внимательный взгляд, словно она пыталась что-то в нем разгадать или понять, открыть то, что скрывалось за привычной хмуростью.

— Ты что? — спрашивал он.

— Та, дурныци... — смеясь, отмахивалась Марийка.

Однажды Шевелев, который уже лежал в постели, заметил, что Марийка слишком долго молится — раза три повторила свою вязанку из молитвенных отрывков.

— Ты что так усердствуешь? — спросил он. — Праздник, что ли, какой?

— Может, и праздник, — сказала Марийка. — Не мешайте, дядечка...

Она еще раз повторила свою путаную молитву, но, вместо того чтобы пробежать к печке, подошла к кровати, нерешительно переступила с ноги на ногу, потом поспешно перекрестилась, перекрестила его и юркнула к нему под одеяло. Ее била дрожь, как в жестоком приступе лихорадки.

— Ты что это выдумала?

— От шо надо, то и выдумала. Подождите, дядечка, я сейчас перестану труситься и все скажу...

— Иди на печь, там согреешься и перестанешь трястись.

— Не пойду! — сказала Марийка. — От хоч убейте, не пойду!.. Как же вам не совестно, дядечка Михайло, вы такой разумный, такой образованный, отак хорошо про любовь рассказываете, а сами про нее ничего не понимаете... Как же вы не видите, шо я вас люблю?

— Ты что, сдурела? Какая любовь?! Да я тебе в отцы гожусь! Соплюха! От горшка два вершка, а туда же — любовь... А ну, марш на печь без всяких разговоров...

Он нарочно грубил, чтобы обида отрезвила Марийку, даже пытался вытолкнуть ее из постели, но Марийка обхватила руками его за шею и изо всех сил прижималась к нему.

— Не пойду! От хоч лайте, хоч побейте, все равно не пойду... Дядечка Михасю, ну что я могу сделать, если так дуже вас полюбила? И какая я соплюха, если я совершеннолетняя?.. И что из того, что вы старше? Разве любят по метрике?.. Я сначала сама не понимала, я только недавно поняла, как вас люблю. Так что, я должна брехать и притворяться? Вы сами всегда говорили, что брехать не годится. И разве это стыдно — любить? Я же ж вас люблю, любимый мой дядечка Михасю... Так люблю, что и сказать неможно...

Давясь словами, Марийка горячо шептала ему в самое ухо и дрожащим телом все прижималась и прижималась к нему. Шевелев не был ни святым, ни железным. Голод истосковавшегося мужского тела оказался сильнее доводов разума и совести.

Он проснулся перед рассветом, Марийка не спала и, стараясь не разбудить его, тихонько всхлипывала.

— Ну вот, — сказал Шевелев, — добилась своего, а теперь ревешь.

— Ах, дядечка Михасю, да разве я о том плачу?..

И с перепугу плачу. Я за счастье свое испугалась. Ото только теперь поняла, какую беду едва сама не наделала... Какая же я была дурацкая дура, что тогда рассказала про полицаев, что будут они искать всех чужих, и вы собрались уходить... Ну, тогда я вас не пустила, так вы же потом все равно могли уйти! Ушли бы как-нибудь потихоньку. И пропали... И получилось бы, что я сама и вас, и счастье свое погубила, из дома выгнала...

Марийка уткнулась лицом ему в плечо и заплакала в голос. Шевелев, как маленькую, поглаживал ее по голове и успокаивал. Постепенно Марийка затихла, потом сказала:

— Ну ладно, хватит плакать по тому, чего не было. Пора за хозяйство приниматься.

Шевелев не сожалел о том, чего не было. Достаточно того, что случилось на самом деле. Теперь, когда схлынула волна возбуждения, ему было мучительно стыдно. Ну, она девчонка, несмышленыш, что с нее взять. А он-то хорош, старый козел! Пробудившуюся в ней жажду любви она приняла за любовь, а он, как последний подлец, воспользовался... Она спасла ему жизнь, а он отблагодарил тем, что искалечил ее жизнь.

Шевелев вышел в кухню, сел за стол. Марийка хлопотала у печки. К досаде на себя начало примешиваться и раздражение против нее. Она-то как на это решилась? Действительно, не такая уж маленькая, в ее возрасте замуж идут, а то уже и рожают. Стало быть, она не может не понимать, какие последствия влечет за собой происшедшее. Так кто же она — недоразвитая, блаженная дурочка? Или, может, маленькая хитрая бестия, которая готова добиваться своего любой ценой?.. Этой мысли ему стало стыдно. В конце концов, какой бы она ни была, меньше всего оправданий он находил для себя. Их просто не было, этих оправданий...

— Ой, дядечка Михасю, — сказала Марийка. — Чего это вы такой сердитый?

— Нечему радоваться, Марийка. Давай поговорим всерьез. Что случилось, то случилось, назад не воротишь. А что будет дальше?

— А шо должно быть дальше? Так и будет.

— Пока, допустим. А потом? Ну, война не кончилась, кто жив останется, неизвестно. А когда кончится и если мы будем живы? Я ведь Варю и ребят не оставлю. Никогда!

Прикусив нижнюю губу, Марийка некоторое время

молча смотрела на него, а когда заговорила, это был уже не обычный девчоночий щебет, а речь женщины, которая умом или сердцем видит дальше и понимает глубже.

— Ах, бедненький вы мой дядечка!.. Так вы, значит, испугались, что когда война кончится, так я кинусь вас разыскивать и начну доказывать свои права? Плохо вы обо мне думаете, дядечка Михасю! Не бойтесь, не стану ни разыскивать, ни права требовать. Бо никаких прав у меня нема. И не такая я подлая, чтобы отбивать мужа у жены, а детей оставлять без батька. Ничего мне от вас не нужно, и никаких прав не нужно. У меня только одно право — любить вас, а его отнять никто не может. Вот и все! — заключила Марийка и уже своим обычным голосом сказала: — Давайте завтракать, дядечка Михасю, бо картошка остынет...

— Какой уж я теперь дядечка? — сказал пристыженный Шевелев. — Называй по имени, без всяких дядечек...

Называть Шевелева дядечкой Марийка перестала, но говорить ему «ты» привыкла не скоро.

Только через два года лавина огня, рвущейся стали и смерти прокатилась в обратном направлении. И снова она миновала стоящий на отшибе хуторок. Но как только в селе вместо бежавшего с немцами старосты появился уполномоченный из райцентра и объявил об обязательной явке всех мужчин призывного возраста, Шевелев, не ожидая назначенного дня, ушел. До райцентра было около тридцати километров, на транспорт рассчитывать не приходилось, и он не знал, как скажется переход на раненой ноге, в которой так и остался кусок рваного железа. Марийка показала ему тропу, которая, минуя хутор, выводила на дорогу к селу, откуда к райцентру шел проложенный до войны грейдер. Провожать себя он не позволил, опасаясь за нее — она была на сносях.

Весть о беременности Марийки ударила его, как обухом. Возрастная разница между ними была слишком очевидна, и только злые языки могли судачить о возможной их связи, доказать ее было нечем. И вот теперь доказательство появилось, оно будет расти со дня на день, и на хуторе, где жизнь каждого у всех на виду, ничего скрыть не удастся. Его, конечно, осудят. Но мужчин в таких случаях судят не так уж строго, к тому же он

солдат, все понимали, что придет время и он неизбежно уйдет отсюда. Вся тяжесть осуждения и даже злоба отчуждения обрушатся на молоденькую девчушку, которая стала полюбовницей чужого, старого человека и прижила с ним ребенка. В таких случаях сельское общественное мнение беспощадно. И тут Марийка снова удивила его. Она не только не испугалась, не встревожилась, а обрадовалась случившемуся и легкомысленно, как ему казалось, отмахивалась, когда Шевелев говорил о будущем и о том, как трудно ей придется. Оказалось, что это не легкомыслие, а твердая, обдуманная позиция.

— Плевать я хотела на бабские пересуды, пускай брешут, шо хочут. Дытына — то ж счастье, когда она от любви. И то ж твоя дытына, Михасю. Вот ты уедешь, а она останется. Значит, и ты всегда будешь со мной.

При расставании Марийка не рыдала, не причитала. Она исцеловала ему все лицо, а потом, кусая нижнюю губу, только смотрела и смотрела на него. Слезы текли у нее по щекам, они мешали смотреть, она нетерпеливо смахивала их ладонями и снова смотрела, смотрела, пока он не скрылся из виду...

Без малого еще два года Шевелев воевал, трижды попадал в госпиталь и снова возвращался в строй. Чего только за это время не наслушался и не насмотрелся. И сколько раз довелось ему слышать то бесшабашный, а то и просто бесстыжий припев всякого рода негодяйству — «война все спишет»! Шевелев не вступал в споры, но знал — с совести ничего не может списать даже война.

Увидев Варю, Шевелев почувствовал почти физическую боль. Его руки сошлись за ее спиной, будто он обнял что-то почти несуществующее и невесомое, настолько она была худа. У нее было изможденное лицо девочки-старушки со скорбными складками у губ. Она и весила, как подросток, — всего сорок четыре килограмма. Шевелев чувствовал не только боль, но и жгучий стыд. Он не был в том виноват, но виноват не виноват, а все равно, когда Варя с детьми первых два года самой тяжкой разрухи, неустройства и нищеты голодала и работала на износ, он был сыт, одет и, в сущности, бездельничал: не мог же он считать тяжелой работой возню в убогом Марийкином хозяйстве. А потом? Да, во время боя каждую секунду его могли убить, но он всегда был сыт и одет. Случалось всякое, бывало и очень тяжко,

но ведь он был здоровым мужчиной в расцвете сил, а она, и прежде хрупкая, тщедушная женщина, работала сверх всяких норм, голодала изо дня в день, отрывая от скудного пайка лишний кусок для детей, и уже почти стала дистрофиком. Не раз после войны доводилось ему слышать, как хваставшие своими воинскими доблестями трепачи с презрением говорили о тех, кто «воевал в Ташкенте». Дураку и подлецу ничего доказать нельзя, а послать его в Ташкент военного времени на голодный паек, бездомную жизнь и непосильную работу, чтобы на своей шкуре узнал радости ташкентского рая, было уже невозможно...

Сережа и Борька быстро вошли в норму, но Варя медленно и с трудом возвращалась к своему прежнему облику и состоянию. Шевелев соглашался на любые сверхурочные, не чурался никакой работы на стороне, лишь бы прибавить несколько десятков рублей к своим семистам. Пройдя специальную комиссию при поликлинике, он, как язвенник, получил УДП — «усиленный дополнительный паек». Злые языки тут же расшифровали эту аббревиатуру по-своему — «умрешь днем позже». Для злословия были основания, так как весь «усиленный дополнительный» состоял в том, что в диетической столовой раз в день выдавали крохотный ошметок омлета из яичного порошка или котлетку из манной каши, политую буроватым киселем совершенно неопределимого вкуса. Шевелев приносил УДП домой и надеялся, что съедать его будет Варя, но его тотчас заглатывал Борька.

Потом появился Устюгов. Он вернулся в Киев еще в апреле сорок четвертого, начал работать в газете и регулярно наведывался по шевелевскому адресу, который разыскал с неимоверным трудом, так как никакого адресного бюро и справочных еще не существовало. До войны они друг друга не знали, в июле оказались в одной части, узнав, что земляки, держались вместе. Вместе они были всего два месяца, но иной фронтовой день оказывался весомее многолетней дружбы в обычной жизни. Истекающего кровью, почти бездыханного Устюгова Шевелев дотащил до медсанбата. Клещи окружения еще не замкнулись, и после перевязки и помощи на скорую руку тяжелораненого Устюгова отправили в глубокий тыл. Немецкая мина так нафаршировала его железом, что ему пришлось перенести несколько операций, к дальнейшей службе он оказался негоден, был демобилизо-

ван и осел в Уфе, откуда с одной из первых партий возвращенцев выехал в Киев. Шевелев ни о чем не просил его, но Устюгов сам все увидел и понял и каждый раз, возвращаясь из командировки, в которые часто отлучался, приходил с тяжелым пузатым портфелем. В нем оказывалась то картошка, то капуста, а то даже творог и сметана. Сначала это было принято как большое одолжение, потом Варя восстала:

— Так нельзя, Матвей Григорьевич! Где вы все берете? Это же должно стоить кучу денег!

— Вы ошибаетесь, Варенька! Это скромные дары поклонников моего пера, а также авансы жаждущих славы деятелей. Мир мельчает, я тоже. Раньше взятки брали борзыми щенками, я пал до творога и капусты...

— Ты это всерьез?

— Ох, Михайла, Михайла... Я еще в сорок первом заметил, что с чувством юмора у тебя не шибко... Не беспокойся. Отец Василий среди прочих внушил мне заповедь «не укради». Это произошло еще в детстве, когда я учился в гимназии, которую не закончил, поелику гимназии были ликвидированы. Ты можешь спать спокойно: я не украл. Взяточничество есть лишь разновидность кражи. Стало быть, отпадает и оно. К тому же, если уж брать взятки, я бы запросил больше. Надеюсь, что я стою дороже, чем портфель или даже мешок картошки... Я просто поступаю сообразно пословице: «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз». За морем, то есть в глубинке, где нет никакого транспорта — а его пока нет, — местным жителям некому продавать продукты своего труда, и они рады случаю отдать их по дешевке. Вот если бы они затратили рубль на перевоз, то на Владимирском или Бессарабке они за то же самое сняли бы с тебя штаны. Я за перевоз ничего не плачу, поскольку мою поездку оплачивает редакция и даже платит мне суточные, только, конечно, не за приобретение картошки, а за очередное сочинение на жгучую тему современности. Вот и все.

— За подмогу спасибо, конечно, Матвей, — сказал Шевелев, выйдя его провожать. — Но ведь, много или мало, ты тратишь свои деньги...

— Слушай, спаситель! — резко обернулся к нему Устюгов. Всегда усмешливое лицо его стало жестким. — Если ты будешь разводить эту муть, я дам тебе в ухо. У него жена похожа на тень, а он корчит из себя гордого испанца... Меня блевать тянет от такого благород-

ства. Прибереги свою гордость для действительной надобности и не сори жалкими словами. Я закоренелый холостяк, а счет в банке открывать не собираюсь. И может быть, ты когда-нибудь что-нибудь слыхал о таком явлении, как дружба? Так вот, оно состоит не только в том, что друг у друга отнимают время болтовней...

Постепенно устрашающая худоба исчезла, лицо Вари перестало напоминать личико девочки-старушки, еле заметными стали скорбные складки в углах губ. Но пережитое оставило не только внешние следы — у Вари обнаружилась сердечная недостаточность.

Между ними никогда не стояла ложь. Им просто нечего и незачем было что-то утаивать друг от друга. И вот теперь появилась непреодолимая стена лжи... Еще там, на хуторе. Шевелев твердо решил рассказать Варе все. Там и тогда не было выбора, и все случилось, как случилось. Теперь выбор — лгать или сказать правду — зависел только от него. Варя все поймет. Ну, а если нет... Что ж, поделом вору и мука. Во всяком случае, он будет честен...

Увидев Варю в Ташкенте, он понял, что сделать этого нельзя. Все, что обрушилось на Варю, довело ее до крайнего предела сил и выносливости. Рассказав о своих хуторских амурах, он попросту убил бы жену. Надо было думать о ней, а не о своих мучениях, спасать ее, а не чистоту своей совести, которой уже все равно чистой не быть. Вот так и оказалось, что и сейчас у него не было выбора, он не мог быть честен, не мог сказать правду, а должен все утаить и лгать. Во всяком случае, пока... Оказалось, и потом тоже. Куда как благородно — заботливо выходить человека с больным сердцем, чтобы потом со своим деревенским романом влезть в это сердце и окончательно надорвать его...

Ну а если не притворяться и не врать хотя бы самому себе? Была и третья причина, заставлявшая его молчать. И может быть, она самая главная?.. А он уже начал врать. Что как не постыдное вранье — уничижительные словечки: «хуторские амуры», «деревенский роман»? Ведь на самом-то деле, где бы он ни был, он непрестанно со стыдом и мукой вспоминал и вспоминает Марийку, какой оставил ее, — скорбно закусившую нижнюю губу и залитое слезами лицо...

Только уходя и уйдя совсем, он понял, как близка и дорога стала ему эта девчушка. Так что же — он разлюбил Варю и полюбил Марийку? Нет и нет! Он тогда сра-

ну сказал Марийке, что любит свою жену и никогда не оставит ее. Так было, так есть, так будет до последнего дыхания. Он и сейчас любит Варю не меньше, чем прежде. Когда схлынули беспамятная влюбленность и первые страсти, он открыл для себя душу Вари и полюбил ее еще больше. Тогда что же было с Марийкой? Случайное прелюбодейство, а потом привычный блуд? Или — долг платежом красен? Ты меня спасла, я тебя осчастливил?.. Шевелева начинало трясти от бешенства, когда он так думал о происшедшем. Нет и нет! Тысячу раз нет! Среди его знакомых были ходоки по дамской части — заводили любовные связи, а то и вторую семью. Обманутые жены или не знали об обмане, или знали и мирились — «чтобы сохранить семью». Шевелев брезгливо относился к таким историям. Это был просто блуд. А что же у него? А у него был какой-то кошмар, из которого невозможно выбраться, как из трясины...

От этого неотступного кошмара у Шевелева все чаще начинало разламывать затылок, и однажды на работе, когда он нагнулся за упущенной резинкой, голова у него закружилась, и он упал. «Скорая помощь» установила гипертонический криз. После укола Шевелев пришел в себя, его отвезли домой. Несколько дней он лежал, послушно подставляя надлежащие места медсестре для уколов. Перепуганная Варя успокоилась, а он за время болезни пришел к твердому решению.

Шевелев не был трусом ни в мирной жизни, ни на фронте. Теперь он чувствовал себя трусом. Он оставил беременную Марийку, одинокую как перст. Рядом с ней нет никого, кто поддержал бы ее, оградил от злословия, кто, наконец, помог бы просто физически, — она сама должна была вести хозяйство, растить ребенка. А он как ни в чем не бывало вернулся в Киев к семье, привычной работе и на досуге разводил самоедскую канитель: ах, как быть, ах, что делать?.. Прошло два с лишним года, а он даже не знает, жива ли Марийка, жив ли ребенок — е г о ребенок... Так чем он лучше двуногих козлов в брюках, которые, жирно похохатывая, хвастали своими похождениями, уверенные, что война все спишет?

Весной сорок шестого Шевелев пошел к директору института и попросил дать ему командировку в Харьков.

— Зачем? — удивился тот. — У нас нет совместных проектов.

— По личному делу. Мне нужно только командировочное удостоверение без оплаты и отпуск.

— В такое горячее время?

— Леонид Васильевич, для прогула никогда не будет прохладного времени. Видите, я называю вещи своими именами. Не беспокойтесь, я отработаю прогул, никому мою работу выполнять не придется. А поехать мне необходимо. Безотлагательно. И так слишком долго откладывал. Я должен разыскать людей, которые во время войны спасли мне жизнь... Вы сами фронтовик и должны понимать...

— Да я понимаю, — вздохнул директор. — Ну, хорошо. Только ненадолго. Пять дней вам хватит?

...Попутная довезла только до Выровки, дальше пришлось идти по все еще не отремонтированному, раздолбанному грейдеру. Он не столько узнал, сколько угадал поворот на тропу, сокращающую путь. Вот появилась бурая соломенная крыша Марийкиной хаты, вот калитка, которая болталась на одной петле, а он привел ее в порядок, и ничего, исправна до сих пор... Посреди двора стояла какая-то тетка и ругательски ругала мальчика лет шести-семи. Увидев постороннего, тетка замолчала и настороженно уставилась на него. Сердце у Шевелева оборвалось.

— Извините, — хрипло сказал он. — А где Марийка Стрельцова? Это ведь ее хата?

— Была ее, — сказала тетка. — А теперь наша. Она продала, а мы купили.

— А где Марийка?

— Не знаю. То до нас не касается.

— А вы давно здесь живете?

— Неделю. У нас все сделано по закону и в сельсовете записано, — сказала тетка, вызывающе поджав губы.

Черт ее знает, за кого она приняла его, чего опасалась, но Шевелев понял, что от нее ничего не добиться, и отошел от калитки. На соседнем участке он увидел согнувшуюся над грядкой Настю и зашагал туда.

— Здравствуйте, Настенька!

— А здравствуйте, — сказала Настя и выжидательно замолчала.

— Как там дверь у коровника, отвалилась или еще держится?

— Ой, — всплеснула руками Настя, — то вы, Михайло Иванович? Никак вас не узнать... Слава богу! Вернулись, значит, живой и здоровый?..

— Здоровый не очень, а живой.

— И то слава богу... А мой вот так и не вернулся...

Слезы появились у нее на глазах, и она стала вытирать их кончиком платка. Шевелев минутку переждал.

— Куда девалась Марийка?

— А боже ж мой! Выходит, вы ничего не знаете?.. Так что ж мы стоим? Идемте скорее, может, она еще не уехала, я ж ее только вчера видела...

Они торопливо зашагали к началу хутора, где проходила дорога в село, и Настя сбивчиво рассказала о житье-бытье Марийки.

— Трудно ей, бедолаге, одной приходилось. Она, правда, никогда не жаловалась, так ведь все равно видно... Шутка сказать, одна с малым ребенком... Ну, все, слава богу, обошлось. Вот только очень убивалась, что от вас нет никакого известия... А потом вдруг загорелось ей хату продавать и ехать. Завербовалась куда-то, чтобы там жить и работать... Сколько ее отговаривали: как это так, бросить родную хату, ехать бог знает куда, да еще с малым ребеночком! А она мала́я, мала́я, а как упрется — хоть ты ее стреляй... Ну, продала хату, а новые хозяева — видно, и правда плохие люди — освобождай, и все... Вот она и перебралась до Демчучки — то кума Марийкиной матери. Та приютила, пока транспорт какой будет. Вот уже недели две ждет, а транспорта все нет и нет. Какой теперь транспорт, где его взять?

— Михасю!

Не успей Шевелев обернуться на этот вопль, Марийка сбила бы его с ног — с такой силой налетела она на него откуда-то сбоку. Запрокинув голову и прикусив губу, она жадно вглядывалась в его лицо, словно еще не до конца поверила своим глазам, потом уткнулась в грудь ему головой и расплакалась. Шевелев, как маленькую, гладил ее по голове.

— Ну, что ты такая мокроглазая? Расставались — плакала, встретились — снова плачешь...

— Так то ж от счастья. Михасю, родненький... Я ведь уже не ждала и не надеялась, а ты вдруг приехал, — шмыгая носом, объясняла Марийка.

Настя, растроганно кивая, смотрела на них, потом тихонько, чтобы они не заметили, отступила и пошла домой.

— Я сейчас, — всхлипывая, говорила Марийка. — Я сейчас перестану... Вот уже перестала. — Согнутым локтем она смахнула слезы и подняла улыбающееся ли-

цо. — А какой ты стал красивый, Михасю! Еще красивше, чем раньше...

— Тоже нашла красавца, — усмехнулся Шевелев.

— А конечно! Ты для меня самый красивый из всех. Ой, что ж мы стоим? Идем, я тебе донечку нашу покажу.

В кухне возле печи хлопотала старая женщина.

— Вот, тетя Устя, я говорила, шо мой Михась обязательно приедет, вот он и приехал...

Устя вытерла подолом руку и, сложив ее дощечкой, подала Шевелеву.

В комнате с тряпичной куклой в руках стояла вторая Марийка, не достающая головой до столешницы. Увидя чужого, она спрятала куклу за спину.

— Донечка, ты посмотри, кто до нас приехал! То ж тато наш приехал! Ну, скажи ему — та-то...

Прикусив нижнюю губу, девочка молча рассматривала Шевелева, потом опустила куклу на пол, подняла к нему руки и сказала:

— Тато, на...

— Ах ты, пуговица, — дрогнувшим голосом сказал Шевелев и подхватил ее на руки. — Ну, ты ее тоже будешь по губам бить, чтобы не прикусывала?

— Да што уж там, — засмеялась Марийка, — як сама маты така. А оно ж як обезьянка — шо маты, то и себе...

Девочка тут же начала игру: наклонившись вперед, заглянула Шевелеву в глаза и спряталась, откинувшись назад, снова заглянула и снова спряталась. Потом ее заинтересовало ухо Шевелева, и она принялась тщательно его исследовать.

— Как ее зовут?

— Люба. Я так подумала: раз промежду нас случилась любовь, то и дочку надо назвать Любовью. Правда, хорошо?

— Очень хорошо! Ну как, Любочка, ухо проверила, все там на месте? Тогда давай проверим еще одну штуку...

Он расстегнул портфель, достал кулек с конфетами и протянул ей. Люба взбрыкнула, требуя свободы, и отошла с конфетой к окну.

— Только, Михасю, ты сердись не сердись, а я рассудила так: мы уж как есть, а ей расти, жить среди людей. Почему она должна жить безбатченкой? И я, когда регистрировала, записала, что она — Любовь Михайловна Шевелева... Ничего, что я так сделала?

— Так и надо было! Очень правильно сделала!

— А маты божа!

Люба повернулась к ним. Не только губы и пальцы, но и щеки, нос и подбородок — все было перепачкано коричневой шоколадной мазью. Марийка метнулась в кухню, вернулась с мокрым полотенцем и возвратила дочери нормальный цвет лица.

— Иди, донечка, погуляй во дворе, а мы с татой поговорим. Только не приставай до того петуха, а то он опять тебя долбанет... Тут такой злющий петух, шось страшне. Он ее раз клюнул, так из пальца аж кровь текла... Ну как же ты, Михасю, все это время?

— Обо мне что рассказывать! Воевал, отлеживался в госпиталях. Уцелел. Вот и все.

— Ну, а детки твои, жинка — живые, здоровые?

Шевелев рассказал, какими застал Варю и детей в Ташкенте, как привез обратно в Киев, с каким трудом Варя возвращалась к своему прежнему состоянию, однако так и не вернулась...

Марийка не спускала с него глаз, по щекам ее текли слезы.

— Бедная она, бедная... Сколько горя ей досталось, — сказала она и, помолчав, спросила: — Ты ей про меня ничего не говорил?

— Нет.

—Вот и хорошо! — вздохнула она. — Я боялась, что скажешь...

— А я вот иногда думаю: святая ты или дурочка?

— Трошки, мабуть, дурновата, так ведь не совсем же! Правда? — засмеялась Марийка. — Ну и не святая, — посерьезнела она. — Какая из меня святая, если я до чужого дядьки в постель прыгнула? Нет, Михасю, я обыкновенная. Я только не хочу свое счастье делать из чужого несчастья... Вот я и надумала сбежать... Приехал бы на день-два позже, а меня нету и не найти.

— Положим, найти-то я тебя все равно бы нашел. Настя сказала, что ты куда-то завербовалась. Такие дела без сельсовета не делаются, значит, узнал бы, куда завербовалась, а там, на месте, уж как-нибудь нашел бы. Человек не иголка. Что это тебе в голову ударило?

— А ударило мне, Михасю, вот что. Подумала я, подумала и решила, что жить мне здесь больше нельзя. Мне-то что, плевать я хотела на бабские пересуды. А Люба подрастет? Найдутся люди добрые, которые не постыдятся дивчине сказать: ты ж безбатченко, байстрючка...

И будет ей это обидно слышать от людей, и будет она с малых лет обижаться и на меня, свою мать, и на тебя, Михасю... А я этого не хочу. Придет время, вырастет, тогда я ей сама всю правду расскажу, как все случилось. И она все поймет, не будет у нее никакой обиды ни на тебя, ни на меня... А тут как раз я услышала по радиоточке из нашего района такое объявление, что в Крыму после войны населения осталось мало и желающие могут завербоваться, чтобы переехать туда насовсем. Дадут там хату, а работа есть всякая — и в колхозах, и в совхозах, и еще всякая разная. Вот, думаю, как раз для меня. Кругом будут новые люди, никто про меня ничего не знает, да и не будут люди в чужие дела лезть. Война ведь скольким жизнь поломала... Вот и будем мы там с Любочкой жить. В море купаться! — засмеялась Марийка. — А то так всю жизнь проживешь, а, кроме огорода, ничего и не увидишь... Что, плохо я придумала?

— Придумала-то хорошо, я даже не ожидал... Да ведь трудно тебе будет одной.

— Ничего, справлюсь. Я работящая, а там Любонька подрастет... Проживем!.. Вот только никак уехать не можем. Целую неделю ждем: нема транспорта, и все. Я уже и до председателя в село бегала, так он и слухать не хочет... Теперь, как появится машина или коняка, лягу поперек дороги, и пускай что хочет, не встану, пока нас не заберет...

Рано утром Шевелев пошел в село, долго ждал председателя колхоза, который еще с рассвета мотался где-то по полям. Председатель тоже оказался недавним фронтовиком — донашивал форму, припадал на левую ногу, а пустой левый рукав был пристегнут к карману булавкой.

— Да ты что? — закричал он, выслушав Шевелева. — Какой транспорт? Шо мы, от хорошей жизни на коровах пахали? Вон есть один одер, на котором я езжу, так и тот на ногах стоит только потому, что его оглобли держат... А шо ж мне, со своим «рупь-пять» по полям бегать?

Шевелев объяснил, что раньше никак не мог приехать — лежал в госпитале контуженный так, что не знал, на каком он свете. Ни пошевелиться, ни «мама» сказать не мог... Вот приехал, а тут жинка надумала завербоваться, ну и он не против: по состоянию здоровья ему и врачи советовали переехать куда потеплее... Он врал без зазрения совести, зная, что председателю

не до проверок, а помочь, кроме него, некому. Председатель слушал, скользнув беглым, но внимательным взглядом по нашивкам за ранения.

— Где тебя шарахнуло? — спросил он.

— Под Штеттином.

— Слыхал про ту мясорубку... Страшное дело! А меня под Люблином переполовинили... И закон фронтовой дружбы я знаю — сам погибай, а товарища выручай. Я ведь с самого двадцать второго хлебать начал — был в погранвойсках на действительной... Так что я могу сделать, когда такая разруха? А тут еще спека эта... Все ж горит прямо на глазах. Страшное дело! Не знаю, соберем ли что посеяли: или и на семена не хватит?.. Ну ладно, лошади я не дам, бо нема. А отвезу вас сам. Мне все одно надо везти свою задницу до начальства, давно требуют...

— Зачем начальству твой зад? — улыбнулся Шевелев.

— А бить будут, — объяснил председатель. — Для чего ж еще начальство будет вызывать?

— Что у вас, колхоз отстающий?

— Да нет, не хуже других...

— Так за что бить?

— А для пользы дела, — усмехнулся председатель. — Значит, давай так: сегодня день пропал, а завтра я до свёта подъеду. Но чтобы по-боевому, раз-два — и все, без сборов...

Обещание свое председатель выполнил — приехал, когда на востоке только начинало сереть. Толчки и удары на каждой выбоине разбитой дороги непрестанно будили спящую Любочку, и большую часть пути Шевелев шел пешком, неся дочь на руках. Так когда-то зачатый им, теперь сонный комочек живой жизни навсегда прирос к его сердцу.

Двухэтажное дореволюционной постройки здание вокзала было разрушено, станционные службы разместились в бывшей поликлинике на привокзальной площади. Поезда уже ходили регулярно, но были редки, на единственный удобный Марийке поезд они опоздали, нужно было ждать до утра. Ночь они провели в станционном сквере на скамейке. Перед приходом поезда Шевелев достал пятьсот рублей, которые взял в кассе взаимопомощи, и протянул их Марийке.

— Да что ты, Михасю! Не надо, у меня же есть гроши, я ж хату продала!

— Бери без всяких разговоров, пригодится на новом

месте. У тебя ведь нет ничего, одни тряпки, все нужно будет заводить заново. Где твоя сумочка? Спрячь.

— Какая там сумочка! — засмеялась Марийка. — Мы по-сельскому. — Она задрала верхнюю юбку и куда-то у пояса затолкала деньги. — Вот, отсюда никто не украдет, и не потеряешь.

— Ну, а вот это важнее денег. Когда обоснуешься окончательно, напиши по этому адресу и сообщи свой.

— А кто та Зинаида Ивановна?

— Зинаида Ивановна Шевелева — моя сестра. Мне писать нельзя, напишешь ей.

— Она про меня знает?

— Нет. Пока нет.

— А может, не надо? Знаешь ведь, бабские языки... Мой тато говорили, шо бабы сначала говорят, а думают потом. Вот и она может проговориться...

— Она не из тех, что проговариваются.

— Вроде тебя?

— Угу, — кивнул Шевелев.

Он усадил их в переполненный вагон, вышел на платформу.

Марийка через закрытое окно что-то пыталась ему сказать, пробовала писать пальцем на стекле. Потом оставила все попытки и только смотрела на него. Слезы заливали ее лицо, она нетерпеливо смахивала их и смотрела, смотрела... Поезд тронулся, Шевелев пошел рядом с движущимся окном и тоже, не отрываясь, смотрел на нее.

Он мог уехать в тот же день, но решил сутки переждать, чтобы как-то отойти от только что пережитого. Он проторчал эти сутки в том же сквере. Хотелось есть, но покупать еду было не на что: все деньги он отдал Марийке, осталась только мелочь — на трамвай. Спал он в том же сквере на скамейке, подложив под голову портфель...

— О, ты даже досрочно? — обрадовалась Варя.

— Дело сделал, а торчать там радости мало.

— Голодно там? Вон ты даже осунулся... Ничего, сейчас я тебя накормлю...

Шевелев не ел больше суток, теперь наверстывал, и Варя с удовольствием наблюдала. Подав ему чай, она сказала:

— Знаешь, Миша, кажется, у нас будет третий.

— Что — третий?

— Ну, там не знаю, сын или дочь, словом, ребенок...

Шевелев едва не уронил чашку:

— Только этого не хватало!

— Почему это так тебя напугало? Ты не хочешь третьего ребенка?

— Дело не в ребенке, а в тебе. Разве можно в твоем состоянии носить ребенка, рожать, потом нянчиться с младенцем?! Это хорошо было до войны, когда ты была здорова и...

— Что ж ты остановился? И не такая старая? Кажется, я еще не очень старая, Миша?

— О чем ты говоришь? Я за тебя тревожусь...

— Как-нибудь... Может, хотя бы у одного будет нормальное детство...

К сестре он никогда не ходил, и в этом не было нужды, так как почти каждый вечер Зина сама их навещала. Поэтому она удивилась и даже встревожилась, когда Шевелев пришел к ней.

— Что случилось?

— Пока ничего, но сейчас случится. Давай сядем, что ли... Я пришел, чтобы рассказать тебе то, чего не знает никто и знать не должен. Никаких обещаний не нужно — я знаю, на тебя можно положиться, но на всякий случай предупреждаю: если когда-нибудь хоть словом или намеком ты меня предашь — считай, что у тебя нет брата. Ты для меня перестанешь существовать.

Зина нетерпеливо встряхнула подстриженной седой гривой.

— Говори дело, а не пустяки.

Шевелев рассказал, как в сентябре сорок первого дополз до Марийкиного огорода, как выходила она его, потом прятала, как, по-видимому, полюбила и однажды после долгой молитвы, должно быть, заранее замолив предстоящий грех, забралась к нему в постель...

— И ты пошел на это? — металлическим голосом спросила Зина.

— Эх ты, моралист-теоретик... — вздохнул Шевелев. — А что я должен был сделать? Как толстовский отец Сергий, отрубить себе палец? Да, конечно, можно было одеться и уйти. Считай, что я оказался трусом и потому не ушел... А может, и не потому. Марийку не просто к мужику потянуло, она меня полюбила, отдала не только тело, но и душу... И мне следовало кирзовым са-

погом своего благородства садануть в эту душу и ее первую любовь?.. Ага! С этим ты не знаешь, как быть? Вот и я не знал и сапогом в душу не сумел...

— Почему ты утаил от Вари? Я уверена, она бы все поняла и простила.

— Когда я мог сказать? В Ташкенте, когда ее, дистрофика, качало от ветра? Или здесь, когда у нее обнаружилась стенокардия? Тебя не добила война, так добью я — так, что ли? Считай меня снова трусом, но я побоялся сказать Варе. Не из страха за себя, из страха за нее... Ты еще не все знаешь. Когда вернулись наши и я снова ушел в армию, Марийка была беременна...

— О господи! — сказала Зина. Лицо ее было в красных пятнах. — Это же прямо кошмар какой-то... — Зина сняла очки, отчего лицо ее, как у всех очень близоруких людей, стало беспомощным и растерянным. — Я не понимаю, — она надела очки и уже с обычной своей твердостью сказала: — Я не понимаю одного. Если ты не рассказал об этом даже Варе, зачем рассказываешь мне?

— Не в расчете на то, что ты меня пожалеешь и утешишь, — усмехнулся Шевелев. — Я не верю в то, что беда станет легче оттого, что ты будешь приставать с ней к другим. Твоя беда все равно останется с тобой... Нет, мне нужно не сочувствие, а помощь. Не беспокойся, тебе ничего не придется делать.. Командировка в Харьков была липовой: я ездил к Марийке. Да, да. Не на свидание с любовницей. Я оставил ее беременной и, как видно, совести еще не потерял — она меня и погнала. Оказалось, у Марийки двухлетняя дочь. Моя дочь. Чтобы соседи сплетнями не отравили жизнь девочке, она завербовалась на работу в Крым. К счастью, тут я вернулся, помог ей уехать... Она ничего не требует, ни на что не рассчитывает. Но я считаю себя обязанным ей помогать...

— Чем ты можешь помочь? Вы сами еле сводите концы с концами.

— Придется как-то подрабатывать... Я дал Марийке твой адрес, чтобы она могла сообщить свой, когда устроится. Вот, собственно, и все, что мне от тебя нужно. Как видишь, не очень обременительно.

— По-твоему, стать соучастницей всей этой истории не обременительно? Мало того, что ты сам лжешь, должна лгать и я?

— Да кто ты, в конце концов, — взорвался Шевелев, — человек или ходячая пропись? От детского горшка до седых волос была святая? Черт тебя не возьмет, от твоей железобетонной добродетели кусок не отвалится...

— Хорошо, — сухо сказала Зина. — Больше ничего? Тогда уходи, мне нужно проверять тетради.

— Ничего. Кроме одного. Если ты явишься к нам с постной рожей оскорбленной невинности, Варя сразу поймет, что что-то неладно. Врать ты не умеешь...

— Да уж до тебя мне далеко, — съязвила Зина.

— Не во мне дело, а в Варе. Перед моим уходом она сказала, что ждет ребенка. Вот посиди и подумай, что с ней будет, если она докопается до правды или угадает ее...

Зина в ужасе схватилась за голову.

...По возвращении в Киев Варя не пошла снова в школу. Уроки, тетради, бесконечные методические разработки и совещания съедали целый день и большую часть вечеров, а у нее на руках было все хозяйство. Муж и Сережа старались ей помогать, но заменить ее во всем не могли, а кроме того, за маленьким Борькой был необходим непрестанный присмотр. Варя поступила корректором в редакцию одной из газет. Работать нужно было не в самой редакции, а в типографии на Прозоровской. По идее это была очень удобная работа, так как работать надо было через день — три раза в неделю. За верстку принимались вечером, ночью полосы должны были подписываться в печать, потом их матрицировали и начинали печатать, чтобы тираж успел к утренним поездам. Таким образом, корректоры ночью освобождались и уезжали, отсыпались дома и целый день могли заниматься своими делами и следующий день тоже. Но так было только по идее. На практике график почти никогда не выполнялся, а как только становилось ясно, что графика не будет и премиальных за его выполнение не будет тоже, метранпажи начинали «тянуть резину», нагоняя вместо премии сверхурочные. Вместо того чтобы закончить работу ночью, ее заканчивали утром. А если шел какой-нибудь доклад или отчеты о заседаниях, о графике нечего было и мечтать. Даже если материалы из РАТАУ поступали заблаговременно, их набирали и верстали вовремя, это не имело никакого значения, так как потом начинали поступать восковки с поправками и поправками к поправкам. Зачастую поправок набиралось больше, чем восковок первоначального текста.

Все это набирали, вычитывали, верстали, потом выбрасывали и все начинали сначала. Так продолжалось всю ночь и все утро, измученная Варя приходила домой, когда Шевелев давно уже был на службе, а Сережа в школе. Иногда после такой убийственной ночи ей удавалось поспать два-три часа, но дневной сон не снимал усталости после всенощного бдения, а нужно было убирать, готовить, ходить на рынок, охотиться за пайками.

Шевелев возмущался этой работой на износ, требовал, чтобы Варя оставила или хотя бы сменила работу, однако негодующие речи ничего не могли изменить. На Владимирском, Бессарабке и других рынках можно было купить все, но обесценившиеся деньги текли меж пальцев, как вода, и разве можно было прожить на его восемьсот рублей, если буханка хлеба на руках стоила сто рублей, а жалкая кучка картошки — тридцать?

Шевелев искал возможности подрабатывать. Совместительство исключалось, нужна была работа без должности и официального оформления. Помог сослуживец, который, оказалось, уже занимался такой подработкой и просто не справлялся с ее объемом. После войны все не закончившие вузы или не успевшие поступить в них хлынули в институты. Это были уже взрослые, зрелые люди, которые знали, чего хотят, и обдуманно выбирали вуз для поступления. Но подросло новое поколение, вчерашние школьники, которые толком не знали ни своих способностей, ни возможностей. Они поступали в вузы потому, что поступали другие, потому, что высшее образование открывало лучшие житейские перспективы, наконец, потому, что этого требовали папы и мамы. Отчетливого представления о будущей специальности у них не было, они сами не знали, чего хотят, к чему им следует стремиться, и тыкались наугад, зачастую выбирая тот институт, куда легче было поступить, поэтому довольно часто в технические вузы попадали люди, не имеющие к технике ни склонности, ни способностей. Нужда в специалистах была огромной, и таких недотыкомок не отчисляли, а тянули за уши, помогали им закончить курс. И даже среди одаренных и трудолюбивых попадались студенты, начисто лишенные способностей к рисованию и черчению. А в техническом вузе обойтись без черчения невозможно — не считая всего прочего, нужно было выполнять курсовые проекты и в завершение сделать дипломный проект. Спрос родил предложение — безрукие будущие специалисты находили людей, которые за день-

ги выполняли все эти работы, а они потом выдавали их за свои. Разумеется, платившие считали, что они платят слишком много, работавшие находили, что они получают слишком мало, так как над каждым листом нужно было горбатиться около недели, и сто рублей за лист плата, конечно, мизерная. Но выхода не было. Шевелев был рад и такой возможности заработать. Сначала он стеснялся этого в общем-то стыдного занятия — поставлять фальшивки для одурачивания преподавателей, но потом узнал, что преподаватели прекрасно обо всем осведомлены и мирятся с этим как с временным и неизбежным злом. Шевелев объяснил директору свое положение — двое ребят, ожидается третий — и получил разрешение оставаться после работы в институте, чтобы готовить эти ненавистные и такие необходимые листы. Он работал, пока не начинало разламывать спину и рябить в глазах, и только тогда уезжал домой. Никаких выходных у него не стало: теперь и по воскресеньям он работал целый день, но уже дома. Чертежником он был хорошим, работал быстро, и ему удавалось делать за месяц пять, а то и шесть листов. Деньги он отдавал Варе, но не все: двести пятьдесят рублей каждый месяц отправлял Марийке.

Зина не обманула ожиданий брата — обладание его тайной не сказалось на ее поведении, но внутренне она находилась в непрестанном смятении, близком к отчаянию. Ни разу в жизни она не испытывала такой растерянности, как сейчас. Как ни сложны были прежде проблемы, с которыми ей приходилось сталкиваться, она всегда могла найти и находила для себя твердую нравственную позицию. Как ни пытались люди прикрыть и приукрасить словами свои поступки, поведение, Зина всегда отчетливо видела, где черное, а где белое, что хорошо, а что дурно или даже отвратительно. Теперь она этого сделать не могла. Она не сомневалась в том, что Михаил рассказал правду, все произошло именно так, как он говорил. И хотя по инерции, по неистребимой привычке морализировать она высказала Михаилу свое негодование, потом, наедине с собой, утратила веру в свою правоту, растерялась, пытаясь решить, как же следовало поступить Михаилу...

В конце концов, не только Михаилу — любому на его месте. Другое дело, если бы он сам домогался близости, воспользовался глупостью и простодушием этой девчонки. Но вся жизнь брата прошла у Зины на глазах, она

знала, что он порядочный человек, не способный на подлость. И он любит Варю...

Для брата Зинаида так и не нашла однозначного осуждения, но Марийку осуждала полностью и безоговорочно. Конечно, та поступила благородно, спасая и укрывая раненого, может быть, даже рисковала при этом собственной жизнью, но это не основание навязываться в любовницы. И когда от Марийки прибыло письмо, она брезгливо, как что-то заведомо грязное, протянула его Михаилу. Тот покосился на нее и промолчал.

Через некоторое время Зина попросила Михаила зайти посмотреть ее настольную лампу — она что-то капризничает.

— Лампа исправна, — сказала Зина, когда Михаил пришел. — Вот второе письмо. Вы намерены превратить меня в посредника, в почтовый ящик для переписки? Я в этом участвовать не желаю.

Шевелев прочитал письмо.

— Нет, — сказал он, — не намерены. Я послал деньги, но ничего не писал и писать не собираюсь. Деньги я посылать буду, так как обязан помогать, но роман на стороне мне не нужен. А письмо адресовано тебе. Отвечать на него или нет — решай сама.

В письме, написанном крупным детским почерком, Марийка благодарила за присланные деньги, а потом просила ее, Зинаиду Ивановну, уговорить Михаила Ивановича, чтобы он больше денег не присылал. Им дали хороший дом — комната и кухня, на деньги, оставшиеся от продажи хуторской хаты, она купила все, что нужно по хозяйству. Работает она в совхозе, всем обеспечена, так что Михаилу Ивановичу совсем не нужно отрываться от семьи, чтобы посылать им. Ей с донечкой много не надо, они и так хорошо живут. Письмо кончалось обычным у малокультурных людей присловьем: «Жду ответа, как соловей лета».

Сначала Зина твердо решила, что этот распутный «соловей» никогда не дождется ее ответа, но мало-помалу решимость ее стала слабеть. В конце концов, если не считать злосчастного факта, когда Марийка залезла в постель к мужчине более чем в два раза старше ее, она все время, всегда вела себя благородно и даже самоотверженно. Видно, и впрямь не было у нее никаких дурных помыслов и расчетов. Даже напротив — она понимала, что рано или поздно весь хутор узнает и, конечно, осудит ее. И если она не побоялась пойти наперекор

принятым нормам, не устрашилась общественного мнения, может быть, и в самом деле ею руководила не прихоть или распущенность, а глубокое и сильное чувство? Так должна ли, имеет ли она, Зина, право осуждать и презирать восемнадцатилетнюю девчушку за эту самозабвенную любовь, когда сама Зина проворонила свою первую и единственную любовь?

Справедливость Зина почитала как одну из первых и главных добродетелей и, придя к выводу, что она несправедлива по отношению к Марийке, ответила на письмо. Так между ними возникла не слишком частая, но регулярная переписка, о которой брату она ничего не сказала.

Помогать другим Зина считала не менее важной добродетелью. Посылать деньги при скудной учительской зарплате она не могла и решила взять на себя хотя бы заочную заботу о духовном развитии племянницы, так как мать ее в этом отношении, несомненно, оставляла желать лучшего. В ту пору букинистические магазины были завалены книгами, они были дешевы, и Зина довольно легко находила то, что, по ее мнению, следовало читать детям. Это были прежде всего русские народные сказки и сказки Андерсена, Перро и братьев Гримм, далее пошли «Робинзон Крузо» и «Путешествия Гулливера». Современная детская литература, по мнению Зины, слишком замыкалась в круге детских интересов и потому уже не помогала, а только задерживала духовное развитие детей. Подростки должны читать уже безвозрастную, просто хорошую литературу. На каждой книжке Зина непременно делала надпись — приводила изречение какого-либо выдающегося человека о пользе книг, чтения и вообще просвещения. Марийка благодарила за книжки и писала, что теперь вместе с донечкой, может быть, и она наберется ума-разума. Сначала она сама читала Любоньке вслух, а когда та научилась, они стали читать вместе, то есть по очереди.

Марийка ничего не просила ни для дочери, ни для себя и только однажды попросила прислать фотографию Михаила Ивановича. Шевелев фотографироваться не любил, делал это в случаях крайней необходимости и отпечатков не хранил. Все семейные реликвии, в том числе и фотографии, сохраняла Зина. В этом скудном архиве послевоенных фотографий не было, и она послала одну из довоенных, сделанных для какого-то удостоверения.

В пятьдесят четвертом на Зину свалилось счастье. Во

время летних каникул, если удавалось достать путевку, она отдыхала где-нибудь под Киевом — в Ворзеле, Кичееве или Пуще; если путевки не было, оставалась дома, и весь отдых состоял в том, что по вечерам она ездила на концерты симфонического оркестра под открытым небом. Теперь ей, как одному из старейших и заслуженных педагогов, выделили тридцатипроцентную путевку в дом отдыха не куда-нибудь в Ворзель, а в Рабочий Уголок в Крыму. Что это такое, никто из знакомых не знал, объяснить сумел один Устюгов.

— Когда-то он назывался Профессорским Уголком. Там были дачи Голубева, Головкинского, Кеппена, которые много сделали для изучения Крыма. Очевидно, местные власти решили, что заслуги их недостаточно велики или что профессора вообще того не заслуживают, и переименовали Профессорский Уголок в Рабочий. Место весьма привлекательное. Хороший пляж, зелень, поблизости всякие красоты. Езжайте смело, не прогадаете.

Зина вернулась загорелой и еще более поджарой, чем обычно. Это был ее самый изнурительный и самый радостный отдых, если можно назвать отдыхом образ жизни, который она вела в Крыму. Она встречала рассвет у моря и купалась, когда на пляже еще не было ни души, к закату снова шла к морю и купалась, чтобы потом провалиться в мертвецкий сон на несколько часов. Все остальное время было отдано экскурсиям и походам, организованным и самодеятельным, в одиночку. Теперь, захлебываясь от восторга и стихотворных цитат, она рассказывала о поездке в Гурзуф и о доме Раевского, где три недели прожил Пушкин, об Аю-Даге и Судакских воротах, о сталактитовой пещере на нижнем плато Чатыр-Дага и водопаде Джур-Джур...

Только об одной поездке, которая оказалась самой волнующей и важной, Зина не заикнулась. Она долго колебалась, гнала даже мысль о ней, но перед самым отъездом решила, что никогда не простит себе, если упустит эту единственную возможность.

Все многоместные моторные катера с парусиновыми тентами носили почему-то птичьи имена. До сих пор Зина ездила на «Беркуте», теперь это оказался «Снегирь». Он миновал Карасан и Кучук-Ламбат. Туда Зина прежде добиралась посуху и даже побывала на вершине мыса Плака. С моря он был похож на огромную каменную сову. Обогнув округлый бурый лакколит, «Снегирь» повернул к берегу. От разбитого зимними штормами причала остались только торчащие из воды рельсы, и катер просто уткнулся носом в пляжную гальку. Зина оказалась единственной пассажиркой, едущей до Фрунзенского. Матрос помог ей сойти по узкой, хлябающей сходне, потом втащил сходню на борт, «Снегирь» задним ходом сполз с гальки и пошел в сторону Аю-Дага. Большой, должно быть, с полкилометра или даже больше пляж был совершенно безлюден, только неподалеку от бывшего причала стоял навес, от него к морю шли две стенки эфемерной ограды — между металлическими кольями были натянуты белые полотнища. В ограде стояли лежаки. От кого или от чего ограждала эта надувающаяся, хлопающая под ветром ограда, Зина не поняла. Спрашивать у лежащих там людей не имело смысла: они, несомненно, были курортниками и местных жителей не знали. В крохотном заливчике под прикрытием лакколита покачивалось несколько лодок, а их юный босоногий хозяин в фуражке с огромным «крабом», лежа на животе, глубокомысленно пересыпал горсть гальки из руки в руку.

— Марийка Стрельцова? То вон там, на верхотуре, — показал он на высокую скалу справа. — Идите вот так прямо, пока не дойдете до тропки вправо. По ней и идите. Не заплутаете, бо другой нема.

Каменистая тропа круто поднималась вверх, потом превратилась в лестницу, высеченную в камне, снова стала тропой. На полугоре тоже были дома, но там сказали, что к Стрельцовой надо идти еще выше. На неширокой площадке, почти у самой вершины, в тени старых деревьев стояло несколько домов. Внизу на пляжном солнцепеке было жарко, а здесь держалась густая тень и повевал легкий ветерок. На плоском камне у самого обрыва над книжкой склонилась девочка-подросток.

— Девочка, где здесь живет Мария Стрельцова?

Девочка удивленно вскинула на Зину взгляд, прикусила нижнюю губу и встала:

— Пойдемте, я покажу.

В прохладной кухне молодая миловидная женщина вытирала расписное глиняное блюдо. Зину удивило поразительное сходство дочери с матерью.

— Вы Мария Стрельцова? — спросила Зина. — Здравствуйте. Я — Зинаида Ивановна Шевелева.

Глиняное блюдо скользнуло вниз и разлетелось на куски.

— А боже ж ты мой! — сказала Марийка и прикусила нижнюю губу. В глазах ее появились слезы.

— Ох! — воскликнула Зина, глядя на осколки блюда. — Я не думала, я не хотела...

— Та бес с ней, с той глиной! То ж к счастью! — сквозь слезы сказала Марийка. — Дайте ж я вас поцелую... Донечка, ты поняла, кто до нас приехал? То ж тетя Зина, что книжки тебе посылает...

Зина расспрашивала, а Марийка охотно рассказывала, как они устроились здесь и как живут, о своей работе и успехах дочери. Потом она отослала дочь к подруге, и тогда уж они могли говорить в открытую обо всем. О том, что натворила война и как перевернула человеческие судьбы... Марийка всласть поплакала, и даже твердая на слезу Зина «пустила сок», как определял это ее брат. Теперь, глядя в наливающиеся слезами глаза Марийки, когда она говорила о любом Михасе и умоляла ее, Зину, уговорить его, чтобы он не надрывался и ничего не присылал, потому что она сама видит, как хорошо они живут, — и показывала опрятную скудость своего жилья, — она сама сумеет поставить Любу на ноги, слава богу, растет девочка старательная, трудолюбивая, — теперь Зина до конца поверила в чистоту и силу Марийкиной любви к Михаилу, у нее растаяли остатки предубежденности, которые еще нет-нет да и всплывали в ней время от времени.

Подошло время последнего рейсового катера, и Марийка с дочерью пошли ее провожать. Катер отвалил. Обнявшиеся две Марийки с прощально поднятыми руками стали стремительно отдаляться. Мать и дочь были так разительно схожи, что Зина теперь так и называла их про себя — две Марийки...

Эти две Марийки пронзили сердце Зины благородным негодованием. На брата. И когда представился удобный случай, она, сверкая стеклами очков, сказала:

— Совесть у тебя есть или нет?

Шевелев поднял на нее взгляд.

— Или ты, как страус, спрятал голову в песок и думаешь, что все в порядке?

— Это глупая выдумка: страусы не прячут голову в песок, когда опасность сильнее их, они убегают.

— Что ж, к тебе это еще больше подходит. Ты убежал, спрятался и спокойненько сидишь в своем убежище...

— А ну, давай без зоологии. В чем дело?

— Ты ни разу не видел своей дочери! И тебе не стыдно?

Как это часто случается со слишком правильными ортодоксами, суждения Зины складывались с некоторым перебором, а при таком переборе трудно бывает заметить, что суждения сегодняшние иногда вступают в противоречие со вчерашними. Излив в свое время святое возмущение его хуторским преступлением, теперь Зина бурлила от негодования по поводу его нового, уже отцовского, преступления и не замечала, что призыв ликвидировать второе означает продолжение первого.

— Увидеть дочь — значит снова встретиться с Марийкой. Ты всегда стоишь на страже добродетели, а теперь становишься сводней?

— Меньше всего я думаю о тебе! И не тебе рассуждать о добродетели. Ты думаешь, очень добродетельно родить ребенка и скрыться от него? Оттого, что ты прячешься, твое... — Зина замялась, — твой проступок не становится лучше. И его последующим покаянием не перечеркнешь и не отменишь... В конце концов, вы с Марийкой взрослые люди, распутывайте свои отношения как хотите. А какое право ты имеешь делать ущербным детство своей дочери?

Высокие нравственные принципы требуют высоких слов, и Зина их не жалела:

— Ты не понимаешь, что это травма для ребенка — не иметь отца? Одно дело — отец погиб на фронте... Но ты, слава богу, жив. И она знает, что ты жив! Что можно ей сказать, чем объяснить, оправдать твое поведение? Ты деньги посылаешь? Ах, какая заслуга! Да ты просто был бы презренным негодяем, если бы не помогал! Но деньги отца не заменят. Почему девочка должна страдать от сознания, что она не такая, как другие, а хуже их... У нее есть три брата, они легальные, первосортные, а она, выходит, нелегальная, второсортная?

— Откуда ей это известно?

— Я была у Марийки. И Люба мне очень понравилась — прекрасная девочка...

— Да кто тебя просил, чертова кукла?

— Я еще должна спрашивать у тебя разрешения? Ты потерял совесть, но у меня она есть!

Шевелев подавил вспышку ярости. Он понимал, что и вспыхнула-то она только потому, что Зина угодила в больное место. Его давно грызло сознание вины перед Марийкой. Как бы ни была она неприхотлива и вынослива, трудолюбива и самоотверженна, ей пришлось, конечно, очень трудно. Люди даже в полноте житейского опыта и сил не так легко решаются ломать устоявшийся уклад жизни. А тут с маленьким ребенком на руках, и сама еще, в сущности, девчонка, разом оборвала все и ринулась в незнаемое — в далекие, неведомые места, в непривычный климат, совершенно другой уклад жизни среди чужих людей... И все нужно было начинать сначала, что называется, с пуля. Что она привезла с собой? Какое-то тряпье — свои и дочкины одежки — да деньги. Сколько там было этих денег, и чего они стоили после катастрофической засухи сорок шестого, если еще раньше обесценились до предела?.. А дочка? Конечно, права была Марийка — на новом месте не так будут лезть в душу, но ведь и там могли найтись злоязычные стервозы, для которых нет занятия сладостнее, чем солью притворного сочувствия посыпать раны ближнего...

Он не только понимал, что должен, обязан съездить к Марийке, повидать дочь, а если удастся, в чем-то помочь, но и сам очень хотел этого и только не знал, как сделать так, чтобы поездка выглядела совершенно естественной, не могла навести на какие-то подозрения. Помогло несчастье. Гипертонические кризы время от времени повторялись, но не были слишком частыми. В пятьдесят четвертом и особенно в пятьдесят пятом они возвращались чаще и сделались тяжелее. То ли отзывалось незатихающее эхо войны, то ли сказывалась непрерывная, без отдыха, дополнительная нагрузка, которую взвалил на себя Шевелев, начиная с сорок шестого. Даже уходя в отпуск, он продолжал изготовлять осточертевшие листы курсовых и дипломных проектов. С течением времени к ним прибавились листы для жаждущих «остепениться» безруких кандидатов в кандидаты наук. От всех настояний поехать в дом отдыха или санаторий он отмахивался.

Однако в начале пятьдесят шестого случился настолько тяжелый криз, что «скорая помощь» отвезла Шевелева в клинику. Перед выпиской заведующий отделением, пожилой профессор, спросил его, когда он последний раз отдыхал.

— Если по правде, то до войны, — ответил Шевелев и пояснил, что вынужден подрабатывать, так как семья большая, зарплаты не хватает.

— Вы думаете, вашей семье станет лучше, когда вас похоронят? Какая у вас специальность?

— Инженер-строитель. Но работаю не на стройке, а в проектном институте.

— Это несущественно. Важно, что вы знаете об усталости материалов. В том числе и металлов. Металл и тот устает! Человек, конечно, выносливее любого металла, но всему есть предел. Поэтому, если не хотите обездолить семью, — отдыхать обязательно. Но ни в коем случае не меняйте климат — отдыхать только под Киевом.

— Что тут за отдых?

— Вы инженер, стало быть, знаете. Рессору изгибают, потом закаливают. Что с ней произойдет, если ее резко выпрямить?

— Она лопнет.

— Вот именно! Мы с вами уже изогнутые рессоры, и лучше не пробовать выпрямляться. И еще одно — при поездках самолет исключается. Поднимаясь и опускаясь, он круто набирает или теряет высоту. У нормальных людей при этом ощущается боль в ушах и прочее. Вы уже вне нормы. Поэтому, даже приземляясь, вы можете запросто попасть на небо или уж не знаю куда... Во всяком случае, спешить туда вряд ли стоит.

Рассказывая дома о советах профессора, Шевелев несколько смягчил их, а о запрете летать и менять климат умолчал совсем. Без профессорских рекомендаций Варя и Зина давно настаивали на необходимости отдыха, теперь они насели на него с такой категоричностью, что пришлось сдаться. Неизвестно было лишь, как и куда поехать.

— Неужели институт не может выделить тебе путевку? — спросила Варя. — Наверно, у райono меньше возможностей, а вот дали же Зине путевку.

— А я откажусь, если и дадут, — сказал Шевелев, — потому что я или сбегу оттуда и пропадут деньги, или убью санаторного радиста. Эти троглодиты с утра запускают свои дьявольские машины и до поздней ночи гвоздят отдыхающих эстрадной пошлятиной.

— Откуда ты знаешь? Ты же нигде не был.

— Знаю. Мне сослуживцы рассказывали. Я бы государственным декретом запретил установку радио-

узлов в санаториях и домах отдыха... В целях охраны физического, а также духовного здоровья трудящихся...

Эстрадного лалаканья Шевелев действительно не любил, но дело было не в нем: он опасался, что запреты профессора записаны в его карточку, для получения путевки нужна санаторная карта, и поликлиника может ее не выдать.

— А что, если, — сказала Зина, — что если тебе поехать в Алушту или в Рабочий Уголок?

— Без путевки?

— Туда можно и без путевки. Когда мы приехали в Алушту, на автобусной остановке была целая куча хозяек — предлагали койки, даже комнаты. Многие так и едут, дикарями. И в Рабочем Уголке некоторые так жили. Одни просто жили частным образом, а питались в столовке. А кое-кто даже снимал комнату и столовался у хозяйки.

— Может, в самом деле? — спросила Варя.

— А ты как будешь тут справляться?

— А что я? Сережа в Москве, ты будешь в Крыму. Мы втроем отлично проживем. Мне даже легче будет: одним нахлебником меньше, — засмеялась Варя.

...Люди знают, что они смертны, но лишь немногие одержимы неотступным страхом смерти и непрестанным ожиданием ее превращают свою жизнь в пытку. Большинство сознательно или бессознательно избегает мысли о смерти, смутно надеясь, что она случится когда-то потом, в отдаленном будущем, и потому отмахивается от мрачных предостережений. Шевелев принадлежал к большинству.

Нарушая профессорский запрет менять климат, он пренебрег и вторым — решил не ехать, а лететь, чтобы сэкономить время и не маяться в душном вагоне. Маяться пришлось и в самолете. Ил-12 летел на небольшой высоте, день был жаркий, и машина то и дело проваливалась в воздушные ямы. Над Сивашом, где чередовались суша, белесые или странно розоватые озера, самолет стал похож на воздушную телегу, ковыляющую по невидимым гигантским булыжникам, — с такой силой после очередной ямы ударялся подбрюшьем в тугие потоки восходящего воздуха. После воздушной тряски поездка в автобусе показалась освежающей прогулкой. Давно перевалило за полдень, Шевелев проголодался

и пообедал в столовой. То ли волнение, то ли искусство поваров лишили еду всякого вкуса. Он заспешил на пристань и попал к самому отходу рейсового катера.

Описания Зины оказались настолько точными, что спрашивать о дороге не пришлось. Он поднялся к верхнему ярусу домов. Осененная старой шелковицей дверь была открыта настежь. Шевелев постучал по косяку.

— Кто там? Входите, дверь открыта.

Шевелев миновал прихожую. В комнатке из-за стола встала вернувшаяся в юность тоненькая Марийка в коротком платье. Увидев его, она прикусила губу.

— Люба? — сказал Шевелев. — Ты меня не знаешь. Давай будем знакомиться...

— Нет, я вас знаю, — сказала Люба и покраснела. — Вы — мой тато...

— Ты не можешь меня помнить! Тебе было всего два года...

— А вот, — показала Люба.

Посреди стены, обрамленный вышитыми полотенцами, висел портрет Шевелева. Даже неумелое увеличение и грубая ретушь не смогли окончательно уничтожить сходство фотографии с оригиналом...

— Откуда это у вас?

— Нам тетя Зина прислала. Давно, — сказала Люба. — Так я побегу...

— Куда?

— За мамой. Вы садитесь, отдыхайте, я быстро...

Люба выбежала из комнаты, Шевелев вышел следом. Вот так же, вразлет, сломя голову, бегала и Марийка... Шевелев вернулся в дом. Голые побеленные стены, единственное украшение — его портрет. Свежевымытый пол. Две койки с панцирными сетками, шкаф, в углу комод, фабричный, но топорной работы стол, несколько стульев. Все чисто, опрятно. И бедно. Скудно живет твоя дочь, Шевелев... Ее братья не роскошествуют, но все-таки растут в обжитом, уютном доме. А здесь все как-то примитивно, случайно и наспех. Может, потому, что негде было взять? Может, от ощущения, что жилье это временное и через какое-то время начнется другая жизнь?.. Где? Какая?

Украшений не было, зато были шаткая даже на вид этажерка из ивовых прутьев, забитая книгами. Шевелев наугад взял одну — на форзаце четким Зининым почер-

ком было выписано: «Чтение — вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека — есть наука самая занимательная. А. С. Пушкин». Он посмотрел еще и еще — все книги были с назидательными надписями. Выходит, все книги прислала она. «Вот чертова кукла, — растроганно подумал он, — и когда только успела?..» И тут же почувствовал, что краснеет. Прошло ведь десять лет. Чертова кукла догадалась, а он нет... Молодец все-таки она. Иначе где бы девочке в такой дыре доставать книги?

— Михасю! Любый мой Михасю! — Марийка вбежала в комнату и припала к нему. — Вот и дождалась тебя!..

— А ждала?

— Ты еще спрашиваешь, Михасю!

— Что поделаешь, я ведь впервые за десять лет отдых себе устроил. Отпуска, конечно, брал, но сидел дома и работал. А теперь вот плюнул на все — и к вам...

— Я вижу, какой ты заморенный... Даже хуже, чем тогда, на хуторе.

— Наверно, просто постарел. Сколько лет прошло...

— А вот живой календарь! Смотри, как наша донечка выросла. Мать уже догнала...

Начался суматошный, прыгающий разговор сразу обо всем, пока Марийка не спохватилась:

— А боже ж мой! Ты же голодный, а мы тут начали балакать...

— От голода я не умираю, а вот выкупаться после дороги хорошо бы.

— Так идите с Любочкой искупайтесь, а я тут пока приготовлю.

Шевелев никак не ожидал, что ему будет так трудно и неловко со своей дочерью-подростком. Прикусив губу, она все время молчала, но он то и дело ловил на себе ее изучающий, внимательный взгляд. Теперь, как вежливая хозяйка, она объясняла, что округлую скалу слева называют Медвежонком, а большая, заросшая лесом гора с правой стороны — Аю-Даг, Медведь. А пляж пустой, потому которые из дома отдыха, они вон в белой загородке, а больше никого нет, потому что сообщение с Алуштой только катером, а они не во всякую погоду ходят. И потом, здесь нет ни столовой, ни магазинов или базара, так что приезжим негде питаться. Изложив это, Люба замолчала. Чтобы прервать затянувшееся молчание, Шевелев стал спрашивать, что всегда спрашивают у

детей взрослые, если не знают, о чем с ними говорить, — как она учится, хорошая ли школа и учителя, какие книги она читала... Люба отвечала охотно, но немногословно. На берегу Люба стащила через голову платье, оказалась в купальнике — купальник был ей уже нужен — и побежала к воде. Шевелев тоже разделся и с наслаждением погрузился в воду. Плавала Люба хорошо, но отдыхать лежа на воде не умела. Шевелев показал, как это делается. Дочь оказалась способной ученицей и сначала при его легкой поддержке, а потом и самостоятельно ложилась на спину и колыхалась на легкой волне, не шевеля ни руками, ни ногами.

— Теперь я всем нос утру! — сказала Люба, очень довольная собой. — Так у нас никто не умеет.

Они вышли на берег и легли на крупную гальку, чтобы обсохнуть.

— Ну что ж, дочка, — сказал Шевелев, — давай все-таки познакомимся поближе... Очень ты на меня обижена?

— Н-нет, — с оттяжкой ответила Люба, — теперь уже нет.

— А раньше обижалась?

— Очень. Потому что не понимала. Как это так — есть отец и нет отца? А потом мама все рассказала. И я перестала обижаться, потому что поняла: никто не виноват. Разве вы нарочно так сделали?..

— Говори мне «ты».

Люба прикусила губу и, помолчав, сказала:

— Можно, я немножко потом, когда привыкну?.. Нет, теперь я не обижаюсь. Мне только жалко...

— Чего?

— Мы с мамой все вдвоем и вдвоем... Мне-то ничего, я ведь вас не знала. А мама как посмотрит на ваш портрет, как задумается, так у нее слезы и текут. И мне ее тогда ужасно жалко... И себя тоже. Вот у вас сыновья, целых трое. Они же мне братья? А я их совсем не знаю. Это, наверное, хорошо, когда есть братья... Какие они?

Этот вопрос поставил Шевелева в тупик. Он только сейчас отдал себе отчет в том, что не знает, какие они, его сыновья. Ну, с Сергеем более или менее ясно. А Борька, Димка? Он уходил на работу, когда они еще спали, возвращался, когда они уже спали. Все заботы о них легли на Варю. Даже по выходным, когда он сидел над чертежами дома. Варя не допускала, чтобы они лезли к

нему со своими мальчишескими пустяками, мешали работать...

Он рассказал Любе о Сергее, каким самостоятельным, дельным парнем он оказался.

— А Борис и Димка? Обыкновенные ребята. Борис на будущий год кончает школу, а Димка еще совсем пацан — он ведь на три года моложе тебя... Пошли-ка домой, а то влетит нам от мамы, она небось уже заждалась...

— Да, — сказал Шевелев, увидев заставленный стол, — это не похоже на алуштинскую столовку. Там вышел и не знаю, ел я что-нибудь или только зря челюстями двигал. Если ты будешь так кормить, я отращу себе живот...

— Ешь на здоровье, поправляйся. Вкусно?

— У.. — промычал он набитым ртом. — Мало сказать вкусно — вкуснотища! Есть мне приходилось всякое и по-всякому... А знаешь, что за всю жизнь я ел самое вкусное? Холодную вареную картошку, когда ты меня привела к себе в хату, там, на хуторе...

— Тю! — засмеялась Марийка. — Да что в той холодной картошке было вкусного?

— Чтобы понять, надо было побывать в моей шкуре. У меня тогда впервые появилась надежда, что я, может, и выберусь из передряги, в какую попал, может, и уцелею... Так что у твоей картошки был вкус жизни, дорогая моя Марийка, а слаще его ничего не бывает...

Слезы блеснули в глазах у Марийки.

— Ой, я ж сметану забыла, — сказала она и убежала на кухню.

Прикусив губу, Люба во все глаза смотрела на него.

— Смелая у тебя мать, дочка, — сказал Шевелев. — Девчонка была, а ничего не боялась... кроме лягушек. А ведь она жизнью рисковала, спасая меня. Об этом она тебе рассказывала?

— Нет.

— Так вот знай. Такой матерью гордиться надо.

— А я и так, — сказала Люба. — Я ее так люблю, что и сказать нельзя...

После ужина Шевелев вышел на площадку перед домом, сел на камень над обрывом. В полотняном пляжном загоне не было ни души. Солнце скрылось за Аю-Даг,

зелень на его восточном склоне сгустилась до черноты, но небо и море еще были залиты светом. Морской бриз уже затих, береговой еще не поднялся, и море от Аю-Дага до Медвежонка застыло неподвижным жемчужным зеркалом. Только далеко, к горизонту, оно все еще поблескивало солнечными зайчиками.

Теплые ладони внезапно закрыли ему глаза.

— Молчи, дочка, — над самым ухом сказала Марийка. — Пускай сам догадается.

— А тут и гадать нечего, — сказал Шевелев. — Люба.

Он отвел ладони дочери от лица, но руки не отпустил и усадил ее рядом. Марийка села с другой стороны.

— А как ты узнал? — Люба, улыбаясь, заглянула ему в лицо.

— Проще простого: мама сделала бы это смелее. А ты все еще стесняешься... До чего же у вас здесь хорошо! Как в раю.

— Правда? — обрадовалась Марийка, будто всю эту красоту она сама приготовила для любимого Михася.

— Настоящий рай. И всего за три рубля... Рай на трешку. Дешевка!

— Почему за трешку?

— А я знаю, — сказала Люба, — билет на катер от Алушты до Фрунзенского стоит три рубля.

— Правильно, дочка.

Шевелев действительно чувствовал все окружающее и себя самого совершенно иным, чем еще несколько часов назад. И тут же с ужасом и отвращением к себе понял причину этого: здесь, с Марийкой и Любой, ему было легче и лучше, чем дома...

Вскоре после войны Варя однажды сказала:

— А знаешь, Миша, ты переменился.

— В чем? — настороженно спросил он. — Разве переменилось мое отношение к тебе?

— Я не об этом, а вообще. Ты стал как-то суровее, замкнутее.

— Видно, война свою печать оставила, — помолчав, сказал он. — Несмываемую. Такие вещи бесследно не проходят.

Но он-то хорошо знал, что дело не в этом. Война войной, не он один через это прошел... Другие легко и радостно возвращались к прежнему мироощущению, прежним отношениям. А он не смог, не сумел. Все время он был на нервном взводе и потому замкнут и скован, все

время должен был следить за собой, как бы чем-нибудь не обнаружить смятения, в котором живет.

Теперь все это исчезло. Здесь все до конца было ясно и открыто, и потому не было смятения и скованности, не было надобности лгать и притворяться, таиться и молчать, слетела маска суровой отстраненности, и Шевелев стал ровен и спокоен. Так что, он действительно за трешку попал в рай? И кто ж на самом деле дешевка — этот рай или он сам?..

Ему было горько и стыдно, но, презирая себя за трусость и малодушие, он гнал эти горькие мысли и чувства.

И так тих и прекрасен был угасающий вечер в благословенной Партенитской долине, так доверчиво и преданно прижимались к нему эти два таких слабых и одиноких создания, что он подавил в себе запоздалый и бесполезный всплеск раскаяния. Потом, в течение месяца, он возникал еще и еще, но с каждым разом Шевелев гасил его все успешнее и быстрее.

В знойном мареве расплылись очертания Симферопольского аэропорта, и вместе с ними истаял благодушный покой партенитской жизни. В Жулянах из самолета спустился по трапу уже прежний Шевелев. Пожалуй, теперь он внутренне был еще более насторожен и скован, так как предстояло врать. Условия, всякие подробности своей липовой жизни в Алуште он обдумал в самолете. Шевелев опасался, что эта внутренняя напряженность выдаст его, но естественная радость и оживление встречи сделали ее незаметной. Все восхищались его внешним видом и даже находили, что он помолодел. А раз так, то бытовые подробности не имели значения, о них не слишком расспрашивали, и Шевелеву пришлось врать меньше, чем он предполагал. К разочарованию Зины, он в экскурсиях не участвовал, никаких достопримечательностей не осматривал, а только ел, спал и купался в море. Поэтому и отдохнул хорошо.

— Раз так, — сказала Варя, — с домашним сидением кончено. Незачем приносить себя в жертву. Будешь теперь каждый год ездить отдыхать.

— Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным, — повторил затрепанный дурацкий каламбур Борис, уминая привезенный отцом виноград.

— Жаль, что мне нельзя с тобой поехать, — сказала

Варя. — Я ведь ни разу не была в Крыму, не видела моря.

— А почему, собственно, нельзя?

— Там жарко.

— Не обязательно ехать в Алушту, можно в другое место.

— Я спрашивала у врача. Категорически запретил: нельзя резко менять климат.

— Если мне нельзя, это не значит, что и ты должен сидеть в Киеве. На будущий год поедешь снова.

И в следующем году он поехал снова. И затем снова...

Марийке исполнилось тридцать четыре года. Миловидная, привлекательная и прежде, теперь она вступила в пору расцвета женственной прелести, о которой расхожая мудрость гласит, что в сорок лет баба — ягода. И Шевелев не один раз задавал себе вопрос: как могло случиться, что Марийка до сих пор остается одна? Веселая, красивая, свободная женщина — и никого... Мужики вокруг нее ослепли, что ли? Дочь? Дочь в таких делах не помеха...

О том, чтобы спросить у самой Марийки, не могло быть и речи. Во всяком случае, не ему о том спрашивать... Объяснение пришло неожиданно. Однажды, когда после купанья они легли на гальку, чтобы обсохнуть, Люба вдруг засмеялась.

— Ты что?

— А вспомнила... Что у нас летом было!.. Жених к нам приходил.

— Ну да?

— Ага... К маме и раньше всякие разные подходы делали. Она же у нас красивая, правда?.. Как идет, так на нее то тот, то другой оглянется. А когда мы с ней в дом отдыха на киносеанс пойдем, так кто-нибудь обязательно потом говорит: «Погода, мол, хорошая, луна светит на всю катушку, не желаете ли прогуляться?» А мама говорит: «Нам с донечкой спать пора!» — «Тогда, в крайности, разрешите проводить? Дочка спать пойдет, а мы на луну и на морской вид полюбуемся». — «А я, — говорит мама, — каждый день на него любуюсь с утра до ночи». Они-то думают, что я девчонка, ничего не понимаю, а ведь я все понимаю, чего они добиваются... Бывало, что и женатые подъезжали, так тем мама напрямик говорила: «А ты иди, серденько, до дому, бери свою жи-

ночку под ручку и гуляй на здоровье...» А тут мама приходит и смеется: «Держись, донечка, завтра жених придет, сватать меня будет». Как? Кто? «А наш новый агроном. Ты ж его знаешь — староватый такой, спереди весь лысый, так он с затылка волосы одалживает, наперед зачесывает...» В воскресенье приходит. «Здрасьте вам в хату, Мария Степановна». — «Заходите, гостем будете, Петро Левкович». Он садится, вытаскивает из кармана здоровую такую бутылку с белой наклейкой и ставит на стол. «А это зачем, — говорит мама, — когда мы совсем непьющие?» — «Так это не для питья, — говорит он. — Для питья идет водяра. А это называется «Кокур». Идет исключительно для разговору». — «Ну, все равно закуска нужна. Я сейчас...» — «Нет, — говорит агроном, — под эту святую водичку закуски не требуется. Вот если бы яблочки...» — «А есть, — говорит мама, — белый налив уже есть. Вы, значит, отдыхайте пока, а я сейчас принесу...» Ну, он сидит, оглядывается. «А что, — говорит, — это за личность?!» И показывает на твой портрет. «А это, — говорю я, — мой папа». — «Он что же, на войне пал смертью храбрых или своей смертью помер?» — «А он не помер, живой и здоровый, только живет в Киеве». — «А почему же он там, а вы тут?» — «У него там семья». — «Так что же получается — там семья и тут семья? Выходит, он разложенец? Такого не на стенку вешать, а на помойку выкидать надо!» А тут мама входит с яблоками. «Чего это вы, Петро Левкович, выкидать собираетесь?» — «А вот этого типа, — говорит, — что вы зачем-то на стенку повесили да еще рушниками украсили. Он же разложенец!» — «Кто-кто?» — спрашивает мама, а сама так побледнела, что мне аж страшно стало. «Разложенец, говорю, аморальный тип...» — «Это он аморальный? А кто ты такой, чтобы про него рассуждать? Да ты его подметки не стоишь!» — «Как это вы себе такие выражения позволяете? — говорит он. — К вам, понимаете, по-хорошему, с серьезным предложением, несмотря на ребенка, прижитого побочным порядком...» Тут маму аж затрясло, и она все яблоки, что у нее в вазе были, как шарахнет ему прямо в рожу. «Вот тебе, — говорит, — побочный и вот тебе прижитой... А ну, иди из моей хаты под три чорты, пока я рогач не поломала об твою плешивую голову...» Тот вскочил и в дверь. А мама увидела ту бутылку, схватила ее и следом. «Эй, — кричит, — жених недоделанный, забирай свое приданое...» И как пульнет в него! Не попала, — вздохнула Люба. — Я потом осколки собирала, чтобы кто не порезался...

— И что, мама сильно расстраивалась? — спросил Шевелев.

— Пхи, — точно, как мать, сказала Люба, — совсем не расстраивалась. Она, как бутылку запустила, вернулась в комнату и как начала хохотать. «Вот, — говорит, — донеча, как мы жениха наладили». Мы прямо до слез смеялись...

— А он потом не пакостил? Агроном ведь, начальство...

— Не... Наверно, побоялся, что мама его на смех поднимет. Разве бы мама смолчала? Она ведь никого не боится... Да он скоро и уволился, уехал куда-то. На него исполнительный лист пришел. Он сам оказался аморальный тип — от алиментов бегает... Только ты меня маме не выдавай, она сказала, чтобы я тебе про то сватовство не рассказывала...

Шевелев посмеялся вместе с Любой, хотя история эта вовсе не показалась ему смешной. Она воочию показала то, что давно не давало ему покоя. В жизни Марийки он сыграл скверную роль. Попросту изуродовал ей жизнь. Ну, тогда так сложились обстоятельства... Но ведь и потом, теперь он продолжает ее уродовать. Не будь его, Марийка, быть может, так или иначе примирилась бы с судьбой, рано или поздно встретила бы человека, с которым у нее могла сложиться нормальная жизнь. А теперь ни вдова, ни мужняя жена... Сейчас хороша, привлекательна, да ведь надолго ли?.. Финал незадачливого сватовства тронул Шевелева. Значит, она любит его по-прежнему, ради него готова на все. А отвечает ли он ей такой же любовью? Если по-честному, то ведь нет... Благодарность, нежная привязанность и если не врать себе, то и влечение тоже... Все это есть. Но ведь это не любовь. Человек живет ожиданием и надеждой. Чего может ожидать Марийка, на что надеяться?.. А он своими приездами поддерживает ее любовь, бесплодное ожидание и беспочвенные надежды. В общем, как ни крути, он играет подлую роль. И не пора ли прекратить эту подлую игру?

Она оборвалась быстрее и совсем не так, как он хотел бы. Дома, как всегда, его встретили радостным оживлением, восхищались его загаром, всем видом хорошо отдохнувшего человека и наслаждались привезенным виноградом. Во время ужина он вдруг заметил, что

Варя смотрит на него каким-то странным, не то изучающим, не то вопросительным взглядом.

— Ты что, Варя? — спросил он.

— А? Нет, ничего, просто задумалась.

Когда разошлись, Шевелев обнял Варю за плечи.

— Ну, рассказывай, как вы тут жили?

Варя мягко высвободилась.

— Подожди, я постелю. Жили, как всегда. Обыкновенно... А у тебя ничего не случилось?

Варя опять смотрела на него своим странным взглядом, и Шевелев благословил загар: он почувствовал, что лицо его вспыхнуло, как вспыхивало когда-то в мальчишестве.

— У меня? — почти натурально удивился он. — Что могло случиться, если я вел совершенно растительный образ жизни?

— Ну, может, не сейчас, вообще?

— А что могло случиться вообще? Я не понимаю, о чем ты говоришь!

— Не знаю. Знать это можешь только ты.

— Но это же абракадабра какая-то! Ты спрашиваешь о том, чего не знаешь, а я должен отвечать то, чего не знаю?..

— Ну что ж, — помолчав, сказала Варя. — Раз так, значит, так и будет... Ложись, я пойду мыть посуду.

В смятении, почти панике Шевелев лихорадочно перебирал все возможности. Варя узнала? Но что, как, от кого? Проболталась Зинаида? Исключено. Кто-нибудь из знакомых? Не было во Фрунзенском ни одной знакомой души. Увидели, когда Марийка и Люба провожали его в Алуште? Он прилетел раньше, чем кто-либо мог рассказать... Да и вообще все это вздор! Если бы Варя з н а л а, она не стала бы задавать наводящих вопросов. Она всегда говорит прямо, в открытую. За всю их совместную жизнь не было ни одного исключения. Значит, это не знание, а только предположения, догадки, подозрения? Тогда ничего страшного: так или иначе их удастся рассеять...

Шевелев успокоился — и заснул. Сквозь сон он услышал, как «кукушка» — подарок Матвея — прокуковала восемь, отрыл глаза и ужаснулся: на дворе стоял белый день, Вари рядом не было, подушка ее была не смята. Заснуть в первую ночь после месячной разлуки! Если возникли подозрения, то лучшего подтверждения

не придумать... Он вскочил и, как был, босиком, пошел в кухню. Варя готовила завтрак.

— Что это значит? Ты не спала всю ночь?

— Нет, спала: я прикорнула на диванчике.

— Но почему ты не легла в постель?

— Жалко было будить: ты так сладко спал...

— Ни черта бы мне не сделалось! Что это за сон — крючком на диванчике... Вон веки припухли, круги под глазами.

— Ничего, сегодня наверстаю, отосплюсь.

Ночью, когда они легли и Шевелев потянулся к Варе, она отстранилась:

— Не надо, Миша. Я больше не могу...

— Не можешь или не хочешь?

— Не хочу. И значит, не могу.

— Но почему?

— Рано или поздно это ведь происходит с каждым... Вот произошло со мной.

— Да что произошло?

Он тронул рукой ее лицо, чтобы повернуть к себе, — лицо Вари было залито слезами.

— Ты плачешь?

— Неужели я должна радоваться, узнав, что оказалась старой?

Шевелев долго и горячо оспаривал и разубеждал. Варя молча слушала, потом сказала:

— Да, ты прав, конечно. Все это глупости. Бабья дурь... Спи, тебе завтра на работу.

На следующее утро круги под глазами у Вари стали еще темнее. Шевелев был уверен, что она не спала и эту ночь, но промолчал. Он побоялся, что этот разговор, если он его начнет, может оказаться последним. Все его повторные попытки восстановить близость Варя отклоняла.

Так они перестали быть мужем и женой.

Когда на следующий год подошло время отпуска, Варя спросила, что подготовить ему в дорогу.

— Ничего не нужно, никакой дороги не будет. Ни в Алушту, ни вообще. Отъездился.

И он слово в слово повторил то, что в свое время сказал ему профессор, только приписал его слова поликлиническому врачу и мифическому консультанту, который оказался при медосмотре.

— Так что буду теперь жить по завету: сиди, Ерема, дома.

— Конечно, — сказала Варя, — раз так опасно... А жаль: после каждой поездки ты словно молодел.

Ни в интонации, ни в выражении Вариного лица Шевелев не уловил никакого скрытого смысла — она просто повторила то, что говорила и прежде.

Сестру Шевелев попросил написать Марийке о приговоре врачей и о том, что больше он приезжать не сможет.

В шестьдесят первом году Зинаида получила письмо, подписанное Марийкой и Любой. В нем мать и дочь писали, что Люба поступила в Крымский мединститут, получила стипендию и место в общежитии, они ни в чем не нуждаются и ему не следует больше посылать никаких денег. Пусть дорогой тато и любый Михасю больше не надрывается, не работает сверхурочно. Должно быть, оттого, что он так через силу работал, у него и появилась эта болезнь. Пусть он спокойно отдыхает и думает только о том, чтобы вылечиться, тогда, бог даст, он сможет приехать и к ним, потому как они его по-прежнему любят и очень о нем скучают. А если он станет снова посылать деньги, Марийка будет отсылать их обратно, так что из этого все равно ничего не получится, кроме трат на пересылку переводов...

Посылать деньги Шевелев перестал, но «халтуру», хоть и в уменьшенном объеме, пришлось продолжать. Димка еще учился в школе, а состояние Вари настолько ухудшилось, что после долгих споров удалось уговорить ее уйти с работы. Время от времени подрабатывать приходилось и потом, после ухода на пенсию. В институте его уважали и ценили, в предпенсионный год дали возможность выработать максимум. Пенсии не хватало, но просить у сыновей Шевелев не хотел, а им не приходило в голову помогать родителям: они слишком привыкли к тому, что родители всегда помогали им. Только Сергей написал, что вот-вот должен получить прибавку и всю ее будет высылать. Шевелев ответил, что, поскольку у Сергея прибавление семейства идет сдвоенным порядком — в это время как раз родились Петька и Пашка, — прибавка пригодится ему самому. Они с мамой пока обходятся, а будет круто, он напишет. И, конечно, не написал.

Возвращаясь из булочной, Шевелев столкнулся в подъезде с Зинаидой. В руках у нее был полиэтиленовый мешочек с какой-то едой.

— А, благодетельница! Ты бы перестала дурака валять, веселить дворников своей принципиальностью. Ну-ка, давай поднимемся, есть дело! Ты Марийке о смерти Вари не писала?

— Н-нет, — с запинкой ответила Зина. Запинка объяснялась тем, что писать она начала, но еще не закончила письма.

— Так вот, не вздумай писать. Ни сейчас, ни потом.

— Почему?

— Чтобы не пробуждать надежды, которые не сбудутся никогда.

Зина помолчала.

— Конечно, сейчас рано об этом говорить... Но кто может знать, что будет потом? Время — лучший врач. Утраченного не вернешь тем, что будешь длить несчастье другого. А разве Марийка, хотя бы под конец жизни, не заслужила свою долю счастья?

— Ну, бабы! — вскипел Шевелев. — Еще венки, наверно, не осыпались, а у тебя уже своднические идеи! Какое счастье получит Марийка? Я ей изуродовал жизнь, а теперь вот он я, старая развалина, ухаживай за мной... Как тебе не стыдно, моралистка?

Зине стало стыдно, она растерянно оглянулась по сторонам и тут же пришла в ужас:

— Господи! Ну и свинство ты развел за несколько дней!

— Наплевать! — отрезал Шевелев.

— Что значит — наплевать? Допустим, тебе нравится жить в грязи, но к тебе же люди ходят!

— Никто ко мне не ходит.

Зина, уже не слушая, принялась за уборку. Когда сестра ушла, Шевелев обошел квартиру. Только теперь он, по контрасту, понял, что свинство действительно было изрядным. «Чертова кукла» постаралась — все сверкало. Но зачем, для кого? Он вернулся к непроизвольно вырвавшейся фразе: к нему на самом деле никто не ходил...

Так сложилось давно. Все его дружеские, приятельские связи образовались в институте, с сослуживцами. Сначала и он с Варей бывал у друзей, время от времени собирались у них. По правде говоря, такие сборища не слишком радовали Шевелева. Они сводились к тому, что гости мялись и маялись в ожидании ужина. За столом наступало краткое оживление, направленное главным образом на еду и напитки. После трех-четырех

поспешно заглотанных рюмок начинали пьянеть, тогда и вовсе кончался осмысленный разговор — начинался галдеж обо всем и ни о чем, тыканье окурков в еду, споры, в которых каждый слушает и слышит только себя. Еще хуже было, если, окончательно окосев, затевали хоровое пение. Особенно старались те, кто, будучи трезвым, рта не открывал, так как не имел ни голоса, ни слуха... Когда Шевелеву пришлось прирабатывать, пьяные застолья отпали, а вместе с ними отпала большая часть бывших друзей: оказалось, бутылка была единственным, что их связывало и объединяло. С остальными дружественные отношения сохранились, но взаимные визиты стали крайне редкими. Они не стали чаще и потом, когда большинство из друзей вышли на пенсию. Раньше их объединяли работа, общие интересы, теперь общими остались лишь воспоминания — связь не слишком прочная и мало-помалу угасающая.

Единственным из всех друзей, с которым отношения не разладились и не охладели, был Устюгов. С самого начала он, по его выражению, «прикипел» к дому Шевелевых и появлялся там чуть ли не каждый вечер. К нему привыкли и привязались, он стал своим, почти членом семьи. Даже когда его ждала большая срочная работа, он забегал хотя бы на полчаса, рассказывал что-нибудь смешное или забавное, потом говорил: «Ну все, я убедился, что вы здоровы и относительно благополучны, зарядился эмоциями, теперь поволоку свой живот на алтарь отечества», — и убегал. Его присутствие никому не мешало и никого не обременяло. Иногда он исчезал на неопределенный срок, потом сообщал, что был в командировке. Каким-то необъяснимым образом Варя угадывала, если это было неправдой. Однажды она понудила Шевелева поехать к нему. Устюгов предупредил, что уезжает в командировку, но оказался дома. Шевелева он не впустил, а через узкую щель приоткрытой двери объяснил, что в командировке подхватил грипп, поэтому пусть Шевелев уходит, иначе он заразится сам и заразит всю семью. И пусть не беспокоятся — ему, Устюгову, ни черта не сделается, а всем необходимым его снабжают студийные ребята. Когда он, изможденный и осунувшийся, появился снова, Варя стала его упрекать за то, что он в трудную минуту прячется от друзей, отказывается от их помощи, что так с друзьями не поступают.

— Напротив! Я считаю, что во мне заложен здоровый

животный инстинкт. Это люди придумали противоестественное обыкновение досаждать окружающим своими несчастьями и болезнями. У животных все происходит несравненно благороднее. Заболевшая особь отделяется от стада и забивается куда-нибудь в глушь. Она или выздоравливает и возвращается в стадо, или умирает в одиночестве, не надрывая видом своих страданий сердца окружающих, которые все равно не в состоянии ничем помочь. Говорят, у слонов даже есть своеобразные кладбища, о которых молодые и здоровые не подозревают, но предчувствующие свою смерть старики каким-то образом отыскивают их и уходят туда в гордом одиночестве... Не мешайте мне хотя бы иногда и хотя бы мысленно чувствовать себя слоном...

— Непременно слоном?

— Ну, не сусликом же или еще каким-нибудь грызуном!

За все годы Шевелев считанные разы был у Устюгова. Тот к себе не зазывал и не очень привечал, если к нему приходили. В комнате у него всегда было чисто, но для стороннего глаза царил ужасный беспорядок, хотя на самом деле это был продуманный, строгий и удобный порядок, но только для самого хозяина. Не говоря уже о битком набитых стоячих и висячих полках, книги были всюду — на столе, на стульях, на тумбах выносных динамиков «Симфонии». Они не просто лежали, а были в работе — одни утыканные закладками с какими-то пометками, другие открытые с отчеркнутыми и подчеркнутыми местами. Время от времени одни убирались, на их месте появлялись другие. И повсюду лежали заметки, записи на небольших листках бумаги. Они тоже не были разбросаны как попало, а лежали в определенном порядке, понятном только самому хозяину. Каждый приход постороннего разрушал этот порядок, так как гостю негде было сесть и приходилось освобождать для него место...

И вот завсегдатай, непременный участник всего происходящего в их доме исчез. Он не приходил со дня похорон уже больше двух недель. Борис и Димка тоже не приходили. Понятное дело, обиделись. Что же, Устюгов тоже обиделся? За что ему-то обижаться? А может, он просто болен и следует его навестить? Тоже ведь не мальчик, даже года на два старше, только держит хвост пистолетом, не распускается. Да, надо проведать, мало ли что... Ближе друга у него не было и уже, конечно,

не будет. Каких-нибудь тридцать лет с гаком не перечеркнешь, особенно если дружба эта родилась под огнем, в первые дни войны...

Устюгова дома не оказалось. Значит, околачивается у себя на студии или в командировке. Шевелев даже обрадовался. Разговора о смерти Вари не избежать, а он не мог сейчас вынести никаких сочувственных, сострадательных слов. Пусть и самые искренние, они только саднили бы душу, не принося облегчения.

Шевелев механически сел в троллейбус и, когда позади осталась клумба площади Толстого, понял, что едет на Байково кладбище. Он опасался, что не сумеет найти могилу — в таком тумане находился во время похорон, но оказалось, что скорбный путь врезался в память. Оборотистый сынок престиж обеспечил: ограда была из десятимиллиметрового квадрата и сверкала на солнце свежей серебрянкой. На скамеечке внутри ограды, опершись локтями о колени, сидел сгорбившийся Устюгов. Шевелев растерянно остановился.

— Не топчись сзади, — не оборачиваясь, сказал Устюгов, — все равно я тебя уже видел.

Шевелев подошел, сел рядом и покраснел. Венков, как видно, давно уже не было, на прибранном могильном холмике лежали три свежесрезанные розы.

— Ты вот цветы принес. А у меня все из головы вон... Впрочем, ей это уже не нужно.

Устюгов обернулся к нему, и Шевелева поразили черные круги у него под глазами и провалившиеся щеки.

— Нужно не ей, а мне. Теперь ей ничего не нужно. И никто не нужен. Однако ты вот пришел?

— Наверно, культура чувства, как ты говорил...

— Я говорил о другом... Любить умершего нельзя — его уже нет. Остается любить воспоминания о нем. И поклониться местам встречи с ним. Могила — последнее место нашей встречи.

— Ты любил Варю?

— Ну, братец, ты толстокож, как буйвол...

— И все время молчал? Из благодарности за прошлое или из чистого благородства?

Устюгов сжал кисти рук так, что кожа на суставах побелела.

— Знаешь, — перемогаясь, сказал он, — если два старика подерутся возле могилы любимой женщины, это будет даже не смешно, а просто противно. Так что ты думай прежде, чем говорить... Увести можно дуру, кусок мяса с глазами. Или похотливую бабенку, которая привыкла ходить по рукам. А Варя была Антигоной, человеком бескомпромиссного чувства и долга... Восхищаться Антигоной хорошо, сидя в зрительном зале. Быть мужем Антигоны хлопотно и трудно. Не всякий выдержит. Ты — не выдержал.

— Ты бы выдержал?

— Не знаю. Надеюсь, что да.

— А Варя знала? Ты ей говорил?

— Нет, не говорил. Женщины всегда сами знают, когда их любят. Ей было не до меня. Рушился ее мир, вместе с ним погибала она сама.

— Она что-нибудь рассказывала?

— Нет. Но я знал. Я видел, как она проходила через это. Не всегда нужно говорить, когда любят, видят и так. Впрочем, однажды она сказала. Это было в пятьдесят восьмом, когда ты в третий раз поехал в Крым. Я видел, что она в мучительной тоске, и попытался отвлечь — уговорил поехать пообедать в «Кукушку»... Вот с тех пор и ведется ваша «кукушечная» традиция, — усмехнулся Устюгов. — Я лез из кожи, чтобы как-то позабавить, развеселить ее. Варя слушала и смотрела на Заднепровье. И я увидел, что по лицу ее текут слезы. «Что с вами, Варенька?» — «Кажется, я скоро умру. Мне стало нечем жить». Она сказала это так просто и спокойно, как говорят при твердом, уверенном знании. Я заболтал всякую утешительно-развлекательную чепуху. Варя снизошла к моим усилиям и улыбнулась, мы выпили шампанского и потом дружно притворялись, что это была случайная обмолвка в минуту слабости. Больше она никогда об этом не говорила, но я видел, что она угасает. Димка был ее последней опорой и надеждой...

— А я?

— Ты отпал давно. Еще тогда.

— Она тебе сказала?

— Плохо же ты знал свою жену. Впрочем, ты был счастливым мужем, а счастливые не только часов, они вообще ни черта не наблюдают и не замечают...

— Но если ты видел, почему не сказал мне?

— Что бы это изменило? Ты бы начал объясняться и своими объяснениями доконал ее еще раньше... Отремонтировать можно табуретку, чувства нельзя реставрировать... Это было катастрофой для нее, но она выстояла,

у нее была последняя вера и надежда — Димка. Оказалось, что ему и в него верить тоже нельзя... А она никогда не жила, не умела жить для себя. Потому ей и стало нечем жить.

— Вот тебе и ложь во спасение...

— В чье спасение? Ложь во спасение спасает только того, кто лжет. Впрочем, и его не спасает. Это всего-навсего отсрочка расплаты. Обмануть любимую женщину нельзя. Не знаю, каким образом, но рано или поздно, даже не зная, она угадывает, что перестала быть единственной...

— Черт его знает, затянула меня какая-то проклятая петля... Если тебе рассказать...

Устюгов поднялся.

— Нет уж, избавь меня от мазохистского смакования деталей предательства... Бывай, я пошел.

— Пойдем вместе, — встал и Шевелев.

— Нам в разные стороны. Пока, во всяком случае... Наверно, со временем я привыкну, притерплюсь...

Нескладно размахивая руками, ссутулившись больше обычного, Устюгов ушел.

Каждое утро опрятный, хотя и не очень ухоженный, еще бодрый старик идет по асфальтовой дорожке к молочному магазину и терпеливо ждет, когда привезут кефир. Если его привозят, он берет две бутылки, потом в булочной покупает четвертинку украинского хлеба. Поднявшись к себе на двенадцатый этаж, он неумело, но старательно прибирает в комнате и на кухне. Покончив с уборкой, Шевелев спускается вниз за почтой. Письма от Сергея редки, больше писать некому, и в ящике всегда лежит только «Правда».

Мир, который во времена его молодости представлялся необъятным, оказался маленькой и уже тесной планетой. Почти всегда где-то идет или вот-вот начнется маленькая или большая война, происходят восстания тех, кто хочет есть, против тех, кто жрет в три горла, или тех, кто жаждет свободы, против тех, кто эту свободу душит. Мир потрясают политические катаклизмы и физические катастрофы, в которых гибнут тысячи людей. На испещренных типографским набором страницах соседствуют примеры величия духа и низости, самопожертвования и трусливого прятания в быт, во что угодно, лишь бы отгородиться от других, от всего остального.

И все это — человечество. Но невообразимая множественность — как представить себе миллиард или четыре миллиарда? — из которой слагается человечество, распадается на слагаемые. Их непрестанно точат, травят свои проблемы, потрясают свои катаклизмы. Микро? Да, конечно, для других микро. Но для них-то они макро! И ужасающие тайфуны и ураганы с нежными женскими именами, извержения и землетрясения, которые происходят где-то далеко, — разве могут они заслонить, умалить его горе?

В доме скопилось изрядное количество книг. Варя всегда много читала, в последние годы, когда оставила работу, читала запоем. Теперь Шевелев тоже пытается читать, но огонь страстей книжных героев не похож на пламя, в котором корчится и задыхается он сам, и книги валятся у него из рук.

Иногда Шевелев включает телевизор. Долго он не выдерживает. На экране, сменяя друг друга, но с неизменной соской микрофона возле рта, певцы и певицы лакают, что-то лопочут с придыханием или истошно вопят. Еще чаще он натыкается на футбол. Двадцать два здоровых лба бегают по полю и пинают мяч, а при случае и друг друга. Вокруг ревут и беснуются болельщики. Десятки тысяч. Хорошо поставленными голосами комментаторы артистично симулируют увлеченность и даже страсть, подогревают болельщиков еще больше. В Италии болельщиков называют «тиффози». Их следовало бы назвать «психозы»... Не случайно, кажется, между Гондурасом и Сальвадором даже началась самая настоящая война из-за проигранного футбольного матча... Или современные гладиаторы в пробковой броне гоняют палками по льду круглый кусок резины. Стадионы поставляют ревущей толпе иллюзорные драмы, суррогаты эмоций и вышибают все человеческие чувства и мысли. Что приобретают болельщики, что остается у них в душе после двухчасового беснования на скамейках стадиона или ледовой площадки?..

Шевелев с остервенением выключает телевизор и выходит на балкон. Как всегда, расстилается перед ним неохватный глазом город. Сколько в нем — два или уже больше двух миллионов? Впрочем, какое это имеет значение — больше или меньше?.. Все поглощены своим делом, работой, заботами. Конечно, они радуются достижениям и успехам, гордятся ими, даже хвастают. И, наверно, среди них много счастливых, как был когда-то

счастлив он... Но рано или поздно к каждому приходит беда, горе и утраты, которых ни предотвратить, ни отвести. Шевелеву жаль их, но он не может им помочь, как и тем, кого где-то настиг ураган или землетрясение. И, должно быть, немало среди них и таких, как он, у которых все позади, и остается только подбивать бабки...

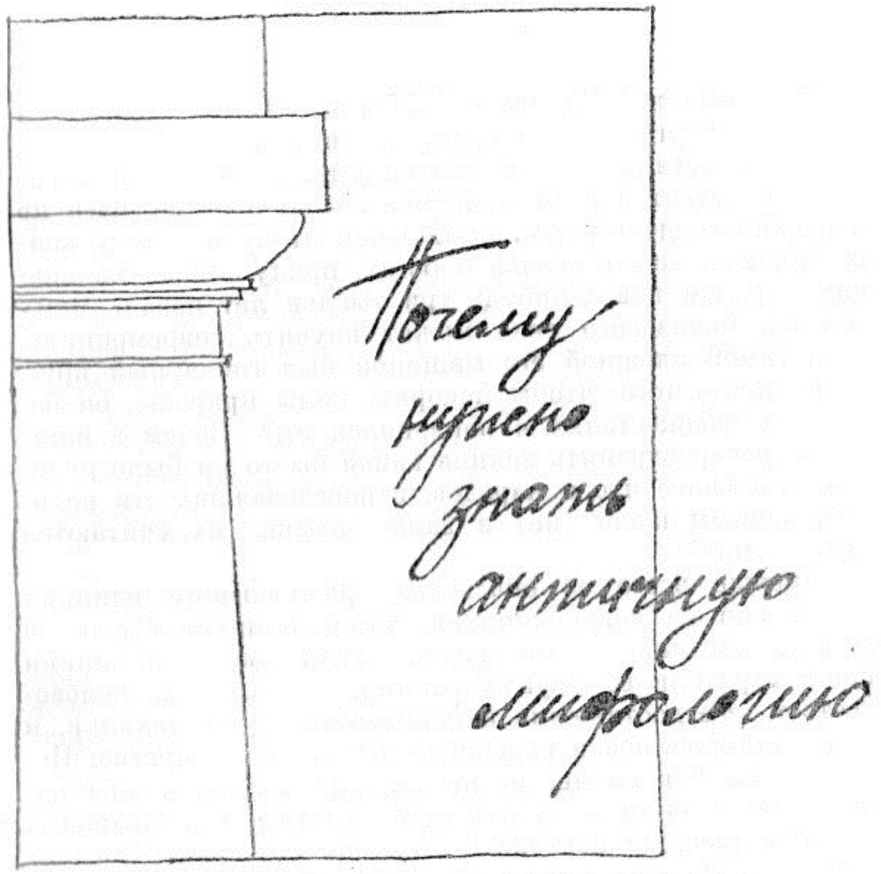
В далеком детстве учитель закона божьего рассказывал пугающую сказку о Страшном суде, который ожидает в будущем всех, живых и мертвых. Загремят серебряные — или, может, золотые? — трубы архангелов, восстанут из гробов все мертвые, предстанут все живые. И некуда, негде будет спрятаться, скрыться от этого грозного зова, от судилища, которое воздаст каждому за все дела его, праведные и неправедные. И всех настигнет неизбежное, неотвратимое возмездие...

Сидя в скрипучем плетеном кресле, Шевелев все время мысленно возвращается к этой пугающей сказке далекого детства. Она должна была устрашить, предостеречь людей — и их, тогда лопоухих мальчишек, — от неправедной жизни, нечестных поступков, вольных или невольных злодеяний... Кого предостерегла эта сказка, кого остановила?..

Человек во многом определяет свое настоящее, в какой-то степени может не предвидеть, но предопределить свое будущее. Он беспомощен и бессилен только перед своим прошлым — в нем ничего нельзя изменить.

Беззвучно гремят трубы невидимых архангелов, возвещая Страшный суд, и так же бесшумно рушатся стены шевелевского Иерихона — крепости, созданной им из надежд и лжи, иллюзий и самообмана, за которыми он пытался укрыться, спрятаться от прошлого. И он остается перед самым нелицеприятным судьей — совестью. Он уже слишком стар, чтобы на что-то надеяться или пытаться ее обмануть.

Так из вечера в вечер Шевелев смотрит на распростертый город, в котором бурлит уже сторонняя ему жизнь, вершит над собой беспощадный суд совести за все, что сделал, за все, чего не сделал. И ждет заката.



эссе

А нужно ли? На дворе 1971 год, человек пользуется атомной энергией и кибернетическими машинами, пересаживает органы тела и учится управлять наследственностью, летает в космосе и уже сделал первые шаги по поверхности другой планеты. Зачем этому человеку конца XX века знать сказки о богах, придуманные маленьким народом каких-нибудь три тысячи лет назад? Чему человек бронзового века может научить современника, если самой сложной его машиной был гончарный круг, если вместо того, чтобы покорять силы природы, он боялся их, обожествлял и поклонялся им? Зачем в наше время распространять знание какой бы то ни было религии, тем более что и народов, исповедовавших эти религии, давным-давно нет и даже языки их считаются «мертвыми»?

Прежде всего об опасности религиозного влияния мифологии на современников. Такое влияние стало бы возможным лишь в том случае, если бы современники наши утратили всю сумму знаний, накопленных человечеством, все достижения цивилизации, науки, техники, и вновь погрузились в пережитое когда-то варварство. История способна на многие неожиданности, но только в одном направлении — в будущем: ни внести поправки в происшедшее, ни повторить себя она не может. Следует добавить, что греческая мифология — и это одна из примечательнейших ее особенностей! — сама в себе несла зародыши своего отрицания как религии. Именно у греков, создавших столь яркий политеизм (многобожие), появился и атеизм, то есть безбожие, неверие в каких-либо богов.

Что же касается «живых» и «мертвых» языков, то, вообще говоря, понятия эти достаточно условны. Конечно, древнегреческий и латынь «мертвы» в том смысле, что они остановились в своем развитии, они такие, какие есть, и другими стать не могут. Но возьмем другую сторону вопроса: для того, кто не знает, скажем, английского или французского, эти языки столь же мертвы, как древнегреческий и латынь. Для счастливцев, знающих

латынь и древнегреческий, могущих в подлинниках читать произведения греческого или римского гения, языки эти не утратили ни живости своей, ни гибкости, ни величия и силы. А вообще у древнегреческого и латинского, этих якобы «мертвых» языков, завидная судьба. Европейская культура охватила весь земной шар, не минуя и те страны, в которых существовала своя, подчас более древняя культура, как Индия, например, или Китай. Зародилась, складывалась европейская культура у средиземноморского очага древних греков и римлян. На протяжении каких-нибудь десяти веков воинствующая христианская церковь заливала этот очаг и все его отпочкования излюбленным защитным средством всякой реакции — кровью инакомыслящих и бунтарей, но так и не смогла окончательно погасить: он возгорелся пламенем Ренессанса — Возрождения. Языками возрожденных — и рождающихся! — наук стали латынь и древнегреческий. Впоследствии, по мере развития национальных языков и культур, науки заговорили на языках различных народов, но основа научной терминологии была и остается поныне греко-латинской. Греко-латинская наука была изначальной для современной, греко-латинская терминология осталась связующим интернациональным цементом для всех бесконечно разветвившихся отраслей знаний. Она облегчает ученым взаимопонимание, она помогает слиянию национальных ручейков знания во всемирный поток общечеловеческой мудрости.

Мы просто не отдаем себе отчета в том, насколько глубоко и обильно проникновение, а вернее, врастание греческой лексики в языки национальные. В повседневном обиходе у нас греческие слова от самых привычных, бытовых, вроде «тетрадь», «школа», «огурец», «уксус», до самых торжественных и возвышенных, как «демократия», «академия», «герой». И святилище футбольных болельщиков «стадион» достался нам в наследство от греков, и самые прославленные ныне слова, определяющие высочайший взлет человека в прямом и переносном смысле — «космонавт», «астронавт», образованы от греческих слов... Так «мертвые» языки продолжают жить и будут живы, пока существует человечество.

Но дело, конечно, не в лексике, не в том, что атом атомом, а космос космосом назвали древние греки. В эпоху Возрождения возрождаются к новой жизни античная литература, науки, искусство, и в этом нет ничего удиви-

тельного или неожиданного. Но почему по всей Европе совершает триумфальное шествие античная мифология, почему она покоряет все виды искусства, становится неисчерпаемым источником тем, сюжетов и мотивов, критерием и образцом, а знание ее — непременным условием и признаком образованности? Несколько столетий спустя то же происходит и в России. С опозданием и потому, быть может, с еще большим упоением образованный россиянин окружает себя изображениями греко-римских богов и героев, их именами пестрят литературные произведения, они поминутно на устах собеседников, мифологические имена, мотивы становятся своеобразным кодом, облегчающим выражение мысли и взаимопонимание. Литература XVIII и начала XIX веков, в том числе и добрая половина стихов А. С. Пушкина, особенно ранних, для человека, не знающего античной мифологии, попросту непонятна. Увлечение в среде «светского» мещанства можно еще в известной мере объяснить модой, но как объяснить увлеченность мифологией самых могучих умов, самых великих творцов и художников?

В борьбе с природой человек вооружил себя науками и техникой. Всевозможные машины, инструменты, приборы, счетчики и датчики позволяют человеку проникать в сокровенные глубины окружающего мира, понимать происходящие процессы и явления, влиять на них, останавливать или развивать их, менять качества, свойства вещей и материалов и даже создавать новые. Компьютеры, автоматы, телемеханические устройства все чаще и больше освобождают человека от необходимости делать, действовать самому и даже решать. Но какими приборами можно измерить глубину и силу чувства? Какой компьютер примет за Алкесту решение отдать жизнь ради продления жизни любимого Адмета, когда даже его престарелые родители не захотели расстаться с жизнью, чтобы спасти сына? Какая сигнальная система, какие датчики дадут знать затерявшимся в многотысячной толпе двум людям, что они изберут друг друга среди тысяч и между ними зародится великое чудо любви? Какой счетчик предупредит о нарастающей волне ревности, которая захлестнет именно этого, а не какого-нибудь другого человека и достигнет такой силы, что приведет к трагедии? Какие приборы предскажут то высокое сопряжение ума и чувства, которое поднимет человека над толпами, и о нем потом будут говорить «талант» или даже скажут «гений»? Вождей, полководцев находит, выдвигает и создает совокупность условий человеческого существования. Но какие законы определяют появление Шекспира или Рембрандта? Чем измерить, как определить то, что заставило Сократа выпить яд, а Джордано Бруно подняться на костер, но не отказаться от своих убеждений? Почему независимо от условий, вопреки всяким условиям человек сохраняет неистребимую, неискоренимую жажду свободы?

По отношению к внешнему миру человек вооружен поразительными знаниями, фантастической техникой, по отношению к себе самому у него есть великое средство познания — искусство и литература. Они не дают рецептов поведения и не открывают абсолютных истин (увы, абсолютные истины недостижимы и для точных наук!), они непостоянны и переменчивы, как сам человек. Вместе с ним они переживают взлеты и падения, пальма первенства и значения переходит от одного вида к другому, но именно они, порознь и все вместе, объясняют человеку человека, каким он был, каков есть, каким может и должен стать.

Литература и искусство зарождаются в недрах мифологии и одновременно с мифологией. Создавая сказания о богах и героях, человек совершал первый акт творчества и делал первый шаг к самопознанию. С тех пор литература и искусство прошли большой путь. Чтобы понять этот путь и его результаты, каждый человек должен сам пройти его заново: нельзя сделать последующих шагов, не сделав первого. И поэтому «каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величавой древности» (А. С. Пушкин).

В наше время не редкость услышать мнение о второсортности, необязательности и даже бесполезности такого рода знаний. Наше-де время — время точных знаний, человек должен уметь создавать машины и управлять ими, все остальное — балласт, который навязывают всем по привычке, устарелой и утратившей смысл традиции. С каждым днем все больше объем информации, специальных знаний, которые употребляются повседневно, в процессе труда. А зачем знание вещей, которые нельзя использовать, применить на практике? Миф о Геракле не поможет строить гидростанции, картина Рембрандта не облегчит конструирование станка, а «Одиссея» не подскажет, где искать нефть...

Рассуждающих подобным образом можно назвать

прагматиками (от греческого слова «прагма» — «действие», «польза») или утилитаристами (от латинского «утилис» — «польза»), сами же они зачастую называют себя жаргонным словом «технари́», должно быть не подозревая, что и этот варварский неологизм тоже образован от греческого слова. Хотят того «технари» или нет, они проповедуют духовную нищету. Человеку дается только одна и, к сожалению, не слишком долгая жизнь. Читая литературу, изучая искусство или хотя бы знакомясь с ним, человек вбирает в себя эстетический и нравственный опыт других людей, поколений, других времен и народов. Живя однажды, он вместе с тем как бы живет сотнями и тысячами чужих жизней, становится сопричастным духовному уровню и опыту всего человечества. Отвергая по невежеству эти «необязательные», «бесполезные» знания, утилитарист ограничивает свой эстетический и нравственный багаж лишь собственным, личным опытом, а он неизбежно жалок и ничтожен в такой же степени, в какой один человек мал и незначителен по отношению ко всему человечеству.

Римляне называли рабов «инструментум вокале» — «говорящее орудие». Раб не знал ничего, кроме своей тачки, не видел дальше весла триремы, к которому был прикован, но он становился придатком тачки или весла не по своей воле — таким его делало насилие. Человек, который довольствуется утилитарными, только технологическими знаниями, по доброй воле превращается в «говорящий инструмент», идет в рабство к машине, а тот факт, что он приковывает себя не к тачке, а к компьютеру, ничего не меняет, это всего лишь качественная примета иного времени. И остается такой «технарь» при убеждении, что Геркулес — это всего-навсего овсяная крупа для детского питания. Венера Милосская — каменная тетка с отломанными руками, которую почему-то не заменяют новой, не искалеченной, что можно сделать «запросто», Орион — магазин хозтоваров, а Орфей — название сигарет...

Мы называем мифы сказками. Однако у древних они вовсе не были досужими вымыслами, придуманными для развлечения или назидания. Это были как нельзя более серьезные попытки понять и объяснить окружающий мир, его происхождение, место и роль в нем человека. Мифы есть или были у каждого народа или союза, группы племен, позднее сложившихся в единый народ, — у народов Азии и Африки, Полинезии и Нового

Света и, конечно, у народов, населявших древнюю Европу. В клокочущем котле истории, каким на протяжении тысячелетий был Ближний Восток, возникали и распадались цивилизации и культуры, сменяя друг друга, перенимали чужие и ширили свои верования, распространяя их влияние и на греческое Средиземноморье. Это продолжалось до тех пор, пока во славу нового пророка кривые сабли мусульман не залили кровью иноверцев огонь под этим котлом и не навязали народам Ближнего Востока религию аравийских торговцев и пастухов. Была своя мифология и у наших предков, славян, но, не закрепленную в письменных памятниках, ее начисто вытравило христианство. От славянской мифологии осталось лишь несколько ничего не говорящих имен да прадревних обрядов, смысл и значение которых давно утрачены.

Если древнегреческая мифология (или греко-римская, хотя римская была лишь бледным сколком греческой), *не была единственной*, почему она, и не какая-либо другая оказала столь глубокое, формирующее и непреходящее влияние на развитие европейской культуры, литературы и искусства?

Благодаря ее древности? Сама по себе древность явления еще не составляет его достоинства. Известно немало явлений, верований и обычаев, которые вовсе не украшают древности: например, у тех же греков обыкновение выбрасывать неугодных младенцев, человеческие жертвоприношения и т. д. Однако по мере углубления в прошлое, за пределы истории, человеческая мысль в своих поисках начал и причин все реже встречает достоверную опору и материал. Поэтому мы столь и ценим древнейшие памятники прошлого. Греческая мифология *не была древнейшей*. Мифологии шумеров, египтян, хурритов были значительно «старше». Достаточно сказать, что шумеры были уже забыты, а хеттское государство распалось в то время, когда дорийцы еще только вторглись в Грецию.

Греческая мифология *не была самой распространенной*. Следует сказать, что греки никогда и не пытались ее распространять, навязывать свои верования другим народам. Их боги были прежде всего богами домашнего очага, «семейными» и враждебными по отношению к посторонним. А так как государство считалось как бы большой семьей, то не подобало его богам покровительствовать чужестранцам, варварам. (Слово «варвар» в древности вовсе не было оскорбительным, для

грека оно попросту означало человека, говорящего не по-гречески.)

Отнюдь не агрессивная, совсем не воинственная, греческая мифология совершает поразительные и совершенно бескровные завоевания. По доброй воле ей покорятся, признают своей римляне и разнесут до самых дальних пределов громадной Римской империи, а после тысячелетнего небытия она возродится и покорит уже не один народ, а всю Европу. Произойдет вторичное «похищение Европы», только уже не девицы, соблазненной Зевсом, а просвещенных умов целой части света... Чтобы это могло произойти, греческая мифология должна была обладать качествами, привлекательными для всех европейских народов, обладать общечеловеческой, ценной и важной для всех людей направленностью и содержанием.

Ее называли самой прекрасной. Это легко повторить, но повторять вряд ли следует, так как здесь мы вступаем на ставшую в наше время крайне зыбкой почву сравнения и оценок национальных творений. Можно говорить о том, что та или иная мифология приобрела большое влияние и распространение, но вряд ли уместны попытки устанавливать степень сравнения, выставлять оценочные баллы, тем более что такой подход ничего в сущности не объясняет и легко может быть оспорен. Любому народу его сказки, легенды и предания ближе и дороже, чем все иные, представляются ничуть не менее, а более прекрасными, чем другие. Для каждого народа его национальная мифология — источник творческих тем, сюжетов и мотивов, а если произведения, вдохновленные ею, не перешагивают национальные границы, это не умаляет их ценности внутри границ. Трудно ожидать, чтобы кузнец Ильмаринен стал для финна менее привлекателен, чем греческий Гефест; чтобы Отец Ворон Тукунгерсак стал канадскому эскимосу менее понятен, чем Кронос или Зевс; чтобы священная троица африканских йорубов Орун, Олокун и Осу отступила в тень перед троицей олимпийцев, а исповедующий синтоизм японец отрекся от него во славу греко-римского Пантеона. Художественные вкусы всегда достаточно связаны с национальным самосознанием, а теперь, пожалуй, более, чем когда-либо. Поэтому лучше оставить в стороне сравнительные оценки эстетических качеств различных мифологий. Подобное сопоставление легко может привести к противопоставлению, а от него рукой

подать до кажущейся или действительной дискриминации национальных творений.

Эстетические достоинства сыграли, конечно, большую роль в распространении греческой мифологии, но решающими были не они, а качества этические, нравственные. Они-то и послужили главной причиной ее триумфов.

Древний грек, как и все первобытные люди, населяет мир страхами. Если бы дело остановилось на этом, греческая мифология осталась бы заурядной, ничем не выделилась среди других. Но, населяя мир страхами, грек населяет его также мечтами и надеждами. Надеждами на богов? Нет, на человека! И в этом — главное. Проследим, хотя бы крайне бегло, как это произошло.

Мир непонятен, враждебен и полон опасностей. Человек по сравнению с ним слаб и беспомощен. О борьбе не может быть и речи, остается единственное — умолить, задобрить этот мир, откупиться от него. Камень падает с неба (метеорит), значит, в нем заключена чудесная сила. Но камень падает и с горы. Почему? Очевидно, и в нем заключена сила, которая перенесла его с горы на равнину. Эти силы надо задобрить — поклониться им, принести жертву, то есть откупиться. Обугленный молнией ствол дерева или даже палка несут на себе знак непонятной, страшной силы, их также следует задабривать. Так появляется поклонение мертвым предметам — фетишизм. (Он продержится долго, преобразуясь потом в поклонение изображениям богов, и доживет до наших дней в виде поклонения иконам у православных и статуям у католиков.) Но с течением времени человек начинает понимать, что мертвое — мертво и никак не влияет на его жизнь. Он обожествляет животных, но затем убеждается, что животным нет никакого дела до человека и что не животные сильнее его, а он сам сильнее и умнее всех животных. Итак, с мертвыми предметами он научился делать что угодно — камни, палки, земля, глина, потом и металлы превратились в орудия и материалы, любое животное человек научился побеждать. Но грозные, непонятные силы остались — вода, гроза, свет, Луна, Солнце, ветер, огонь... Они движутся, значит, они живые. Человек стремится охватить эти явления своим бедным пока разумом, но он еще не умеет мыслить абстракциями, поэтому не может представить ничего, кроме того, что видел и знал. Знал же и видел он лишь предметы мертвой природы, животных и себя — челове-

ка. Поэтому все мифические чудовища образуются или арифметическим наращиванием частей тела — свирепый страж Аида — пес, но с тремя головами, у лернейской гидры голов уже девять, а у гекатонхейров по целой сотне рук! — или соединением воедино нескольких существ — человека и змеи, человека и птицы, а Химера образована даже из трех составляющих: спереди лев, сзади дракон, а посредине коза. Человек уже знал, что он сильнее и умнее предметов и животных, а раз так, то все благодетельные и опасные силы тоже должны иметь облик человека. Только они больше человека, сильнее человека, они — боги.

Эллины уподобили богов людям, так как увидели, что никто не может быть так жесток и ужасен, как человек; они уподобили богов людям потому, что узнали: никто не может быть так добр, благороден и прекрасен, как человек; они уподобили богов людям потому, что никто не может быть столь сложен, противоречив и неразгадан, как человек. «Много есть на свете поразительного, но нет ничего поразительнее самого человека» — эти слова хор в «Антигоне» Софокла произнесет только в V веке до нашей эры. Но за много столетий до Софокла эллины, еще не умея с такой силой и точностью сформулировать эту мысль, вложили ее в свое первое творение — мифологию, которая была отражением отношений, сложившихся на земле, а обитатели Олимпа — реалистическими изображениями человеческих типов. К антропоморфизму приходят почти все мифологии. Но ни у какой другой он не доходит до такого предельного реализма, конкретности, почти натурализма. Величие греков не в том, что они уподобили богов людям, а в том, что они бесстрашно всматривались в природу человека, перенесенную в бога. В мире под властью ацтекского Уицилопочтли или древнегерманского Одина перед богами можно было лишь трепетать и безропотно склоняться. Эллин поклонялся своим богам, но он был любознателен, любопытен до нескромности, дерзок и своеволен в своих отношениях с олимпийцами, не говоря уж о богах второстепенных. Ни в одной другой религии не появлялось столь критическое отношение к богам, нигде этот критицизм не вел так последовательно к их отрицанию.

Древний эллин безоговорочный реалист, его мышление сугубо конкретно. Сделав богов подобными людям, он идет в этом уподоблении до конца и наделяет богов

всеми человеческими качествами. Боги не возникли из пустого места, сами по себе, они рождены; им нужно есть и пить, они устают и спят, их нельзя убить, но можно ранить, и они страдают от боли; их снедают те же страсти и пороки — они влюбляются и ревнуют, они завистливы и тщеславны, хвастливы и злопамятны, при случае могут соврать и обмануть, бывают малодушны и просто трусливы. Греки называют богов небожителями, но так как это слишком отдаленно, абстрактно и не очень понятно, они поселяют своих богов на Олимпе. Гора хотя и самая высокая в Греции, но отовсюду видна и, в общем, доступна. Таким образом, боги, можно сказать, всегда под рукой, а самим богам удобно и легко спускаться на землю, чтобы затевать шашни или вмешиваться в дела людей.

Вмешиваются они постоянно, всегда. В сущности, они только людьми, вернее, одними эллинами, и занимаются. Но — каждый по своей специальности. За исключением Зевса, который, захватив верховную власть, оставил за собой надзор за богами и людьми, остальные боги — и это замечательная черта греческой мифологии! — все приставлены к делу. У народа-труженика, мастера на все руки, и боги были такими же тружениками и мастерами. Одно из прозвищ Афины — Эргáнэ, то есть Работница; Гефест не вылезает из своей кузницы и даже на Олимпе бывает неохотно; Артемида пропадает в земных лесах; Дионис предпочитает странствовать по земле, обучая людей виноделию и... винопитию, а обязанности Гермеса трудно и перечислить. Это боги-наставники. Они научили людей земледелию, кузнечному, ткацкому делу, судостроению и мореплаванию, счету и письму, всевозможным ремеслам, гимнастике и искусствам. Ни в какой другой религии мы не найдем такого сонма богов и богинь, которые покровительствуют музыке. При этом следует помнить о том, что музыкой греки называли не только, как мы, мелодическое чередование звуков, но всякое знание и умение, так как они находились под покровительством особых богинь — муз. Олимпийские боги любили музыку и в узком, нашем понимании (греки придавали ей большое значение как облагораживающему искусству), поэтому, насытившись нектаром и амброзией, они внимали хору муз, которым управлял Аполлон, — бог света, искусства и знания.

У греков был и бог войны Арес, — поскольку войны происходили, то на Олимпе должен был существовать

и соответствующий специалист. Однако Арес не пользовался симпатиями ни богов, ни людей. Эллины его не любили и храмов ему не строили, боги же относились к нему насмешливо или с презрением и ненавистью, как, например, Афина. Да и за что было богине мудрости любить невежественного, неотесанного солдафона, который ничего не знал и не умел, а только натравливал людей друг на друга, учил их убивать, хотя сам в нужную минуту храбростью отнюдь не блистал? Не говоря уже о богах, с ним справлялись и люди, когда, например, к позору своему, он был заперт разбойниками в подземелье...

Чем же отличались греческие боги от людей? Они сильнее? Да, конечно. Но они далеко не всесильны. Не раз случалось, что и люди давали им почувствовать свою силу: Геракл вступает в борьбу с Аполлоном, ранит Плутона, а бога смерти Таната ему было достаточно стиснуть покрепче и настращать, чтобы тот отступил; Диомед ранит Афродиту и самого Ареса так, что тот, взвыв не своим голосом, поспешно прячется на Олимпе... Они красивее? Разумеется, Аполлон — воплощение мужской красоты, Афродита — женской, да и вообще все боги прекрасны. Однако Кассиопея считала, что она красивее богинь, а Психея была столь прекрасна, что люди поклонялись ей как богине, чем навлекли на нее гнев Афродиты. Известно немало случаев, когда боги и богини не могли устоять перед красотой эллинов и эллинок. Избранницей бога любви Амура стала Психея; Афродита, не считая богов, отдавала свое сердце и Адонису и Анхизу, а сам Зевс — это вообще какой-то небесный донжуан, за что от супруги доставалось и ему, но главным образом соблазненным...

О какой же нравственности в таком случае может идти речь, если даже боги наделены всевозможными пороками, не возвышаются над страстями, а поддаются им? Что же, не прав Ксенофан из Колофона и все критики олимпийского сонма богов, которые упрекали Гомера и Гесиода в том, что те приписали богам все людские пороки, что боги эти аморальны и безнравственны? Прав Ксенофан, правы критики — олимпийские боги безнравственны. А люди? Вот тут-то и пролегает самое существенное различие между богами и людьми, установить которое в некоторых случаях бывает затруднительно.

В истории человечества еще не было власти, которая бы покарала самое себя. В этом смысле власть олимпийцев не составляет исключения. Боги безнравственны и практически безнравственны безнаказанно, так как они бессмертны. Даже если бог нарушал клятву (тягчайшее преступление) и был осужден целый год пролежать недвижимым, как бы мертвым, — что это в сравнении с вечностью, которая ему предстояла? Люди тоже совершают преступления и безнравственные поступки, но они *всегда* за это наказываются. Их карают боги, их карает общество или они карают себя сами. Данаиды за убийство мужей осуждены в Аиде на бесконечный, бессмысленный труд. Геракл за убийство жены и детей, хотя оно было совершено в припадке безумия, должен совершить двенадцать искупительных подвигов, а почти каждый из них смертельно опасен. Тезей — прославленный при жизни герой, так много сделал для Афин, но, когда он похищает малолетнюю Елену, Афины осуждают его на изгнание, и он гибнет на чужбине. Клитемнестра убивает мужа, Агамемнона, но за это ее убивает собственный сын Орест. Матереубийцу нещадно преследуют Эринии. А Эдип? Он убивает Лая, не ведая, что это его отец; он женится на Иокасте, не подозревая, что она его мать. Как это могло произойти? Причину можно назвать как угодно: Предопределение, Судьба, Рок, Случай... Для Иокасты и Эдипа знание причины не имеет никакого значения, важно единственное: преступления совершены и совершили их они. За содеянное отвечает содеявший. И они не ждут кары небесной, посмертной или общественной, а карают себя сами: Иокаста вешается, Эдип выкалывает себе глаза и вскоре умирает, раздавленный сознанием своей чудовищной вины.

Однако утверждение нравственности не могло состоять и не состояло, разумеется, лишь в наказании тех, кто ее нарушил. Греческая мифология развертывает перед нами поразительную картину проявления высочайших человеческих достоинств, взлета человеческого духа, его мужества и силы. Древний грек верил в Предопределение, верил в своих богов и боялся их. Ничуть не менее он боялся и всякого рода примет, был одержим суевериями, которые сохранились от древнейших времен анимизма и которые отлично уживались у него с верой в олимпийцев. У него не было никаких иллюзий насчет загробного мира, никаких надежд на посмертное вознаграждение: жизнь — единственный и неповторимый дар. И вот этот самый грек, боящийся богов и смерти, во имя долга идет на смерть, вступает в спор и даже

борьбу с богами. Антигону ждет неминуемая гибель, но она исполняет долг по отношению к брату. Исполняя долг, Геракл не устрашился Артемиды и не уступил ей свою добычу; возмущенный несправедливостью, он вступает в бой с Аполлоном и даже бога смерти заставляет убраться восвояси. А Диоскуры, так любящие друг друга, что, когда один из них погибает, второй не хочет влачить жизнь в одиночестве? А Алкеста, которая, не колеблясь, отдает свою жизнь, чтобы спасти жизнь любимого мужа? А Пенелопа, двадцать лет хранящая супружескую верность Одиссею? А сам Одиссей, который отвергает любовь богини и даже возможное бессмертие во имя любви к родине, родному дому и близким? А Гектор, блистательный, благороднейший Гектор, который знает, что сражается за обреченное дело, что он погибнет в этой борьбе, но не может и не хочет отступиться, так как выполняет свой долг — защищает свой дом, своих близких, свое отечество.

Чудеса — непременный элемент всякой мифологии. В греческой их тоже предостаточно, однако примечательно то, что даже в те отдаленные «сказочные» времена чудесные вещи и превращения служат главным образом богам и крайне редко людям — последним приходится рассчитывать лишь на свои силы. В сущности, только Персей воспользовался шапкой-невидимкой, Беллерофонт — крылатым конем Пегасом да Медея, могущественная волшебница, использует свои чары в отношениях с людьми. И Геркулес и Тезей свои подвиги совершают сами, без всякого колдовства; силой своего разума Эдип изгоняет сфинкса; только ловкость и сила охотников побеждают волшебного калидонского вепря; только благодаря мужеству, воле и силе своих рук Одиссей не погибает во время бури, насланной на него Посейдоном. В славянских и арабских сказках герои летают на волшебном ковре-самолете. У греков человек тоже летит, но без всякого волшебства — на крыльях, сделанных своими руками.

Могучи сверхъестественные силы, еще более велико могущество богов, но есть сферы, где и те и другие оказываются бессильными перед человеком. Ни волшебные чары, ни воля богов не могут заставить полюбить или разлюбить. Волшебница Цирцея не может заставить Главка разлюбить Скиллу, она может лишь отомстить, превратив Скиллу в чудовище. Чары Медеи так велики, что она может вернуть человеку молодость, но никакими

чарами она не может вернуть любовь Язона, и ей остается только убить Креусу. Над любовью человека не властен никто, своей любовью он возвышается над всеми силами — земными и небесными.

Едва ли не столь же могущественно в глазах грека искусство. Пение сирен действует так чарующе, что моряки забывают о веслах, парусах и гибнут, разбиваясь на скалах. Амфион так божественно играет на арфе, что камни, тронутые его музыкой, сами укладываются в стены. Изваянная Пигмалионом Галатея столь прекрасна, что пробуждает в его сердце любовь к себе, и любовь эта так велика, что оживляет безжизненный мрамор. Орфей своим пением завораживает бушующие волны, и они успокаиваются. А когда его любимая жена Эвридика гибнет, он своей музыкой покоряет Харона, Цербера и самого Плутона и добивается освобождения Эвридики из царства мертвых, хотя тут же по своей вине теряет ее... Искусство, оживляющее камень, искусство, воскрешающее мертвых, — может ли быть более высокая оценка творческих возможностей человека?

Даже боги древних греков были далеки от идеала, и уж конечно, греки не создавали, не придумывали идеальных героев, образцов и примеров для подражания. Они не боялись правды, а правда состоит в том, что человек может быть великим и ничтожным, в нем уживаются возвышенные устремления и постыдные слабости, героический дух и пороки, черты благороднейшие и самые низменные и презренные. Герои их мифологии — люди насквозь земные, из плоти и крови, а не худосочных вымыслов и домыслов. Именно поэтому греческая мифология рождала новую веру и поддерживала надежды. Веру, которая не имела ничего общего с религией, — веру в человека и надежды на его будущее. Боги вне подражания — они боги; идеальный герой — бесплотная выдумка, несопоставимая с живым человеком. Но если человек, обыкновенный смертный, со всеми его слабостями и недостатками, способен на захватывающий дух героизм, на благородство и самопожертвование, которые неведомы ни богам, ни другим живым существам, кроме человека, если мысль человека бесстрашна и неостановима, все меньше полагается на чудо и все больше на самое себя; если человек во имя свободы и справедливости способен восставать даже против богов, — для него нет пределов прогресса, его самосовершенствование неостановимо.

Эта мифология, верящая в человека, любящая человека, прославляющая человека, не могла не возродиться к новой, очищенной от религиозного содержания жизни в эпоху Ренессанса. Она стала органической частью гуманизма (от латинского «гуманус» — «человеческий») — борьбы за освобождение человеческой личности и разума от оков феодализма и христианской церкви. С тех пор столетие за столетием композиторы, художники, скульпторы, поэты, драматурги и даже политики припадают к этому неиссякающему источнику «живой воды», черпают в нем вдохновение, находят недосягаемые образцы. Не будем говорить об отдаленном прошлом. Но вот пример из прошлого совсем недавнего. После революции в центре Днепродзержинска был поставлен памятник — на высокую колонну вознесена фигура Прометея, разорвавшего цепи. Прометей, разрывающий цепи, олицетворял пролетариат, сбросивший оковы капитализма и царизма. Не знаю, кто был инициатором, но отформовали, отлили и поставили памятник сами днепродзержинские рабочие. В начале пятидесятых годов днепродзержинцы с гордостью рассказывали мне, как во время фашистской оккупации гитлеровцы пытались разрушить, снести «их Прометея», даже танком пробовали своротить колонну-постамент, но Прометей устоял и стал как бы новым символом — непобедимости советского народа...

Присмотритесь, прислушайтесь внимательно! Герои и боги Древней Эллады обращаются к вам со страниц творений великих писателей, с полотен художников в картинных галереях, мраморные, бронзовые, они обступают вас в музеях; атланты стоят входа в Эрмитаж, бронзовый Марс стал памятником Суворову на Марсовом поле в Ленинграде, над входом в Большой театр распростерлась в полете квадрига бога искусств Аполлона... Да разве только в Москве, Ленинграде! Если вы окажетесь на берегах Черного моря (Понта Эвксинского), от устья Дуная (Истра) до грозных скал Кавказа, где был прикован Прометей, и Колхиды, где аргонавты добыли золотое руно, — повсюду остались следы, памятники греческих поселений, колоний, в которые они привозили огонь родных очагов, статуи своих богов, свои верования и свое искусство. Сумароков, путешествуя по Крыму, еще застал развалины храма Артемиды, в котором жрицей была Ифигения. В Керчи сохранился один из немногих в нашей стране образчик древнегреческой живописи — в так называемом «склепе Деметры» изображены скорбящая Деметра и сцена похищения Персефоны Аидом. В Одессе, Ольвии, Херсонесе Таврическом, Керчи и множестве иных мест вас окружают памятники Древней Эллады и из глубины веков обращаются к вам ее герои. Если вы не понимаете, не слышите их, то не потому, что они стали безгласны или «вообще устарели». Это лишь означает, что вы не умеете их слушать и не слышите, так как попросту ничего о них не знаете. Такое незнание делает вас духовно беднее, чем вы могли бы быть.

Отбросьте же духовную лень и попытайтесь открыть для себя будоражащий ум, обогащающий чувства мир античных мифов. Вас поведет по нему глубокий знаток этого мира, вдумчивый, тонкий наблюдатель и превосходный рассказчик — польский писатель Ян Парандовский. Об античной мифологии написаны сотни, если не тысячи, исследований, пересказов и популярных книг. С уверенностью можно сказать, что книга Я. Парандовского принадлежит к лучшим из них. Ян Парандовский не ставил своей задачей исчерпать тему, он не пересказывает всех мифов и не обременяет свой рассказ излишними подробностями. Зато он делает нечто неизмеримо более полезное и важное. Насколько это возможно для человека XX века, он воссоздает духовный мир народа, творящего мифологию, прослеживает развитие его религиозных верований, отмирание одних и появление новых, беглыми, но точными штрихами набрасывает общую картину жизни, быта древних греков и римлян, как бы переносит читателя в атмосферу того времени, в круг его интересов, конфликтов и тем самым помогает понять зарождение и развитие такого изменчивого и столь неизменно прекрасного мира античных мифов. Рассказывает Ян Парандовский с той изящной ясностью и простотой, которые делают его книгу доступной не только каждому взрослому, но и каждому подростку, которому она в первую очередь и адресована.

Итак, в путь, дорогой читатель! Дорога с умным проводником, знающим цену шутке, будет не трудна и не скучна. Вступив на нее однажды, вы будете возвращаться к ней вновь, и настанет время, когда для вас оживут неподвижные статуи, заговорят немые до тех пор картины, «бессмертные творения величавой древности» потрясут и покорят вас.

1969 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

«МАЛЬЧИК У МОРЯ». Повесть.

Впервые опубликована в журнале «Новый мир» № 6 за 1963 год. Первое издание отдельной книгой вышло в издательстве «Детская литература» в 1964 году. После этого много раз издавалась как отдельной книгой, так и вместе с другими произведениями Н. Дубова. Вошла в третий том Собрания сочинений Н. Дубова, выпущенного издательством «Детская литература» в 1970—1971 годах. Неоднократно переводилась на многие языки братских литератур и за рубежом. По повести был по сценарию Н. Дубова сделан фильм «Какое оно, море?», режиссер Э. Бочаров, в главной роли В. Шукшин.

«БЕГЛЕЦ». Повесть.

Опубликована в журнале «Новый мир» № 4 за 1966 год. Впервые издана издательством «Детская литература» в 1966 году. Неоднократно переиздавалась в разных издательствах, переведена на многие языки в братских республиках и за рубежом. Вошла в третий том Собрания сочинений Н. Дубова, вышедшего в издательстве «Детская литература» в 1970—1971 годах.

«РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ». Повесть.

Впервые опубликована в журнале «Наш современник» № 1 за 1980 год. В 1981 году вышла в «Роман-газете» № 7. Первое издание отдельной книгой — в 1982 году в издательстве «Советский писатель».

«ПОЧЕМУ НУЖНО ЗНАТЬ АНТИЧНУЮ МИФОЛОГИЮ». Эссе.

Античной историей Н. Дубов интересовался почти всю жизнь и участвовал в некоторых научных полемиках. В частности, в журнале «Вопросы литературы» в (№ 4 за 1970 год) была опубликована статья Н. Дубова «Огурци» по-древнегречески». (Об унификации написания и произношения античных имен и географических названий). Эссе «Почему нужно знать античную мифологию» опубликовано в журнале «Юность» № 7 в 1970 году. В переводе Н. Дубова в издательстве «Детская литература» в 1971 году вышла книга польского писателя Я. Парандовского «Мифология», в которой — как вступительная статья — была помещена «Почему нужно знать античную мифологию». Вошла в третий том Собрания сочинений Н. Дубова — 1970—1971 годы.

СОДЕРЖАНИЕ

Человек ищет истину — человек растет! *Л. Разгон* . 5

Мальчик у моря. Повесть 19
Беглец. Повесть 93
Родные и близкие. Повесть 217
Почему нужно знать античную мифологию. Эссе . 381

Примечания 398

Дубов Н. И.

Д 79 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Мальчик у моря. Беглец. Родные и близкие. Почему нужно знать античную мифологию /Сост., вступ. ст. и коммент. Л. Э. Разгона. — М. : Мол. гвардия, 1989. — 396[4] с.

ISBN 5-235-00416-7 (т. 1)
ISBN 5-235-00417-5

В первый том вошли остросюжетные повести «Мальчик у моря», «Беглец», повесть «Родные и близкие» о самом высоком человеческом чувстве — о любви, о нравственном формировании подростка.

В книгу включено также эссе «Почему нужно знать античную мифологию».

Д $\frac{4702010200-048}{078(02)-89}$ Свод. пл. подписных изд. 1989 ББК 84Р7

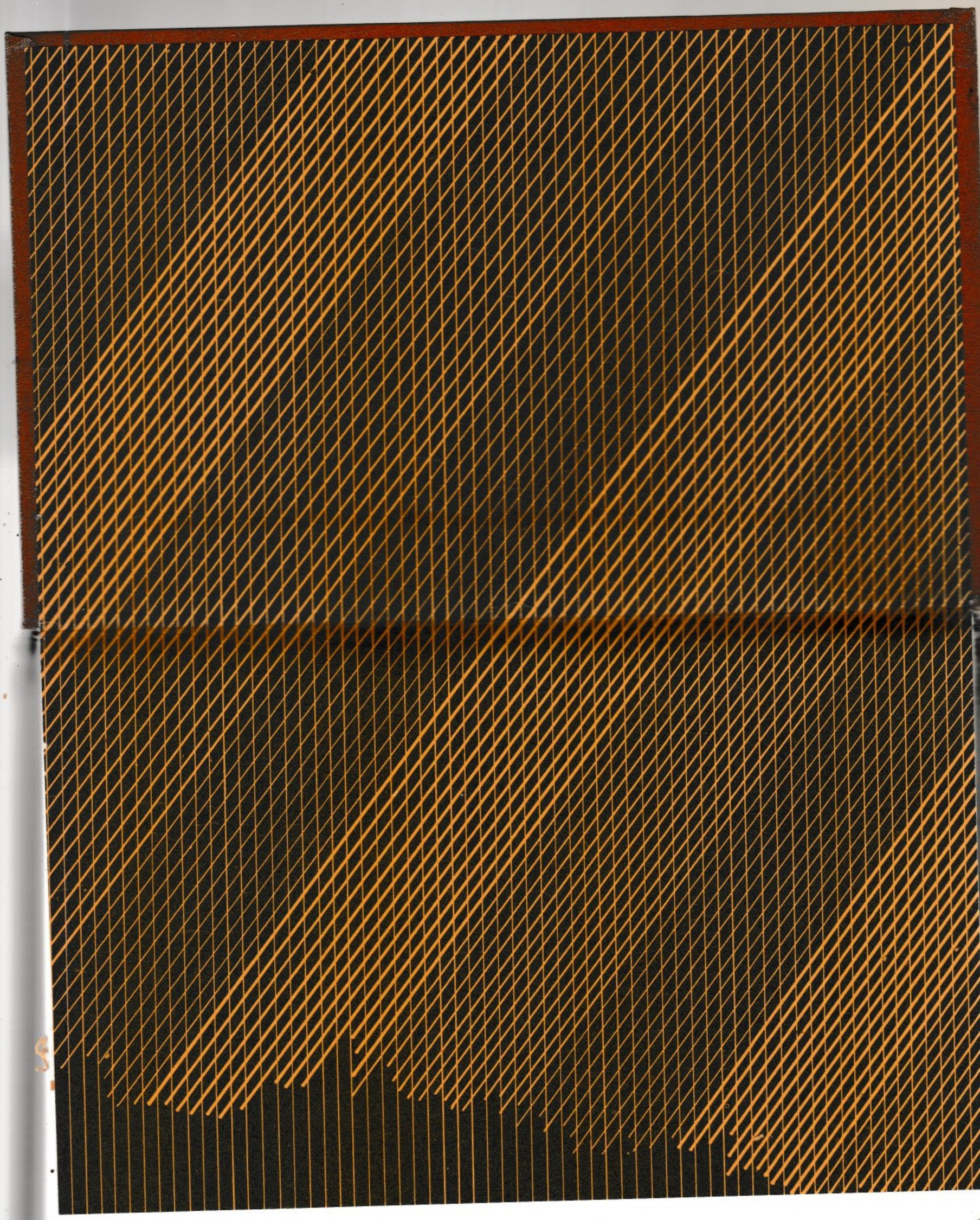
ИБ № 6126

Дубов Николай Иванович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. В 3-х т. Т. 1

Заведующий редакцией В. Перегудов
Редактор Л. Барыкина
Художник И. Тарханова
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор З. Ахметова
Корректоры В. Назарова, Е. Дмитриева

Сдано в набор 16.06.88. Подписано в печать 14.10.88. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 21+ +0,10 вкл. Усл. кр.-отт. 21,1. Учетно-изд. л. 22,9. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 80 к. Заказ 1691.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00416-7 (т. 1)
ISBN 5-235-00417-5